



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд
славянской письменности
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

В. И. БЕЛОВ,
Ю. В. БОНДАРЕВ,
А. В. ВОРОНЦОВ,
В. Н. ГАНИЧЕВ,
Г. Я. ГОРБОВСКИЙ,
Г. М. ГУСЕВ,
Т. В. ДОРОНИНА,
С. Н. ЕСИН,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУШИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
М. П. ЛОБАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
В. Д. ПОПОВ,
В. Г. РАСПУТИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
С. А. СЫРНЕВА,
А. Ю. УБОГИЙ,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ

Проза

- Андрей АНТИПИН
Плакали чайки. *Повесть* 6
- Александр ЦЫГАНОВ
Вологодский конвой. *Повесть* 34
- Александр КЕРДАН
Рассказы майора Игнатенко 73
- Татьяна ГРИБАНОВА
От Рождества до Покрова
Рассказы 94
- Юрий ГОЛУБИЦКИЙ
Утомление наступающего дня
Рассказ 126

Поэзия

- Диана КАН
Наивная и мудрая 3
- Евгений СЕМИЧЕВ
Громыкает Божья битва... 30
- Денис ЦВЕТКОВ
Скрипит, скрипит земная ось...
С предисловием
Владимира СКИФА 63
- Николай ПЕРЕСТОРОНИН
Зимнее солнце 91
- Николай ДЕНИСОВ
Граница. *Поэма* 113

Очерки и публицистика

- Сергей КАРА-МУРЗА
Причины краха
советского строя 194
- Ксения МЯЛО
Всего 20 лет — уже 20 лет 221
- Андрей ФУРСОВ
“Реформа” образования
сквозь социальную
и геополитическую призму 231
- Андрей УБОГИЙ
В стране радости 243

Редакция

Приемная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
зам. главного редактора —
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47

С. С. Куняев —
зав. отделом критики,
отдел поэзии —
(495) 625-02-81

Отдел публицистики —
(495) 625-30-47

Н. С. Соколова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —
зав. техническим центром —
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Дневник современника

Александр КАЗИНЦЕВ
Поезд убирается в тупик 179

Память

Сергей КУНЯЕВ
“Ты, жгучий
отпрыск Аввакума...” 135

Алексей ПАРЦЕВСКИЙ
“Москва сдана не будет!” 147

Критика

Станислав КУНЯЕВ
“В борьбе неравной
двух сердец” 157

Валерий ГАНИЧЕВ
Наши нобелевские лауреаты 267

Нина ЯГОДИНЦЕВА
Опыт пассионарности 277

Среди русских

художников

Александр БОЧКОВ
Здесь русский дух... 285

Творческие итоги 2011 года 288

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов
Операторы: Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова
Корректор: С. А. Артамонова

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.
Подписано в печать 28.12.11. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 23,7. Заказ №5580. Тираж 9100 экз.
Адрес редакции: Москва, 127994, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес журнала в интернете: www.nash-sovremennik.ru
e-mail: n-sovrem@yandex.ru
(Рукописи по e-mail не принимаются)

Отпечатано в типографии ОАО “Издательский дом “Красная звезда”,
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38. www.redstarph.ru

ДИАНА КАН



НАИВНАЯ И МУДРАЯ

* * *

Нам спасение с неба Принесший
И Взирающий скорбно с икон,
Пригвождённый, Распятый, Воскресший,
Неужели и Ты побеждён?

Неужели неостановимо
Вновь на Русь наползает орда?..
Третий рейх против Третьего Рима —
А четвёртым не быть никогда!

Это тьма против русского света.
Это свастика против звезды.
Это вран против сокола... Это
Замечают убийцы следы.

Это выздоровление больного —
Волей Вышнего неистребим,
Восстаёт из неверья былого
Кумачом обезбоженный Рим.

КАН Диана Елисеевна — поэтесса, член Союза писателей России. Автор книг “Високосная весна”, “Согдиана”, “Подданная русских захолустий”, “Междуречье”, “Покуда говорю я о любви”, “Обречённые на славу” и др. Живёт в городе Новокуйбышевске Самарской области.

ВЬЮЖНАЯ СОНАТА

Наивная молоденькая дурочка,
Озябшая от безутешных слёз,
Бредёт по оренбургской тихой улочке,
Бредёт-бормочет странное под нос.

Никем ещё ни разу не целована
И ни в кого ещё не влюблена.
Ничем покуда не разочарована,
Ни разу не сходимшая с ума.

В шубейку-ветродуйку зябко кутаясь,
За вьюжную вуалью пряча взгляд,
Она бредёт, наивная и мудрая —
Совсем как я так много лет назад.

Она бредёт навстречу мне из прошлого,
Прокладывая стёжки на снегу.
Вновь, как в бреду, посмотрит: “Что хорошего?..”
И снова я ответить не смогу.

Сейчас свернёт с Уральской на Пикетную,
Оставив мне лишь стёжек снежных вязь...
В таинственное-странное-рассветное
Уйдёт, в сонате вьюжной растворясь.

Стишками, между стёжек заплутавшими,
И тем, что у поэта жизнь горька,
Сонатами, сонетами не ставшими,
Она не озабочена пока.

Она бредёт, покуда безымянная...
Она не знает, как она слаба!
Она в бреду бормочет что-то странное —
Ещё не рифма, но уже — судьба.

И некому сказать наивной дурочке,
Пока её мечтания тихи,
Пока пустынны утренние улочки,
Что это — гениальные стихи!

* * *

*В следующий раз они попытаются
взять нас изнутри...*

Маршал Г. К. Жуков, 1945 год

И вновь мы устоим, когда, мечи попрятав,
Они вползут в наш дом, рядясь в друзей.
И станут, опоив заморским ядом,
Морить старух и развращать детей.

Допустят наших дунек до Европы —
Пусть пляшут по борделям нагишом.
И переоборудуют под “шопы”
И школу, и завод, и космодром...

Мы устоим... Хотя и поневоле
То влево нас, то вправо занесёт.
Мы даже убедить себя позволим —
Мол, рынок нас не выдаст, Бог спасёт!

И будет счастье, словно локоть, близко —
Мы по-американски заживём.
Мы, может, даже выучим английский
(Немецкий-то учить нам было в лом!).

Маркетинг, киллер, дилер, супервайзер,
Промоутер, бэбиситер, бэби-бум...
Мы думали: из грязи — прямо в князи.
А на поверку выйдет — русский бунт,

Сметающий содомские пороки
От гатчинских болот и до Курил,
Бессмысленный, кровавый и жестокий —
Тот, о котором Пушкин говорил.

* * *

Когда заря запылала ало
И волжский окровавила прибой,
Я выплакаться к Волге прибежала
И долго причитала над водой.

Печали, что копились долго-долго,
Слезами и словами излила.
Так долго я рыдала, что лишь Волга
Меня понять и выслушать могла.

О том, что жизнь не оказалась гладью,
И что любовь земная так горька,
Рыдала я над волжскою быстрядью:
“Прими обратно, матушка-река!”

Полночных звёзд рассеянный стеклярус.
Зари вечерней сумрачный пригас...
И — плыл ко мне поднявший алый парус
С проть-берега отчаливший баркас.

* * *

Ю. К.

Уснул и не проснулся.
И — в небеса ушёл.
Ты никогда не гнулся,
Хоть был твой крест тяжёл.

Безрадостно светало...
Любимая жена —
Россия — промолчала,
В себя погружена.

Не выла, причитая,
Соломенной вдовой.
Скорбяще дождевая,
Склонилась над тобой.

И в вечность утекала...
И каплями дождя
Всё в губы целовала
Холодные тебя.

АНДРЕЙ АНТИПИН



ПЛАКАЛИ ЧАЙКИ

ПОВЕСТЬ

I

На светлый праздник Победы старуха с утра загомозилась в город, поглядывая в окно, за которым сумрачно чернел двор.

Иван Матвеевич выперся в кухню в одних подштанниках и, сидя подле русской печки, пробивал от гари мундштук из алюминиевой трубки. Причашаясь, приводя себя в боевую готовность, тайно от него пересчитывая деньги с обеих пенсий, старуха жевала мятную резинку, чтоб не облеваться в автобусе, и чем свет лаялась с ним:

— Уж с утра полез за курятиной! Всю как ешь избу продымил своей табачиной!

Спросонок сухо было во рту, как в сеностав в лугу, Иван Матвеевич долго вёл шершавым языком по клочку газетки. Но самокрутка не ладилась, распозалась. Руки ходили ходором, плясали на губах пальцы, которыми он щемил кончик ножки, а волосы торчали кверху. Он мягко приглаживал их, но они всё одно дыбились, хоть и осталось их против прежнего — двумя горстями в доброй драке порвать.

— Которого числа будешь?

— А тебе какого лешего надо?! — буркнула старуха, воняя на всю избу духами, которые Катеринка дарила ей сёгоды на именины. — Я, может, глядеть на тебя не могу!

АНТИПИН Андрей Александрович родился в 1984 году в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. Заочно окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Публикуется с 2004 г. в районной печати и в журнале "Сибирь" (с 2006 г.). Живет в поселке Казарки Усть-Кутского района.

— Думал баню стопить тебе...

Стоя перед зеркалом, старуха красила, овално выперев, бледный дряблый рот, похожий на куриную гузку... И была она вся справная, с крупным задом, и столько в ней ещё было деятельности, что его, верно, соплей могла перебить. В субботу помякала в лохани своё бельё и вывесила в бане на верёвке, так он раз-два поддал на каменку, мало-мало постегал кости веником, да убежал в дом, изматерил Таисию...

ТЬфу! Курить хочется.

— Купи в городе ленинградскую “Приму”, — миролюбиво заговорил Иван Матвеевич, но старуха и ухом не повела.

...Всегда об эту пору Таисия тикала к дочке, два-три дня кантовалась на казённых квартирах и возводила на него напраслину. После праздника птахой Божьей залетала в избу синеглазая Катеринка:

— Папа, как можно? Ты вить пожалой человек, участник войны, а... Не знаю, папа! Извини меня, но я просто не могу уместить этого в голове...

Разбитый похмельем, весь прошлый день пожёгший в боях с “вражиной”, один за другим оставив к вечеру все рубежи, Иван Матвеевич лежал без жизни на шконке. Он не рад был белому свету, косился на пиджак с медалями, скинутый Таисией с гвоздка, да воротил от Катеринки глаза: “папой”, как в детстве, звала его доча, винилась перед ним, подтыкала одеяло, подушки.

Старуха тут же вертелась, не упускала своего торжества.

— Ты ишо не знаешь, чё он тот раз утворил! Вот ты бы узнала, ты бы ни папкала его тут, не сидела бы перед ём, как перед ампирактором! Я знаю, да я молчу, а то бы, знаешь...

— А что? Что, мама?

— “Штё мя-мя”?! Ведь срамотина последняя, до чего довёл дело в нашей семье: водку от него, паразита, прячу, где попало! В муку зароешь — он в муке найдёт, под грязные тряпки положишь — он своим поганым носом всё раскопает, в поленницу сунешь — до одного полешка разберёт, а добьётся своего! Не-де-лю просила отчерпать яму — залилась вода в яму, все соленья захлестнула! — нет, как об стенку горох! “Где, грит, я те шланги возьму, чтоб качать? Прохудился, грит, насос, шланги от мороза полопались!” — Морща белый, книзу в наковаленку разросшийся нос, в котором, как в картошке выковыранные глазки, зияли две маленькие норки, натурально изображала его старуха, став посреди спаленки и размахивая руками. — А как чухнул, что я туда на капроновой жилке бутылку спустила, дак на карачки стал, ладошкой отчерпал, достал проклятую...

Гадость! Присбирывала старуха: “ладошкой отчерпал” — ковшиком, ведёрком извёл воду в подвале. Он, главно, всё собирался откидать от подвальной стенки снег, но захворал некстати, белые метлики полетели пред глазами, думал, кончится. Лежал как пропащий, а там прижарило солнце, выело гряды в том месте, куда валили из печки золу, и зажурчала вода... Но разве объяснишь Таисии, что загурхалась она малость в этой жизни, в борении с ним, сбила прицел и лупила куда ни попадя, а больше по своим?

Гремели медали — старуха, как шелудивого пьяницу за шкуру, поддевала за тесёмку униженный пиджак, потрясала им в воздухе, будто телом повешенного.

— Ишь, как испоганил свою кольчугу, где-то уж мазуту собрал на рукав, чурка! Ему, как доброму, каждую пятилетку не за хрен собачий отваливают по медали — уж скоро места на грудях не будет от них! — а он бегат по угору, хвастат, трясёт железом!

— Положь, сучка, не тобой дадено! — со страшным ором вскидывался Иван Матвеевич, суча ногами одеяло и не умея освободиться, и мутные глаза его просекали красные кровяные линии. — Ах, чтоб ты!

— Во, видал, как скинулся, паралитик-то наш! — отступая к двери, норвила завить старуха, но жёлтые глаза с чёрными жгучими перцами посредке сидели на сухом. — Шчас ишо драться кинется, а ты — па-па...

Нет, от венца не было меж них понимания и уж, видно, до гроба не найдут одного слова на двоих, будут таскать его каждый в свою сторону, как пилу-двухручку, к чёрту изведут совместную жизнь.

— Эх, папа, папа! Я вить не думала про тебя, а ты вона как...

Настыдив, наплакав полон платок, набрав от него зарокон не пить, не сеять повсюду свет, а пенсию отводить в пользу мира, то есть в руки старухе, — с вечерним автобусом, состирнув его тряпьё (старуха гнушалась), уезжала Катеринка. И с её отъездом вовсе пропадал в нём интерес к белому свету, малая тучка застила окно, и только тянуло курить, да старуха не давала денег на сигареты, а взятые на почте под пенсию он быстро жёг.

Старуха долго не казала носа, шорохалась под окнами да надоедала соседям. В сумерках подступами брала избу: сперва тёрлась на крыльце, потом протирала сухой ветошью окошки в сенцах, а уж затем, будто бы взбить тесто, перешагивала порог одной ногой, но, держась за дверную скобку, другой перенести не решалась, таила дыхание: живой, мёртвый ли он лежит за переборкой? — готовая в любой миг ломануть за участковым...

— Не стыдно тебе? — нюхом чуя присутствие старухи, которая, как на шиле, ёрзала в кухне на лавке, тихо спрашивал Иван Матвеевич, отнимая руку от влажных глаз.

— Чего?

— Врать-то, на живого человека нести сверху и снизу?

— От! Где я вру?! Всю как ешь правду выложила, да не кому-нибудь, а родной дочери...

...Ну, собралась старуха, ну, посидела на дорожку, держа сумочку на коленях и задыхаясь в жарких одеждах, ну, помолчала, сцепив намалёванные губы... И всё же не удержалась:

— Опеть нонче куролесить будешь, позорить свои седые волосы, перед молодёжью выхваляться?

Иван Матвеевич смолчал; старуха воодушевилась:

— Ты уж посиди дома, а? Чё тебе этот праздник?! Наступил и прошёл...

— “Наступил и прошёл”! Ты заслужи его, этот праздник! Языком-то ба-лаболить все горады!

— Я-то тоже работала, милый друг, тоже внесла лепту! — понимая, что разговора не будет, а, наоборот, грядёт с её уходом светопреставление, поднялась старуха. — А вить не журу, как свинья, не довожу себя до ручки!

— Я, может, вовсе пить не буду!

— Ой, не будет он! Дождь с камнями пойдёт — все крыши, все четвертушки в избах побьёт!

— Дождь не пойдёт, а вот чирей у тебя на гузне выскочит...

II

В последнее время Иван Матвеевич не признавал в теперешней жизни своё, родное, будто вернулся после разлуки, а — дом постыл, не радуют ребяташки, не ласкает жена... Либо сама жизнь пошла дугой, либо он весь проигрался и ходит под небом, как под игом?

Эту мысль он выбрал однажды, словно перемёт из реки, и с той поры не знал, чему верить.

Он и раньше-то не пил — выпивал, тут же и вовсе прижёт болячку и даже по субботам не мордовал Таисию, не обращал её внимание на нужды рабочего класса. Но и когда всё же подступал повод — привезут ли дрова, а не то с пенсии слупит сотенную или, как нынче, ударит святой праздник — то не было на сердце отрады, ровно клевал потравленное зерно.

— Да, выжучил ты, Иван Матвеевич, свою цистерну! — с грустным смешком опрокидывал стопку кверху доньшком, к неверной радости Таисии.

Тошно, хоть в петлю лезь!

Но, разобраться, как ей, жизни, всю дорогу быть одной и той же, идти долгий путь, да не сбить каблуков, выгорать под солнцем — и радовать юным зеленатым цветом? Это в советскую пору завозили в магазин ткань, бабы тянули её с деревянного веретёнца, продавщица чиркала мелком, пластала кривым ножом — и плыли бабы в одних платьях, друг перед дружкой выставлялись... Чем форсилы, глупые?

...Лошадь, от мошки и слепней завалась в траву, так же катается, хрипит и бьёт ногами, как душа Ивана Матвеевича, жалимая думками.

С уходом старухи он облачился в болоньевую, облепленную мелкой ельцовой чешуёй куртку, в петлицы которой были протеты капроновые поводки с крючками, обул закатанные в коленях бродни, снятые со штaketника, и с ведёрком пошёл проверять на реку закидушки.

Весна упала ранняя, в начале апреля подскребая у дровяника щепу. Иван Матвеевич ушам не поверил: из тёмного клубистого неба с треском, будто сломив шифер на крышах, ударил первый гром! Но допрежь прохлестал сильный дождь, до трупной синевы вспухла река, раскатились от берега вымоины, хлынула чёрная грунтовая вода. На Вербницу сломало лёд, поволокло, кроша, загребая камни. До угора доплескала вода, в иные дворы зашла с огородов, залила ямы. На том успокоилась, покатила вниз и, точно являя черту, до которой могла отступить, встала на полпути к руслу, держа при себе нижнюю, береговую дорогу, отделив старое село от главного посёлка, где почта, школа, больница и всё на свете.

Давно рассветало, синилось утро. Зябко, морошно было, волокло по небу чёрные облака, а у реки поддувал ветерок, загребал семена польни и сыпал горечь. Грязь от вчерашнего дождя остыла, опуталась серебром, ломалась под ногами. В редких избах, жёлто воспаливших окошки, бежали из труб дымки — топили не до жару, а чтобы пахло живым. Никого ни в проулке, ни у реки Иван Матвеевич не встретил, несмотря на красное число, мёртво и безлюдно было кругом, как в оставленном селенье. Эх, это раньше чуть свет гужевались мужики, кумекали насчёт массовых мероприятий, раскулачивали баб и таскали втихаря водяру, солёных сигов, сидели под угором за огромными деревянными катушками от корабельных тросов, рядили, кто из каких вышел сражений, и на спор палили по льду из ружей...

Среди чинно-парадно одетых фронтовиков, блестящих наградами, не то чтобы чирьем на ровном месте, но особнячком восседал безусый Иван Матвеевич, покуривал скромно да шикал на выбегавшую доглядывать за ним Таисию. В разговоры особо не лез, ибо боёв-то, правду говоря, хватил краем — фашисту уж наступили на одну ногу, оставалось за вторую потянуть и разорвать гадину в Берлине.

За ним, как говаривал комполка Сутягин, следил сам Бог. Он без раны вышел из пекла, да и после не сказать, чтоб не было фаргу.

Как все, мантулил в колхозе, пилил лес, стоял с тракторной бригадой на Перевесовских полях, покосил по речке Королёвой, а осенью, известно, уборочная... Наконец принесла Таисия, запахнув розовый комочек в одеяло, быстро бежал Иван Матвеевич в мороз из бани, не веря своему счастью и часто дую на сморщенный лик ангелочка, и белый пар стоял у него над непокрытой головой. Ну, поставили дочку на ноги, бойко вышла в отличницы, одних похвальных листов сколько перетаскала. В срок спровадили его на пенсию, да он ещё не сдавался, гонял движок на станции...

И не сказать, чтобы кипел, кипел, да прохутился, как баннный котёл!

Как прежде, бил под горой белые камни на известь, зимой проверял с пешней уды, изымая из журчащей проруби на снег чёрных ворочающихся налимов, откидывал от стайки навоз, отпахнув на груди телогрейку. Краеведы, опять же, навещали из района, фотографировали во дворе, трясли, как зябкую берёзку, пытая, сколь он фрицев заколол штыком и какая светлая любовь приключилась с ним на петлистых дорогах войны.

Но это если кумекать внешним счётом — хорошо, а глянуть сердцем — по-га-но...

Над рекой кружили чайки, выхватывая из пенной струи рыбёшек. Следом за ним увязалась кошка, мастью похожая на осиновый лист в сентябре, деликатно ставя мягкие розовые лапки и выгнув хвост, сбежала под берег и оттуда горела зелёными глазами. Иван Матвеевич достал из-под камня консервную банку с червями, чувствуя дрожь во всём теле, поднял из реки и слегка потянул толстую леску. Тук-тук — билось на другом конце: не то налим, не то няша мырила на течении.

— Ну как, Мурка, будет нам нынче на уху?..

Отделилась дочка, упорхнула в город, в университет — словно все четвертинки, куда раньше слепило солнце, выбили в избе, наполнив её стылým ветром, неуютом и необжитостью, заброшенностью детских игрушек, которые он неучею на потеху когда-то строгал из весенней сладкой берёзы.

Тогда-то, кажется, и пошло всё прахом, вконец разладилось с Таисией, одно время даже столовались врозь...

У Таисии остались дети от первого мужика, мальчик и девочка. И никак Иван Матвеевич не мог ей этого простить, водился на вред с залётными шалашовками, а пьяненький налетал, бил в зубы. Сперва дети жили с бабушкой-дедкой, а известно, дети на стороне, как трава на запретном берегу: сею с неё не поставишь, от пала не убережешь. Но умерли старики, родители Таисии, пришлось взять ребятишек к себе.

“Поперечный ты, Ванька! — говаривала о нём бабушка Петровна. — Не будет тебе счастья, всё-то ты кажешь свой норов, гляди, сломают оглоблей хребёт!”

Что же делать, если не умел Иван Матвеевич заломать свою душу, не подпускала она чужих! Пьяный, обзывал ребятишек заугланами, строго следил, чтоб ничем не забили Катеринку, не вырвали пряник, не потаскали карандашей. Они и боялись его, как цепную собаку, хоть наутро и рвали Иван Матвеевич раннее седё на висках, манил Алёнку с Павликом детскими часиками, одаривал мятыми рублишками. Таисия и потом слала им деньги с его пенсии, когда после десятилетки они упорхнули к отцовской родне в Усолье — открыточки не пошлют на Новый год. Ему-то что, он им чужой человек, а она мать, близкая душа...

Изредка казалась Катеринка, как в детстве, ходила с отцом в баню. И плакать хотелось Ивану Матвеевичу горячими слезами: бледненькая, какая-то вся сизая, как апрельская пороша, лежала она на полочке с острыми девчоночьими коленками и едва поднявшейся грудкой, и сжатые бёдра её, которые он мохнато охаживал веником, спокойно видя подбритый кусток лобка, были несуразно тоненькие, не материнские. Что-то не заладилось у Катеринки с мужем, извела ребёнка до срока, как ни страдала её Таисия, а Иван Матвеевич даже заказывал ей заступать на двор! Но без неё и вовсе хлеб не впрок, словно мор навалился, сам же и запросил мира...

— Челомбитько, ты и ешь Челомбитько! — в пылу да с жару палила по нему Таисия, лила свой ушат. — Всю жись, как прокажённый, кланяешься башкой налево-направо, а толку?!

Какого ей, дуре, ещё толку надо? Вернулся живым — радуйся, полёт с честью — вой! Твоё, бабье дело, а в мужчинскую душу носа не сунь...

Напопадали одни ёрши, расцеперясь колбочками, как бабы гребёнки, болтались на крючках. Хлопотно было снимать щуку, налима — те забирали повод с огромным крючком целиком, — а этот стервец сопливый их перещеголял. Главное, что глаза с возрастом не брали такую кроху, как крючок, он червей-то наживлял, протыкая во многих местах, а тут ещё руки деревенели, пальцы, что колотушки — сиди и тарабань по лавке, пой “Калинку-малинку”.

— А-а, чтоб тебя побрало! — с раскачки перехлестнув поводок о сапог, Иван Матвеевич оскрёб с крючка алые жабры.

Ёрши с выпученными глазами, раскрыв рты, отлетали далеко от реки, выматывая кишки, пусто шевелились в старой траве, где кошка добывала их лапой и жрала с треском, напарываясь на колбочки и давясь жирной жёлтой икрой. Эх, а раньше рыбалка была — в цинковой ванне заворачивались красно-синие таймени, серебром светились вальки, сиви, а уж ельца и сороги по ведру вытрясал из корчаги, рубил в корыте курам и поросётам...

Он обошёл все закидушки, поднялся по берегу до клуба, но подумал и не стал, идя назад, начинять крючки, кубарем смотал лески на разбухшие осклизлые мотовильца. На последней закидушке всё же болтался бледненький елец, за ночь прибитый волной о камень. Иван Матвеевич чего-то пожалел рыбёшку и не стал кормить её кошке, а бросил в реку. Ельчику бы юркнуть на илистое дно, затеряться среди камней, да он бессильно повалился на бок, и налетевшая чайка, хищно раскинув клюв, ударила по нему и понесла, точно серебряную ложку.

III

Была у него заначка — бутылка белой, которую он выудил из ямы да припрятал, не надеясь получить в праздник вспоможение от старухи.

В кухне Иван Матвеевич, накренив полный стакан, суеверно накапал на стол и, пока водка текла с обтрёпанной по углам клеёнки, убегая в щели меж половиц, держал свою горькую долю на весу. И водка дрожала в стакане, сама собой выхлёстывалась за гранёные края.

— Ну, братики-солдатики, лежите покойно! — и, помолчав, будто ожидая ответного голоса из-под пола, за павших в бою и в миру раздавил фронтовые (это он гордился, что раздавил, а на деле одолел в три захода, замирая дыхалами), закусил чесноком в фиолетовой кожурке, накрутив колёсико радиоприёмника, откуда тихо пело: “Этот День Победы по-о-рохом пропа-ах!”

Всё в нём забродило от знакомого мотива, не от водки лишку развезло, так что, поднимаясь, он загрёб горстью клеёнку, хоть Иван Матвеевич и обвык, что все кругом кликали его последним ветераном...

Последним из стольких красивых русских мужиков, которых когда-то встречало с Победой село!

...Он хорошо помнил серенький, тоже при дождичке, тёплый пыльный день, дребезжащую бортовуху с молчаливым пареньком, который захватил его из порта Осетрово. Иван Матвеевич с утра дожидался попутки на село и уже погулял по главной районной площади, поел в столовке “Голубой Дунай” бесплатных пирожных, посмотрел постановку — на площади выставили машину с открытым кузовом, и артистка Смирнова, напустив на грудь красный платок, бухала жёлтыми туфельками в дощатый грубый пол и, как стаю голубей, выпускала старые частушки — победных ещё не сложили:

*Разобьём фашистских гадов,
Скоро Гитлеру капут,
И вернутся все ребята
К нам домой, в родной Усть-Кут!*

Паренёк был чубатый. Так хорошо из-под козырька, верно, отцовской кожаной кепки вились мягкие послушные волосы. Солнцем, молодостью светилось круглое, как подсолнух, лицо. Было оно в маленьких рыжих конопущках, которых он, дурачок, стыдился и воротил глаза, горевшие огнём. Он доставил спавших в кузовке артистов к бревенчатому Дому культуры, а сам выпросился домой до утра: нельзя было дольше, каждый день в честь Победы давали по району концерты. Звали паренька Славик — и это весеннее, женское имя особо глянулось Ивану Матвеевичу, который наскучал по бабам, по ребятишкам, загрубел в окопах, проконтил шинельку злым табаком, забил ногти землей, кровью, смертью.

— Как батёк-то? Навоевался? — едва въехали в сосновый лес и сладко, вольно нанесло в отпахнутое окно сыростью земли, холодом травы и прелостью старых листьев, спросил Иван Матвеевич и закрыл от невозможности глаза, греясь палившим в лицо солнцем.

Славик перекатил в горле кадык, но ничего не сказал, только сухой огонёк финской зажигалки, стрельнувшей у него в руке, свободной от баранки, заплясал фиолетовой тенью на его омрачившемся лице. Приоткрыв на миг глаза, коря себя за любопытство, приметил Иван Матвеевич неладное с парнем, хотя это не любопытство было — зудилось поболтать с земляком, услышать родную речь.

— Отвоевался! — наконец хрипло сказал Славик, швырнув в бардачок папиросы. — Мамка ещё в сорок первом получила похоронку, бабка Зоя поправляла ей голову...

— Где полёг?

— На Втором Прибалтийском, — чеканно ответил Славик, словами эти-ми, как священной оградой, забирая и жизнь, и смерть своего отца.

— Война... — ничего не выдумал Иван Матвеевич, обронил, как чувствовал, как едино говорили до него, и весь остатный путь молчал, глядя

на бежавшую под колеса дорогу, изредка — на пристальность Славкиного юного лица в зеркальце, тщательно обтёртом тряпкой...

Не переваривал Иван Матвеевич, когда ребяташки пытали его “за войну”, а если Таисия брала за ноздри и гнала в сельбо за разным дефицитом — само собой, поперёк очереди, — он, изматерив её до жути и едва не прибив сжатыми добела кулаками, убегал в баню и там сидел безвылазно — садил сети, подшивал валенки или впрок колол из полена зубья для граблей.

В прежнее время в клубе трещала ручка аппарата, и в кольцах душиной застоялой пыли крутилось военное плёночное кино, а на белом дерматине экрана драли горло в бравых песнях и форсили на передовой чистые опрятные солдатики. Они форсировали вброд чёрные, кипящие от пролитого свинца реки, в которых фашисты тонули, как слепые кутята, брали без выстрела немецкие укрепления, будто бы сотворённые чуть ли не из картона, вовсю дурачили гитлеровских командиров да налево и направо крутили любовь, само собой, с прогулками под ручку и ломанием черёмухи у реки. Едва выси-дев первые эпизоды, Иван Матвеевич стучал спинкой красного деревянного кресла, на мгновение загораживая своей скорбной пригнутой тенью жизнь какой-то другой, ему не ведомой войны, где не жужжат пули, и уходил до перерыва, от обиды и невозможности горькой правды на земле, по-солдатски скупо и скрытно заплакав на пустом тёмном крыльце...

Сам же он всю жизнь бережно хранил в себе воспоминания о священной, даже не хранил — они сами, своей волей всегда и всюду были при нём. Не сказать, чтоб война загребла его и, как шелудивая баба, не отпускала. Иван Матвеевич был отходчив — но как от смерти отойдёшь?

И чем бы ни наполнилась голова, о чём бы ни тужило сердце — главной тяжёлой была эта непроходящая боль, а уже за ней вставали рядом другие боли. Эти только ныли, только зудели, только шныряли, не пробирая до души, не поворачивали её только на себя, не вставали над бедной, как рваная свинцовая туча над ободранной ранней пашней, не загоняли стервятниками...

Но и исклёванная, с красными от выплаканной крови бельмами, ни на одну боль, кроме боли о поруганной русской земле, не оборачивалась душа так преданно и по-женски безропотно!

Остарев в остаток, застыв перед гробом в ярости выстывающей седины, он, как минувшее утро, помнил всё: пыль и духоту землянок, осеннюю кисейную мокреть и вязкую грязь передовых, звёздный холод и огонь ночных рек, а более всего почему-то тёплую болотную воду в котелке, мутную от песка, который сыпался с потолка блиндажа, слаженного из неошкуренных сосёнок, — пробежит ли с катушкой проволоки связной или под чьим-то задом расцветёт багровым цветком снаряд, окропит красным и порвёт одежду на безвестном солдате...

Тая свою боль, забывая её для всех и не умея похоронить для себя, — как вчерашнее, милое, дорогое перебирал Иван Матвеевич в памяти качание дощатого бортика грузовухи. Он всё дрожал, скрипел ржавым шарниром, хоть Славка и притормозил на своротке в село — будто грузовуха прощалась с Иваном Матвеевичем, отлетая в другие края за мёртвыми, живыми ли побратимами-окопниками, по которым сомлела в девичьей непочатости родная земля.

— Давай, Славик, счастливо тебе! — за руку крепко попрощался Иван Матвеевич со своим случайным шофёром и сбросил нехитрые манатки на траву — зелёную, в пыльных разводах от мелкого утреннего дождя. — Матери поклон передавай...

— От кого?

— От солдат, — Иван Матвеевич подогнул нашарканные в долгом пути голенища кирзовых сапог — последней “роскоши” войны — и, помахав Славке, оставаясь при дороге один, вдруг подкосился в ногах и ополз прямо на пыльную обочину, увидев небо — большое, светлое небо родины.

Шёл он в село мимо леса, от счастья и резкости воздуха, разряженного недавней грозой, дуряя головой, как мальчишка.

На ходу Иван Матвеевич бережно принимал в раздавленную мозоли ладонь порхавших бабочек, которые оказывались золотисто-чёрной шелухой со-

сен, что обтрёпывал вешний ветерок и нёс над освобождённой землёй. Он выдувал на пропылённое скуластое лицо солдата аромат набухшего жизнью дерева, юность картоваы травы и теплоту обложенных золотом осенней кухты луж, высухавших в овражках. Светились в синем воздухе паутинки, протянутые над дорогой и за корешки трав, за комочки подсохшей земли зарочённые снизу. Тонко выпевали чибисы, мелко-мелко сея крыльями. И, обнажив белые подмышки, стоял высоко над миром молодой сильный коршун, поймав трепетную струю и застыв в пространстве.

Чудные, в белой нежнейшей шершавости берёзки трепетали среди вспаханного поля, и ветви их, уже опушенные в глянцевою зелень, качались и сверкали кусочками зеркала.

Иван Матвеевич не сдержался, прямо с колотившим в спину вещмешком, выбивая подмётками землю, подбежал к берёзам и, уперев в пересохшую губу кончик высунутого языка, перочинным ножиком аккуратно порезал кору. И — о чудо! — сохранив девственность нетронутых грудей, из крошечной ранки пробрызнули в девичьем счастье и трепете первые, отдавшиеся его губам капельки сока. Он уже повернул на убыль и едва сочился, но всё ещё был сладким, и это-то нечаянное вино победы, пригубленное солдатом по пути к дому, было и его первой горькой долей на миру.

Солнце едва повалилось за лесную гриву, распахивая облака. Много, очень много было в этот день облаков! Или всегда было так, да он не замечал их разноцветного клубенья?

Они пышно, то ярко-сине, то свинцово-розово, а то в жёлтой дымке, идущей изнутри, неслись над землёй, а Иван Матвеевич вспомнил из детства, как в субботу, после стирки, мать опрокинула с крыльца банное корыто. Он, босоногий, застыл на месте, со страхом и восторгом вида, как его отступает молочно-синяя, искрящаяся фиолетом и золотом пузырей пена в чёрных разводах золы, которую мать добавляла “для злости”, стирая заскорузлые отцовские рубахи...

“Ну-ка, милые, плывите далеко!” — застыл вздох на устах Ивана Матвеевича, а под горой зачернели, без мужицких рук покоясь, сирые крыши изб, и он не знал, что в нём произведётся в следующий миг, какой снаряд разорвётся в душе, горьким, сладким ли дымом надуёт в лицо...

IV

Так, изодрав душу воспоминаниями, будто речным песком нашаркав до крови, он сидел за столом — седой, оставленный солдат ничейной армии. Старуха зря подняла волну, Иван Матвеевич отринул бутылку и больше к ней и не притронулся.

В избе ещё не белили, от дождливых сумерек совсем было серо и уныло, от чердачного снега ржавчина протекла на потолке. А за окошком, в котором уже была вынута четвертинка, пошло шевеленье. Парни, давая газу, прогнали на мотоциклах, надсадно стрелявших без глушаков, сзади голоушие девки подпрыгивали на седушках, обтянутых собачьими шкурами. Школьницы с пластмассовыми цветами, мелькнув белыми, зелёными и синими бантами, прожурчали весёлыми голосишками. Старухи вырядились пёстро, батожками охватывая впереди себя дорогу, будто намечая рубежи, к которым нужно подвинуться, прокандыбали на жёлтый школьный автобус, специально посланный за ними...

Он-то не торопится, без него не начнут!

Примочив под умывальником волосья, уже облачённый в белую чистую рубаху, только не отутюженную, с мятыми рукавами, Иван Матвеевич набрызгал “Шипром” даже в рот, чтобы перебить водочный запах. Повязав ставшие великоватыми брюки дерматиновым ремешком, уже не раз чиненным, поверх тёмного пиджака Иван Матвеевич намахнул почти новую, немарко-чёрную куртку на синтепоне и достал из-под лавки начищенные с вечера ботинки. Прежде чем обуться, долго крутил-вертел на ноге носок, пряча дырку, досадно мотылял головой, да и плюнул: разуваться ему там, что ли?!

Обувшись, по свычке военных лет побухав в пол ногами, словно собираясь в ночную вылазку и проверяя: не загремит ли? не зарочит ли? — Иван Матвеевич с отвращением посмотрелся в овальное зеркало, подвешенное в кухне на гвоздь: мешок с костями, сизый пух на лице, глаза, как стухшее молоко! Ни чина, ни склада в одеже. Воротничок задрался, будто драньё на крыше, брюки, забывшие утюг, накось пересечены молнией, пуговики на пиджаке из разных дивизий: сверху идут большие, тяжёлые, как танковая поступь, посередке месяц грязь две средненькие, а уж внизу, ближе к ширинке, егозливо скачет на обвисшей нитке, норовит в тылы совсем мелюзга, даже не того цвета...

По переулку, как угорелый, пролетел какой-то лихач, бампером “Жигуля” едва не своротил палисадник, только прошлую осень крашенный в приветный зелёный цвет.

— Ах, чтоб тебя! — в сердцах воскликнул Иван Матвеевич, но омраченье быстро прошло: больно радостен и светел был день.

Митинг, как обычно, в одиннадцать у школы, а это ещё в посёлок надо попасть, ибо перешеек залило, а нанятый от сельсовета перевозчик тоже, поди, норовит с молодёжкой на поляну. И надавал Иван Матвеевич, казнясь, что покочевряжился и не поехал со всеми автобусом, озирались по сторонам, но до самого взвоза не попался на глаза ни один человек. У магазина, нетерпеливо куря “Беломор”, заступив в короткую тень от крыши, не поджидали друг друга мужики, не шутовали, привечая товарища: “О-о, Иван Матвеевич, генерал, едет верхом на палочке!”, не косились мельком на грудь, как будто с прошлого раза там могло прибыть. Да и от магазина, бывшего до революции купеческим домом с большим двором и двухэтажным амбаром, чернел фундамент и зарастали лебедой бетонные крылечки...

Петюня — высокий худой балбес, детдомовец, глядевший кругом с прищуром, словно всё ему обрыдло, — лежал, задрав ногу, под ольхой, на мягкой жёлтой траве, набросив на лицо серенькую замшевую кепку со сломанным козырьком, а лодка, вцепясь в берег железной кошкой, качалась задом на мелкой ряби, сверкавшей на глянувшем из-за облаков солнце.

— Перево-озу! Перево-озу! — шутя покричал Иван Матвеевич, сев на тёплый нос лодки.

Не сразу откликнулся Петюня, делал вид, шельмец, что не его милости касаемо, а когда потряс его Иван Матвеевич за рукав, совсем раски: внеплановый рейс, вези задаром старого пердуна.

— Хоть бы поздравил с Победой, Петька! — перевалив себя в лодку, со смешком, но и со скрытой обидой сказал Иван Матвеевич и поглядел на заспанное, недовольное лицо перевозчика.

— Пузырь поставишь?! — оскалился бледно-розовыми дёснами, но грёб старательно, с силой садя вёсла в быструю кипучую реку, которую с боку захлёстывала хребтовая речушка, норовила смахнуть лодку на стремнину.

И не слышно было ранней песни, только серебрястые чайки кричали, обсев редкие серые льдины, которые выталкивало с боковых речек вместе с вмёрзшими сучьями и чёрной листвой.

— Не я тебе, а ты мне должен ставить бутылку, да не одну!

— Ага, бегу и падаю! Открывай шире пасть!

— Петька, Петька...

Ладком доставил до того места, где затоплённая дорога, отряхиваясь, выбегает из реки и дальше пылит через мост. Машины, мотоциклы ехали в обход, по трассе, делая огромный крюк, садя горючку. Олухи, конечно, своими-то ногами скорее...

— Сильно-то не задерживайся! Толкнёшь речь, погредишь медалями, рюмаху засадишь — и греби обратно. Я, дед Иван, до часу ещё подожду, а потом пльви вразмашку!

— Свиныя ты, Пётр...

— Свиныя тоже ись-пить хочет!

Ох, он бы обматерил зубоскала, он бы таких речей насовал ему в пах и дышло, каких ему сроду не перепадало! Да стыдно перед павшими товарищами, и так с Таисией с утра сцепился, обмарал душу грызнёй.

— В час буду как штык! Не умирай раньше времени... — не оглядываясь, часто задышав, пошёл Иван Матвеевич.

— Ну, трюхи можешь придержать коней! Я, если чё, тут неподалёку буду, покричишь меня, как потерпевший...

Одолжение сделал! Но чего от них и ждать-то ныне? Им смерть не смерть, а именины. Пьют, дерутся ногами, дураков плодят...

О, если б не святое событие стояло за красным от крови числом, коли б не одна солдатская шея хрястнула ради него, когда бы не замерли на фашистских удавках старики, не были бы изруганы русские женщины, не взвились бы вместе с детьми адовым огнём сёла и города, не омрачилась бы единым взмахом проклятой свастики вся Россия и не стояла б, как застигнутая половодьем белая вербочка, нагнутая шалой чёрной рекой, — Иван Матвеевич, будь его воля, вовсе отменил бы этот день, чтобы не поганили и без того обезображенную землю, которой и так тяжко от проросших травой черепов, от безвестных могил и ржавых касок, оплаканных горьким дождём!

Вот и Петька: никогда он его на митинге не видел, плевал он на всех, на Ивана Матвеевича плевал! Наверняка с утра, пока перевозил приехавших на городском автобусе, насыбил мелочи, сейчас затарится в магазине да удерёт, будет он дожидаться...

Спасибо, разгулялся денёк, ветерком понесло облака, а с ними невесёлые мысли. Омыто восстало в небе солнце, приглядывало сверху Ивана Матвеевича, положив ему на плечо тёплый луч. По реке, распутив надвое струю, прозвенел жёлтый “Крым” с двумя людьми — один за рулём, другой с ружьём наизготовку. Из колеблемого течением ольшаника, гагая, поднялись утки, засеребрились быстрыми крыльями, пропадая на сером фоне кустов.

— Ну, паразиты! Ведь сказано в газете, что нельзя бить с лодки, а они за своё! — Иван Матвеевич замедлился, уставясь на реку и ожидая выстрела, но лодка прошла в низовье.

Зато накатила уже знакомая машинёшка, набитая незнакомой публикой. Георгиевская ленточка, подвязанная к боковому зеркальцу, клокотала на ветру. Чуфыкая полуспущенными колёсами, на кочках оскребая бампером гальку, хлопая грязью, фиолетовой от призрачного света облаков, “Жигулишко” полетел в посёлок, а Иван Матвеевич отступил на обочину, поскорю замахнув на лицо отворот курки...

От винта стремительной пыли перхато сделалось в горле, заслезились глаза. Но и то не беда — жив остался, не свернули под угол!

V

На территории двухэтажной, из белого кирпича школы, стоявшей на угоре и обнесённой штакетником, уже собрались люди. Из отпахнутых окошек глядела ребятишки, а над крылечным козырьком завернулся кругом древка выцветший флаг, который каждый год вывешивали в этот день ещё с утра. Красные и синие воздушные шары, напрягавшие с порывами ветра тонкие нитки, обрамляли тряпичный транспарант с бумажной надписью: “С Днём Победы!” На концах транспаранта, прикрепленные булавками, летели навстречу друг другу голуби из белого ватмана.

Раньше много лавок стояло у гранитного крыльца, да сбоку ладили стулья — а нынче обошлось двумя лавками. На них уже сидели Мухтарёва Альбина, Сопрыкова Тамара, Настасья Шибанова и другие старухи, все, как одна, обутые в галоши с оторочкой из искусственного меха.

Иван Матвеевич, отвечая на приветствия, протиснулся сбоку.

— Ну-ка, девки, потеснитесь!

— Или тебе места мало? — прищурившись, с затаённым смешком откликнулась Мухтарёва, смолоду зубоскалка и активистка. — Гляди, сколь ишо — хоть Настасью на спину вали!

Старухи мелконько затряслись, горстью сухих орехов раскатился смех.

— Да ну тебя, Альбина, пошла мести языком! — укоротила подругу Шибанова, опираясь на уставленный в щель между бетонных плит магазинский посошок с пластмассовой ручкой.

— Чё-то припозднился наш солдат? Никак, Таисия не отпустила? — утерев пальцами толстые живые губы, на которые от сочности речи выбилась слюна, снова громко заговорила Альбина.

— Ага, дёржит оборону.

— Где она сама-то, чё опять не пришла? — спросила моложавая Сопрыкова с укоризной: Таисия от роду на праздники ни ногой.

— Укатила в город!

— А чё она в нём забыла?

— К дочке... — Иван Матвеевич тускло поглядел на мельтешню кругом.

— О, будто не могла подождать! Много ли нас осталось, на году раз или два собираемся! В прошлом годе ишо ничё не осталось, а нынче ни Христини Францевны, ни Паны, ни Катерины Петровны...

— Да и Николая Глебыча считай! И Ачкасова сюда же...

— Старик Тамирский...

— Который?

— А стрелил-то в себя из малопульки!

— Тоже, чё не жилось человеку?

— А чё хорошего? Дети пьют, внуки пьют, пенсию таскают, нигде не работают да ишо командают! Вот он выждал, когда никого не было дома, пошёл в сарай да пульнул в себя...

В чёрные динамики, выставленные на крыльцо, просипев, откашляв горло, празднично заиграла музыка.

— Едри вашу мать, засипело, ажно уши заложило!

— Слушай, щас начнётся!

— А-а...

С приветным словом отрапортовала поселковая голова, мелко стриженная и, ровно пасхальное яйцо, крашенная в луковый цвет. Она громко перечислила все проведённые за год мероприятия, посвящённые ветеранам войны и труженикам тыла, означила, сколько их осталось числом — и получилось совсем негусто, но всё же терпимо, ибо в других поселениях и тех не было.

За ней к микрофону на длинной ножке вышел директор школы Гончаров, поджарый нетрепливый мужик в очках, преподававший физкультуру. Этот высоко и хорошо говорил о трудностях войны, о том, как надо беречь каждого ветерана, но сам, судя по редкому седью, не победившему смолёвую черноту волос, не зачерпнул того лихолетья и малой горсткой.

Едва закончил директор, которому много и сильно хлопали, как подле микрофона, точно синицы возле кормушки, столпились первоклашки — белый верх, чёрный низ. Высокая моложавая учительница, у которой под сиреновой блузкой девчоночьи выступали позвонки и острые, как у Катерины, маленькие грудки, что-то шептала ребятишкам, склонив над ними соломенный дождь волос и за руки разводя их, как мать-гусыня, на два рядка — мальчиков и девочек. Микрофон, притянутый книзу, встал посередке. С оглядом на волнительно покрасневшую учительку, девочки, едва грянула из динамика музыка, первыми затянули про “подлую войну”, “А-а-а!”, разевая ротик и закатив к небу ясные глаза. За ними, дождавшись своей партии, баском подхватили мальчики, нахмутив брови и глядя поверх двора...

Это Иван Матвеевич ещё мог перенести, хотя, глядя на ребятишек, он и почуял, как в сердце что-то остро упёрлось. Но из-за свежебеленой колонны вышла в алом шарфике из атласа, цокая каблучками, нафуфыренная краснокудрая председательша местного Совета ветеранов.

— Вспомним поимённо всех ветеранов, кто ушёл из жизни в мирные дни! — громко крикнула председательша и зашелестела в микрофон бумажками, словно осенний ветер палой листвой:

Антипин Георгий Николаевич: 1926–1978

Антипин Иван Михайлович: 1922–2008

Антипин Иннокентий Иванович: 1924–1989

Антипин Павел Фёдорович: 1900–1970

Антипин Савва Егорович: 1914–1962

Во всём районе самая большая потеря выбила двор безвестного Антипа, который дюжих был кровей, коли засеял своей родовой окружные сёла и деревни. Как-то на досуге Иван Матвеевич с карандашиком высчитал по книге “Память”, что только из их мест ушли на фронт сто шесть Антипиных, а полегли пятьдесят три! Он перепроверил себя, а потом и Катеринку заставил обсчитать списки — нет, всё верно, ровно половину выхлестало. Иван Матвеевич бывал в городе подле обелиска, не поленился и там сделать ревизию: сто два Антипина в граните, а всего призвано было, говорят, двести одиннадцать...

Антипин Алексей Яковлевич: 1902–1957
Антипин Борис Елизарович: 1924–1986
Антипин Василий Константинович: 1894–1974

Председательша запурхалась перечислять, ей поднесли воды, она выпила, долго откашливалась, прежде чем соскочила в списке на одну букву ниже. Ивану Матвеевичу показалось, что как будто бы и упустила она многих. Дальше слышалось разбродно:

Аксёнов Гермоген Васильевич: 1921–1987
Деев Николай Дмитриевич: 1923–2001
Корзенников Дмитрий Константинович: 1922–1993
Подымахин Иван Яковлевич: 1908–1981
Таурский Фёдор Гордеевич: 1909–1984
Токарь Иван Аксентьевич: 1911 — 2000

Ещё долго, прежде чем упереться в Шестакова Антипа Адамовича — далее список обсекался — читала председательша, но Иван Матвеевич уже не слушал её, застигнутый думой, как ветром в поле. И было с чего загоревать: ещё лет десять-пятнадцать — и во всём мире не останется ни одного свидетеля ужасной гибели народов! Взять за расчёт, что последним призывом заломали мальчишек двадцать седьмого года, как Ачкасов, — так по их ржавым забытым обелискам через пятнадцать годков стукнет столытник. Живые до единого уйдут, всё без них изоврётся, как давно и при них творится кругом, всё погрязнет в грехе и бесстыдстве. И знать будут о войне, что солдаты вшивели в окопах, гадили на передовой да мародёрствовали по населённым пунктам. Как будто чужими руками загребался огонь тех сражений, точно не их сапогами ломалась шея гитлеровской Германии, словно не их черепа впало смотрят в небеса, тщетно вгрызаясь пустыми ртами в не принявшую их землю...

Набежала тень тёмного облака, зябко подул из-под угора ветер, и листки затрепалась в руке председательши. Но и ту напасть пронесло, снова чистым и гладким сделалось небо.

Вперёд выступили две старшеклассницы в светло-зелёных пилотках, под которыми упруго собрались в узлы тяжёлые косы. На белых тонких шеях, поверх воротничков голубых рубаш, усаженных на худые девичьи тела, забыто трепыхались пионерские галстуки. Улыбаясь, гибкими пальчиками отщипнув с боков и придерживая чёрные юбочки, которые прилеплял к ногам охальный ветер, старшеклассницы какое-то время восторженно смотрели на заречный сосновый лес, на сморщенные тени проплывающих облаков, переглядывались, понуждая друг друга не страшиться...

— Девки, а девки?! Слышь? — из задних рядов, куда и во времена Ивана Матвеевича сбивали непутёвых парней и где с начала действия посмеивались да крутили музыку на телефонах, накатил набравший басовой крепости голос.

— Максим?! Максим Аксёнов?! Я тебя сейчас выведу из строя и покажу всем, какой ты есть! — умирал, рыская по рядам, хрипчатый нервный голосок, видно, классного руководителя этого самого Максима, но весельчак не унимался:

— Э, Танюха? Катюха?! Ну чё встали-то? Пляшите! Я вам даже спою: “Выйду в поле, сяду ... — далеко меня видеть!”

И снова — “га-га-га” по рядам, окрики, шуршание одежд.

— Бесстыдник! Никого не слышно, только тебя! — громко зашептала коротковолосая усталая класснуха с жёлтым девым лицом, всё ж таки изловив Максима и цепляясь пальцами за петельки на его джинсовой куртке.

— А чё они встали, как эти? — переминался с ноги на ногу чернявый красивый парень, переросший училку на голову, и глаза его высверкивали, как два кусочка слюды.

— Не твоё дело! Твои усмешечки дурацкие услышали — и опешили...

На шум оглянулись едино, загневались старухи:

— Снять с паразита штаны да посадить в крапиву!

Но, с улыбкой обходя людей, туда уже направился директор Гончаров, протирая платочком стёкла очков...

В заминку, сбоку от девчушек, выкатилась низенькая круглая учителька из приезжих, которую Иван Матвеевич не знал по имени. Она поймала рукой микрофон и быстро притянула к бледно накрашенным губам, буркнув едва слышно:

— А сейчас участники поисково-краеведческого отряда “Память” расскажут о нашем знаменитом земляке, Герое Советского Союза — Антипине Иване Николаевиче... Начинать, Таня!

Высокая и черноволосая, с простым русским лицом, не оболганным помадами и тушью, Таня вдохновенно, как выученный стишок, затараторила, вздёрнув совестливый носик:

— Антипин Иван Николаевич родился в 1914 году в деревне Кукуй в семье крестьянина! После окончания Киренской семилетней школы и ФЗО в Иркутске работал инструктором областного стрелкового клуба, а с 1940 года — заведующим отделом Усть-Кутского райисполкома...

— В феврале 1942 года Иван Николаевич был призван в ряды Советской Армии, — за Таней понесла вторая, стало быть, Катюша, расставляя слова, как в февральском пуржливом поле вешки, на которые надо держать огляд. — Он — участник битвы под Орлом. Командир сапёрного батальона младший сержант Антипин в июле 1943 года со своими бойцами снял и обезвредил 400 мин!

Иван Матвеевич помнил своего тёзку, первого из четырёх Героев, которыми понесла река Лена. Они до войны вместе брали ягоды на Заборье. Был Иван Николаевич невысокий, круглолицый весёлый парень, всегда допрежь наедался черники, забывая до синевы рот, а уж потом щипал ягоду в берестяную тару. Мог и вовсе проваляться под кедром у холодного ключика, садя жёсткую махру и прикрыв от блаженства карие, как у девки, глаза. И кто бы тогда подумал, сколь высоко взлетит Иван Николаевич на фронте — и поныне отовсюду видать...

— Преследуя отступающего противника, 26 сентября 1943 года отделение Ивана Николаевича вышло на левый берег Днепра. Младший сержант немедленно приступил со своим отделением к поиску лодок, к изготовлению плотиков из досок, хвороста и мешков с сеном. Лично побывал на западном берегу...

Как же, как же, он и к перевесовским невестам плавал через Лену с другими парнями, так сильно загребал короткими руками и всегда попевал раньше других, будто хотел урвать у жизни самую красивую и сочную любовь.

— По данным, разведанным Антипиным, командир полка принял решение форсировать реку именно на этом участке! В ночь на 27 сентября на лодках и плотиках на вражеский берег стал переправляться стрелковый батальон...

За бойко выносимыми словами девчушек зримо восстало в сердце: кипящий чёрный Днепр, мокрые, оступающиеся на камнях бойцы. Одной рукой они загребают ледяную стремительную воду, другой держатся за склизкие кромки плотиков, и по косе один за другим отходят от берега, смываемые течением. Жёлтые руки прожекторов противника, опавшегося на том берегу, скользят по воде и, нашарив цель, замирают. Серебряными бусами вздымается кверху и осыпается ключьями вода, прошитая наведёнными пуле-

мётами. Сзади, на берегу, опадает сентябрьская ржавь с кустов. От плотика, который плыл впереди, соскользнула рука ткнутого в спину солдата и, будто крыло обезглавленной курицы, быстро-быстро забрала по воде, пока боец не осел на дно. Теперь уже все, кажется, прожектора наведены в одну точку. И снова ливень капель и свинца, ледяная ярость воды и ярость ослабших солдат, наплывающих грудью на плотики. Вот рвануло сильнее, чёрным кустом развернулся, отбрасывая плывущих и щепки разбитых плотов, и сомкнулся в воздухе стеклянный столб. За первой миной лопнула другая, от берега к берегу разрослась судорога, лоя солдат за ноги, словно стаскивая сапоги. Плотики переворачиваются, сбрасывают бойцов, дощатые ящики с установками, раскачиваясь, выбивают из-под себя тёмные гребни, и в этих гребнях мелькают красные перья крови, выползая из пробитых гимнастёрок. И резкий свет бьёт в глаза, вырывая впереди настигших чужой берег бойцов, пригнутые мокрые кусты и пустые плотики на смертно дрожащей воде...

— Здесь, на белорусской земле, в Комаринском районе Полесской области 6 октября 1943 года погиб отважный сибиряк!

— Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 года, посмертно... Именем Героя назван стрелковый клуб ДОСААФ в Иркутске...

Как в сильном дожде, сидел Иван Матвеевич, ничего не видя и не слыша вокруг, полонённый музыкой воспоминаний, словно переметнувшись с берега этой, освобождённой, жизни на тот, всё занятый врагом берег, в штурмуемый ночной Днепр, на один из плотиков. Очнулся, когда надали локтём в бок:

— Ты дрыхнешь, чё ли?! — склонившись к его уху, засмеялась Мухтарёва. — Другой раз кличут к громкофону, а он даже ничего, сопит в обе шморгалки!

Как ни махал Иван Матвеевич руками, показывая, что ему нечего сказать, зря тянут из него слово, а всё ж таки пришлось подчиниться.

— ...свой первый орден Красной Звезды Иван Матвеевич получил за уничтожение дота под Выборгом, второй орден — за умелое отражение атаки немцев! — рапортовала круглая сдобная бабёнка, видно, заправительница краеведов. — Есть у него и медали: “За взятие Кёнигсберга” и “За победу над Германией”... Просим напутственного слова!

Под речной накатывающей плеск ладоней он взошёл на крыльцо, валко и беспокойно чувствуя себя. Сбиваясь дыханием, долго гонял по горлу комок, словно высекая камнем огонь, который, едва поднимаясь в нём, тут же затухал в слезах. Они тоже были тут, летели встречь кадыку сырым облаком, заволакивали глаза.

— Ну, что вам сказать? Раньше-то каждый праздник... да и так на встречах с ребятами, на посиделках в клубе... говорили мои старшие товарищи, ломавшие войну от начала до конца... Нынче они ушли, словно разбилось главное дивизию на отдельные полки, полки разломало на роты, а уж роты рассыпались на бойцов, которые утеряли между собой боевую связь, и уже за ратным полем недугами и старостью перешлёпало их...

Выходило, что он один жив, ему держать с самим собой совет, ему идти в бой за несмышлёншей из последних рядов, как редкую вещь, снимавших его на телефоны. Да только какую реку форсировать? Какие пути-дороги крыть солдатскими сапогами? Откуда усталому народу набраться сил и наголо разгромить беспамятество и сытость нищих душ?

Замолк, опустив руки по швам, тискал кепку, двиваясь, как ладно и громко говорил Иннокентий Иванович, а перед ним, как ждущее команды воинство, стояли люди.

— Это... поздравляю всех с праздником Победы! Полегли... много бойцов полегло на полях сражений! Я, и ещё которые, вышли живыми... Но мы помним! И вы помните должны, не забывать... — и сошёл, заплакав, снова под шест ладоней, на этот раз перепавших вяло и скупо...

За ним забалабонили старухи. Особо активничала Мухтарёва, наторевшая в речах, ловко отчиталась о проделанной в войну работе, повертела задком, подмахнула передком. В оконцовке по-заведённому вынесли ходики.

— Прошу почтить память погибших! — почти весело выкрикнула кнопка в жёлтых колготках и пальцем толкнула ходики, сделавшись вмиг серьёзной, опечаленной.

И вместе с ней едино затих дальний гул за спиной, все опустили долу глаза. Вздрыблились, громыхнув лавкой, старухи. Иван Матвеевич, едва пришедший в себя после стояния на крыльце, обеушивший в скомканном платке глаза, смахнул с головы кепку и растерянно застыл с мыслью, что так-то, горестно глядя в землю, и о нём скоро будут молчать.

От крыльца, высоко и мерно шагая, школьники понесли венки к обелиску. На нём давно выцвела золотая гравировка, потрескались гранитные щербатые плиты и свалился в траву мраморный козырёк, раскачанный ребятей. Старые, засохшие и выцветшие венки убрали к празднику, с дорожки из гладких плит смели жёлтые дудочки акаций, очистили от тусклых стеблей цветов клумбы и побелили бордюры. Как прежде, двое парнишек, вскинув тонкие подбородки, застыли с деревянными красными автоматами по обе стороны обелиска, и покуда, двигаясь цепочкой по двое, неся проволочные корзины с искусственными цветами, школьники украшали подножие памятника, они не проронили не слова...

Ходики замедлились и встали, долго дрожал в микрофоне звук засыпающих механизмов, а когда умер и он, директор Горчаков сделал знак садиться. В тишине наплыл звенящий вертолёт и, точно оглядывая сверху толпу возле школы, покрутился раз-другой в небе.

— Щас бомбу кинет! — хихикнул кто-то, и тут же треско разнесся подзатыльник.

Завитые клубные бабы в туфлях-лодочках гуськом выплыли на середину крыльца — грудастые, в цветных реквизитных платках, по старинке забранных на плечи. Они вмиг оглушили современной поделкой о войне, где ни единого правдивого слова не уловил Иван Матвеевич: всё в ней было так захватски изображено, с поганой слёзной интонацией, что сиди и плюйся. В довесок музыка, бившаяся, как рыба в садке, в чёрном динамике, не умела выйти наружу широко и вольно. Она не радовала душу, не то что ранешний распев гармони, отворявшей меха, будто зелёный луг с его весенней звонкой песней, с цветением черёмух и голосами молодых.

Сидел Иван Матвеевич, с немым укором дожидаясь конца затянувшейся процедуры, казнясь, что не послушался Таисии и попёрся на митинг. Тем же томилась старуха, нетерпеливо постукивая батожками и кругло зевая:

— Чё-то долго ведут песню, как пьянчугу под руки! Скоро, нет ли кончат? Ишо баню топить...

Отпев и сообразив, что попали впросак — совсем жиденько отозвались слушатели хлопками, — певуны, пошептавшись, бойко стукнули по крыльцу и завели прежнее, тоже не ахти какое, но всё ж мало-мало обращавшее на себя душу. Однако и тут вышла закавыка: едва дотянули до слов “И молодая не узнает...”, как в задних рядах опять зашебуршало ползущей по сухой кошенине змей:

— Как, как она сказала?!

— Какой, говорит, у парня был конец!

— Вот эта клёвая песня! Себе на телефон скачаю...

VI

Он не задержался в холодной школьной столовке, выдул кружку жидкого чая с шоколадной конфетой да подался вон.

Уже сняли флаг и транспарант, а проволочные корзины с цветами у обелиска опрокинуло ветром. Тот самый Максим, что петушился на митинге, и клубный повелитель музыки Дёня — балбес вроде Петюни, только имеющий судимость за побег из армии, — курили, облокотившись на перила, да потягивали пиво из парадно расцвеченных бутылок. Пиво теперь пошло со специальной пробкой из тонкой жести и дергушкой на манер чеки, чтобы, не ломая зубов, потянуть за неё и снять с горловины заглушку, высосать паток, а бутылью хрясь кого-нибудь по башке.

Иван Матвеевич хотел пройти мимо, но Дёня окликнул, взболтнув в початой бутылке золотые пузыри:

— Старый! Дёрни пивка для рывка! Ну, за Победу, чё ты?!

Максим, туша за спиной окурок, отвернулся.

— Не, ребята! Празднуйте сами, — не чая перекричать динамик, невесело улыбнулся Иван Матвеевич. — А меня лодка на перевозе ждёт...

— Э-э, старый!... — блатно цыкнул Дёня и накрутил кнопки на усилителе звука, отчего динамик бесово затрясся и, выдувая пыльный капроновый зёв, мелко поехал по крыльцу.

И снова остро почувалось Ивану Матвеевичу, что он последний межевой столб между добром и злом, светом и тьмой, да только и его уже не замечают, идут с опущенными плугами по живому. Давно ли холёный сынок красноярского губернатора, от жира бесясь, напялил фашистскую форму и так заснял — а его слегка пожурили! Одно радовало, что нищая ребятня из недобитых деревень всё ещё до красных соплей расхлёстывала друг дружке носы, споря, кому быть “нашим”, а кому “немцем воночим”, да бабы, затопляя печи, давили побежавших тараканов со словами: “У-у, морды фашистские!”...

Шёл Иван Матвеевич береговой улицей, а из дворов ревела музыка, топала и гукала, визжала и похабно охала, а то свистела во все пальцы. Береговые улицы всю дорогу самые шумные, но и самые дружные, все гуртом: и похороны, и именины. К весне здесь особо гомозливо и пёстро от людей. Считай, во всём посёлке не осталось больше этой привычки — собираться на лавочке, глядеть на реку и вести разговоры. Вот и в честь Победы люди слетелись под редкими тополями, за дощатые столики, обставленные нехитро, и уже были навеселе, громко кричали, пели, размахивали руками. Под углом трещали костры, пахло шашлыками на ольховых прутьях, а в оставленном пале горела сухая трава, золотые мурашки захлёстывали берег и столбики оград, где их били ногами пьяные мужики.

— Иван Матвеевич! Давайте с нами! — окликали его женщины, а мужики подбегали потрясти его сухую руку.

— Не-е, лодка ждёт! — выгученно отвечал Иван Матвеевич.

— Дак чё лодка! Вон, Чупра попросим, он вас до самого дома отвезёт на “Вихре”!

Можно было, конечно, и подсесть, но выпорхнула из души святая радость. Только и всего, что разжился куревом...

Как что-то неправдошнее, бывшее не с ним, вспоминалось Иван Матвеевичу прежнее время. Отстояв у школы, толкнув, как говорит Петька, речь, брели ветераны неспешным строем до бревенчатого клуба, где проходило основное празднество. Ребятишкам крутили кино — сначала Иван-киномеханик, потом Людмила возилась с бобинами в пристроенной кинобудке. Для ветеранов во дворе, коли было сухо и тепло, ладили столы, покрывали красной скатёркой, выставляли лавки. Сидели под небом единым, локоток к локотку, в сквозной тени черёмухи, притулившейся у забора и дурманно пахнувшей.

Брал слово председатель сельсовета Иннокентий Иванович, сам ветеран:

“Дорогие мои бойцы! В той великой войне немногие уцелели...” — и все слушали, затаив дыхание, — мухи, отлепившись от нагретой стены клуба, пролетали в этот миг через двор с высоким жужжанием зеленелых крыл.

“И чтобы зелёная трава, не попрунная сапогами врагов, всегда росла на местах наших боевых подвигов! Чтобы чистое небо стояло над могилами советских воинов — освободителей всего человечества от заразы фашизма! Чтобы ни один вражеский самолёт не мог затмить для наших детей солнца...” — заканчивал председатель, сомкнув, как на чём-то горле, пальцы на гранёном стакане, полным до краёв, и рукой призывал встать и почтить память погибших...

Попив-поев, затевали песни: “Ы-ы как родная миня мать ы-ы провожала!..” Раздухарившись, покидав на траву пиджачки, гремящие наградами, — красные, растрёпанные мужики, гася о подошву кирзух окурки, пускали ноги в пляс, как в майскую волю лошадей:

*Председатель на машине,
Бригадир на лошади!
Бабка старая с мешком
По..ярила пешком!*

За охальниками и бабы, стыдливо подведя губы дочкиными помадами, тарабанили каблуками, выбивая в земле лунки, рая скудную траву.

Ребятишки в эту пору попевали, слетев с забора и клубного крыльца, как стая жадных грачей, хватали со стола щучьи пироги, свиные в белых точках риса котлеты, блины, а кто озорнее, те норовили и отставленную рюмку дёрнуть, закраснев глазами и подбирая рукавом побежавшие от задыха сопли. Их никто не гнал, как в другой бы день, редкая баба всплеснёт на рюмашника рукавом да, выводя кренделя, походя ужжёт крепкой рукой под зад.

Которые участники, конечно, не отходили от рюмок, задирали жён, лезли с соседом в драку и бывали уводимы под руки. Но это редко, в основном с добром проходил праздник. Затяжно, как летний дождь, звенели разговоры и, как летнее же небо, были перемененно светлы и грустны, в озари неугасимой памяти, с бабьими слезьми и мужичьим горьким табаком.

По одному, а то гурьбой разбрелись поздно вечером, пьяненькие, поднимая в оградах лай собак, будя старых отцов и матерей, которые уже не могли ходить своими ногами и, пождав своих с новостями, укладывались ко сну.

Мужики всё не могли расстаться, мышковали по карманам, сбивали мелочь, а бабы караулили их, как шелудивых бычков, гнали в отпёртые ворота. Но они всё равно убегали огородами, гуртовались под угором, кляли войну, рядили о сегодняшнем житье-бытье. “А помнишь? А помнишь?” — повсюду.

И мог бы тогда Иван Матвеевич угадать, что разом всё исчезнет, в глуши, в мёртвой немоте захряснет село, оглохнет в пустозвонстве другой жизни, в которой ни побед, ни сражений стоящих не было и нет?

Вся она теперь, как одно большое поражение, и только он, Иван Матвеевич, снова вышел из боя живым. Все его братики, кто не полёг в своих и чужих землях, уехали на скрипящих бортовухах мимо его окон, уставив к небу застывшие лики, метя дорогу прощальным пихтачом, и уже второй год на Девятое мая возвращался Иван Матвеевич в село один как перст.

VII

Петюня, как и грозился, смылся. “Казанка” шуло торчала на том берегу.

В ожидании перевоза Иван Матвеевич походил вдоль старицы, наполненной шумящей водой. В устье старицы жители валили мусор, который по весне вымывало и уносило рекой. Горы плавучего хлама растащило течением, вдоль обоих бережков торчали горлышки налитых до половины бутылок, чёрно пятнились на склонённых к воде ветвях целлофановые пакеты и даже проплыл, тяжёло ворочаясь, распахнув разбухшие подушки, старый диван. На отлогих пастбищах, откуда скатилась вода и где коровёнки уже общипали летошнюю траву, шершаво ломалось под ногой стекло, сырели учебники с серыми иллюстрациями, валялись ржавые трубы, обожжённые кирпичи и ломаный шифер, железные печки, бочки и облезшие меховые шапки, а в красной от глины изломинке, пробитой ручьём, Иван Матвеевич увидел капроновый завязанный мешок, обсиженный гудящими мухами...

Он задержался возле удачников, всплеснувших синими лесками над омутно-ржавой водой. Весёлые поплавки плясали у кустов, в самом улове. Желторотая братия широко разведёнными глазами глядела на поплавки, скрипела зубёнками и шикала друг на дружку в трепетном ожидании, когда снасть завалит набок и, уцепив червя, потащит леску ко дну подошедшая рыба. Мальчишки из посёлка всегда об эту пору гнали ко рву велосипеды, мотыляя сосновыми удилищами, кончики которых проскребали дорогу и к месту лова бывали стёрты. За вечер, при низовом ветре, когда в гусиных му-

рашках шевелится вода, самый захудалый рыбак туго набивал целлофановый пакет мелким ельцом и красноглазой сорожкой. Но сейчас у каждого в руках красовалась не кривая батожина, а добротная выдвижная удочка, снабжённая пропускными кольцами и катушкой с откидной лапкой, собиравшей леску на противохоме.

— Ну, клюёт, мужики? — сзади присев на карточки, со знанием дела тихо спросил Иван Матвеевич, озирая бережок в поисках кольшпка, к которому был бы привязан садок.

— Так, гашики да пеструхи... — мельком взглянув на него, ответил рыжеватый пацанёнок, пряча в мокрый рукав ветровки дымившийся окурок. — Кошкина радость!

Другие ребятишки, чуть старше его, снабдили Ивана Матвеевича колючим взглядом да перебросили удочки, когда наплыла гнилая доска с ржавыми зубьями гвоздей.

— Чего кошкина? Сам свари в воде, с зелёным лучком, да ещё ичко туда разбей!

— Ну, манать! — воскликнул пацанёнок и обмахнул рукавом шероховатые обветренные нюхалки. — Ещё плеватьса костями!

— А где рукав-то намочил?

— Дак в воде, гашика ловил! Подцепился гашик хило, но я уж почти вышер его на берег, а он возьми да упади! Я брык за ним...

— Поймал?

— Куда он подеётся?! Теперь сидит в каталажке, вечером Мурка его захаваает...

На них зашикали, а бледный высокий паренёк даже проблеснул стёклами очков.

— Значит, нету путней рыбы, одни гольяны? — совсем шёпотом спросил Иван Матвеевич.

— Где ей быть? Она суда и зайти-то не может, дядя Ваня-мент ей сетками дорогу перегородил, так, мелочь всякая лезет... Во-он он ставит сетку, уж которую по счёту! Хотя бы кто из ружья его шаланду резиновую подбил...

От кустов, шагнувших в воду по другую сторону рытвины, короткий крепкий мужик в ярко-зелёной “энцефалитке” поперёк старицы выматывал сеть, сидя в резиновой лодке и плеская коротким веслом, и было слышно, как позванивают железные кольца.

— Как же, самый голодный! — съязвил Иван Матвеевич, вмиг посмурнев. — Сам на выслуженной пенсии, баба при заработке, дети пристроены, а урвать кусок, перекрыть нерестовой рыбе ход, дак он наперёд планеты всей!

— Дак я тебе о чём и толкую! — отозвался смысленный пацан и, поплевав на обожжённой нутряной болью червя, вертевшегося на крючке, громко хлопнул грузилом по воде.

Стервец-перевозчик всё не объявлялся, лежал, наверное, кверху воронкой под кустом.

Зато, надвигаясь от посёлка, до самого ельника облепили едва зазеленевшие полянки машины одна богаче другой. Воскурились костры и громко, наполняя пришлым звуком луг и лес, заиграла музыка, которая никак не отставала в этот день.

“За-а-апа-ахла-а весно-ой-й!” — орал из отпахнутой дверцы джипа мерзкий голос хрипуна, одного из тех, что обыряли кругом, подняли змеиные головы.

— Шерстью твоей палёной запахло, дявольское отродье!

Но что было сделать? Люди уже были навеселе, много ли оставалось добрать, чтобы впасть в бесчинство...

И вот уже на извороте старицы, с высокого отложного берега понужнули из ружья по плававшим в воде бутылкам. Звук выстрела, как закатившая в желоб струя, длинно раскатилась вдоль берегов, пригоршней зерна осыпалась на воду дробь, разлетелось стекло. Из-за поросшего осокой бугра сорвались тяжёлые крикаши и белогрудые гоголя, а чернети, гогоча, нырками ушли на фарватер. Только табунок зазевавшихся чирков низко кружил надо

рвом. У машины засуетились, раз за разом садила в воздух пятизарядка, и одна уточка-таки отшиблась от стаи, кувырком упала на воду...

— У, ес! Молоток, Керя! Держи пять! — заорали возле машины, но за добычей не полезли, а, наоборот, сразу утратили к ней интерес и уселись за вышивку.

Уточка ещё была жива, загребая ольшаного цвета лапками, пристала к этому берегу, окружённая красными пластмассовыми гильзами, медными наковаленками ушедшими в воду. Это была серая чирушка, которой выстрелом выбило глаз.

— Плыви, плыви отсюда! — хлопая в ладоши, привстал Иван Матвеевич, а чирушка выставила на него неповреждённое око и вопросительно потегала. — Ну-ка, давай, спасайся! Кому говорю?

Не больно-то споро, но чирушка устремилась за бугор, продвигаясь бочком, долго кружилась на течении, пока не залезла в непроглядный кочкарник.

— Надо было шею свернуть! — заметил очкарик, который уже набрал с берега камней.

— Ух ты, какой вояка! С бульжником против несчастной чирушки!

— Всё равно не жилец! Сдохнет где-нибудь и будет вонять, заражать окружающую среду!

Иван Матвеевич посмотрел на грамотея, потом на остальных ребятишек. Они оставили удочки и вызрелись на него в ожидании, чем он прищепит язык их умному дружку, который, по всему, ходил в их компании вроде энциклопедии, поучал да хмыкал, обижаясь нелюбви к себе, к своему книжному опыту.

— И с одним глазом живут... — сказал Иван Матвеевич неуверенно. — Я однажды — по весне было дело, на Борисовских озёрах — сослепу подбил серую, дак она у меня в ванне с водой жила на улице, пока не окрепло крыло...

Он осёкса; в самом деле, не говорить же было, что Таисия всю плешь изъела ему, а к дочкиным именинам заставила свернуть уточке шею.

— Видал ты! — разом заговорили ребятишки и тут же сдали дружка: — А он ещё тот раз бурундука палкой огрел, жива-адёр!

— Сами вы живодёры! — оскаблился грамотей и с ожесточением выбросил камни в воду. — Вот вам, а не рыбу, раз все такие добрые! Всё, Димка, больше леску не клянчи, мама и так ругала меня, что отмотал папину японскую!

— Подавись ты своей японской! — вылупив глаза, закричал рыжий пацанёнок, рукав которого обоих и, задравшись, явил бледные голодные жилки на руках. — Я ваче своей “Клинской” ловлю в сто раз баще тебя!

— Придётся ещё, побирушки! — Он собрал удочку и на велосипеде, блестящем спицами новых колёс, укатил в посёлок.

Ко рву попевали другие машины. Высыпали на траву бабы и ребятишки, суетились, громко орокая с соседними гульбищами, весело-пьяные мужики, а от иных кострищ всё чаще сверкали бутылки, разбиваясь у воды с острым звуком лопнувшей пустоты.

— И вы, ребята, садитесь на лисопеды да крутите педали от греха! — распоряжался Иван Матвеевич, сердцем чуя беду. — Давайте, сматывайте удочки да гоните вослед этому умнику... Кто он хотя бы? Я что-то его никогда не видал.

— Да-а, новой русички сынок! Вечно всем недоволен... — ответил лопухий мальчишка, и первый оседлал драндулет с подвязанными проволокой крыльями. — Ну, погнали, у школы порыбалим!

VIII

Наступавшие на луг машины были всё больше иностранного пошиба. Обырал на северных рейсах посёлок, перегон леса и горючки выбивал барыш, хоть потом и кровью давались эти деньги. С тоской озирая убогое празднество людей, вороньим разгулом своим застящих свет великой Победы,

слыша похабные песенки, когда бы и помолчать, уставив глаза в горестно прибитую траву, как было не помечтать Ивану Матвеевичу, чтобы на грешную землю тем же мигом повалился крупный град или ударил дождь, налетел бы вызванный силами мёртвых окопников очищающий вихрь, смёл бы страшную вакханалию, отстоял бы эти речушки и деревца в войне с ними человека, от первобытной низости ли, от большого ли ума пошедшего на родную землю напалмом...

— Ах, вы посмотрите, что творят! — от сердца, не умея более держать при себе эту боль, выстонал старый солдат и в другой раз покаялся, что побрезговал школьным автобусом.

Иван Матвеевич ещё помаячил у моста, от которого торчали из воды красивые бортики, а на них сидели вороны. Он даже покричал девчужке, с ведрами спустившейся под угор, чтобы она позвала кого-нибудь из мужиков, но она за звоном дужек не услышала. Собственно, обойти разлив можно, если всё время забирать лесом, только вот ноги бить в обход. Но что ноги? Так, кости, а мясо нарастёт; бывалый солдат завсегда об обувке больше печётся. А вот обувка не та, не походная...

Ельником, дав большого круга от разгульной публички, глядеть на которую особо не хотелось, брёл Иван Матвеевич, отступая в глубоком мху, в каждую пору втянувшем сырость. Здесь, в лесу, где остро и чисто пахло водой и багульником, сердце отмякло. Он перебрёл малую протоку и сел на колоду отжать носки, когда со стороны рва, откуда вяло доносило музыку, жахнуло. Дробь прошла по нижним ветвям ёлки, под которой он примостился, а затем со свистом пронеслась уточка и, мёртвая, бухнулась в ернике. Вместе с выстрелом, с гулом его, который не успели рассосать вода и лес, Иван Матвеевич вздрогнул от мысли, которая всю войну наступала на пятки, а в миру отстала: а ну как сейчас же, на этом самом месте под ёлкой горло захлестнёт смертью и жизнь покинет его, как птица старое гнездо?

“О-хо-хо, жись Ивана Горошого, ни шиша хорошего!” — невесело покачал башкой солдат, которого близость края лишь всколыхнула, а вослед этой встряске великое упоенье белым светом сотворилось во всём теле, будто лежал он с кареглазой девкой на молодом сене.

Стыдливо зажмурившись, он пошарил за пазухой и достал синенький блокнотик, который с почётном вручили на митинге. В блокнотик этот заносят всякие важные дела, а затем с оглядом на писаное аккуратно живут целый день, не психуют без повода и не лаются со старухой.

— И для чего тратились? — с уважением и трепетом перебрал сухим пальцем чистые страницы. — Лучше бы курево выделили, как на фронте! А то мне ведь и записывать-то в эту книжечку нечего, последнюю графу мараю...

Блокнотик он всё же бережно убрал подале, решив, что ему эта бухгалтерия ни к чему.

— Отдам Таисии на память, у неё всю дорогу планов, как у партинструктора!

Он поскорю обулся и направился искать переправы через шумящую речку. И в этот миг ударил другой выстрел, и, может быть, дробь прошла как раз по тому месту, которое он покинул...

А день шёл в закат — тёплый, солнечный, с лёгким ветерком, при редких облачках. По упавшему через речку бревну раскорякой, да и то не с первого раза, поспел Иван Матвеевич на тот бережок, на чистый белый песок, на котором не отразились следы людей, и сквозь седой от света ольшаник выбрел со стороны болота. За расступившимся ельником чернели крыши изб, оплетённых нехитрой городьбой, и ярко горело на солнце цинковое покрытие пятистенка участкового милиционера. Шагать по кочкам сделалось несподручно, тряско. Он выискал палку и, прежде чем ступить, шуровал ею впереди, опасаясь завалиться в ледяную сырость, правил серой свалившейся осокой, которая держала сухую лёгкость стариковского тела.

И вдруг снова проклятая музыка! Или послышалось?

Нет, за полоской берёзок сверкнуло лобовое стекло машины. В ней Иван Матвеевич опознал белый “Жигуль”, которого уже видел утром. В последние годы много шпаны наводняло село. Здесь они чувствовали себя вольгот-

но, как на чужой, полонённой и оскверняемой земле. Не таясь, курили анашу, сосали пиво, шатаясь по улицам, били в брошенных избах стёкла, угоняли лодки и пакостили в огородах, а от голубоглазых наркош и вовсе не было отбоя.

“Ладно, пусть люди отдыхают! Сам — права Таисия — покуролесил на веку, — согласился Иван Матвеевич, чувствуя и свою неправоту тоже и душевно желая, чтобы всё шло на паях с природой. — Лишь бы чего не сотворили по недогляду...”

И только он так подумал, как золотой шубой завернулась прошлогодняя трава, затрещала сухая будыла и косою белый парус затрепетал на ветру. Иван Матвеевич встал как вкопанный. Он ещё надеялся, что вот сейчас набегут, затопчут огонь сапогами и зальют из лужи...

Что же, на войне и ему приходилось идти огнём, однако Иван Матвеевич всегда помнил, ради чего пущен смертельный пал, подбирающий, будто летошнюю ветошь, людей. Ну, если тогда не поднимал умом этой тяжкой ноши — больно зряшное дело, стоять по локоток в крови да беречь чистоту сапог! — то, по крайности, чуял зверьи, как легко эту жизнь вобрать в одну ноздрю, а высморкать из другой. Но спасти, вывернуть из огня, распинать головёшки... А к этим, которые сами давно скрылись в скверне, словно в блиндаже, с чем было идти — с поднятыми? с изготовленными ли к драке руками?

С такими мыслями, расшевелив душу, словно осиное гнездо, пасмурный и усталый, направился Иван Матвеевич к бойкой компании, как ни остерегала его Катеринка, вымелькивая ясным солнышком из-за тучки.

Кругом машины уместились на досках, поставленных на кирпичи, три крепких мужика и две молодухи с голыми коленками, явно не жёны. Эта публика сразу не глянулась Ивану Матвеевичу. Что-то, уже и за скотство шагнувшее, было в них, недаром даже в своём бесстыдстве они бежали от других, пристроившись в скрытом месте у болота, где отродясь не водились гулянки, разве вороны по зиме раскопают палую корову и попируют вволю. На газетках, трепавшихся на ветру, было тесно от дорогой жратвы. От неё же сыто выперли неизработанные тела мужиков и острые груди мокрощелок, не знавшие детских губёнок.

— Ты меня любишь?! — пьяно орали в голос пигалицы и, косо глянув на хозяев, являя глазами самочью доступность и вседозволенность в обращении, сами же и отвечали: — Ага-а! А ты со мной будешь? Ага-а-а!

Верно, был ещё пацан лет тринадцати, ешибавший на одного из бритых воротил — такой же мускулистый, с хмурым подлюбным взором и крепкими, наторевшими в драках кулаками. Это он настроил из сухой польни домики и, запалив с головы найденную на помойке куклу, изображал налетевший на село истребитель, громко гудя и капая огненными брызгами пластмассы. Домики вставали дыбком, от жара разворачивалась в смертельной истоме трава, а позади быстро разрасталось чёрное остывающее пятно, будто, надрезав с краю, с самой земли снимали кожу вместе с волосьями. Кукла, раз за разом воспаряя над безвестным селеньем, над русской землёй, чёрно и зловонно пылала в воздухе, застя своим мёртвым копчением отпрянувшее солнце, и руки её, раскинутые в стороны, и вправду походили на крылья.

— Эдюша, не обожгись! — время от времени окликал пацана один из мужиков, который, подогнув ногу под себя, сидел посредке, делая знак, чтоб наливали или пели.

— Я, батя, как мой дед, пало деревни! — держа куклу за ноги, мрачно отзывался Эдик. — Гляди, как они горят! Я сейчас ещё эту... как её? кресты нарисую!

— Кресты, сынок, это фашистская символика! Ну, фишка у них такая была, рисовали везде свастику...

Он вдруг закрал огромной глоткой, надув щёки в красный сарафан:

— Зи хайль, Гитлер! — и первый захихикал всеми жирными мясами.

— Рот фронт! — взлетели вверх руки его корешей, а пигалицы, при молкшие было, невпопад вспомнили из школьной поры и завизжали с восторгом:

— Руси швайн! Руси швайн! Яволь?

— Яволь, яволь! Наливай, не бараголь... — хмукнул чёрный жилистый парень.

До леса, до ярко-зелёной, будто обмытой хвои ёлок оставалось с гулькин нос. От реки, как на пропасть, подул ветерок, понёс горячую пепелицу. Высокая трава вспыхивала снизу и, словно задираемый ветром бабий подол, шумящим куполом взлетала кверху, быстро охватываясь до самой маковки огнём, и, падая, на лету истлевала в серый столбик. Из пылавшей травы поднимались птицы, которые уже сделали выкладки и обихаживали будущих птенцов в безопасности некошеного луга. Они громко щебетали, посылая проклятья на пенно-золотую гриву, тонко-тонко промелькивали в воздухе крыльями, держась на одном месте, но не улетали, лишь воспаряли, когда пламя с нахрапом вздымалось под ними. И вот уже на одной из берёзок, в белой косынке ступившей поперёк огню, завернулась снизу кора и опалились ветки, из которых недавно выклюнулись в коричневой чешуе копытца и едва-едва нагнулись клейкие листики, обвитые первой паутиной.

Огонь, как выученный солдат, бежал короткими перебежками, то затаиваясь, чтобы сориентироваться по местности и перевести дух, а то срываясь бешеным валом. Вспыхнули охотничьи скрадки из соломы, заалели тонкими позвонками и обвалились жердочки, а Иван Матвеевич живо вспомнил, что в Белоруссии так же горели скирды свежубранной пшеницы. Только лишая обывавших озёр, уже подёрнувшиеся нежной травой, оставались нетронутыми, и на молодой грязи сидели разноцветные бабочки. Их Иван Матвеевич увидел очень хорошо, и душным пеплом обдуло его лицо, когда, как в прежние времена, он вылетел на передовую.

— Что же вы это утворяете, а?! — с ходу хрипло закричал Иван Матвеевич, а сердце бух-бух в груди. — Что, других игр не нашли?!

На лужайке замерли с пластиковыми стаканчиками в руках, примолкли пигалицы. Один пацан ничего не слышал, ибо заткнулся от мира наушниками, чёрные проводки от которых тянулись в карман светлых джинсов, где бугристо выпер под напором сильной ляжки мобильный телефон.

— Ты чё, батя, орёшь? Чем недоволен? — первым поднял голос дёрганный мужичок, голый до пояса, и обколотые синеваой жилы рук с появлением чужака напряглись. На дощатой груди прокажённого сикось-накось светилась надпись: “Тюрьма не школа, прокурор не учитель!” Он приставил к уху ладонь воронкой: — А-а, не слышу?!

— Вы же так лес сожжёте! Смотрите, сушь какая! Понесёт ветром огонь, дак уже ничем... Вон он, ельник-то, а в нём сухие мхи!

— А ты чё, лесником тутошним промышляешь?

— Нет, я не лесник, слава Богу, а то я бы с вами не так разговаривал!

— Бугор, чё он гонит?! Ты откуда взялся-то, балаболка?

— Кто — мы подожжём?! Да упаси бог! Ну, балуетса малый, с кем не бывает... — отец Эдика — Бугор — пожал плечами, ласково глядя на Ивана Матвеевича. — Присядь лучше, отец, выпей с нами за праздник, не откажи!

— Противно мне пить с вами, алкашами! — не удержался Иван Матвеевич.

— Э, дед, за базаром следи! Где алкашей видишь?! — напрягся чёрный от раннего загара парень, весь в кубиках жёстких мускул. Он всё это время молчал, сцеживая себе под ноги через забранную в рот соломинку жёлтую слюну, и очень был увлечён этим.

— Мальчики, только не ругайтесь! — закуривая тонким бледным ртом, вздохнула светловолосая девчонка лет семнадцати.

Другая, полненькая, у которой сбилась на голое плечо тесёмка лифчика, отогнув мизинец, заграбастала пивную бутылку и, запрокинув коротко стриженную чёрную головку, припала к блестящему горлышку податливым красным ртом.

— Дай, Верка, сигарету — я засохла без миньету! — отпив, попросила она свою спарщицу по стыдному занятию, а уловив на себе укорный взгляд Ивана Матвеевича, вся скорёжилась мордашкой, как береста на огне. — Ну чё, дёд, zenки пялишь? Я за просмотр ваще-то баксы беру!

Покатилась со смеху, отхаркнув косточки помидоров.

— Не ополоилась? — с улыбкой спросил Иван Матвеевич.

— Чё?!

— Я говорю, мол, не напрудила в штаны, от смеха-то?

— Ты — старый пень собакам срать! В натуре, чё пургу несёшь? — она поглядела кругом и смыслено шмыгнула носом. — Он чё, так и будет меня оскорблять? А-а, крокодил Гена? Я тогда щас соберусь и уйду!

— Да не, Надюха, зачем? — сказал чёрный парень, Гена. — Батя рамсы попутал, не на тех, короче, бочку покатыл... Слышь, старик, гребни отсюда!

Всё разом, что болело в нём весь этот долгий день, взялось в Иване Матвеевиче от единого слова, будто в самую душу его, смётанную из сушья, сунули горящую спичку, и он, не сдерживаясь более, зажмурился и с яростью своей правоты пинком расшиб застолье.

— Вот вам, сволочи, вот! — для пущего страха провернул ботинком по хлопнувшим пластиковым стаканам. — Пожрали?! Выкусили?!

Расхристанной водкой окатило лицо Бугра, который даже не шелохнулся, задумчиво шурясь на дым длинной коричневой сигареты, от которой душисто пахло. Зато в злую стрелку ушли узкие губы прокажённого. Чернявый опередил его, быстро поднялся с земли — и в движение его было много силы и злости. “С таким в атаке хорошо”, — невольно заглядевшись молодым человеком, подумал Иван Матвеевич.

— Зря, старик! — рывком забрав грудки Ивана Матвеевича в кулаки, чернявый присвистнул: за посыпавшимися пуговицами из-под куртки блеснуло. — О, бля! Да ты воин-победитель! Чё ж ты молчал? Дай-ка хошь одну медаль погарцевать!

— Не трожь! — тихо попросил Иван Матвеевич.

— Вот эту возьму, — не слушая, сказал Гена и протянул руку к ордену Красной Звезды. — У тебя их всё одно две!

Но Иван Матвеевич был начеку и, дивясь, что не забыты навыки, выбросил вперёд левую руку, пересекнув встречное движение к наградам, а правой не так сильно, как хотел бы, шлёпнул в лицо. Он уже не владел собой и только знал, что нужно остановить огонь. Однако прежде требовалось как-то вразумить этих людей, которые отпрянули от него и выжидали друг от друга, кто же первый бросится ему на горло. И первым, обмахнув запылью красным нос, шнул в живот крокодил Гена, а за ним прокажённый поддал локтем...

— Гена, ты что?! Ну, Бугор, что они делают?! Я бою-юсь! — закричала светловолосая Верка.

Её с силой зашпилили в машину, где уже сидела Надюха и, выученный в подобных вылазках, освоился за рулём Эдик, глядел в зеркальце и давил на лице прыщи.

— Не на-адо, ну не на-адо! Он же совсем старик, как вам не жа-алко-о!

— Сиди, дура, здесь, и не рыпайся!

Обожженная, курившаяся земля быстро повалилась на Ивана Матвеевича, а в затылок больно ударился кирпич: не то сам, падая, свернул сидище, не то в горячке перепало из чьей-то руки. Кто-то, смрадно дыша, надвинулся на него и заглянул в лицо, шаря по груди.

— Жив я, жив, ребятки! — едва слышно вынес из себя Иван Матвеевич. — Ничего, я сам вино...

О, да не сердце его искали, чтобы проверить, бьётся оно или нет, а паршивые железки срывали с пиджака! И большее, чем от удара, сделалось, единой опухолью взялось тело. Наперев в рёбра, ища из потоптанного нутра выход, брызнула из носу кровь и потекла по шее, за уши, а он всё оттягивал белый воротничок, чтоб его не запачкало.

— Нет у меня Героя, не ищите! — резко видя сжатый рот человека и жёлтые, с чёрными жгучими перцами посередке глаза, сказал Иван Матвеевич. — Не золотые они! Простые, как у всех...

— Тиши, отец, тише! Извиняй, нечаянно получилось...

— Ну, долго ты? Чего ты? Давай сюда! — закричали словно с другого берега; зарычала и, стрельнув, упорхнула машина...

Забываясь, он слышал, как шаяла и трещала трава, будто сам он, каюсь во грехе, в том, что не дал высокого боя, рвал на голове седые волосы. То ударил сильный синий дождь, похоронными пятаками стуча в грудь Ивана Матвеевича, бережной рукой смахивая с пиджака пыль сапог.

“Тася, прости!” — почему-то высверкнуло в памяти, и Иван Матвеевич всей кожей почувствовал вековой холод земли.

Завалиясь на бок, оскребая пуговицы на горловине хрястнувшей вдоль спины рубашки, Иван Матвеевич к вечеру, кажется, успокоился. Но краем остывающего сознания он всё ещё видел низкое мутное небо и осиротелых птиц, которые носились с рыданиями над выжженными гнёздами, над лопнувшими в огне яйцами, над осквернённой и потоптанной Родиной-муравой...

* * *

Наткнулись на Ивана Матвеевича после праздника, в кочкарнике возле воды. Там ещё лежал голубой лёд, на который прибегали из села собаки — кататься и очёсывать шерсть.

Его боевые заслуги, мёртво блестя в мокрой траве, валялись среди пивных пробок, а в воздухе над этим гиблым местом кружили серые чайки. Они вымелькивали в ненастной зге, плескали крыльями, будто клали белые кресты над павшим воином, сходились в небе и сверху, с укором взирая на стыдливо зазеленевшую после дождя землю, кричали и плакали навзрыд.

Приехавший из города молоденький, похожий на необдутый одуванчик следователь, щелкнув серебристым замком портфеля, восторженно огляделся и сказал, что он только по телевизору видел таких больших чаек.

ЕВГЕНИЙ СЕМИЧЕВ



ГРОМЫХАЕТ БОЖЬЯ БИТВА...

КРЕМЛЁВСКИЙ ОБЕД

Я вспомнил полустанок свой,
Затерянный в степи.
Бачок вокзальный питьевой
И кружку на цепи.

Такие были времена —
Душой не покривлю —
Была прикована страна
К Московскому Кремлю.

Переживала моя степь
Наследие войны...
Потом и с кружки сняли цепь,
И сняли со страны.

Я вспомнил детство, дурачок,
С печалью на челе,
Когда увидел тот бачок
На празднике в Кремле.

СЕМИЧЕВ Евгений Николаевич — поэт, член Союза писателей России, секретарь Союза писателей России. Автор книг “Заповедный кордон”, “Свете Отчий”, “Соколки русской земли”, “Небесная крепь”, “Великий верх”, “Аргуван” и других. А также автор многих публикаций в центральных и региональных изданиях России. Живёт в городе Новокуйбышевске Самарской области.

Чем он меня затронуть смог
Весенним ясным днём?
Ведь в нём всё тот же кипяток,
Заваренный Кремлём!

И только не было цепи,
Как будто с детством связь
В послевоенной той степи
Навек оборвалась.

Официантов стройный ряд,
Застывший вдоль стены.
У этих праздничных ребят
Лицо моей страны.

И одноразовый стакан
Дрожит в моей руке.
И пролетарии всех стран
Глядят на Кремль в тоске.

Кремлёвский праздничный обед
В глазах моих застыл,
Как белый вольный Божий свет,
Что в детстве красным был.

И я своей душе сказал,
Что это торжество
Напоминает мне вокзал
Из детства моего.

* * *

Привет вам, цветы полевые,
В мой отчий влюблённые край.
Когда вас увидел впервые,
Проснулся в душе моей рай.

Я понял, что рай ещё помню.
И поля шатровый овал,
Как щедрую руку Господню,
Создавшую вас, целовал.

Простите анютины глазки,
Татарник, шалфей, иван-чай,
Что прежде без дружеской ласки
Я вас оставлял невзначай.

Поклон вам мой самый сердечный.
В родимой моей стороне
Своей красотой безупречной
Вы сердце утешили мне.

Я вас заключаю в объятия,
Когда на коленях стою.
Мои молчаливые братья,
Мы встретимся в Божьем раю.

Небесной согретые дланью,
Цветущие каждой весной,

Не вы ли земное признание
Всем сущим в любви неземной?

Я плачу по Родине отчей,
А вы благодарно в ответ
Склоняясь, целуете очи,
И сердцу даруете свет.

* * *

Коротка из рая в рай дорожка.
Праведник любой дорожке рад.
Можно удлинить её немножко,
Завернув по ходу в смертный ад.

Можно наломать грехов, конечно.
И хлебнуть гордыни через край.
Только и чистилище не вечно.
Из него ведёт дорожка в рай.

Всё известно грешнику заране
На крутой поверхности земли.
Если Русь мне — Божье наказание,
Боже, наказание мне продли!

* * *

Нет победителей в бою,
Ведь каждый, кто убит,
Уверен, что к вратам в раю
Щит воинский прибит.

Нет побеждённых на войне
И проигравших нет,
Ведь каждый, кто сгорел в огне,
Сам обратился в свет.

Нет пострадавших на земле,
Ведь каждый, кто любил,
К щиту Господнему во мгле
Луч солнечный прибил.

* * *

В землю молнию вбивая,
Прогремел вселенский гром.
Высоко Господь на сваи
Ставит свой небесный дом.

Подпирает Бог столбами
Неба горнее крыло,
Чтобы грешными слезами
Храм вселенский не снесло.

Рассекает воздух пламя,
Гулко в небе грохоча.
В золотом вселенском храме
Возжигается свеча.

Посреди молитвы слёзной
Над землёй в который раз
Упреждающе и грозно
Раздаётся Божий глас.

В небе, грохотом объятый,
Грозно мечется в огне
Божий кмет — Георгий Святой
На пылающем коне.

Льётся слёзная молитва,
Плачут ангелы во мгле...
...Громыхает Божья битва
Ради жизни на земле.

АЛЕКСАНДР ЦЫГАНОВ



ВОЛОГОДСКИЙ КОНВОЙ

ПОВЕСТЬ

Я начальник отряда осужденных. Или отрядник, как говорят все кому не лень. И сотрудники зоны, и сами осужденные, и родственники, приезжающие на свидание... Конечно, порой не удержишься и поправишь того или иного, но проку в этом нет: все равно язык у всех на привязи не удержишь. А наш-то почет одним нам и достается, потому что наша честь с утра и до позднего вечера — в зоне...

Воспитатель, советчик, начальник, отец, старший брат, вершитель судеб — все в одном лице. И здесь только сердце — вещун, а душа твоя — мера...

Часть первая

Ясны очи

Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте.

Ф. М. Достоевский

1

Казалось, считанные дни, как я здесь, в этом небольшом лесном поселке, на дальнем северном бездорожье, забытом и Богом, и людьми. Но после того, что произошло сегодня, вдруг разом нахлынуло, вспомнилось...

ЦЫГАНОВ Александр Александрович родился в 1955 году в деревне Блиново Вологодской области. Служил в ракетных войсках. Окончил Вологодский педагогический институт по специальности учитель русского языка и литературы. Около десяти лет работал в колонии усиленного режима в должности начальника отряда. Автор нескольких книг прозы. Лауреат литературной премии МВД СССР, премии Вологодской области по литературе. Член Союза писателей России. Живёт и работает в Вологде.

В Людиново я добрался поздним мартовским вечером: было уже исчерна-темно и неуютно-настороженно вокруг, нахлестывал беспрестанный ветер с брызгами невидимого дождя...

А сначала, после вынужденного недельного торчания в белозерском райцентре, я наконец-то попал на самолет, который заменил лыжи на колеса и через пару часов благополучно приземлился на поле с раскисшим снегом, подсиненным наступающим вечером.

Пилот передал подошедшему мужчине в шапке с кокардой два бумажных мешка с почтой, подмигнул нам и закрыл дверцу. А мы, взяв поклажу, отошли к деревянному домику, над входной дверью которого висела потемневшая от времени доска с надписью: “Аэропорт Северный”.

Самолет взревел и, разбрызгивая стеклянным веером лужицы, завис в воздухе — и точно поплыл, скрылся за лесом, оставив за собой гул, — по небу широко, по земле далеко... И теперь я оставался один на один с неизвестностью, которая не то чтобы пугала, но, по крайней мере, напоминала о себе легендами и небылицами об этих жутких и непонятных местах... Не хочешь, да задумаешься.

“Меньше надо говорить, меньше надо говорить...” — непонятно почему нашептывал я себе, считая, что этим избавлюсь от случайных и необдуманных слов.

Мы вошли в домик, и хозяин открыл комнатку. На большом столе громоздилась всевозможная аппаратура, там что-то попискивало и потрескивало, но после щелчка тумблера все стихло.

— Николай, — застенчиво протянул мне руку хозяин, — здешний начальник аэропорта. Он же и сторож, по совместительству.

Вскоре мы пили чай и, поглядывая на глубокие колеи разбитой дороги, мирно беседовали. Вернее, Николай рассказывал о Северном, где он родился и вырос. “Ага, ага”, — то и дело добавлял он в разговоре, придавая тем самым своей речи необыкновенную притягательность. А красную-то речь красно слушать да на ус мотать.

Оказывается, от Северного до Людинова, куда мне надо, всего-навсего тридцать верст, но даже трудно представить, как они даются. Добираются по шесть-восемь часов, если, конечно, все нормально. Пока дорога не провалилась и ровда не ушла — в жизнь не вылезти из Людинова. Так сиднем и сидят. А зимой, когда застывает, ее сначала “гэтэской” укатывают, потом еще “ураганом” пройдутся, а следом уже автобус посылают. Так пока дорогу укатывают — тягач, случается, по самые уши проваливается, посылают на вырубку трактор — и “сотки” садятся. Прямо беда да и только. А ранней весной или поздней осенью все объездом одним — так без молитвы и в путь незачем собираться. Тело-то, может, довезешь, а уж за душу не ручаешься. А случись что, ткнуться уже некуда: по пути три деревушки почти пустые, в каких домах старики да старухи даже часы на новое время не переводят. Говорят, нам спешить некуда, мы свое отжили, а время везде одинаково. Но в этом году дорога еще держится, так напрямую можно идти — все скорее да надежнее.

А сам Северный раньше райцентром был. Военкомат и милиция на бугре, а на берегу, рядышком, и роно с райкомом. А потом, после известных перестроечных событий, и стал Северный просто поселком. Но населения, правда, и сейчас тысячи три наберется, не меньше. Свой леспромхоз, сплавучасток, колхоз и сельпо имеются. Хотя, как и везде, все на ладан дышит. Даже два участковых приставлены. Только они что есть, что нет: то по своим делам разъезжают на казенном мотоцикле, а то, глядишь, лыка не вяжут. Начальство, конечно, отругает хорошенько, когда надо, а выгнать не решается — никто в такую глухомань не полезет. Своя рубашка ближе к телу.

Только здесь ко всему привыкли — вдосталь нагляделись да натерпелись. А как еще послушаешь, что людиновские из зоны рассказывают, когда в аэропорт приезжают, так только и подумаешь: “Слава Богу, тут еще рай, жи-ви да радуйся...”

Николай прислушался, затем кивнул уверенно:

— Машина из Людинова идет, больше неоткуда, ага, ага...

Прижавшись к оконному стеклу, я чувствовал, как сильнее и горестнее забилось сердце: из-за леса, воя, выползала машина. Громоздкая и темная, она упрямо двигалась к аэропорту, заваливаясь на каждом шагу в колеи и колдобины... Куда Господь Бог несет?..

Перед посадкой на самолет я набрал номер телефона, куда мне в свое время посоветовали звонить, однако не обмолвившись ни одним словом о тех трудностях, которые предстояло перенести. То ли забыли, то ли не нашли нужным обращать внимания на такие мелочи. И после шума и свиста слышались слабые гудки, следом далекий, пододеальный голос ответил откуда-то: “Людиново слушает, говорите!”

Назвавшись, я попросил сообщить дежурному, как меня учили, что скоро вылетаю, чтобы встретили.

“Сообщим!” — коротко заверили из таинственного Людинова, и связь разом оборвалась, точно ее и в помине не было.

И сейчас, подхватив сумку, — долгий путь, да изъездлив! — я простился с Николаем, глядевшим на меня необычайно сострадательными глазами, и шагнул на улицу к машине. Дверка ее, заляпанная грязью, задергалась и задрезбуждала, потом со скрежетом открылась, и оттуда вылез, согнувшись, мужик в годах, широкоплечий и кривоногий. В бушлате и кирзовых сапогах.

— Поедем, что ли, — обронил он глухо. — И так запозднились — в двух местах по самые мосты сели. Дорога, будь она неладна. — Сам мрачный, да и смотрит не россыпью, а комом, но — спокойный. Таким как-то сразу верится, а вера животворит, это мы и сами знаем.

Машина шла тяжело, ухая в выбоины, которых было такое множество, что даже сам сопровождающий, Владлен Григорьев, только морщился устало... Кажется, тут свет клином сошелся!

А по обеим сторонам дороги бесконечно тянулся черный лес; проехали небольшое кладбище, и Владлен Григорьев вполголоса рассказал, между делом кивнув на краснорукого водителя, не имевшего ни бороды, ни усов, ни на голове волос:

— Глухой, здесь такие и нужны... А на кладбище этом эки горемычные лежат. Сгорели они, пятеро, разом — как и не жили. А дело такое: переезжали из одного оцепления в другое, вагоны еще деревянные были. Дороги верст двадцать набиралось, не меньше. Да еще гэсээв в придачу надо было отдельно перекинуть, а тут — зачем лишняя волокита! — подцепили к вагончику с людьми — и вперед. На новое место. По пути кто-то покурил, а чинарик и бросил в сторону, по привычке. Что люди, то и мы... Скоро и занялось. А деревянное — разом пыхнуло! Охрана повыскакивала, оцеплением встала, автоматами щелкнули — к бою готовы! Веселое горе — солдатская жизнь!.. А в вагоне уже вовсю полыхало, ни жить, ни быть. Мужики орут, окна с решетками высадили — и на волю рваться!

Начальником конвоя был прапорщик Бись, Михайло Маркович, он по гражданке еще в медиках начинал, да на первых порах все не в свое дело норовил лезти — помогал встречному да поперечному. А на добреньких воду возят, сразу и надорвался. После быстро смекнул, в чем дело, да в общий ранжир и встал. Даже вперед вырвался. Бывало, больного доставят, а он: “Ну что: будем лечить, или пускай живет?..” Так и прозвали. Заметь: человек шутки не шутил. И здесь тоже: то ли растерялся, то ли совсем испугался — матерится: “Стрелять буду! Назад! Назад! По местам!” А куда назад? Назад уже некуда — только вперед!.. Тогда Бись и орет конвою: “Огонь!” Пальба открылась такая, что эти пятеро побоялись и нос из вагона высунуть, ведь решето сделают и глазом не моргнут. Правда, потом выяснилось, что в основном стреляли поверху, да после драки кулаками не машут. Так они, бедные, руками обхватились друг с другом в обнимку, да так и сгорели... Вот ведь как: свет велик, а деваться некуда...

Взгляни-ка на меня; горе идущему, горе и ведущему!..

— Было хоть что-нибудь начальнику конвоя? — сорвался я на внезапный крик на одном особо тряском месте: меня как-то необычно бросило вбок влево — и сразу же вправо, а следом — вверх, и я разом взмок; как ни гнись, а поясницы не поцелуешь...

— Известно дело, парень, — сопровождающий впервые глянул мне в глаза, — вологодский конвой шутить не любит: шаг влево — агитация, шаг вправо — провокация, прыжок вверх...

Тут его и самого столбиком под крышу подкинуло, но он, казалось, не обратил на это внимания:

— А прыжок вверх — попытка к побегу. Спускаю собаку. Собака не догонит — пуля догонит; пуля не догонит — сам раздеваюсь!..

Так говорил Владлен Григорьев, сам в свое время отсидевший здесь положенное от звонка до звонка, а по освобождении оставшийся в этих местах и до сих пор работающий механиком на нижнем складе.

— А насчет было или не было... — Владлен для чего-то попротирает лобовое стекло. — Да ничего: в другую колонию перевели. Можно сказать — повысили. Здесь все и без того круглые сутки как под конвоем. Спроси любого поселкового: только и мечтают любыми путями отсюда выбраться. Гиблое место. Тут говорят: кто в Людинове пять лет отпашет, можно “Героя” давать, — усмехнулся сопровождающий и добавил: — Или “орден Сугулова”... А если серьезно: человек приказ выполнял, а они не обсуждаются. И потом: в такой неразберихе в два счета можно и ноги сделать, в бега податься. Не скоро и на след выйдешь: кругом тайга...

Но не успел я собраться с ответными словами, как впереди вдруг блеснул свет прожектора: чисто и одновременно как-то зловеще маячил он из темноты, вызывая неосознанную тревогу... И побежала дороженька через горку!

— Нижний склад, — выпрямился Владлен Григорьев. — Считай, на месте. Через два кэмэ — и поселок.

В Людинове машина взобралась на взгорок, оказавшийся потом мостиком, и, спускаясь, выхватила фарами торчащий на обочине дороги щит, на котором поверху крупно было написано: ЧТО? ГДЕ? КОГДА? — А ниже, на обрывке киноафишной бумаги, глаза успели пробежать: “ЗДЕСЬ ТЕБЯ НЕ ВСТРЕТИТ РАЙ”.

Со щита как ветром сдуло взлохмаченную ворону, умчавшуюся в темень с хриплым криком, похожим на колдовской хохот сказочного злодея: “Ур-ря! Ур-ря! Ур-р-ряя!..”. Родясь, не видывал, умру — не увижу.

Машина, взревев, остановилась возле двухэтажного деревянного здания — штаба учреждения, над входной дверью которого, под лампочкой в железной сетке, красовалась надпись: “ВОСПИТАТЕЛЬ САМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОСПИТАН”.

Напротив, освещенный, стоял тепловоз с прицепленными вагонами, из которых, спрыгивая, шли люди, одетые в черную одежду, — и прямым ходом к высоченным открытым воротам, окованным железом; с обеих сторон тепловоза — молчаливые и усталые — солдаты с автоматами на изготовку; у одного с накрученного на руку поводка рвалась заходившаяся в лае овчарка; что-то кричали друг другу несколько офицеров возле шумно работающего тепловоза; из кабины его безучастно вертел коротковолосой головой молодой парень в шапке, лихо посаженной на макушку...

Начало трудно, а конец того мудрен; и направился я в штаб: первая дверь налево, постучал и, услышав: “Войдите!” — не помня себя, шагнул.

За двойной дверью с тамбуром — комната; дюжина стульев, у зашторенного окна стол, а на стенах, обитых коричневыми листами дэвэпэ, несколько красочных таблиц и портрет главного чекиста, выполненный, видимо, самодельным художником. Потом оказалось, что практически во всех служебных кабинетах была такая же работа, только в оперативно-режимной части она отличалась чем-то назойливо-неуловимым, а чем, наверное, так и останется для всех тайной. Да много знать — мало спать.

За столом, опершись локтями на полированную столешницу, сидел майор с приплюснутым носом и блестяще-коричневыми глазами, которые смотрели на меня немигающе и внимательно. Изучали да запоминали.

— Заместитель начальника учреждения по политико-воспитательной работе Мирзоев Рамазан Рамазанович, — в ответ на мое представительство почти без акцента ответил майор и, привстав, крепко-накрепко пожал мне руку. — Ждем, ждем. Давно ждем...

И, пригласив сесть, Мирзоев с неторопливой дотошностью стал расспрашивать: верно ли, что я пошел в органы внутренних дел добровольно, а также кем являются и где работают мои родители, и где я жил, учился и трудился до того, как...

Невелика недолга, и уж мои-то данные Мирзоев и без того мог сто раз выяснить, но я вспомнил, успокоившись, о характеристике, данной сопровождающим моему теперешнему начальству: “Ваш замполит, наверное, и во сне держит руки по швам. На всякий случай”.

Зазвонил один из трех телефонов, аккуратно расставленных перед замполитом. Мирзоев стремительно овладел трубкой и, внимательно выслушав, на глазах побурел:

— Нельзя этого делать!.. — Он сморщился так, что верхняя губа подползла к кончику носа. — Мы тут посоветовались, — Мирзоев обвел отсутствующим взглядом комнату, ни на чем конкретно не задержавшись, — и я решил: все оставить по-прежнему!

Было понятно, что у него здесь все на местах, как соловьи на гнездах.

Несмотря на мои отнекивания, Мирзоев споро договорился об ужине в роте, и мы с ним славно ударили по щам и гречневой каше, на верхосятку дунув еще по стакану компота. Не хуже, чем дома.

Общежитие, в котором мне предстояло жить, оказалось напротив солдатских казарм. Комната с узкой кроватью и столиком у окна была на одного. На завтра до обеда мне разрешалось знакомство с поселком, а потом ждала зона и обход по ней вместе с Мирзоевым. На том мы с замполитом и расстались. Переводя дух, я огляделся: главное, жить можно, терпимо.

Говорят, что милует Бог и на чужой стороне; и эта комната с солдатской кроватью да столиком у окна заменит мне отныне родной дом.

Надолго ли?.. Теперь уже поздно решать — сам выбрал. Конечно, если глаза немного разуешь, то спервоначалу и не по себе станет. Но ведь жили же здесь люди и до нас, будут жить и после нас. Разве не так? Что было — то видели; что будем — сами увидим; а еще и то будет, что и нас не будет!..

Помнится, мать любила говаривать: обомнетя, оботретя — все по-старому пойдет. А я всегда был в нашу родовую, тоже следом не отстаю: наше место свято!..

Разобрал я кровать — лег прямо в пиджаке, с головой укутавшись, а после уснул разом так крепко, хоть свищи, душа, через нос! И спал до самого утра, как маковой воды напившись.

2

Утром выяснилось, что поселок полностью находится на болоте, поэтому повсюду были мостки. И вдоль и поперек. Дома как на подбор: все барачного типа, разбросанные по обеим сторонам речушки Курдюжки. Возле общежития — магазинчик, следом пекарня, из которой валил черный дым, а на крыльцо то и дело выбегали лысые молодцы в исподнем с неизменными папиросами в зубах; ничем не примечательный садик и столовая примостились на окраине елового леса, из которого, добрые люди сказали, порывкивал порой мишка да плялись рыси с волками; а еще — библиотека.

Сюда я вошел поспешно, — только что не вбежал.

Библиотекаря, невзрачная и бледная — в чем только и дух держится! — медленно выводя буквы, заполнила на меня карточку. Между двух стеллажей — как тут и был! — бюст Федора Михайловича Достоевского; незабываемый взгляд его точно вопрошает о главном: о чем-то родном и давно забытом...

Здесь я и остался — взял “Дневник писателя”, в свое время так поразивший меня и заставивший о многом задуматься, крепко и надолго.

А выйдя из библиотеки, обнаружил, что в стороне, откуда мы приехали накануне, с трассой пересекается дорога, проложенная деревянными настилами и огороженная с обеих сторон колочкой; над всем этим — множество столбов с лампочками под черными абажурами... И потом, редкими свободными вечерами, непонятно отчего приходил я сюда и, незамеченный, смот-

рел, как идут и идут, растянувшись в длинную темную цепь, люди; и, точно живые, стонут и шевелятся под ними скрипящие и шатающиеся мостки; лай овчарок и хриплые грозные окрики; и хотя во время следования все разговоры строго-настрого запрещались, — голоса, голоса, голоса...

До сих пор неведомо, что же заставляет меня приходиться сюда, к этой старой расщепленной березе, скрывающей от чужого взгляда, но только доподлинно ясно: не узнав горя — не узнаешь и радости...

“У нас есть, бесспорно, жизнь разлагающаяся, но есть, необходимо, и жизнь вновь складывающаяся на новых уже началах. Кто их подметит и кто укажет? Кто... может определить и выразить законы и этого разложения, и нового созидания?..” — читалось потом в “Дневнике писателя”. А блящий ожидает здравия даже до смерти. Век живи, век надейся!..

“ВХОД В ЗОНУ ТОЛЬКО ПО ПРОПУСКАМ” — гласило на зеленой железной двери КПП при входе в жилую зону осужденных. И узкоглазый сержант все не мог взять в толк, что на меня выписан пропуск, пока не появился майор Мирзоев, и мы, благополучно миновав пропускной пункт, прошли несколько десятков метров и открыли дверь в дежурную комнату.

Но я успел-таки по пути оглядеться: кругом стенды да длинные дома-баракы, а на каждом из них — прожекторы, в этот час с бездействующим светлым глазом, потому что при необходимости фонарики горят да горят, а видели ль, не видали, понятное дело, ничего не говорят...

При нашем появлении всем как подсыпали перцу: вскочил за барьером сержант-сверхсрочник с красной повязкой на рукаве, а за порогом, вытянувшись, ожидал и сам дежурный: полный лейтенант со вскинутой к шапке растопыренной пятерней.

— Товарищ майор! — рявкнул он. — За время вашего отсутствия происшествия не случилось. Докладывает помощник начальника колонии лейтенант Сирин!

— Вольно! — покачал головой замполит, с любопытством глядя на дежурного: — Ну, Сирин, ну, Сирин...

— А что, Рамазан Рамазанович, по уставу действую. У меня закон — от устава ни на шаг. Железно!

Замполит, поцокивая, дернул щекой и представил меня: мол, прошу любить и жаловать. Новый начальник отряда Цыплаков Игорь Александрович — собственной персоной.

— О, пополнение, — заулыбался лейтенант во всю ширину рта. — Дело, дело! — А голос-то что в тереме!..

Знакомство с зоной началось с клуба, к которому была пристроена библиотека. В клубном зале находилось много коричневых крепких лавок со спинками, пронумерованных белой краской. Хотя и неуклюже, но зато старательно. Только около входа несколько скамеек выявилось без чисел — для администрации: здесь сидят сотрудники во время мероприятий; над головой — аппаратная... Экран — деревянный щит, обтянутый белой материей и отделяющий сцену от зала, — поднимался к потолку и возвращался на свое место завклубом, который сейчас мелким бесом вертелся вокруг да около и с молчаливо-благосклонного согласия замполита рассказывал мне обо всем этом, сладко жмурясь. Такой и до Москвы напояк без спотычки побегит — только заикнись!..

Длинные и серые бараки отрядов походили друг на друга, как родные братья. Разница состояла только в расположении: если первые три находились едва не вплотную, то остальные полукольцом охватывали зону. А в середине была вечерняя школа, столовая с медчастью и комната с надписью: “Совет коллектива колонии”. С торца неуклюже приткнулось еще строение, где вновь прибывшие проходили карантин. Вроде и не просторно, да дворно.

А на видном месте — напротив библиотеки — штаб, в котором помимо кабинета начальника колонии располагались и помещения его заместителей; в промежутке — небольшое поле. Здесь в хорошее время гоняют в футбол, а зимой это поле заливается, и на нем происходят нешуточные хоккейные баталии. Во всяком хude и верно, что не без добра.

Но вот и общежитие отряда, который мне предстоит со дня на день брать в свои руки... Вошли. День мой — век мой; что до нас дошло, то и к нам пришло...

Навстречу метнулся осужденный — жердьяй, в плечах лба поуже; брови — что медведи лежат; в нитку вытянулся перед замполитом, ни одна складка не скользнет по черной спецовке, сапоги — зеркалом; доложил:

— Завхоз отряда Сугробов! Отряд занимается по распорядку дня! — А сам неприметно на меня посматривал: конечно, известно, что ждется новый начальник.

— Ознакомьте Игоря Александровича с отрядом! — коротко приказал Мирзоев.

Завхоз Сугробов сразу деловито наладился объяснять расположение вверенного отряда, старательно помогая руками, глазами и даже своим подвижным телом: только знай запоминай. После входного тамбура следовало фойе — все в стендах, заполненных сводками, таблицами и призывами. Слева — две двери; здесь живут звенья отряда — по две секции в каждом помещении; справа — то же самое. Прямо пойдешь — дверь начальника отряда, а впритык, через тамбурок, вход в курилку с умывалкой.

В секциях — койки в два яруса, заправленные на удивление чисто, с подверткой простыни по одеялу, а между койками — одна на другой — тумбочки. В конце секции — еще двери: там каптерки, в них для одежды и обуви шкафчики, встроенные в стену; на всем прибиты и прикручены таблички с указанием фамилии, отряда и звена осужденного. А у входных дверей — алюминиевые бачки с водой. Все рассовано по своим местам — по сучкам да по веточкам, — просто, никаких излишеств.

Завхоз Сугробов, объяснявший деловито и толково, व्यюном заходил то с одного, то с другого бока, а замполит тем временем скрылся в кабинете начальника отряда, куда мы вошли в последнюю очередь.

И здесь глаз хозяйский на месте — прямо стол начальника отряда, напротив завхоза; десяток стульев, сейф и полка с документацией, а над окном, в разрисованных яркими красками горшочках, пущены к жизни цветы... Работай да любуйся.

Тут зазвонил телефон: майора Мирзоева приглашали в дежурную комнату зоны. Быстро выпроводив завхоза, замполит поинтересовался о моих впечатлениях и посоветовал остаться в отряде до вечера, который уже был не за горами: поговорить и познакомиться с людьми, а затем — при желании — сходить в кино, объявленное по случаю предвыходного дня. Засим крепкими пальцами застегнул на желтые со звездочками пуговицы свою длиннополую шинель, жамкнул мне руку — и только его видел.

Так все это непривычно и неожиданно! Точно сон... Да только много спать, так мало жить: что проспано, то уже и прожито... Так и сяк повертелся я в самодельном вертящемся кресле, поперебирал бумаги на столе, что-то неопределенное представляя, воображая...

Пройдет полгода, и будет присвоено первичное офицерское звание, как было обещано на собеседовании в управлении, куда я сунулся по настоящему совету одного бывалого и служивого приятеля, уверившего меня в правильности этого, единственно верного, решения... А там уж, глядишь, и в форме бегаю: брюки с красным кантом, на плечах звездочки поблескивают-посверкивают, галстук опять же... Смешно и грешно, но что-то ведь хочется, о чем-то все-таки думается... Хотя почему знать, чего не знаешь. А уж если впрягся, — лучше веру к делу применяй, а дело к вере, тогда все и будет, как на душу положено.

Вскоре за вежливо вошедшим завхозом Сугробовым потянулись по делу, но больше, кажется, без дела другие осужденные: все, как один, с красными треугольными нашивками на рукавах; с завхозом переговариваются вполголоса, а то возьмут да о чем-нибудь и меня спросят... Вот так я, чуж-чуженин, и становился семьянин, а какой же мирянин от миру прочь?..

Дверь с грохотом распахнулась, и передо мной человек вырос: поперек себя толще, да на щеке бородавка — телу прибавка; в горле петух засел:

— Гражданин начальник! Крысу поймали! Что делать? Крысу поймали!..

Ума не приложу: смотрел то на него, то на завхоза:

— Да что делать?.. Убить и выбросить. — Долго думать, тому же быть, да — и лишние догадки всегда невпопад живут.

А завхоз Сугробов, прислушиваясь к шуму и грохоту в курилке, довольно улыбался:

— Оторвут сейчас от хвоста грудинку... “Застегнут” они его, гражданин начальник. Как пить дать — замочат!

— Кого — “его”? — все не мог я понять. — Крыса же “она”! — Алья уши отсидел?..

А у завхоза по-прежнему рот до ушей:

— Кто в тумбочках крадет, тот крыса по-нашему. Крысятник. Вот по заслугам вора и жалуют.

Много учен, да не досечен, — кинулся я в курилку, а завхоз за мной — обогнал и блажанул:

— Мужики, завязывай! Проучили — и хана!

В курилке — спиной к печке — мужичок прижался: глаза на нитке висят, по поясу юшкой умылся, сопит и всхлипывает. Увидев меня, все расступились и отодвинулись. Ждали: каким глазом взглянет?..

— Разойдись! — себя я не узнавал. — Все по местам! Сам разберусь! — Развернулся, а мужичок следом за мной: голосом пляшет, ногами поет — спасся!

В кабинете завхоз Сугробов передо мной веревки из песка вил:

— Гражданин начальник! Слово-олово: больше пальцем не тронут, кому охота срок за гниль тянуть. Попало за дело. Никто не видел и не слышал. Слово-олово!

Так сработано, что не придерешься. Думаю, добро, шпана замоскворецкая: всю вашу хитрость, видно, не изучишь, а только себя скорее до ручки доведешь. Но одно здесь верно: слушай в оба, зри в три!..

Как раз по селектору и фильм объявили: “Внимание! Завхозам отрядов построить осужденных и привести в клуб для просмотра фильма “Возьму твою боль”!

Вроде и у дела я оказался: в два счета построив людей возле отряда, завхоз доложил мне о готовности, на что я неопределенно дернул головой, а завхоз скомандовал: “Отряд, шагом марш!” — И я уже со своим законным отрядом, немного сбоку, как и положено начальству, дошагал до клуба; кругом слабые и тусклые огоньки лампочек на столбах, зябко да неудобно...

Зато возле клуба светлынь: подходили отряд за отрядом, завхозы докладывали дежурному Сирину, и тот своим зычным гласом: “Давай, урки!” — разрешал вход. А у клубных мостков помощник дежурного — грузинистый прапорщик, чуть ли не до пуна расхристанный, схватил за грудки осужденного, мальчишку, пытавшегося в неуставленных по форме одежды ботинках взобраться по крутым ступенькам клуба:

— Ти-и... че-эго тут ви-искываешь? Па-ачему тут висиваешь?!

Малокровный и съезжившийся парнишка, запахиваясь в великовозрастную фуфайку, оправдывался:

— У меня плоскостопие, разрешено медчастью. Можно пройти?..

Но у прапорщика, внезапно налившегося кровью, как бы отслоились толстые выразительные усы:

— Марш в отряд! Ка-а-аму гаварю!..

Между делом подключился и Сирин:

— Что, не ясно? Посажу!

Кто барствует, тот и царствует; и пошагал, головушку опустив, стриженный-бритый, к родному общежитию-бараку. Одинокое да понуро: отлежаться, носом в подушку снувшись.

— Все верняком, — подмигнул мне Сирин. Пощелкивая пальцами, он прищурил глаза и вдруг попросил, как рублем одарил: — Слышь, будь другом: посиди в клубе, пока фильм идет. А то весь наряд на обходе. Один остался. Выручай, друг.

Конечно, спрос не грех, да и отказ, наверное, не беда. Да вот только не все то есть, что видишь. Есть у молодца не хоронится, а нет — не воротится.

Вошел я следом за последним в зал. Дверь закрыли на защелку, чтобы не вовремя пожелавшие не лезли, свет выключили — и фильм начался.

Сидел я, точно оглушенный, на лавке бок о бок с пожилым, глянувшим на меня исподлобья, но выбирать уже не приходилось. То и есть, что двадцать шесть...

Из аппаратной — легкий треск, струилась сверху песочно-лунная, прозрачная дорожка... На экране — титры: ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ... Шла война, — до сих пор любят в воспитательных целях такие фильмы показывать, — и на глазах ребенка немецкие прислужники убивали его мать и сестренку; и слышал мальчишка в свои неполные восемь лет последний крик матери и плач сестренки; и болью сердце гинет, ведь все мы одной матери дети...

И видел я боковым зрением, как плакал молчаливо мой пожилой сосед: растеклась под глазом светлая серебристая морось, к щеке подбегала маленькой и горячей капелькой...

И дикими мне показались думы подпольные, страхи летучие: хоть и не ровня, так свой же брат — человек человека стоит. Одним миром мазаны.

И долго еще потом меня мучило — уже дома, в своей комнатушке, бессонной ночью, одинокого и далекого от всех родных и близких...

А еще поразило меня то, что я как будто и не нашел в этой жизни, в своих первых впечатлениях, ничего особенно поражающего или, вернее сказать, неожиданного. Все это словно и раньше мелькало передо мной в воображении, когда я старался угадать свою долю.

Молвя правду, правду и чини; и хотя судить о человеке, не зная его, — дело последнее, но увиденное мною заставляет задуматься о том, что боль собственного сердца сострадающего прежде всяких наказаний убивает его своими муками. И он сам себя осудит за свое преступление беспощаднее и безжалостнее самого грозного закона...

3

Утренняя планерка проходила на втором этаже штаба, в просторном кабинете начальника колонии подполковника Любопытнова Виктора Ильича, пожилого уже человека с совершенно седой круглой головой и серо-черными, с завитушками к вискам бровями.

Трудно было избавиться от впечатления, что начальник колонии видел все окружающее как-то не глядя. Входя куда-нибудь, он уже знал, что делается на другом конце, — порядок дела не портит! — а твердостью и определенностью при решении служебных вопросов начальник завоевал расположение даже у мало кому верящих подопечных за колючей проволокой.

Среди старожилов поселка упорно бытует легенда, что будто бы к одному из дней рождения начальника — без добрых дел вера мертва! — подарили ему осужденные собственноручно изготовленный автомат, смастерив его на нижнем складе и тайно, по частям, доставив в жилзону, где возложили новенькое, смазанное оружие прямо на стол уважаемого человека, разумеется, до прихода того на рабочее место. Мол, кто нас помнит, того и мы помянем.

И этому как-то трудно было не верить, как и тому, что однажды некий изобретатель этого “колючего окружения” умудрился сконструировать еще из бензопилы “Дружба” подобие вертолета и на свой страх и риск даже сделал попытку подняться в воздух на этом агрегате в ночное, относительно безопасное время, но все же был замечен обалдевшим часовым, а затем и благополучно подстрелен, упав за запретной полосой. После чего изобретатель был подлечен где следует и поощрен — раз на раз не приходится! — далеко не по изобретательским заслугам: осужден новым сроком в колонию более строгого режима.

— Значит, туда и дорога, — смеялся перед планеркой дежурный Сирин. — А живи попроще и без затей, проживешь сто лет. Соображать надо!..

Коренастый и плотный, быстро вошел начальник колонии, точный — минута в минуту. Посерьезневший Сирин скомандовал офицерам, полукругом сидевшим в кабинете начальника:

— Товарищи офицеры!.. Товарищ подполковник, лейтенант Сирин дежурство сдал!

— Капитан Брусков дежурство принял!

— Товарищи офицеры... — миролюбиво отвечивал начальник, что означало: прошу садиться. И все деловито расселись по местам, за исключением Сирина и заснувшего на дежурство капитана, у которого было бы грех спрашивать о здоровье, глянув на его лицо.

А лейтенант Сирин наладился привычной скороговоркой:

— За время моего дежурства происшествий не случилось. Осужденные занимались по распорядку дня. Вывод на объекты и возвращение в жилзону соответствует учетным данным. Вечерний прием спецконтингента проводился медчастью, спецчастью и бухгалтерией. В вечернее время демонстрировался фильм. Оценка наряду осужденных “удовлетворительно”, дежурному наряду контролеров — “хорошо”. Лейтенант Сирин дежурство сдал!

Но начальник, покачивая седой головой, поинтересовался как бы задумчиво:

— Кто же фильм, товарищ Сирин, обеспечивал на сей раз?

И, поглядывая то на начальника, то на замполита, не сводившего с него своих блестящих внимательных глаз, Сирин забормотал:

— Фильм... Фильм обеспечивал новый начальник отряда... Цыплаков. Цыплаков Игорь Александрович. По собственному желанию.

Сказал, да и был таков. Хотя известно, что кто в грехе, так тот и в ответе. Но я, делать нечего, согласно кивая, тоже приборматовал:

— По собственному желанию, по собственному желанию...

Только на свои глаза свидетелей не наставишь: начальник колонии, с привычной ловкостью встав из-за стола, быстро расстегнул мундир и посмотрел на Сирина так, что того малость поизвело:

— Понимаете, что могло случиться?.. Допускали последствия? Человек ни сном, ни духом еще не ведает нашей специфики! Жду объяснительную — и будете наказаны!.. Все свободны! — Сказал, как кол в землю вбил.

Выйдя из кабинета, я бездумно двинулся к окну в конце коридора и тут же бровь в бровь столкнулся с майором: невысок и лобаст, под носом взошло, а на голове не засело, сам тих и как-то странен.

Подхватил он меня под руку приглашающе, и мы с ним закадычными друзьями спустились на первый этаж к кабинету с табличкой “Заместитель начальника по режиму и оперработе”. Там уже сидел замполит Мирзоев: откинувшись в кресле, он быстро курил, закинув ногу на ногу. При виде нас замполит что-то промычал и, затушив папиросу, придвинулся к столу вместе с креслом. Серьезный и внушительный.

— На наше дело не всякий годится, — тихо, точно сам с собой заговорил заместитель по режиму майор Нектаров. — Так что вчерашний случай с “крысятником” оставлять без последствий, конечно, нельзя. Нас не поймут. Неволя, брат, всякого учит и ума дает. Здесь одним доверием не обойдешься — к беде приведет. — Майор Нектаров, переглянувшись с нахмурившимся замполитом, забарабил по столу пальцами:

— Однажды в розыске достал один из наших сбежавшего — в одиночку накрыл. Тот с ходу и ручки вверх: “Не тронь, начальник, твой”. А нашему, нет, чтобы заставить урку шмотки с себя скинуть, — не сообразил. На слово поверил. Да ближе и подошел, а тот, не долго думая, ножик из сапога — и в сердце. Да позже на тот же свет еще двоих едва не отправил. Спасибо, врачи выходили. В нашей работе хоть раз вожжи опустишь — не скоро уже изловишь. Одни неприятности как из мешка посыплются: знай успевай оборачиваться...

— Время научит, — завыстукивал по столешнице и замполит. — Был у нас тоже один добренький: все хотел, чтобы кругом по-людски было — и у ваших, и у наших. Только ненадолго хватило: быстро сообразил, откуда ветер дует. А когда по-настоящему прижало, так вообще потек. Оно и понятно: с огнем не шутят...

— Что верно, то верно, — поднял указательный палец майор Нектаров. — Дело прошлое: можно было бы тех пятерых в вагоне спасти, окажись наши посообразительней...

И вот тут-то — не светило, не грело, да вдруг и припекло: неожиданно во время разговора какой-то злобно-нутряной вой сирены, разливаясь на высоком жутком завывании, поднял всех с мест и бросил на выход... Весь дом разом вверх дном!

Выскочив из штаба, мы бросились по дороге к нижнему складу, потому что со стороны клуба, над ним, медленно заполняя низкое неподвижное небо, поднимался черный и слоистый дым, расплываясь над поселком.

Горел и правда клуб. Подойти уже было страшно: оттуда, где был зал с печью, трещало и зловеще шумело с неимоверной силой; из туго лопнувших окон с гудением вились плавные, огненно-красные космы; на крыше очередями палил шифер, а сама она вся уже была охвачена пламенем и казалась огромным факелом, — дрожит свинка, золотая щетинка! — горело и в библиотеке, — там огонь пожирающий шуровал уже всю, но еще на волю не вырвался, прожорливо гудел внутри, как бы готовясь к неожиданному и гигантскому прыжку, чтобы разом поглотить все в своей испепеляющей лаве — сколько можется, столько и хочется! Искры змеино шипящим фейерверком густо и страшно сыпались далеко во все стороны. Где конец веревке той? Нет его, отрубили!

Но аминем дело не вершится, — кругом металась и тушили, кто чем мог, подлетела пожарка и моментально раскатала шланги. Сильные стальные струи вбились в ярое пламя, и хоть против огня и камень трещит, постепенно гасились и сбивались огненные островки пылающего клуба...

“Спи, царь-огонь, — говорит царица-водица. — Спи, царь-огонь!”. Огню да воде Бог волю дал!

— Давно просила печь отремонтировать, — нудно бормотала возле меня бледная библиотекаря, безнадежно прижав к щекам руки. — Опять буду без вины виноватая...

Висевший над клубом обломок громадного стенда с надписью “ДА ЗДРАВСТВУЕТ...” легко сорвался вниз, скользнул, как по маслу, и, ухнув возле меня, сразу рассыпался.

И вдруг меня как будто кто-то окликнул — и я, точно бы в беспамятстве, — не струшу, так отведу душу! — бросив всё, кинулся к библиотеке, кульнул туда через окно, — чем думать, так делай! — подвывая и прикрикивая от страха... Благослови, да головы не сломи! — огонь всю уже гудел и шарил по комнате, по книжным стеллажам, весело и мощно пожирая все на своем пути; никому не верит, а сам мерит!..

Но мне уже виден сквозь шелк пламени незабываемый взгляд, оставшийся в памяти вопрошающим о главном: о чем-то родном и давно забытом! Сгреб я в охапку, беремем, бюст Достоевского и, задыхаясь, теряя последние силы, с готовой, казалось, вот-вот лопнуть от невозможного, звенящего напряжения головой, кинулся обратно. Побегу, да ноги не зашибу!..

Кубарем выпав из окна, встал я на карачки и пополз, но, опомнившись, стал загребать обратно, выпавший бюст нашаривать. В это время — от воды не в огонь! — окатило меня спасительной водяной струей, затем, подхватив за руки, стали в сторону оттаскивать, матерясь на чем свет стоит, а мне все неймется — мычал да оборачивался, руками загребал... Жив буду — не забуду!

Сшибся я с памяти: все бесы в воду — и пузыри вверх; как только стал приходить в себя, огляделся: кругом народ стоял молчаливо, как над больным или упокойным склонились; работала неутомимо пожарка, и уже был сбит огонь, а шипящие бревна растаскивались баграми...

— В рубашке родился, — вытерев лоб под шапкой, вздохнул начальник колонии, помогая мне подняться. — Теперь уж до нового клуба придется спасенное хранить. — И, неопределенно улыбнувшись, заключил: — На законных основаниях.

— Герой кверху дырой, — послышался за спиной знакомый голос: с застывшей полуулыбкой на меня смотрел, пружиня на носках сапогов, майор Нектаров.

— Дурак дураком — и уши холодные, — раздался откуда-то жизнерадостный бас пожелавшего остаться неизвестным доброжелателя.

Но мне сейчас было всё безразлично, и я, ничего не понимая и не отвечая, потащился к общежитию, все так же, беремем, держа спасенный бюст, пока на поддороге к дому не столкнулся со своим начальником.

Мирзоев, отступив на шаг, смерил меня округлым птичьим взглядом и вдруг, выкинув руку, так склешил мою пятерню, что я от неожиданности ойкнул и быстро пришел в себя.

И вскоре, умытому и переодетому, мне было славно смотреть на спасенный бюст: в моей комнате теперь, в углу на тумбочке, как раз и уместился, словно для этого места специально и предназначенный... Чей день завтра, а наш — none!..

Ненароком я и задумался о чем-то запредельном, глядя на Достоевского и время от времени как бы заново ощущая братское рукопожатие сумевшего понять меня незнакомого человека...

И словно воочию диво совершается! — ибо явственно чтется в великом и молчаливом собеседнике, что эстафета человеческой жизни всегда была бесконечной: как всего нашего милосердия и сострадания, нашей вечной надежды и веры на лучшее, так и постоянного обновления человеческой души в мире проходящем и вечном... — замерев, я сидел и думал, хотя о чем думалось? — спроси меня тот, второй, во мне живущий, — я бы, наверное, так и не ответил...

И, мучая свою душу до бесконечности, буду я вновь и вновь метаться в таинстве изначальном, ибо каждому понятно — не то мудрено, что переговорено, а то, что никогда не может быть договорено.

“С совестью не разминуться, — наставляла меня на дорогу мать, когда поняла, что уже поздно и бесполезно переубеждать. — А добрая совесть — глаз Божий. Ясны очи. Ведь чужая-то душа — темный лес, но душа душу везде ищет, и сердце сердцу весть подает. А разве душа и совесть не родные сестры? — вопрошала мать. — Разве не совесть питает душу и разве есть между ними распри?... Да ни в жизнь, — и такой-то чести доведу стоять...”

Много дней впереди, много и позади. Но помрут и внуки наши, а конца этой песни не дождутся; и, вспомнив теперь все происшедшее, передо мной будто бы на миг приоткрылось таинство изначальное, и зрятся сейчас — чтоб жить да молодеть, добреть да радоваться! — слова моего великого и молчаливого Собеседника, удивительно чудодейственно и милосердно успокаивая мою исколотую память, мужая сердце до конца:

“Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и оставаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях не уныть и не упасть — вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это...”

Часть вторая

Отрядник

*...Постарайся выполнить свой долг,
и ты узнаешь, что в тебе есть.*

Гете

*Я скажу читателю на ушко: все там
есть.*

В. Белов “Ремесло отчуждения”

1

Общую планерку учреждения на этот раз собрали в методическом кабинете штаба — по случаю предстоящего праздника. Новый год уже был на носу: оставалось всего несколько часов — и встречай себе на здоровье!..

Как и положено в торжественных случаях, начальник колонии подполковник Любопытнов душевно поздравил сотрудников с новым счастьем, пожелал самого наилучшего, а затем под жидкие аплодисменты поощрил грамотами и денежными подарками лучших из лучших.

Следом за маленькую, по нынешней моде, трибуну с государственной символикой, по привычке протирая свои в тяжелой роговой оправе очки, аккуратно взошел новый зам по режиму капитан Грошев Василий Васильевич. Невысокий и плотный, с почти немигающими глазами, он был недавно переведен в нашу колонию, но уже накрепко заполучил кличку: “Люди говорили, люди знают”.

Вызовет Грошев по своим делам кого необходимо, вперит многозначительный, странный взгляд — и врежет правду-матку в глаза. А если ответчик начнет артачиться и пойдет в отказ — зам по режиму и выложит свои безоговорочные аргументы: “Люди говорили, люди знают!” Как к стенке пришиллит. И обязательно попротирает еще, не снимая, очки. Точно подвинтит какие-то невидимые винтики.

К нам капитана Грошева перевели с повышением для укрепления режима, предварительно спровадив на заслуженный отдых ставшего плохо слышать и видеть майора Нектарова, любившего тоже приговаривать свое: “Где я лисой проходил, там три года куры не неслись!” — и гордившегося тем, что за все время службы он не получил ни одного дисциплинарного взыскания. Конечно, чудные чудеса — шилом небеса; но пути Господни, как известно, неисповедимы.

В одной из колоний осужденные, говорят, наслушавшись теперешних телевизионных перестроечных идей, учинили форменный саботаж, именуемый кипежем, но капитан Грошев сумел безболезненно и одновременно железно усмирить эту бучу, воздав и основным поборникам за права демократизации мест лишения свободы, — тем, кто шел “за паровоза”.

Так что новый заместитель был окружен неким ореолом таинственности и невольного уважения. Еще задолго до появления в нашей колонии.

Капитан Грошев с добрую минуту по-хозяйски оглядывал сидящих сотрудников, затем с хрустом развернул отпечатанные листки и провозгласил:

— Внимание! Оглашаю список дежурства на усиление! — И раздельно перечислил фамилии тех сотрудников, которые задействовались в усилении: дежурство по поселку, на подстанции, гсээме, леосоцплении, нижнем складе. Потом, помолчав, Грошев что-то поискал взглядом на полу и заключил: — Все свободны. Начеостав прошу остаться!

Дальше должен был зачитываться список офицеров, которым следовало дежурить в праздничные дни. Я суеверно взялся за пуговицу мундира, так в школьные годы невыучившие уроки выкручивали многострадальные пуговицы на пиджаке, надеясь, что не вызовут. Но мне не повезло: попал на дежурство — и как раз в новогоднюю ночь. С девяти вечера и до девяти утра — по жилой зоне. В чем и расписался, когда мне передали список для личного ознакомления.

Ответственным от руководства был назначен сам капитан Грошев Василий Васильевич, а под его опеку два офицера: недавно аттестованный и полувивший офицерское звание Сергей Шаров, уверенный в себе, крепкий и смуглый брюнет с длинными волосатыми руками, и я — лейтенант Цыплаков Игорь Александрович. Такая табличка под стеклом появилась полгода назад над моим кабинетом в отряде — длинном бараке, расположенном недалеко от запретной зоны. В самом дальнем углу зоны.

Теперь до обеда мне следовало срочно “подбить бабки”: проверить и перепроверить, пока люди на работе, отряд, обойти с завхозом все секции и кантерки, а также посмотреть тумбочки и шкафчики в поисках запрещенных предметов и всякого рода колюще-режущих заточек и ножей. Хотя обыск совместно с конвоем ротой и был не далее как день назад, и, казалось, все было едва ли не языком вылизано, но береженого и Бог бережет. А небереженого — как раз тюрьма стережет.

Наши же воспитанники проведут за милую душу и самого нечистого с рогами. Глазом не моргнут. Как-то в прошлые, справляемые по привычке

октябрьские, завел контролер по жилзоне молчаливого человека с тупым носом и совершенно квадратными глазами, встретив какового в темном месте не только, сам того не желая, поприветствуешь задушевно, но и собственное пальто передашь из рук в руки — хотя бы потому, что жизнь в такие минуты кажется действительно дорога как память.

Этот молчалик имел на зоне кличку Нарком, то есть был самым натуральным наркоманом и даже порой как-то умудрялся колоться — “словить кайф”. Нарком в дежурке был незамедлительно обследован на алкоголь — к великому разочарованию дежурного наряда опьянение не подтвердилось. Проверялись подозреваемые довольно просто: стакан, грязный до отвращения, наполнялся из не менее “чистого” графина, после чего испытываемый выпивал воду и через пару минут по команде, надуваясь до посинения, дышал в этот же сосуд, который следом передавался по кругу присутствующим спецам из наряда, а те старательно внюхивались, пытаясь уловить запах ненавистного алкоголя.

В то время, когда обследовался Нарком, кто-то из сотрудников, вероятно, случайно вспомнив о правилах внутреннего распорядка, приказал осужденному прекратить безобразие и снять головной убор в присутствии администрации. Вот тут-то квадратность наркомовских глаз и объяснилась без всякого труда: выбрив себе середину головы, он уместил на голом месте сложенный вчетверо носовой платок, пропитанный ацетоном, — и вновь был в своей тарелке: “ловил кайф”. После разоблачения Нарком уже на законных правах был помещен в ШИЗО — штрафной изолятор, где, как правило, содержатся лучшие из худших вверенного спецконтингента. Надежно и строго.

До обеда мое время пролетело, как тот легкий невесомый снежок, что с утра покружился слегка, да и исчез незаметно, очистив до стылой, неподвижной голубизны полтора гектара неба над зоной.

С завхозом Сугробовым мы трудились до седьмого пота: дотошно осматрели тумбочки и шкафчики в каптерках, складывая все запрещенное в черный мешок, а затем облазили чердак, являвшийся удобным хранилищем для браги, после чего, отодрав цоколь, искали тайники вокруг самого отряда; и пока завхозом прибывались доски на место, я дополнительно заглянул в культкомнату: низкий потолок, пять десятков стульев, стенды на стенах, обшитых мореными досками.

Но главной достопримечательностью был, конечно, телевизор, хранившийся в ящике, закрываемый на новенький замок, который, впрочем, всегда успевали самовольно снять и, соответственно, в случае опасности вновь привести в порядок. Вовремя и незаметно — так, что комар носа не подточит.

Замполитом Мирзоевым была утверждена праздничная стенгазета: ставший уже символическим кот в фетровой шляпе и с кокетливо закрученным хвостом, в огромных ботфортах, щедро раскинув лапы, разбрасывал прямо к новогодней елке поздравления, вписанные в снежинки, искрящиеся от растолченного на клею стекла, рассыпанного по всему ватману. Броско и красочно. По такому же образу и подобию стенгазеты готовились и в других отрядах, практически ни в чем не отличаясь друг от друга. Делались как по заказу, да другое и не требовалось.

Нахмутив свои сросшиеся брови, замполит Мирзоев, прежде чем поставить подпись, внимательно изучил мое новшество: поздравляя от себя осужденных отряда, я пожелал им от всего сердца — так и подчеркнул — “от всего сердца” скорейшего возвращения домой и встречи с родными и близкими. Поздравление было вписано в звездочку мною лично — как Бог на душу положил.

Можно было уже и ближе к дому двигаться: вокруг отряда, расчищенный, блестел пушистый свежий снег, в самом фойе, вырезанные из бумаги всевозможных конфигураций, были развешены разноцветные звезды; а на тумбочках в некоторых секциях как-то по-домашнему уютно устроились миниатюрные елочки, и я сделал вид, что не заметил этого мелкого нарушения.

Словом, во всем виделось праздничное настроение; и даже у часовых на вышках оказались белые полушубки, как бы подчеркивая особенность этого

ясного морозного дня, а встречавшиеся на пути к выходу из жилзоны осужденные громче обычного и приветливее кричали: “Здравствуйте, гражданин начальник!” И с улыбкой: “С Новым годом!”. А некоторые даже вежливо приснимали свои черные цигейковые шапки.

И мне тоже было радостно и приятно им отвечать; и лишь только войдя в комнату, я как-то разом почувствовал усталость, с особой остротой ощущая хоть и ставший привычным, но все же постоянно доводящий чуть ли не до обморока тошнотворный запах портянок и устоявшийся едкий дух человеческих тел той территории, где через считанные часы мне надлежало неустанно быть начеку. Всю ночь.

2

Комната, куда меня недавно переселили из общежития, была крошечная, но уютная: прихожая с умывальником да печка, напротив которой приткнулись железная кровать и столик с тумбочкой в углу. На тумбочке с белой накидкой — бюст Федора Михайловича Достоевского, вытасченный во время пожара поселкового клуба. Такое и до отцовских памятей не забудется. Казалось бы, вчера еще все произошло, ан нет — уже полгода позади. Пролетела пуля — не вернется!..

Через стенку от меня ютился вольнонаемный прораб Портретов, который нередко заглядывал с одним и тем же вопросом: “Сосед, закурить найдется?” — И всякий раз искренне удивлялся, что я еще не успел обучиться этой привычке.

Прораба Портретова позаглазно да и прямо в глаза величали Картинкиным. Наверное, потому, что всерьез не воспринимали. Так, сбоку припеку. Александр Григорьевич Портретов постоянно пребывал навеселе, но обязательно раз в год на него находило странное “прозрение”: накупив на почте кучу газет и журналов, сосед старательно писал в редакции все, что взбрело в голову. А в ожидании ответа держался соответственно: был абсолютно трезв и аккуратен, до синевы, выбрит. Как к награждению готовился. А дождавшись — до сих пор отвечают, — всего не читал, только первые слова: “Уважаемый Александр Григорьевич!..” — Значит, не все еще потеряно и стоило жить дальше, коль “уважаемый”... И с не меньшим старанием продолжал “закладывать за воротник”. Тем более что должность его имела неоспоримые преимущества: практически все стройматериалы находились в полном ведении Портретова, а это обстоятельство немаловажно для поселковых жителей, большинство жилищ которых держится только что не на добром слове. Худые пряжки портят и доброго человека, но прорабом, глядишь, не только поселковые довольны, но и все отчетные бумажки у того тютелька в тютельку.

Вот и теперь моя дверь без стука и скрипа открылась, и сосед — худ, как треска, один глаз глядит на мельницу, другой на кузницу, — заглянув, задал, верный своей привычке, вопрос относительно курения и, получив соответствующий ответ, сипло, тяжелым голосом поинтересовался:

— Сосед, в баню идем?

В баню я и правда собирался пораньше перед дежурством, поэтому согласно кивнул. Я уже был переодет: успел натаскать дров, чтобы после баньки протопить печку. В такой мороз кто не любит посидеть у огня — этому, кажется, и ангелы небесные радуются!..

На крыльце меня остановила незнакомая женщина, видимо, приехавшая на свидание то ли к сыну, то ли к мужу. Вторая половина нашего дома была предназначена для приезжающих на свидание, и ко мне нет-нет да и заходили с каким-нибудь делом только что приехавшие и не знающие, куда податься. Летом их видимо-невидимо, а в такую пору, да еще в новогодний праздник, — редкость, можно сказать, себе дороже.

Прораб, буркнув, что забежит по дороге к Серге Шарову, потому что дело есть, заскрипел по снегу своими высокими, раскатынными до пахов валенками, а я, объяснив приезжей, к кому надо обращаться с заявлением, пожелал немолодой уже женщине счастливого Нового года и в одиночку пошagal к бане, думая о тех, кто приезжает на свидание.

Рысь пестра сверху, а человек лукав изнутри: поди узнай и разберись!.. А как еще думать и гадать, когда выясняется, что зачастую то или иное нарушение, а порой и преступление случилось благодаря приехавшим “на свиданку”: взяли да передали через бесконвойников чай, водку и деньги, а уж переправить в зону это хозяйство способов всегда предостаточно. Умеют показать Москву в решето. Да и не каждого “шмонают” по совести. Не раздевать же человека полностью. Вот тут-то всяк мастер на выучку и берет, а голь на выдумки всегда была хитра.

С самой же “свиданки” того проще вынести: достаточно за день до окончания свидания, поголодав, проглотить упрятанные в целлофановый пакетик деньги. Вышел да в укромном месте два пальца в рот — и выскочил на волю для надежности оплавленный по краям пакетик. И вся недолга. А то еще нитку привяжут за такой же пакетик и за зуб зацепят дополнительно. После как леску с уловом и вытаскивай — еще проще. Только одно неудобство: скорее попадешься. Зато с деньгами в зоне ты — пан. Или уж пропал, тут куда кривая выстрелит.

Наряду с этим доподлинно известно, что отдельным сотрудникам случается в тягость заработанный ломоть, который оказывается для них хуже, чем, скажем, краденый. Прямо поперек горла стоит. Недавно с треском был изгнан старший прапорщик Сайфиулин, которого оперативники “раскрутили” на шестьдесят бутылок водки. Ни много, ни мало. Наладился в зону поставлять и втридорога с рыла драть. Кто же его проверять станет — свой человек. С него и взятки гладки...

А этим летом грех по дороге бег, да и ко мне забег. Подошла женщина: седая и строгая. Головокружительно надушенная. Мать сидевшего по статье за групповое изнасилование гражданина Берковского. Из моего отряда. Ничего не просила, даже не заикалась, что у сына льгота на носу, — только убедительно и ненавязчиво разъяснила, что мне явно требуется специальное допитание, которого здесь не может быть ни под каким соусом, а потому она незамедлительно вышлет мне посылочку-другую из своего Краснодара. Все случилось быстро и обыденно. Как во сне. Не на кого и негодовать было. Стоял да рот разевал, не зная, что сказать. А вскоре и извещение пришло: посылка не заставила себя ждать.

Оперативники же, выслушав меня, без лишних слов позвонили на почту и порекомендовали для этого подарка выдержку в несколько дней, чтобы он прокис добросовестно, а уж потом вернуть его законной владелице. Что и было сделано. Но добедки да победы — те же беды: отчего не воровать, коли некому толком унять?..

Пройдя мост, отчего-то прозванный “невским”, я свернул к бане и, не удержавшись, оглянувшись: толстыми рыхлыми столбами стояли над плоскими крышами домов синевато-белые дымы; чуть в стороне, на месте сгоревшего клуба, свежее зеленела тяжелая зеленая ель, украшенная многоцветными игрушками и ярко-рубиновой звездой на макушке: здесь сегодня всю ночь будет веселье...

В бане оказался только мой земляк Николай Александрович Соснин, с темной щепоткой усов под острым носом и с большими глазами в полукруглых разводах. Раздетый Соснин терпеливо стучал в дверь, за которой в забегаловке с топчаном днюет и ночует старик-бесконвойник, заведующий банным хозяйством.

Для капитана Соснина всегда имеется в здешнем заведении веник, потому что не только в поселке, но и в самой зоне известно, что дежурный помощник начальника колонии Николай Александрович Соснин жить не может без парилки. С разрешения начальника колонии даже в середине недели собирал Соснин свой допотопный чемоданчик и шел в жилзеновскую баню, где его уже дожидался банщик. В недавнем прошлом дежурный помощник был в отрядных, как и я, на работе выкладывался по самую завязку и в себя приходил только благодаря парилке. Становился яснее и спокойнее. Белые нервные пятна, покрывающие худое тело с выширающими ребрами, исчезали до следующего посещения: веник в умелых руках нес свою службу исправно. Обижаться не приходилось — ремесло за плечами банного умельца не висело.

А природная честность и наивность Соснина выглядели в глазах окружающих дополнительным чудачеством, — как правило, дальше дело не шло. А то не ровен час: удалой долго не думает. И даже опытные оперативники всерьез напрягались, когда на планерках брал слово Соснин.

Всегда имел под рукой точную и проверенную информацию — и бил не в бровь, а в глаз. А однажды ранним утром, направляясь в зону на подъем, я увидел свет в окнах Соснина и завернул к нему, потому что по графику он тоже должен быть на подъеме. Вдвоем-то сподручней да веселее шагать. Капитан открыл мне сразу, глядя неподвижными глазами. Словно с печи человек свалился. А на полу покоилась банка из-под консервов в пепелище окурков да кипа центральных газет. Повыше высокого навалено.

Оказывается, Серега Шаров в порядке шутки ляпнул накануне, что коллега политически слаб в коленках. И не все допонимает в сегодняшней политической обстановке. Вот капитан Соснин ночь напролет и торчал над периодической печатью — “доподковывался”. Также он был способен, к примеру, купив случайно обувь размером больше нужного, носить ее с загнутыми, как у старика Хоттабыча, носками, потому уже было стыдно возвращать даже то, что еще недавно на ногу мерилось. В чем смех, в том и грех, а только от думы все равно голова трещит...

Также заступавший в новогорнее дежурство Соснин добился-таки наконец своего очередного веника, мигнул мне и чуть ли не вприпрыжку убежал в парилку. Когда мы с ним, на славу распаренные, сидели в предбаннике, послышались голоса: появился ругающийся Портретов в компании покатывающегося со смеха отрядного Сереги Шарова.

— Расскажу — не поверите. — Серега разделся и закурил. — Сходи, говорю, Григорьевич, за дровами-то, а то, мол, печь прогорает: у меня как раз яишенка на плите присоседилась. Да пузырь на столе — для гостя. Честь честью. Ну, тот охашку принес да с ходу и сунул в печку-то. Натурально. А оттуда, понимаешь, так ахнуло, что полплиты чуть не разворотило. Да еще впридачу и вся закуска на потолке оказалась. Как там и была. У Картинкина и дар речи пропал. — Серега, хлопнув по костлявому плечу мрачного прораба, улыбался во всю ширину рта. — А дело, мужики, такое, что наладился у меня кто-то дрова тырить. Чтoб узнать, я и забил в несколько поленьев патроны. А дрова-то заприметил да отдельно, значит, и положил. А то себя ненароком рванешь. Да только Григорьевича-то забыл предупредить, а он как специально и взял меченые. Даже печника пришлось вызывать, до сих пор еще колуается. А наш-то Портретыч, глянь-ко, все еще не оттаял: глаза семь на восемь, восемь на семь!

— Попросишь дэвэпэ, — буркнул прораб, — я тебе, паразиту, в письменной форме отвечу, понял? Поживешь и с таким полом, без обивки. Желających всегда найдется.

— Ладно, Григорьевич, — успокоил его неунывающий Серега. — Мы ведь с тобой, чай, не чужие: как-никак ты у меня в отряде в совете воспитателей. Не забыл еще? Да и “девятая точка” под твоим мудрым руководством пашет на узкоколейке. Так что три к носу: в другой раз за компанию посидим — за рюмкой чая. — И Серега Шаров, насильно схватив руку прораба, слегка даванул ее. Молча изменившись в лице, Портретов вырвался и колченого протопал в моечное отделение. Тише воды, ниже травы. Было отчего и поблдеть: здоровьем Серегу Шарова не обидели. Быку шею свернет.

Рассказывают: Серега только-только закончил грязовецкий техникум заочно, а перед последним экзаменом, забредя на окраине города в какой-то магазинчик, заприметил за прилавком девушку. Вроде ничего особенного дивчина, а только парень вдруг как окаменел. Да и та, в свою очередь, тоже изменилась в лице. Покраснела — и в подсобку. Серега — следом, а там уже ухажер дожидается. Косая сажень в плечах. Оказывается, здесь и работал, разнорабочим. Серега, занимавшийся спортом, карате, окрысившегося человека не тронул — только встал в стойку и нанес показательный удар по первому неодушевленному предмету, подвернувшемуся под горячую руку. В результате дверка трехстворчатого шкафа оторвалась вместе с петлями. Правда, и серегинский кулак после такой процедуры распух до размеров до-

брого капустного кочана, зато наглядный пример моментально убедил соперника: он безнадежно махнул рукой и, вздохнув, убрался восвояси.

А Серега теперь и шагу не шагнет без своей второй половины, которая чувствует себя за ним, как за каменной стеной. Обзавелись и хозяйством: кроликами со свинкой. Живут да радуются.

Поигрывая мышцами и похохатывая, Серега потащил нас с Сосниным, обняв за плечи:

— Мужики, подфартила удача — вместе дежури́м! — И загорланил во всю силу легких: — “А три танкиста, три веселых друга! Экипаж машины боевой!..”

Серега открыл заслонку в парилке и шарнул на каменку подряд несколько ковшей воды. Кожеобжигающий пар, мощно ухнув, хлынул к потолку, согнав блаженно растянувшегося на верхнем полке Портретова. Казалось, волосы на головах вересом затрещали! Но парились да мылись мы до одури.

И когда уже расходились из бани, мой разомлевший и о чем-то призадумавшийся сосед, благодушно отдуваясь, хмыкнул:

— Ладно, что у Шара пузырь не раскатали: надо еще в дежурку заскочить — бутра с “девятой точки” дернуть. С подшефной-то. А то я на всякий случай после праздников пару отгулов прихватил — не лишние.

Но Серега Шаров и здесь не удержался, чтобы не поддеть:

— Картинкин, белены объелся? Или дежурку с проходным двором спутал?

Конечно, кому не известно, что в дежурку в любое время дня и ночи могли заходить по делу и без дела не только начсостав, но и гражданские, вольнонаемные, зачастую не показав даже и пропуска охране, знавшей всех как облупленных, но сейчасное полушутливое Серегино замечание неожиданно вывело прораба из себя:

— Ты когда в лесу на своей “точке” был в последний раз? — напрягая жилистую шею с челочно бегающим кадыком, взъярился он. — Может, сам бутру и скажешь, чего им после выходных делать? Давай — хлопот меньше!

— Ладно, ладно, — примиряюще дернул подбородком Шаров. — Некогда, Григорьевич, сам знаешь. Мотаешься и без того как заведенный. У тебя ведь Паньков бутром-то на “точке”, верно?

— Кто еще — Нарком, конечно, — так же быстро и остыл прораб. — В авторитете. Да и дело знает туго — не обижаюсь.

— Туго... Знаем мы, что он, заштыренный, туго знает: енот, да не тот. Ладно, Портретыч, проехали. Работа есть работа. Не будем заводиться: после баньки снова жить захотелось! Кто скажет, что это не так — пусть первым бросит в меня камнем!..

А дома, в своей уютной комнатке, как только я поднес былинку спички к матово-розовым дровам, в печи и занялось разом, вкусно запохрустывая согнутой в барашек сухой желтой берестой; и я, отварив в новенькой голубой кастрюле рожки, поджарил их на подсолнечном масле. И на верхосытку еще напился темно-янтарного свежего чаю с куском черного хлеба местной выпечки. После чего, подбросив дров в печку, подпер поленом весело освещившуюся ало-красным атласным огнем чутунную заслонку, блаженно растянулся на кровати. И уже сквозь дрему, засыпая, непослушными, костенеющими пальцами нашарил на столике будильник, завел — и на целых три часа оказался везде и нигде. Против неба на земле.

Солнышко нас не дожидается; когда я проснулся от неожиданной боли в сердце, было уже темно: зимний день не дольше воробьиного носа. А боль, туго сдавливая, заставляла сдерживать частое дыхание: какая-то острая иголка медленно переворачивалась в сердце, ноющими электрическими покалываниями растекаясь в груди и под лопаткой; немея, нехорошо отяжелело левое плечо и обмякла рука.

Стараясь медленней дышать, я закрыл глаза, ожидая, когда отпустит эта дотоле непонятная сердечная боль. Беда-то ведь без ума... Но только после того, как мое лицо покрылось испариной, игла исчезла, и я задышал спокойнее, все же долго не решаясь двигаться. Затем медленно сел и включил свет. Печь к этому времени прогорела окончательно, подернувшись серебристо-серой золой, и я закрыл заслонку, только теперь ощутив, как от тепла еще

уютнее стало в комнатке. А васильковые занавески на окне знакомо напомнили дом родной, который хоть и был далеко, да вспомнить его всегда легко; а что и было близко, то — получалось — близко...

Но настала пора собираться — время не ждало. Погладив форменные брюки и рубашку, я побрился хваленым лезвием “Жилетт”, которым, оказалось, следовало бы пользоваться разве что по приговору народного суда, но, освежившись родным “шипром”, почувствовал себя вполне человеком. На все сто. Но отчего эта непонятная боль?.. Не чайно, не ведано — встретила носом к носу. Да и взяла, как Мартына с гулянья...

Бюст Достоевского — на тумбочке под белой накидкой — таинственен и загадочен. Так под кремнем огонь скрыт... Взяв стул, сел я напротив великого и молчаливого Собеседника. Часто так до позднего вечера пристраивался — с глаза на глаз, и время не замечалось.

...Что скажешь? — А что спросишь, хотя заведомое не спрашивают. Ведь на правду слов нет — это то же, как на исповеди: и так все налицо.

И как тогда в постоянно тоскующей душе не может не проткнуться ледяной иглой беззащитно дрогнувшее человеческое сердце, когда, скажем, прямо на глазах крутится берестой на огне сошедший с круга мой сосед, а над такими, прямее прямого, как безобидный земляк Соснин, не перестают изводиться в насмешках не желающие видеть дальше собственного носа, в свою очередь, сами наделенные какой-нибудь безрадостной кличкой, потому что всякий живущий в этом конвойном поселке неизменно награждается прозвищем; а каждый второй с погонами на плечах, вернувшись поздним вечером со службы, вынужден без слов хвататься за горячительное, чтобы хоть как-то суметь подзабыться до утра; и так месяц за месяцем, год за годом, и несть этому числа; хотя, конечно, день дню не указчик, и день на день не приходится...

“Хоть далеко, да полетно”, — сказал я себе тогда еще, год назад, когда узналось, что после торчания в райцентре, надоевшего хуже горькой редьки, наконец-то можно будет отправляться самолетом в сторону будущей работы.

Сообщила это из окошечка кассы, подведя сухоту к моему животу, молодая и красивая женщина в форменном темно-синем костюме и белой рубашке с черным галстуком. Казалось, она появилась в этом деревянном домике аэропорта совсем из другой жизни, элегантная и печально-миловидная, с удлинненными, загадочно неподвижными глазами. А когда билеты на рейс были проданы и женщина из кассы повела на посадку — наяву, что во сне, боль напала! Шла она странно: одним боком опадала вниз, неукложе-безобразно выправляясь, и вновь опадала...

“Почему так-то?.. — чуть было не вскрикнул я. — Где радость, тут и горе...” А когда на прощание я обернулся к ней, женщина безмолвно закивала мне, мигая своими выразительными глазами; и явственно было видно, что она понимает все, что творилось в моей душе...

“Тут вся твоя сила, сынок...” — так увещевала меня в детстве мать, упрямившая доедать кусок хлеба.

Тут вся моя сила. Ведь каждый из нас живет не только собственной жизнью, но и многими другими. А это значит, что наши сердца, человеческие сердца, нуждаются в защите, памяти, любви. Человек-то жалью живет. А что ни человек, то и я...

Когда я в темноте подходил к высокому глухому забору, обнесенному в несколько рядов путанкой и колючкой, с неба на зону сорвалась звезда и, прочертив ясный золотистый след, мгновенно погасла, точно испугалась, увидев, куда она падает.

3

Дежурка — небольшое деревянное строение линияло-голубого цвета со скамейкой у входа — в нескольких десятках метров от вахты. Прямо от трехступенчатого крыльца дежурного помещения нередко отводят наказанных напротив — через маленькие и скрипучие, плохо открываемые воротца в большом заборе — в штрафной изолятор. Там же внутри и помещение ка-

мерного типа. Проще говоря — БУР. Сидят здесь от месяца до полугода: что посеешь, то и пожнешь. Как правило, за серьезные нарушения режима, а порой даже и преступления. Кто чего стоит.

В самой дежурке — три комнаты с зарешеченными окнами, но без дверей, разделенные между собой порошками. В первой — с барьером — во всю ивановскую действует войсковой наряд, во второй — с пультом громкой связи и несколькими телефонами — восседает и руководит сам дежурный помощник начальника колонии, а в третьей, самой крошечной, делят пополам место неказистая, расшатанная лежанка и огромный, громоздкий сейф. Здесь зачастую и перекусывает на скорую руку дежурный наряд: на службе, известное дело, не без тужбы.

Все уже были в сборе: в парадных шинелях, серьезные. Старый наряд, быстро и деловито сдал дежурство, понапутствовал хорошей службы и ушел, чтобы вскоре сесть за домашний стол и по-человечески встретить праздник. В семейном или дружеском кругу.

А зам по режиму Грошев, не теряя времени даром, здесь же в дежурке и провел дополнительный инструктаж. Василий Васильевич, свободно и неторопливо прохаживаясь по комнатке, внушительно вещал:

— Помните, дежурство особое. Полная бдительность — и ни малейшего расслабления. В двенадцать — после поздравления президента — обязательный отбой и регулярные обходы по территории. А также по всем куткам. При съеме с нижнего склада и лесоцепления выявлено и изолировано несколько человек. Но могут быть пьяные и в зоне: все не предусмотреть. Значит, обходы, обходы и еще раз обходы. Ни минуты не дремать. Это — главное. Обо всех инцидентах докладывать лично мне: я буду работать у себя в штабе зоны. А сейчас с начальниками отрядов и войсковым нарядом проведем обход по зоне. Вопросы?

В это время без стука возник председатель совета колонии, малый, которого и в три обхвата не обнимешь; поздоровавшись вежливой скороговоркой, он затрещал:

— Гражданин начальник, разрешите новогоднюю программу посмотреть — народ просит. Все будет путем, только разрешите немного на воле себя почувствовать, век будем помнить!..

— Дают стране угля, — только и изумился дежурный Соснин, хотя председатель совета не сводил своих бегающих глаз с зама по режиму. — Это же протянется до четырех утра — не меньше! Да у меня к тому времени всю зону на уши поставят — виновных не найдешь! Самого под суд отправят! Не мешайте работать!

— Ми-ну-точ-ку, — раздельно выговаривая, остановил капитан Грошев было уже скуксившегося председателя совета. — Как, говорите: посмотреть праздничную программу? А есть ли гарантия, что в зоне действительно будет полный порядок? Актив колонии ручается?

— К-конечно, — вдохновенно заикался председатель. — Мы же себе не враги, гражданин начальник! Р-разрешите, объявлю по отрядам? Я мигом!

— Раз-ре-ша-ю. — Капитан Грошев, щурясь, попротирает очки, провожая взглядом обрадованно вывалившегося за дверь председателя, затем, развернувшись на каблуках хромовых, лаково блестящих сапог, наставил короткий палец на покрасневшего дежурного:

— Никогда, товарищ Соснин, не лезьте вперед бабки в пекло — соблюдайте субординацию. Даже если вы и дежурный помощник начальника колонии. Запомните. Дальше: народ будет занят — это самое главное. Останется только умело координировать свои действия: здесь у нас опыта не занимать — справимся. А раз люди говорили, что гарантируют полный порядок — значит, люди знают! Все, товарищи офицеры, обход!

Доказывать, что спор себе дороже — все одно, что в стенку лбом биться. И мы молчаливо вышли вслед за Грошевым в морозную темноту ночи, тускло освещаемую хилыми лампочками под жестяно скрипевшими абажурами; и по нам с одной из вышек на секунду скользнул ярко-желтый проекторный луч, в свете которого на мгновение покорно взвились и заплясали

ли в сумасшедшем хоре мириады беззаботно-легкомысленных и веселых снежинок. Из светлого-то рая, да на трудную землю...

Металлически чекая набойками каблуков по замороженно-звонким доскам плаца, нас догнал и пошагал впереди прапорщик Псарев из дежурного наряда конвойной роты.

Поеживаясь, я невольно усмехнулся: за неделю до праздников Псарев вызывал по громкой связи осужденного Жилина, а меня в это время как подтолкнули — и дунул, вспомнив известный толстовский рассказ, вызывающему на ушко: “Заодно и Костылина не забудь!”

“Осужденные Жилин и Костылин! Прибыть к дежурному! — на ходу перестроился Псарев. — Жилин да Костылин, срочно в дежурку!” — гаркнув напоследок, он сделал мне обнадеживающий знак рукой: мол, сейчас оба здесь, как штык, будут!

Поняв, что шутка зашла далеко, я попытался это объяснить контролеру, но тот уже закусил удила: пока не перебрал в дежурке все списки, выяснив, что такого осужденного в природе не существует, — не успокоился. Даже пот прошиб. И после перестал со мной здороваться. Только головой при встрече кивал — старшему-то по званию.

У Псарева отчетное лицо и вечно недовольный, лающий голос. А по заметке и премега: со всеми как кошка с собакой, одинаково не милует как жену, так и осужденных на службе. Всех под одну стрижет. Раз у меня на глазах с дежурства отпросился — жену из домашней кладовки выпустить. Сидела там с утра и до вечера — на всякий случай. Чтоб мужа больше уважала. А осужденные тут как тут и прозвище подобрали от души: Кирпич.

Толчея без стука не ходит — так и наладилось: Кирпич да Кирпич. Даже комроты и тот однажды обратился: “Товарищ Кирпич!..” После плюнул и рукой махнул: как баннным листком прилипло... Так и звали человека, как величали.

Во время обхода по отрядам всюду предстала одинаковая картина, какая бывает только по праздникам: в секциях шум и гам, в комнате политико-воспитательной работы неустанно мерцает мертвенно-синим накалом многострадальный телевизор, и больше обычного узкая тропка от культкомнаты до туалета залита матово белеющей жидкостью тайно бегающих сюда в эти праздничные и одновременно невыносимые часы; а в курилке, где можно было смело вешать топор, едкий и плотный дым делает неузнаваемыми сражающихся в шапки под сопровождение адского смеха и мата; но все равно, как по команде, перед нарядом все бодро и весело встают, безбоязно отвечая на дежурные вопросы, а улыбки запоминаются непривычной искренностью... И без перца доходит до сердца, — каковы веки, таковы и человеки...

Не забыли мы заглянуть и в кутки: пристройки к пэтэу и котельной, парикмахерской и школе, в каптерку с санчастью. За глаза довольно. Обошли из конца в конец: все было тихо и мирно.

После обхода зам по режиму, как и обещал, отвернул к себе в штаб зоны, а мы, уже крепко замерзшие, заторопились к дежурке — чуть не наперегонки. Перед самым входом нас осторожно обошел Нарком в новой фуфайке с форсисто поднятым воротником и вжатой в плечи головой.

А на пороге дежурки, часто затягиваясь, зобал папироску прораб Портретов, по красным пятнам его лица было понятно, что уже погнал человека черт по бочкам. Даже челюсть отвисла.

— А-а, Портретыч, — припечатал прораба по плечу Серега Шаров. — Дело сделал? Выдал Наркому задание? Все — до встречи в эфире!

— Верно, верно, — не обидевшись, согласно засуетился прораб, что было явно не в его характере. — Ухожу, голубчики-душегубчики! Спешу: запинаюсь и падаю...

В самой дежурке нас уже дожидался вскипяченный чайник, и мы, разложив на сейфе свои припасы, добрые полчаса гоняли чай, в душе радуясь, что все пока идет хорошо да ладно. Так хорошо, что любо.

Но от добра до худы один шаток. Зазвонил телефон, и дежурный, хмуро выслушав, кивнул мне:

— Давай к себе: завхоз икру мечет — кажется, пьянка...

Накинув шинель, я выскочил в одиночку: в своих-то углах не староста указчик. А чуть что — телефон под рукой. Да и волков бояться — в лес не ходить...

В моем кабинете встревоженный завхоз с ходу шепнул секцию, где чифирили пьяные. Я шугнул его будто бы за непорядок: оставив на тумбочке повязку, где-то шастал дежурный по отряду. Пришлось самому собирать актив — для традиционного обхода.

Обход начался не спеша и по порядку, с ближней секции, чтоб завхоза не подвести ненароком. В одной из секций обнаружился в розетке оставленный кем-то самодельный электрокипятильник — “кипятило”: пара металлических пластин да шнур с оголенной проводкой. Творение рук человеческих, подходившее на все случаи жизни, было брошено на произвол судьбы в виду внезапного обхода. А это наказывалось последовательно и строго.

В последней секции, в углу на койках, действительно чифирили: черная железная кружка ходила по кругу, передавалась из рук в руки — важно, степенно и обходительно. Каждый, сделав строго по глотку, передавал законченную кружку следующему.

“В авторитете” здесь вологодский Борис Кондратьев — Кондрат, с лицом, покрытым мелкими нарывами, и дышащий в нос, хрипло и густо. Похож на большого. Трое “кентов” во всем внимали Кондрату: сложив по-турецки ноги на кроватях, не спускали с него блестящих и мутных глаз. Рты пооткрывали — и слова поперек не пикнут.

— Чай не запрещается, — опережая вопрос, насмешливо и хрипло протянул Кондрат, однако глядя на меня вполне серьезно и внимательно. Но я и не думал разводиться известную волокиту, в очередной раз доказывая, что распитие чая вот так, по кругу, уже нарушение. Не на посиделках — купил, дуй себе на здоровье, кто же против. Только — в одиночку. Закон есть закон. Не мной, кстати, и придумано, понимать надо.

Я лишь как бы случайно, велух, удивился, что у Кондрата “гуляет” язык, а это, надо полагать, не является результатом воздействия уважаемого им чифира. Не грех бы и провериться: тихо-мирно. Не правда ли? — держал я быка за рога.

Сделав худо, не жди добра, но когда вот так — по-людски да по-божески просят, — отчего бы не пойти да не провериться. Никто не откажется. Завсегда рады. Там, где проверка ожидается, тоже люди — поймут и разберутся. Восстановят справедливость. И все довольны. А иначе нельзя: окоротить, так не сразу воротить. Беды не оберешься.

В одной из колоний, сопровождая тоже до дежурки через зону пьяных, контролеры порядка ради сунули под микитки одному строитивому, а он возьми да закричи: “Наших быют!” Вся зона поднялась — честь свою защищать. Ломали и громили все, что плохо приколочено. И мирно остыли, наткнувшись на привлеченных для наведения порядка молчаливых конвойников. Так что не надо будить лихо, пока оно тихо.

Дежурный, вызвав из поселка медика, провел с контролерами осмотр приведенных из моего отряда. Те охотно выворачивали карманы наизнанку, снимали сапоги — демонстрировали полную лояльность. Знать, на кривой козе выезжали: больно уж были уверены в собственной правоте.

Как на распорках, на негнущихся ногах и в шинели, вываленной в снег, вошел Точиллов Павел Павлович, с петлицами медика и погонами лейтенанта. Не обращая внимания на окружающих, он бережно усадил самого себя в кресло дежурного и со значением прикрыл глаза, с сопением вытаскивая пачку с сигаретами.

Тут нашему слову места нет, потому что в любой государственный праздник Павел Павлович Точиллов с утра сыт, пьян и нос в табаке. А медчасть своего в обиду не дает: ценный работник. Даже какой-то труд пишет, в науку ушел. Берегут пуще глаза. А человек, понятное дело, без недостатков не бывает: лукавый и святых искушает.

Развалившийся в кресле Точиллов с усилием разомкнул глаза, закурил и с минуту в недоумении разглядывал стоявшего перед ним и пытавшегося не покачиваться Кондратьева, потом, брезгливо дергая губами, оповестил:

— О-о-о... один выйди.

— Здесь больше никого нет, — на всякий случай вытягиваясь по стойке “смирно”, заплетающимся языком отчитался Кондратьев. — Я один, гражданин начальник.

— Так... понятно. Нам все понятно. Все равно — один выйди!

И, погрозив кому-то невидимому пальцем, дежурный медик со всеми проделал одну и ту же нехитрую процедуру, значение которой было ведомо лишь ему: приказав каждому раскрыть рот пошире, он сосредоточенно разглядывал похожие на подошвы темно-бурые, начифиренные языки, что-то при этом напряженно сообщая. Затем при общем молчании долго выписывал справки обследования.

Выполнив такую трудоемкую работу, Точилон не с первого захода встал и все на тех же негнущихся ногах покинул помещение. С гордо и надменно поднятой головой, как на торжественном церемониале.

А Соснин, ознакомившись со справками, внезапно побагровел и, шевеля щепоткой усов над вздернутой губой, заматерился:

— Береги природу, мать твою!.. Только гляньте, что человек делает! Ставит общий диагноз: “язык чифриста”. И захочешь — такое не придумать!.. Маразм крепчал! — Но, спохватившись, Соснин глянул на повеселевшую компанию и для пущей убедительности постучал по столу: — Не радуйтесь, мужики. У всех заложено — и без проверки видно. Да и грехов у каждого по уши. Так что запрягайте, хлопцы, коней: собирайтесь в ШИЗО. На сутки — правами дежурного. Без всякой обиды: все по закону.

Дежурный оглянулся и кивнул невысокому прапорщику с сальными волосами, у которого охраняемые недавно просили в лесу пистолета орехи поколоть, но тот оказался на высоте, — не доверил. Хотя и обращались с уважением: вежливо и обстоятельно.

— Значит, Паша... — Соснин качнул головой, морщась точно от зубной боли. — Слышь, Паша: отведите этих с Псаревым в изолятор да заодно помогите там с отбоем. Давайте, служивые, поживее...

А я в одиночестве стоял в комнате с сейфом, никого не слушая и ничего не ведая, потому что мне уже виделось, как за зарешеченным окном, медленно тая и высветиваясь, уходила темень, и на смену постепенно появлялись, отчетливо обозначаясь, сверкающие серебром и золотом украшения праздничной елки той далекой поры моего последнего школьного года, когда самая красивая девушка, всегда застенчивая и робкая, прямо при всех подошла ко мне и громко, во всеуслышание, сказала, что любила и любит только меня одного, — в ответ на мое глупое открыточное пожелание быть счастливой; и, кажется, только теперь я неожиданно понял, что навсегда потерял ту, о которой, спасая себя, постоянно думал и был этим счастлив...

“А у Кондрата-то — отец с инфарктом”, — вдруг молнией мелькнуло у меня ни с того ни с сего, и тут же из грязного, полуразбитого приемника, висевшего над дежурным, мелодично и празднично ударили куранты, по-детски радуя своими удивительными, чистыми звуками...

— Порядок, — бросил вернувшийся из изолятора Псарев. — Сделали отбой. Улеглись как бобики — и не твякнули. У нас не повыступаешь.

— Ага, — подтвердил и Паша, покомкав ладонью свои сальные волосы. Деловит и серьезен: — Только Кондрат тусовался — еле успокоили. Икру мечет: “пришью” отрядного. Говорит — не по делу замели. Мол, отрядный виноват. Раз медики не подтвердили пьянки, — всё, разошлись, как в луже чинарики. Так и говорил. Матерился будь здоров. Хотели даже в браслеты закатать, да поутих. Сейчас нормалек — отдыхает.

Дежурный скривился и закурил, затянувшись так, что и без того его плоские щеки обтянуло, как у больного:

— Час от часу не легче. Каким только трюманом люди думают?.. — Соснин обжегся, вставив новую папиросу другой стороной. — Ш-шерсть стриженная!..

— Теперь, наверно, срок навесят новый, да? — как оса, лез в глаза Паша. — Да, Игорь Александрович? А что, ништяк: за угрозу расправы над

офицером — пару лет и на строгий. Загремит под фанфары как миленький! Чтоб понимал, да?..

И не от того мне было холодно, что кто-то дурью маялся, прежде веку все равно не помрешь. И коли быть беде, то ее не обойдешь, а долгая дума — только лишняя скорбь...

В черном дешевом костюме, худой и бледный, с провалившимися щеками и еле слышным голосом стоял почему-то перед глазами отец Бориса Кондратьева. После перенесенного инфаркта был на свидании с сыном. На краткосрочном. Длительного Кондрат был лишен — за очередное нарушение, без них не обходилось. А еще через несколько дней после свиданки у Кондрата так схватило зубы, что на стенку чуть не прыгал. Аж позеленел.

И пока я, бросив все дела, бегал в поселок за таблетками — по выходным медчасть под замком, — и умудрился на собственное мероприятие опоздать. Этого добра у отрядных не огребешься. А контролировал замполит своих сотрудников добросовестно, и на планерке расправа не замедлила, — через колено, да пополам. Мол, пасись, коза, на привязи: знай свое место. Сильная рука кому не владыка?..

А в письме, которое следом пришло мне от отца Бориса Кондратьева, написанном слабыми шатающимися буквами — следами человеческого горя, была робкая просьба присмотреть, по возможности, за сыном, который вырос без матери, в общезжитии, в детстве часто болел, а перед армией был так избит, что пришлось удалять селезенку, но об этом он сам никогда не расскажет, и если, конечно, виноват, то... И без них горе, а с ними — двое...

И если до кого такое не дойдет, того уже не сожжет, а потому и не было у меня ответа человеку с салными волосами и мягкими пухлыми руками, крепко державшими кусок хлеба и кружку с дымящимся чаем...

— Му-жи-ки-и-и... — вдруг шепотом прохрипел Серега Шаров, сводя к переносице, как это умеет только он, свои плутовато-желудевые глаза. — Мужики, — вращал зрачками Серега. — А вы хоть знаете, что у того, кто занимается онанизмом... — голос Сереги упал до трагического хрипа, — ведь шерсть на руках вырастает!

И Серега Шаров, такой-сякой, сухой-немазаный, еще и прищурился с придурью, как вдруг Паша, неожиданно вскрикнув, выронил кружку с чаем, в неподдельном ужасе воздев перед собой короткие пухлые персты.

Дежурка охнула и застонала смехом — только что углы не заскрипели. Но уже через минуту Соснину, всегда и во всем искавшему ясность, стало не до смеха. Он кивком подозвал хитро щурившегося Серегу Шарова, подергал у того на мундире пуговицу:

— Слушай, только вспомнил: ведь твой Нарком кентуется с Кондратом, верно?

— Ну-у-у... — тянул Серега, которого еще разбирал хохотунчик, тем более что Паша, отчего-то приседая, матерился почему свет стоит. Во всю силу легких, даже вены на висках оживились.

— Баранки гну! — И Соснин прикрикнул на Пашу: — А ну тихо — пошутили и хватит. Лучше помолчи. Или перекуси — помогает.

— А он с осени закормлен, — перемигнувшись с Псаревым, веселился Шаров, но дежурный, крутнувшись на месте, повернулся к Сереге Шарову — лоб в лоб:

— Все еще Ванькой с Пресни прикидываешься? Или в самом деле ничего не понял? Раз Нарком с Кондратом кенты, а последний давно уже в изоляторе, — что тут не ясно?.. Значит, “норму-задание” твой воспитатель с “девятой точки” выдал своему бугру сполна. Это и козе понятно.

— Ну, “голубчики-душегубчики” — берегись, прораб недоделанный!.. — На Серegiной потемневшей щеке обозначилась пунктирная ссадина после бритья. — Теперь уже поздно копать в колбасных обрезках — ничего не докажешь. За руку-то не пойман!.. Всех бы их к стенке, — да очередями — из пустого-то валенка!..

Серега, вызвав по внутреннему телефону завхоза, закричал:

— Старшина, срочно узнать, где сейчас Нарком? Ну, Паньков, словом. Жду! — И, кинув трубку, сцапал Соснина за рукав: — Между прочим, Ни-

колай свет Александрович, завхоз у меня новый и со всей этой шоблой в контрах. А с Наркомом особо: тот раз права стал качать, так завхоз ему налил промеж глаз, и Нарком летел — только не курлыкал. А такое отдают на том свете угольками, ребятки-козлятки. Так что дело пахнет керосином... Долго ли нажраться да разборки учинить. На это они мастера первого класса...

Тем временем завхоз доложил Шарову, что Панькова нигде не нашли, как в воду канул. Дело понятное: ночь-то матка — все гладко.

— Будет он в отряде сиднем сидеть. — Серега, застегнув шинель, передернул широкими плечами, взбадриваясь. — Нашли дурака!..

И мы с ним, захватив Псарева, отправились навстречу судьбе, вручившей нам такой кислый лимон. Найти на все готового Наркома.

Усиливался дувший все забористее ветер, а где-то вверху, в темной густоте неба, знобко ощутимой сквозь редкие мелкие звезды, уже шумело что-то невидимое и сильное; ржаво скрипели на столбах раскачивающиеся фонари в железных рубашках, гоняя свой жидкий свет, и все чаще метались безжизненные полосы прожекторов на молчаливые строения, отчего-то вынуждая сжиматься сердце в невольной тревоге...

Между тем в отрядах, куда бы мы ни заходили, было относительно спокойно, и даже — на удивление — многие уже спали, а иные, собираясь на боковую, вечеряли, согнувшись в полутемных секциях за чаем и хлебом; в курилках наконец-то оседал дым, и воздух был такой тяжелый, что, хоть раз вдохнув его, нельзя было отделаться от спазматически душившего горлового комка...

И у нас уже была не о том речь, что виноватого надо сечь, а только о том, где же все-таки он, — шли мы теперь, не замечая холода, по третьему кругу — из края в край. Не обходили стороной и кутки. Но все было напрасно: знать, на всяком углу наркомовские шестерки поставлены, — каждый шаг докладывают. А сам где-нибудь в тепле над нами посмеивается: дешево они не возьмут.

И когда только дошло, что у нас, как и у всех, всего лишь два глаза, да и те за носом, — мы, не солоно хлебавши, вернулись обратно.

Соснин и Паша, сидя порознь в разных комнатах, мирно носом окуней ловили. Дремали под жужжание счетчика. Соснин, сполоснув лицо, сообщал, что он самолично заглядывал в Серегин отряд — на всякий який. В целях профилактики. Был вместе с вызванным нарядом осужденных, из числа дежурных в новогоднюю ночь. От Наркома ни слуху, ни духу: пропал, как с возу упал.

Паша в шапке, свернутой на ухо, словно вспомнив о чем-то важном, выскочил на улицу, но вскоре залетел обратно и гробовым голосом возвестил:

— Во втором отряде Нарком завхоза подколот!..

— Заткни рот рукавицей! — побелел хозяин отряда Серега Шаров и спохватился: — Кто “стукнул”?

— Вышел я до ветру, а у ворот дневальный ко мне. Со шнырем из второго отряда. Кричит: у нас Нарком завхоза подрезал! Ну, я их обратно прогнал, а сам сюда!.. — Паша испугался, точно он сам все это натворил. Стоял неподвижно, и один глаз его подергивало неудержимым тиком.

А через несколько минут мы уже всем составом ворвались во второй отряд. В фойе и коридоре оказалось пусто, только через стенку еще бубнил телевизор: разрешение о просмотре новогодней программы выполнялось добросовестно.

А в кабинете Шарова на старшинском месте, опершись на руку и полукнувшись к стене, один-одинешенек сидел завхоз — молодой чернявый парень со стеклянными голубыми глазами навывкате. Левая рука выше локтя была перехвачена бинтом, лицо — белее мела. Но из одного угла рта в другой бегала папироска — завхоз, устало щурясь, курил. И походил на утомленного работой мыслителя.

— Что случилось? — подлетел Шаров. — Куда он тебя?

— С дураков взятки гладки... — шевельнулся завхоз, недовольно покосившись на перевязанную руку. — Нормалек — вена не задета. Обошлось.

Хотел опять пугнуть, сморчок. Мало того раза хватило. Ничего — нормалек. Отлежусь.

— Ну, я ему, уроду заштыренному, рога-то пообломаю!.. — зарычал Серега. — Где он?

— Кажется, в секции... Отсыпается, — откашлялся завхоз, не ставший держаться на благородном расстоянии, потому что здесь кто помечает, тот и отвечает. Каждый за себя.

— Может, медчасть вызвать? — с готовностью шевельнулся Соснин, с состраданием глядя на старшину своими большими глазами в полукруглых разводах. — Давай позвоню, живо придет...

— Нет. — Завхоз был не из тех, кто с ходу весит головушку на правую сторонушку. — Серьезно, отлежусь — и делов-то. Пустяк, всего царापина. Так, заточкой задел...

— Смотри, — выходя из кабинета, согласился Шаров. — Будь тогда в отряде. В самом деле, отдыхай. Замену подыщу.

В наркомовской секции, казалось, все спали. Кто-то даже посасывал. Тишь да гладь, божья благодать.

Но мы уже были у тихого омута, где черти водятся: последняя койка в углу. Самолучшая. Сам хозяин шумно дышал, с головой закрывшись одеялом.

Серега Шаров, наклонившись, резко дернул жесткую байку: Нарком оказался в трусах и фуфайке. Точно так и надо. Поджав ноги, недоуменно открыл глаза, тревожно озираясь, — овечкой прикидывался. И в голую горсть не сребешь.

— В чем дело? — сипло спросил он. — А?.. Что такое? В сё-ом дело?..

— В шляпе. — Для Сереги Шарова такая увертка не вывертка: взяв подчиненного за грудки, он рывком поставил того перед собой. — Одевайся. И за мной на полусогнутых, понял? Разговор есть, Паньков. И серьезный.

— В чем дело-о-о-о... — захрипел Паньков и прихлопнул к ноге вдруг забившую крупной дрожью руку. — Ты чё, в натуре, начальник? — И, выдвинув вперед челюсть, ножами выбросил в стороны руки. — Вы чё, цветные? Не доводите до греха!.. Я за базар отвечаю, мля!

— Я тебе крикну, малюточка, басом, — удерживая стальной рукой Панькова, а другой помогая ему одеться, цедил Шаров. — Ты что, урка недоделанный, еще себе дело шьешь? Не многовато ли на одного?

— Какое дело-о-о-о?.. — свистел Паньков, шаря глазами по темным и как бы переставшим на время дышать койкам. — Никаких делов не знаю!.. Все дела у прокурора, а у нас делишки. Ты мне, начальник, не леги тут горбатого, по-ал?..

— Как не понять, — спокойно кивал Серега, подталкивая одетого Панькова к выходу. — Конечно, понял — чем старик старуху донял. Не велика наука. А ты, если хочешь, чтоб все в порядке было, иди и не рыпайся. Слушайся старших — худому не научат, родное сердце.

Паньков сделал еще напоследок приседающее движение, желая вырваться, но мы были тут как тут, — помогли и встали рядом. Бок о бок, как родные и близкие. И мне показалось, что кровати облегченно и сдержанно вздохнули. Задержавшись на пороге, я не вытерпел и обернулся — точно тихий ангел пролетел. Сон свят: все спят...

А на улице, глянув на торчавшую из-под накинутой фуфайки рубаху согласно плетущегося Панькова, я понял, что тот потому и поднял дым коромыслом, чтобы за него только голос подняли. Пожалели и заступились. Но ни у кого в это время почему-то подушка не вертелась в головах, а беспечальному сон всегда бывает сладок.

— Колись, тварь! — впервые за обход подал свой торопливый, лающий голос Псарев, едва лишь вошли в дежурку. — Нам все известно: кто дачку передал, тот и рассказал. И даже объяснение написал. Усек? Колись по-хорошему, не то прессовать буду! — Внезапно покрасневшее лицо Псарева кривилось и дергалось.

— Если известно, о чем базар, — не скрывая, ухмыльнулся Паньков, прислонившись к барьеру. — А ты, кусок, заткни фонтан. Тут и без тебя найдутся — постарше да поумнее.

Паньков покрутил тяжелой головой с осоловелыми глазами и, смачно крякнув, с достоинством полез за куревом, но накинутая на квадратные плечи фуфайка, скользнула на заплыванный, плохо выкрашенный пол.

— Н-на место, — негромко приказал ей Паньков. — Видишь: народ ждет. А народ уважать требуется. Иначе ему это не по кайфу. — И, как нашкодившей, погрозил фуфайке своим, с отполированным и длинным ногтем, крючковатым пальцем.

Это оказалось последней каплей, переполнившей чашу псаревского терпения: подскочив к Наркому, он неожиданно так ему навесил, что тот, дружески взмахнув руками, упал на зарешеченное окно.

— У-у-у!.. — как трансформатор, низко и утробно загудел поднывавшийся Паньков и, страшно рывкнув, располовинил свою нательную рубаху. — У-у-у!.. — шагнул он к нам — широкоплечий и крутолобый, загородив собой свет.

На его конвульсивно дергавшемся животе, плавно перебирая множеством мохнатых фиолетовых лапок, судорожно извивался выколотый отвратительный паук. — У-у-у!.. — правил, как черт болотом, Паньков, разжимая и сжимая кулаки.

— В сторону! — вдруг выкрикнул Серега Шаров и, коротко выдохнув, принял стойку. — Все с дороги!

Поняв, что Нарком сам на себя плеть свил, я дернулся к Сереге, но было поздно, он сделал рукой неуловимое движение. Передо мной брызнула своим высшим и последним накалом ослепительная лампочка, тут же канув в ночь. Черную и беспощадную, где ни встать, ни сесть.

Очнулся я уже на кушетке: спать не сплю и дремать не дремлю. Только голова гудом гудит. Да в непонятном пространстве видится торчащая из-под фуфайки рубаха, которую нестерпимо хочется поправить. Просто взять и помочь человеку, у которого эта рубаха белым шлейфом тянется по полу далеко-далеко...

“А пол-то грязный...” — отчетливо шепнул мне кто-то на ухо, и тогда я открыл глаза. Встал и сел, снова встал и сел, ванькой-встанькой. Хоть сила сиду и ломит, да только сам себя под мышку не подхватишь.

— Молоток, — осторожно хлопывал меня по щекам Серега Шаров, с тревогой наклоняясь к самым глазам. — Чудак-человек: кто же под такую кувалду толкал? Так ведь и без головы остаться можно. Ладно хоть в последний момент немного отвел — вскользь пришлось. Слушай, нашел за кого заступаться! Такому попадись только — убьет и не задумается... Как самочувствие-то?..

— Чуть не родил... — усмехнулся я, похоже, окончательно приходя в себя и оглядываясь: Псарев подавал мне стакан с чаем. — А где остальные?

— Наркома в изолятор отвели, — тяжело плюхнулся рядом Шаров. — В браслеты — и вперед с песней. Пускай разбираются. Туда и сам Грошев удул — только позвонили. Чэпэ, оно и в Африке чэпэ. Орет, конечно, начальство. Теперь и в самом деле будем отписываться: тому руководителю, этому... Ладно, Бог с ними. Слушай: чего ты-то опять чудишь?.. То в прошлом году в клубный пожар сунуло — чудом вылез, теперь снова в ту же дыру... Ты что, друган, ведь надо головой думать-то, а не метром ниже... Ну, как — попросло?..

— Есть еще... местами гололед... — хмыкнул я, покосившись на Серегины гири: виноват, так знай про себя. — Знаешь, как в самолете: тошнит, а не выпрыгнешь... Не переживай, ты здесь точно ни при чем. Давай-ко лучше чаек пить — все вернее будет...

— Никому не верю!.. — отчетливым и протяжным голосом заговорил Псарев, злобно тыча пятерней в сторону двери. — У меня папаша из таких тварей подзаборных! Только водку жрал да нас с матерью всю жизнь калечил. А меня вообще норовил все время по башке долбить, чтоб дураком стал!.. А мать — ко всякому столбу ревновал, даже в бане запирал по суткам. Псих на самокате! Мне лет пять было, а как сейчас помню: вырвалась она из бани, да в горушку бегом. Так он догнал — и ножиком в ногу. Не бегай без спросу! И никто не узнал. А попробуй пожаловаться — после на-

смерть забьет! У него не заржавеет! Пока он жив был — не прощал никогда, доведись бы сейчас — то же самое. Нельзя! Было: зима не зима, а если не успел обуться — босиком и на задворки, а там ждешь, раздетый-то, час, другой да и третий, пока папаша не угомонится. Или куда-то уползет. Тогда ноги в руки — и на верхний сарай в сено: нору сделаешь и спишь. Тварюга, везде находил — нигде житья не было... всю жизнь с матерью в страхе прожили. Таких сволочей надо без суда и следствия! Сколько людей из-за них свои жизни поломали, разве не так?..

— Вот и Грошев разошелся, — тихо сообщил прибывший из изолятора Паша. — Ведь Нарком на все вопросы как в рот воды набрал. Рогом уперся — не сдвинуть. Его как после этого вывели отсюда, он только головой помогал — и всё. Ни на кого и не смотрит, — пожимал плечами Паша. — Чего это с ним, понимаешь? Должен радоваться, бычара, что так легко отделался, на чужом хребте выехал... А Грошев еще Соснину свечку вставляет: дескать, на планерке разберемся, дорогой товарищ, почему такое дежурство было. Соснин знай мычит да краснеет, а тот и слушать не хочет. Хотя у самого глаза сонные: сразу понятно, что конкретно дрых человек. Не полудски все это, мужики...

— Мы тоже хороши гуси. — Серега Шаров дул, наверное, третью кружку чая. — Связь-то наркомовскую с прорабом прозевали. Так что чья бы корова мычала, а наша молчала...

— Выходит, теперь надо всех подряд шмонать, что ли? — вовсе растерялся Паша. — И ваших, и наших? Где же тогда правда-то?..

— Надоело! — треснул кулаком по столу Серега. — Нытики хреновы: надо дело делать, а не языком трепаться. Всё — давай-ко еще по зоне покружим, а то скоро подъем. Или кто-то еще за нас будет горбатиться?

И он оглянулся на меня, сильный и насмешливый человек, всё же поизмотавшийся к утру. И поморщился с едва заметной жалостью: мол, затейливые-то ребята недолговечны. Только ищут приключения на свою голову.

И после весь остаток дежурства, пока мы крутились, как белка в колесе, со своими привычными заботами, держался в одиночестве. Лишь чаще курил. Да и остальные попричихли — понятное дело: не снова здорово. Тоже подустали.

А когда мы всем скопом двинулись в зоновский кабинет начальника для сдачи дежурства, мне показалось, что у нас, одинаково хмурых и молчаливых, совершенно похожие лица, напоминающие цвет повседневной шинели.

4

По-кошачьи мягко ступая по ковру, последним в кабинет вошел заместитель по режиму Грошев и сел напротив начальника: руки меж коленей, слегка пригнувшийся. И в других — уже затемненных очках.

Он поводил по сторонам головой, словно впервые видел собравшихся вместе с ними на планерке военнослужащих из войскового наряда. И весь доклад дежурного капитан выслушал без единого слова, но как только Соснин заговорил о чэпэ, он заперевирал ногами — подсобрался и приготовился. Но вышло не так, как заместитель по режиму загадывал. Не той полчила масти козырь. В наступившей тишине все, как по команде, замерли.

— Нельзя было обойтись без этого? — выслушав дежурного, пошевелил начальник своими серо-черными с завитушками к вискам бровями. — На что ежедневные ориентировки? Разве нельзя было предвидеть такой оборот дела?

— Можно, — тут и сунулся я из огня да в полымя. — Можно, — услышал я со стороны свой голос и встал. — Если бы не то распоряжение, да еще самим поменьше глазами хлопать...

— Что-о-о?.. — изумленно трогал начальник свежесвыбритые красные щеки, ничего не понимая и глядя по очереди на сидящих. Но здесь действительно поперек батьки в пекло не лезли. Молчали да ждали.

— Василий Васильевич, — взял тогда без нужды начальник шариковую ручку, — объясните наконец — в чем тут дело? Введите в курс!

— Ничего серьезного не случилось, — сложив лодочкой ладоши, торопливо вмешался опешивший было Грошев. — В общих чертах я уже объяснил. Поцарапал Паньков завхоза, у них давние счеты. Это нам известно. С обоими уже побеседовано, тем более что потерпевшая сторона претензий не имеет. А с этим Паньковым тоже все ясно: теперь ему прямая дорога в БУР. Давно просился. А подробности будут изложены отдельно — так целесообразней... Из оперативных соображений.

Грошев, повернувшись в мою сторону, снял затемненные очки, и в его неподвижных зрачках я тотчас увидел себя маленьким и перевернутым кверху ногами. Как будто уже приговоренным и повешенным. Неужто вина моя не прощена?

Но, спохватившись, зам по режиму быстро надел очки и торопливо попросил их в дужках, как будто вновь подвинчивал свои невидимые винтики...

В окно первого этажа штаба из коммутаторской, мимо которой я вскоре после планерки не спеша проходил, призывно застучали: с приплюснутым к расчищенному стеклу носом приглашающе махала коммутаторша.

— К телефону, — подняла она полное, с двойным подбородком лицо. — Только из дежурки позвонили: сказали, как раз должен рядом проходить...

“Напросил себе на шею”, — взял я на ум, но голова не заболела.

— Да, — отозвался я, прижимая трубку, и повторил: — Да.

— Молодец, — вдруг раздался оттуда чей-то знакомый, лающий голос. И повторил: — Молодец.

— А кто это?.. — само по себе вытянулось лицо по шестую пуговицу. — Кто это говорит?

— Весь поселок говорит, — подал язык языку последнюю весть. Трубка дала отбой. А коммутаторша, толстая и неразговорчивая, еще молодая женщина, воспитывающая уже троих детей, хотела еще что-то сказать, но, присмотревшись, хмыкнула и даже неуверенно улыбнулась, поджав губы. И мы с ней помолчали, согревая друг друга теплом своих глаз...

Пройдет день, и будет все та же песня: снова придется, выворачиваясь наизнанку, до одури торчать в отряде, разбираясь с бесконечными рабочими делами, после которых у любого служивого на таком месте не может не померкнуть все живое кругом, а ввечеру — то же самое, что и поутру: дел по край крещеного света.

Живая грамота: у конца да венца никогда не найти конца. И тогда хорошо бы всем нам чаще улыбаться друг другу своей самой лучшей улыбкой, хоть чуточку помогающей человеку сохранять его радости, его надежды, а значит, и его короткую, неповторимую жизнь.

А еще мне хотелось, чтобы сейчас дома было тепло, и там ждала самая красивая девушка, когда-то при всех бесстрашно сказавшая, что любит только лишь меня одного...

И правда: мало ли о чем думает русский человек, когда ему хорошо.

“Я ЗА ЗЕМЛЮ ЗУБАМИ ДЕРЖУСЬ...”

Денис Михайлович Цветков – легенда иркутской поэзии. В Прибайкалье ценители подлинного русского слова хорошо знают старейшего сибирского поэта, автора многих книг, да ещё и замечательного художника, который оформляет собственные сборники стихов. Родился поэт 21 декабря 1921 года.

Стихи Дениса Цветкова высоко ценил выдающийся русский поэт, лауреат Государственных премий Василий Фёдоров и долгие годы был ближайшим его другом, поскольку свой творческий путь они начинали в одно и то же время и в одном и том же сибирском городе – Иркутске. Василий Федоров работал на Иркутском авиационном заводе. В эти годы им была написана знаменитая поэма “Седьмое небо”. Здесь же трудился, сначала в редакции заводской газеты, а потом художником – Денис Цветков.

Стихи он начал писать в 12 лет, а в 1938 году, в 17 лет стал публиковаться в иркутской периодике: в газетах “Советская молодёжь” и “Восточно-Сибирская правда”.

Он дружил со многими известными иркутскими писателями: с автором романа “Даурия” Константином Седых, с неподражаемым сибирским сказочником Василием Стародумовым, с замечательным писателем-фронтовиком Алексеем Зверевым, чьи романы и повести “Раны”, “Выздоровление”, “Гарусный платок”, “Далеко в стране Иркутской” ныне стали русской сибирской классикой.

Рядом с Денисом Цветковым работали в газете Иркутского авиационного завода известные в стране писатели Ким Балков и Евгений Суворов, читал и восхищался его стихами Геннадий Машкин. В 1973 году у поэта вышла в свет первая книга стихов “Высоковольтка”, появились публикации в журналах “Ангара”, “Сибирь”, “Сибирские огни”.

Долгое время Денис Михайлович Цветков не публиковал свои книги по разным причинам. И одна из главных: Восточно-Сибирское книжное издательство определило себе за правило отправлять стихи неугодных издательству авторов в другие регионы России: в Новосибирск, Омск, Москву, откуда приходили разгромные рецензии на книги иркутских писателей.

Я сам однажды получил такую рецензию от мало кому известной новосибирской поэтессы Нинель Созиновой. Кто нынче помнит её имя? Пожалуй, никто. После того, как Денису Цветкову выдали в издательстве подобную разгромную рецензию, он перестал бороться за свои стихи и книги. Денис Михайлович, как однажды он выразился, “устал от XX века”.

Не случайно в конце двадцатого века ему были душевно близки стихи известного русского поэта Владимира Соколова:

Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных век.
И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек.

И, во-вторых, он всегда был гордым, знавшим себе цену писателем и как-то написал такие афористические строки:

Пусть иные злословят порой:
Мол, смотрите-ка,
Гордый какой!
Да, я гордый! И этим горжусь.
Я за землю зубами держусь.

Примечательно, что почти все упоминаемые мной книги поэта вышли уже в двадцать первом веке. В 2000 году у него вышел сборник стихов “Годовые кольца”, в котором поэт предстаёт мудрым и значительным философом, про-

жившим, казалось бы, счастливую, но и тяжёлую, напряжённую жизнь, где происходили великие события: война и Победа, строительство и разрушение великой страны, где случались, неразделимые друг с другом, радости и горести нашей непростой русской жизни, так или иначе формировавшие стилистику и философию поэзии Дениса Цветкова:

Да, что верно, то верно —
Мы счастливы, ребята!
Был у нас — сорок первый,
Был у нас — сорок пятый!

А меж ними, поверьте, —
Необычные годы:
Всё бомбёжки, да смерти,
Да бои, да походы!

В его стихах прочитывается многое, что волновало его в разные годы и что переживалось самим автором. В частности, отобразились и те самые горькие годы молчания, вернее, даже не молчания, а одностороннего общения со своим читателем, поскольку сборники стихов на протяжении двадцати с лишним лет у Цветкова не выходили, а стихи сочинялись постоянно. В них, несмотря на долгое непризнание, светилась душевная теплота и православное отношение к своим хулителям:

Меня пытали не на дыбе
И не на медленном огне...
Иные умереть могли бы,
Иль сдаться в плен, как на войне.

Меня пытали отреченьем,
Хулили мой
Негромкий стих.
Меня пытали отлученьем
От дум и помыслов моих.

Стихи — коллеги-изуверы
Калечили из года в год...
Но жил я светом Божьей веры
Среди волнений и невзгод.

Всё позади,
И путь мой светел,
И всех простить меня прошу —
Я гордо вынес пытки эти,
Но как писал,
Так и пишу!..

В 2001 году вышла в свет книга стихов “Вечерний звон”, в которой поэт опубликовал стихи, написанные как в семидесятые, так и в девяностые годы, где с грустью вспоминает минувшее время и ту, теперь уже не существующую, страну:

О прошлом вспоминаю я, скорбя.
Моя страна —
Был мой огромный дом.
Я Человеком чувствовал себя,
Где с детских лет
Мне каждый был знаком.

Мы вместе молотили на току,
Плясали до упаду под гармонь

И лошадей ловили на скаку,
Кидмя кидались в воду и огонь!

Следующий сборник стихов “Признание в любви” включает в себе размышления автора о Родине и деревне, признание в любви родному краю и любимой женщине, грустным русским просторам, лугам и пашням. В некоторых своих произведениях Денис Цветков поднимается до тютчевской высоты:

Что будет с нами,
Я не знаю
И не боюсь прослыть невеждой.
Былое
Я не проклинаю,
В грядущее —
Гляжу с надеждой.
Весь путь России — многотруден.
Куда ни глянь, —
Одни потери...
Россия — есть!
Россия — будет!
В Россию
Не могу не верить!..

Любовь к отчему краю у русского поэта Дениса Цветкова неизмеримо глубока, и эта любовь — одна из главных тем его поэзии. Мне хочется процитировать ещё одно удивительно чистое, неудержимо-русское, раздольное стихотворение:

Неоглядное раздолье,
Расписные терема...
Русь моя —
Ржаное поле,
Самоцветов закрома!

Куропатки, перепёлки,
Черно-бурая тайга.
И берёзовые колки,
И снега,
Снега,
Снега!..

В 2006 году у Дениса Цветкова, когда ему исполнилось 85 лет, вышли в свет сразу две книги: “Стихотворения” и “Избранные стихи”. Думаю, что такой работоспособностью, какой обладает наш замечательный иркутский поэт, не обладают очень многие молодые авторы. И дай-то Бог!

Сейчас Денис Михайлович приготовил к печати новую книгу стихов и трёхтомник прозы под названием “Исповедь”, в котором уложились рассказы и автобиографические воспоминания о детстве, юности, зрелых годах жизни, о войне и, конечно же, о событиях жизни современной, показанной через призму мудрого взгляда и любящего сердца.

В Иркутске читателей и почитателей у него достаточно. Только на одном знаменитом Иркутском авиационном заводе — их тысячи. Очень многие строители крылатых машин несомненно помнят и любят Цветкова, постоянно читают его произведения в заводской газете “Иркутский авиастроитель”, а его книги раскупаются заводчанами мгновенно. Думаю, что и читатели журнала “Наш современник” оценят и полюбят лирику русского поэта Дениса Михайловича Цветкова, которого мы все поздравляем с 90-летием.

Владимир СКИФ

ДЕНИС ЦВЕТКОВ



СКРИПИТ, СКРИПИТ ЗЕМНАЯ ОСЬ...

* * *

На белом свете
Пожил я немало.
За правду был готов я лечь костыми.
Но вера в справедливость убывала,
А вот сомненья,
Как сорняк, росли.
И это всё достойно сожаленья:
Жить на планете
Стало невтерпёж.
Сегодня на земле — столпотворенье,
Где правит бал
Заведомая ложь!

А с ней, как с сумасшедшим, нету сладу.
Ни в центре,
Ни на краешке земли.
Её давно
Подделали под правду
И в генеральский чин произвели!

С ней, вездесущей,
В жизни плохи шутки.
Она готова всё повергнуть в прах.
Она жила досель
В суфлёрской будке,
Теперь же
Процветает во дворцах!..

2005 г.

“КУКУШКА”

Я “вычислил” в тот раз “кукушку”.
(То снайпер-итальянец был.)
Я трижды
Брал его на мушку
И трижды мушку отводил.
А он,
Агиткой сбитый с толку,
И зла к соседу не тая,
Читал вчерашнюю листовку,
Едва губами шевеля.

К нему
Проникся я доверьем:
Наверно, есть жена, семья?!.
Передо мной
Сидел “деревня”,
Такой же парень, как и я.

Но чудо всё же есть на свете.
Хотя его
Порой не ждём.
Меня он тоже заметил,
Но продолжал играть с огнём!
Земля была
В холодном поте,
И на кону стояла жизнь.
Но, взвесив все
И “за” и “против”,
Мы любововно разошлись.

Война — волшебная наука.
И мне маячил трибунал.
И если бы
Не маршал Жуков, —
Ты б эти строки
Не читал!..

2010 г.

МОЙ ПАРНАС

Колóк тот белый
Мне доселе снится.
Дремал он, опрокинувшись, в реке.
На ветке звонко тенькала синица,
Качаясь в изумрудном гамаке.

А рыжики — мохнатые трофеи —
Играли с нами в прятки до поры.
От пней,
Как заколдованные змеи,
Литые корни среди травы ползли.

Среди тайги
Пел ключик говорливый,
И ручеёк, скакавший босиком.
Там днём и ночью косы мыли ивы,
Причёсываясь свежим ветерком.

Дымился август...
Лето на излёте.
Всему на свете предначертан срок:
В тот день в моём
Замызганном блокноте
Вдруг появилась пара
Дивных строк.

Я с малолетства
Ненавидел сплетни.
Меня считали баловнем судьбы.
На свой Парнас
Забрёл я восьмилетним,
Когда ходил
С сестрёнкой по грибы.

2011 г.

* * *

Земля — кибитка под шатром,
А мы, по сути,
Все цыгане:
Рождается... Ну, а потом
Кочуем в звёздном океане.

Кочуем... Нам и горя нет:
Кибитка не сойдёт с орбиты!
Пусть хлещут молнии вослед,
Пусть рвут шатёр метеориты!

А жизнь нас бьёт
И вкривь, и вкось,
Прямой наводкой, как из пушки...
Скрипит, скрипит земная ось,
Напоминая плач кукушки!..

1999 г.

* * *

Мне кажется, что мир сошёл с ума:
Он сам себя
Завёл в свою ловушку.
И ты, и я,
И Мать-Земля сама

Давно взяты маньяками на мушку!
И не поймёшь,
Кто друг тебе, кто враг.
Пророки лгут,
Блаженства всем пророча.
А ведь всего один
Неверный шаг, —
И от Земли останутся лишь клочья!

И станет Космос
Вновь и глух, и нем.
Свеча угаснет в звёздном океане.
Над бездною умолкнет “Реквием”,
Что прогундосят
Инопланетяне!
От горя поседевшая Луна
Устанет озираться осовело:
Не вспомнит, безутешная, она,
Где “право” у неё теперь, где “лево”.
Лишь Солнце,
Как заботливая мать,
Пошлёт своих гонцов по белу свету,
Надеясь во вселенной отыскать
Свою голубоглазую Планету!

И век за веком
Будет время плыть
Бесцельно, монотонно и уныло.
Как будто так
Оно должно и быть,
Как будто так
Оно всегда и было!..

1999 г.

ТРОН

Мы — не рабы.
Мы — соль земли.
Две стороны одной медали.
Мы трон российский не смели,
А просто временно убрали.

Убрали прочь с народных глаз,
Предусмотрительно прикрыли:
А вдруг судьба
Заставит нас
Вернуться в дом,
Где прежде жили?!.

Где пребывали сотни лет,
С судьбою не играли в прятки.
И шли дорогою побед
От Приднепровья
До Камчатки!..

Мы — не рабы.
Мы — соль земли.

Две стороны одной медали.
Мы трон российский не смели,
А просто временно убрали!..

2010 г.

* * *

Порой до рассвета
Мне что-то не спится,
Хотя засыпал я обычно мгновенно.
Во сне же мне поле
Бескрайнее снится,
А в поле — комбайны
Во ржи по колено.

За тихим Чулымом —
Луга заливные.
В реке отражаются солнца осколки.
А по небу —
Тучки снуют озорные,
И до горизонта
Всё колки и колки.

На взгорке, у леса
Стоит деревенька.
Она с давних пор пребывает в опале.
Там девичьих песен
Не слышно давненько,
Что спать по ночам мужикам не давали.

В деревне теперь
Ни пера и ни пуха.
С тоской вспоминают о кладе зарытом.
В ней век доживают
Старик со старухой,
Вздыхая досель над разбитым корытом.

2010 г.

* * *

Стихи я плёл,
Как мама кружева.
Соседи удивлялись: вот кудесник!
И память обо мне
В селе жива,
Но позабыты все былые песни.

Бывало,
Несмотря на недород,
Что жизнь селу подставила подножку,
Вся молодёжь,
Собравшись в хоровод,
До зорьки веселилась под гармошку.

Ходили вдоль села
Туда-сюда,
Луна им дирижировала свыше.
Гудели, подпевая, провода,
Ныряя под соломенные крыши.

А поутру,
Едва убрав кровать,
И чтоб не получить, как в школе, “двойку”,
Спешили, как в кино, не опоздать,
Кто в поле,
Кто на утреннюю дойку.

Жаль, песен тех
Там больше не поют.
А старики, как я,
Своё отпели...
Теперь в деревне
Только водку пьют
И шуку, что поймал Емеля —
Съели!

2007 г.

В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ

На днях
В одном читальном зале,
Как будто в сказке иль во сне,
Я встретил сам себя в журнале,
Был сам с собой наедине.
Сидел я тихо в кабинете,
Стихи забытые читал,
А тот, другой, глядел с портрета
И сам себя не узнавал.

Смотрел спокойно, не моргая,
На двойника,
Что рядом был,
И, даже рта не открывая,
Он вдруг
Потерянно спросил:
Ну, как идут твои делишки?
Всё снятся ужасы войны?
Как поживают ребятишки?
Как самочувствие жены?

И я,
В читальне гость случайный,
В благоговейнейшей тиши,
Поведал родственнику тайны
Своей измученной души.
Сказал, что всё идёт нормально,
Сыны мои уже деды.
Что он, счастливчик,
Червь журнальный,
Вселенской не познал беды.

Ведь не взирая на объятия,
То, что случилось —
Стыд и срам:
От нас ушли меньшие братья
И разбрелись по хуторам.
Страны,
Которой присягали
В свои неполных двадцать лет,
Той,
Что мы в битвах отстояли,
На карте мира
Больше нет!!!

Заныла на сердце заплата.
В крови кипел девятый вал.
Мне кажется,
Портрет заплакал,
Я в ужасе — закрыл журнал.

2002 г.

АЛЕКСАНДР КЕРДАН



РАССКАЗЫ МАЙОРА ИГНАТЕНКО

КУКИШ

Взводу лейтенанта Алексеева была поставлена задача: организовать засаду на пути возможного отхода бандгруппы, которую основные силы батальона блокировали в кишлаке. Алексеев прибыл из Союза месяц назад и “в горы” шёл впервые.

Впереди тонал рядовой Фокин, “дед”, который уже отсчитывал свои “сто дней до приказа”. Фокина комбат называл не иначе, как “Мальчик из Уржума” — а откуда это прозвище, Алексееву было неизвестно.

На одном из поворотов едва заметной тропки узкого ущелья Фокин резко остановился. Алексеев ткнулся в его спину.

— Фокин, ядрит твою, чего тормозишь? — вполголоса ругнулся Алексеев.

— Мина, товарищ лейтенант! — по-волжски окая, радостно доложил Фокин.

— Где? — Алексеев невольно подался назад.

Замкомвзвода сержант Погорелый очутился рядом, как положено разведчику, неслышно. Вообще-то сержант должен был идти замыкающим, да комбат перед выходом в рейд определил ему место за “зелёным” взводным, чтобы, в случае чего, подсказал и с “дедами” помог найти общий язык.

Погорелый бережно отстранил Алексеева, обменялся с Фокиным многозначительным взглядом.

КЕРДАН Александр Борисович родился в 1957 году в городе Коркино Челябинской области. Полковник запаса. Доктор культурологии. Сопредседатель правления Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала. Автор многих книг стихов и прозы, вышедших в Москве, Санкт-Петербурге, в Западной Сибири и на Урале. Лауреат Большой литературной премии России, международных и всероссийских литературных премий. Живёт в Екатеринбурге.

“Не считают меня командиром...” — перехватил этот взгляд и покраснел от обиды Алексеев, но, тем не менее, про мину сказал со знанием дела: — Противопехотная!

— Ага, деревяшка, — привычно обозвал мину в деревянном корпусе Погорелый.

Крышка мины углом торчала из-под щебня всего в паре шагов ровно посреди узкой тропы.

— Грамотно поставлена. Хорошо ещё, что давно лежит, и дождем сверху грунт смыло, а то бы ножкой топнул и...ку-ку... — Фокин с ухмылкой покосился на свой ботинок сорок шестого размера.

— Наши ставили. У “духов” таких развалюх нет. У них — итальянки, — снова проявил осведомлённость Алексеев.

— Итальянки — у наёмников. А местные фугасы и противотанковую любят, чтоб сразу бэмпэшку или танк завалить. За них афоней больше отстёгивают, — внёс поправку Погорелый, опять заставив Алексеева покраснеть.

— Что делать-то бум, товарищ лейтенант? — пылливо глянул на взводного с высоты своего двухметрового роста Фокин.

Первое и самое простое, что пришло Алексееву в голову — перешагнуть через мину, само собой, соблюдая меры предосторожности. Об этом и сказал подчинённым.

— Перешагнуть-то можно, — сдержанно усмехнулся Погорелый, — только не факт, что там, куда за миной ногу поставите, второй такой нет. Или того хуже — сама деревяшка с сюрпризом: скажем, с фугасом спарена. Нет, товарищ лейтенант, тут или сапёра вызывать надо, или самим мину сдёрнуть на подрыв. Как скажете?

Алексеев помнил из занятий по инженерной подготовке, что противопехотная деревянная имеет самое примитивное устройство: в деревянную коробку втиснута двухсотграммовая толовая шашка, а справа от неё — в металлическом стакане взрыватель с капсюлем-детонатором. Но разминировать такую мину вручную практически невозможно. Единственное надёжное средство, и тут сержант прав — это из укрытия “кошкой” сдёрнуть мину с места “на подрыв”. Но подорвать её в нынешней ситуации — значило выдать себя и сорвать задание.

— Так что, товарищ лейтенант, рванём? — переспросил Погорелый. Алексеев почувствовал себя хозяином положения.

— Взрывать не будем и сапёра ждать некогда. Задачи нам, товарищи бойцы, никто не отменял. Буду разминировать. Оба — в укрытие!

— Товарищ лейтена... — попытался остановить его Погорелый.

— Тебе что, сержант, два раза приказ повторять? — поставил точку Алексеев.

Он снял каску, подсумки, положил автомат, убедился, что взвод укрылся за поворотом, и опустился перед миной на колени.

“Гиблое дело я затеял...” — унимая внутреннюю дрожь, он размял пальцы. Осторожно стал разгребать щебень вокруг короба, каждый раз обмирая, когда случайно прикасался к его шероховатым стенкам. Когда мина открылась со всех сторон, с радостью обнаружил, что никаких проводов или волоочек от неё в стороны не тянется: значит, сюрприза никакого нет. Хвостовик бойка с выдернутой чекой — мина на боевом взводе.

— Сначала вставим чеку, после начнём выкручивать капсюль... — повторяя давний урок, озвучил сам для себя алгоритм предстоящих действий. — Но где мы чеку-то возьмём? — Он пошарил в кармане “афганки”, нащупал коробок со спичками. Вынул одну, с сомнением оглядел её: выдержит или нет? Ничего другого под рукой всё равно не было, и он решил рискнуть: подрагивающими от напряжения пальцами вставил спичку в отверстие для чеки. Спичка встала, как влитая.

“Ух ты! Получилось!”

Рукавом “афганки” утёр пот со лба и осторожно выкрутил капсюль-детонатор. Поднялся на неустойчивых ногах, повернулся к солдатам с торжествующим видом, держа капсюль-детонатор в правой руке.

Погорелый первым вышел из укрытия.

— Ну, вы даёте, товарищ лейтенант! Как настоящий хирург работаете... С почином, командир... — уважительно сказал он.

— Скажи лучше, как скульптор... — довольно отозвался Алексеев и краем глаза увидел, как спичка, служившая чекой, не выдержала напряжения пружины и медленно, словно в кино, начала надламываться...

Он инстинктивно схватил хвостовик бойка другой рукой, сиюсь его удержать, но не сумел. Раздался негромкий хлопок. Алексеев зажмурился, а когда открыл глаза, ещё не чувствуя боли, увидел вместо пальцев кровавое месиво...

В один из звонких дней в конце октября командир роты курсантов Бакинского общевойскового командного училища имени Верховного Совета Азербайджанской ССР майор Сенько построил личный состав. Улыбчивый и коренастый, за свою неизменно красную физиономию он заслужил прозвище “Синьор Помидор”. Красноту щек майора подчёркивал околыш огромной фуражки с непомерно высокой тульей — “аэродром не принимает”. Этот головной убор, сшитый по спецзаказу, не имел аналогов во всём училище и вызывал постоянные нарекания старшего начальства, являясь при этом предметом законной гордости её хозяина. Сенько курсанты любили за веселый нрав, побаивались за строгость и уважали за справедливость.

— Ну что, бездельники? — бодрым, орлиным взором окинул он строй. — Радуйтесь: сегодня ПХД*. Скучать никому не придётся. Задача у нас — выше крыши, но есть одна — особой важности. С неё и начнём...

Сенько выдержал паузу:

— Ну, товарищи курсанты, настал ваш звёздный час... Кто у нас художники?

Алексеев и Бубнов переглянулись: идти в автопарк, на полигон или в столовую не хотелось, а работа художников представлялась делом не пыльным и сулила некоторые послабления со стороны начальства. И хотя художественных способностей друзья-приятели не имели, не стовариваясь, сделали шаг вперёд.

Сенько оглядел их с головы до пят:

— Художники? Лепить умеете?

— Всё умеем, товарищ майор, — в голос заверили они.

— Ладно, дуйте к старшине. Он вам задачу поставит!

Старшина Ревенко к наличию творческих способностей у данных курсантов отнесся более недоверчиво:

— Вы точно художники али брешете?

Алексеев ответил за двоих:

— Никак нет, товарищ старшина, не брешем!

— Ну, добре, пийшлы, — Ревенко повёл их через плац к КПП.

Училище и военный городок с колоритным названием “Красный Восток” располагались в старом районе города, недалеко от Бакинского проспекта и улицы Ингла. От пятиэтажных хрущёвок — ДОСов** “кузницу пехотных кадров страны” отделял высокий бетонный забор. Метрах в трёхстах от КПП в нём была ниша, где на постаменте стоял памятник Кирову. На трёхметровом гипсовом вожде было пальто чуть выше колен, кепка и сапоги. Левую руку Киров прижимал к груди, словно желая унять стук пламенного революционного сердца, а правой показывал в сторону центра, как раз туда, куда обычно курсанты бегали в самоволку.

К памятнику и привел их старшина.

— Побачьте, який нэпорядок! — указал он на статую.

Вид памятника и впрямь был удручающим: по торсу вождя шли трещины, гипс на плечах выщерблен, на правой руке изваяния не хватало нескольких пальцев.

Старшина определил:

— О цэ, товарищы курсанти, будьтэ ласкови отреставрироват товарища

* ПХД — парко-хозяйственный день.

** ДОС — дом офицерского состава.

Кырова. Усэ трэцины заделать, отколоты части восстановить, размулевать. И шоб усэ було в наилучшем видэ!

Получив мешок гипса, шпатели, кисти и краску, Алексеев и Бубнов не спеша приступили к работе. Трещины на груди и спине Кирова заделали без особых осложнений. Когда встал вопрос о реставрации отдельных частей — уха, пальцев, процесс застопорился...

Ухо с трудом, но восстановить всё же смогли, а вот вылепить вытянутые пальцы на правой руке никак не получалось.

И тут Бубнов предложил:

— А давай, Костя, кулак сделаем! Его-то куда проще слепить...

Алексеев усмехнулся:

— Что кулак, лучше уж сразу кукиш!

Бубнов поскрёб измазанной пятернёй затылок:

— Точно, Серёга! Вот всё училище оборжётся!

Фига получилась эффектной. Памятник выкрасили белой краской. Оглядели со всех сторон и остались довольны: Киров стоял, как новенький...

Вернулись в казарму, доложили старшине о выполнении приказа.

— Добрэ получилось?

— Нормально!

— Проверять трэба?

Они переглянулись:

— Дело ваше, товарищ старшина...

Ревенко проверять не стал.

Алексеев и Бубнов после обеда рассказали однокурсникам о своей проделке. Хором посмеялись над ней. Особо любопытные сходили к памятнику на экскурсию и остались довольны увиденным. Но, как говорится: новый день — новая пицца...

В воскресенье, как передовиков ПХД, старшина отпустил “скульпторов” в увольнение. А в понедельник с утра пораньше их вызвал в канцелярию “Синьор Помидор”.

— Ну что, художники-передвижники, довыдывались? — Сенько, ещё более красный, чем обычно, впился в них немигающим взглядом и, не дожидаясь ответа, приказал: — В колонну по одному, за мной шагом а-арш!

У памятника он дал волю гневу, затопал ногами:

— Это что такое? Вы что себе позволяете, идиоты, мерзавцы? А если бы утром не я это рукоблудие заметил, а кто-то другой! Это же идеологическая диверсия, антисоветская пропаганда! Да ещё в канун праздника Великого Октября! — он внезапно перестал сучить ногами и отчеканил. — Так вот, в присутствии товарища Сергея Мироновича Кирова объявляю обоим по пять нарядов вне очереди! Даю час, нет, полчаса, чтобы это безобразие ликвидировать и придать руке исторический вид! О выполнении доложить мне лично!

Покачивая фуражкой-“аэродромом”, Сенько стремительно удалился.

Алексеев и Бубнов с минуту тупо смотрели друг на друга: “Идеологическая диверсия, антисоветская пропаганда... Точно, отчислят! Как пить дать, отчислят!” — только сейчас до них дошёл политический смысл их проделки.

Они тут же забрались на постамент и при помощи обломка кирпича “ампутировали” десницу вождя, грозящую отчислением. Метнулись к казарме за инструментом, принесли всё необходимое, и работа закипела. От страха даже скульпторские способности прорезались: вытянутые пальцы на злополучной руке получились как нельзя лучше...

Сенько и впрямь оказался мужиком нормальным. Поскольку никто из старших начальников кукиш не увидел, “политическое дело” Алексееву и Бубнову пришито не было. Ни комсомольского собрания с исключением из ВЛКСМ за осквернение революционной святыни, ни распекания перед строем... Они просто отходили свои пять нарядов вне очереди, и происшествие как будто забылось. Только однокурсники до самого выпуска вспоминали про кукиш, и нет-нет, пробегая мимо памятника в самоволку, исподтишка показывали Кирову фигуру из трех пальцев.

...Выпуск шумно отмечали в кафе “Навруз” на окраине Баку. Были шашлык, люля-кебаб, зелень и сорок литров “обкомовского” коньяка, добыто-

го, как говаривал Райкин, “черыз таваравэд, черыз задыные кырыльцо” на Кировобадском коньячном заводе отцом одного из выпускников. Пели песни, танцевали, произносили тосты за “альма-матер”, за пехоту, за будущих командармов...

Внезапно кто-то закричал:

— Наших бьют!

С шумом вывалились во двор. В полутемном переулке рядом с кафе мелькали белые рубахи лейтенантов и темные рубахи “чужих”. Визжали девицы. Раздавался мат.

Когда нападавшие, не выдержав атаки, с проклятиями ретировались, лейтенанты вернулись в кафе. Оглядели друг друга: у одного оторван погон, у другого — рубаха в крови, у третьего — фингал...

Бубнов разглядывал правую руку: пальцы были неестественно вывернуты.

— Я его за воротник схватил, а он, гад, рванулся... пальцы выбил, что ли... — кривился он.

Невеста одного из лейтенантов — шустрая блондинка с широко раскрытыми синими глазами, выпускница медучилища, осмотрела руку Бубнова и заявила:

— Вывих. Мигом вправим! — она уверенно взяла посиневшие пальцы в свою пухлую ладонь, сжала их и так дёрнула, что Бубнов потерял сознание.

— Ой, я, наверное, что-то не то сделала, — разрыдалась она.

...В Кабульском госпитале, куда Алексеева доставили после рейда, он получил письмо от Бубнова, написанное коряво и неразборчиво.

“Серый, — сообщал Костя, — Я всё еще не в строю. Пальцы после драки у меня срослись плохо, средний и указательный теперь вообще не гнутся... Даже фигу никому не покажешь! Доктор сказал, если не разработаю, комиссуют ко всем чертям...”

“А вот меня из армии точно спишут”, — Алексеев посмотрел на свои забинтованные руки. Письмо Бубнова напомнило историю с памятником. До Алексеева внезапно дошло: “Всё — не случайно!” И та драка возле кафе, где Бубнов выбил пальцы, и его случай с запалом от ПМД. Всё — одно к одному. И даже то, что мину нашёл солдат по прозвищу “Мальчик из Уржума”... Алексеев только теперь вспомнил, что ещё в начальных классах школы читал книгу с таким названием. Главным героем в ней был вятский мальчик Серёжа Костриков. “Но ведь это же имя будущего революционера Сергея Мироновича Кирова! Вот так совпадение... Вот тебе и фигу, товарищ Киров! Выходит, не мы тебе, Мироныч, а ты нам кукиш показал! Только нам-то с Бубновым теперь никто новые пальцы не прилепит...”

Об этом он и рассказал командиру батальона майору Игнатенко, приехавшему по каким-то делам в штаб армии и зашедшему в госпиталь навесить подчинённого.

Оглядев забинтованные руки Алексеева, Игнатенко сказал хмуро и, как показалось лейтенанту, зло:

— Сам во всём виноват. Какого рожна к mine полез? Инструкции не знаешь?

— Не хотел шума поднимать, товарищ майор. Да и в училище по инженерной подготовке у меня пятёрка была...

— Пятёрка... Тоже мне сапёр выискался! — ругнулся Игнатенко. — Остался дурак без пальцев! И на хрена?

Алексеев опустил глаза. Комбат, конечно, прав, его жертва оказалась напрасной: тогда в горах бандгруппа на них так и не вышла — ушла из кишлака другими тропами...

— Я ведь почти обезвредил мину, — всё-таки попытался оправдаться он. — Если бы только не месть товарища Кирова...

— При чём здесь товарищ Киров? Ты мне эту мистику брось, лейтенант! Слушай сюда, что я тебе скажу: надо канцелярскую скрепку в кармане носить, а не спички! Скрепка не подведёт. С ней ты любой mine кукиш покажешь! Понял?

БЕРЁЗКА

Компания была тесной. Мужской. Потому и разговоры крутились вокруг войны, политики, женщин. О последних, к слову, говорили не ради них самих, а по отношению к первым двум темам: войне и политике.

Засиделись, как это бывает у давно не встречавшихся друзей, далеко за полночь.

Я — холостяк. Они — женатые люди. А посему, для порядка, пошли звонить их благоверным: объяснять, где задержались в такое время.

Юра Яковлев отчитался успешно, без нервных потрясений. То ли супруга уже привыкла к его поздним возвращениям, то ли у них в семье — домострой...

Сергею Игнатенко — не повезло. Пока мы с Яковлевым переминались с ноги на ногу, прицеливаясь, в какой “комок” податься за очередной порцией “брынцаловки”, Игнатенко что-то смиренно объяснял извергающейся на него праведный гнев телефонной трубке.

Он стоял к нам спиной — большой, с трудом помещающийся в будке, но даже по спине чувствовалось, насколько ему неудобно. Он запинался, оправдывался, словно нашкодивший школьник.

За годы нашего знакомства я не раз бывал у него дома и знал нрав его “половины”.

Людку — хрупкую, рыжеволосую женщину с большущими, на пол-лица голубыми “брызгами”, как ласково именовал их Сергей, можно было с полным основанием назвать обычной офицерской женой.

В восемнадцать вышла замуж за свежеиспеченного лейтенанта-мотострелка. В двадцать — родила ему сына. Вместе с мужем сменила тринадцать гарнизонов. Профессии не имела. И задачи у нее не было, кроме как — ждать, встречать и провожать мужа да воспитывать сына, которому доводилось “папку” видеть чаще на фотографии, чем воочию. И хотя, как большинство офицерских жен, она про странствия с Игнатенко говорила красиво: “Мы служили...”, ей за эту “службу” звезд и наград не давали, а трудностей хватало сполна... Вот и нервишки у неё к сорока годам распатались, и характер заметно испортился. Редкое застолье у Игнатенко проходило гладко. То она придерётся, что муж лишнюю рюмку выпил, то начнет выговаривать, что ей внимания недостаточно уделяет... Начнет с простого упрёка, потом закипятится, разгневется. Лицо покраснеет, а пресловутые “брызги”, напротив, небесную окраску утратят, сделаются бесцветными, пронзительными...

Вспомнил я это — не удержался:

— Как ты терпишь всё это, брат? Людка тебя поедом ест, а ты ещё и оправдываешься...

Сказал и тут же пожалел: как-то не по-мужски получилось. Да и кто вообще имеет право в отношении супругов встревать?..

А Серёга возьми да улыбнись в ответ:

— Не ест меня Людка, а поливает...

— Это точно, поливает. Да ещё как... — поддакнул Яковлев.

— Эх, ничего вы, братцы, не знаете. Тут история давняя... Так и быть, расскажу... Берите пузырь. Людка индальгенцию ещё на пару часов выдала...

Мы купили водку. Вернулись в дом. Расположились на обжитой нами кухне. Опрокинули по стопке, и Сергей начал рассказ...

— В Афган меня откомандировали неожиданно, вместо “отказника”. Редко, но встречались и такие. Сначала при беседе с кадровиками даёт согласие на спецкомандировку, а потом, перед самой заменой — в кусты.

Я служил тогда комбатом в Мукачево, в Закарпатье. Был конец мая, по местным меркам уже лето... Вдруг звонок из штаба дивизии: “Готовьтесь, поедете на юг”. Что такое “юг”, тогда, в восьмидесятом, уже все прекрасно знали: значит, “за речку” и дальше Кушки. Ну, а “готовьтесь” — это так, для успокоения: через три дня должен быть уже в Ташкенте, в штабе ТуркВО. Три дня на всё. И должность сдать, и семейные дела уладить. На службе

отнеслись с пониманием: сдачу батальона быстро провернул. А дома Людка, понятно, в слезы... Как ее утешить? Не знаю, как...

Поехал в ближайший лесок, вырыл березку полутораметровую, привез в гарнизон, к нашему ДОСу. Перед подъездом выкопал яму и туда ее, белоствольную, посадил. Соседи в голос: “Поздно уже деревья сажать. Не приживется!” А я Людке тихо, на ушко говорю: “Хочешь, чтобы я вернулся, смотри за деревом. Завянет, значит, и мне — крышка...”

Так вот и простились. Улетел я в Ташкент, оттуда — в Афган. Командовал горно-пехотным батальоном. Вы знаете, что это такое. Из рейдов практически не вылезал. Бывали, впрочем, ситуации и пострашней...

Однажды приходит ко мне советник ХАД (афганской военной контрразведки) и говорит:

— Алексеич, необходимо провести встречу между руководителями банд нашей и соседней провинции — Ташкурган. В Айбаке и Дарайзинданском ущелье с “духами” договоренность достигнута. Если сумеем свести саманганских и ташкурганских “бабаев”, будем контролировать всю ситуацию в нашей части Афганистана. Условия встречи определяют “духи”. Место — Ташкурган. Соберутся все главари банд. Они хотят, чтобы гарантом безопасности выступил ты. И больше никого... Сам понимаешь, риск большой. Поэтому решать тебе, как скажешь, так и будет.

Надо сказать, что мой батальон был единственной боевой единицей, способной повлиять на ситуацию в провинции. Поэтому условие “духов” мне было понятно.

Однако, чтобы пойти на участие в переговорах, я должен был доложить по инстанции командиру полка рапортом, как положено, дожидаться его резолюции, а потом уж рисковать... Но времени для этого не было: выезжать надо было завтра утром.

— Я поеду. Каковы гарантии для меня?

— Гарантий для тебя нет никаких. А условия такие: губернатор провинции дает “уазик” с афганскими номерами. Ты — за рулём, но для страховки можешь взять с собой одного бойца, желательно таджикской национальности...

Так я и сделал. Взял с собой преданного солдата-таджика по имени Телло (что в переводе — “золотце”). Понимал, что втягиваю парня в смертельную авантюру, поэтому сказал:

— Ты можешь отказаться — мы едем на опасное дело.

— Я поеду.

Рано утром к нашему КПШ подошли “уазик”. Я сел за руль. В “собачник” забрался Телло. У него радиостанция для связи (хотя действует она километров на восемь-десять, а мы к “духам” выдвигаемся на двенадцать, так что, случись что, все равно нас никто не услышит).

— Телло, у нас с этого момента одна жизнь на двоих. Ты язык “духовский” знаешь, я нет. Если услышишь что-нибудь подозрительное, покашливай несколько раз.

— Я всё понял, командир.

Подъехали к месту, которое назначили хадовские советники. Из дома вышли три бородатых “духа” с автоматами. Мы поздоровались по-афгански:

— Хубости-чатурости. Харасты-бахарасты.

Так они говорят, прикладывая руку к сердцу. Переводится это довольно длинно: “Как твой дом, как твоя жена, как твои дети...”

Я в знак миролюбия поднял правую руку. Они уселись в машину: двое на заднее сиденье, а один рядом со мной. Поехали. У меня на душе кошки скребут: а может, эта встреча просто засада?

Доехали до нашего последнего блокпоста, а дальше уже “духовская” территория.

Чтобы вам было понятно, объясню. Ташкурган расположен на границе гор и пустыни на площади около восьмидесяти квадратных километров. Этакий огромный оазис с шахским дворцом посредине. Наших поблизости нет, за исключением пограничников, но они, как правило, в перестрелки не ввязываются. Одним словом, надеяться не на кого.

Ну вот, заезжаем мы в Ташкурган. Виляем по улочкам. Сидящий рядом бородач показывает рукой: направо, налево. А я стараюсь запомнить маршрут, чтобы не заблудиться, если придется вырваться с боем. Наконец, бородач поднимает руку:

— Саиз! (Здесь).

Я останавливаю машину на небольшой площади, но двигатель не глушу. Смотрю, к нам шагают человек двадцать, все бородастые и все вооружены. Наш “дух”, который сидел за штурмана, вышел из машины, о чем-то с ними переговорил и делает мне знак выйти. Я вышел. Бородачи осмотрели меня с головы до ног и подняли правые руки в знак того, что принимают меня как гаранта. Оставшиеся афганцы, что ехали с нами, тоже вышли и вместе с хозяевами удалились в дом.

Я вернулся в машину и потихоньку озираюсь. Вижу моджахедов за дувалами с оружием на изготовку. Говорю Телло:

— Приготовь гранаты. Если начнётся бой, нам отсюда не уйти. Будем драться, сколько сможем. Но и их побольше с собой заберём.

— Хорошо, командир.

Сколько времени прошло, не скажу. В таких ситуациях у времени особый счет. Вдруг из-за дувала выходит к нам “бабай”:

— Уезжайте, переговоры закончатся в час. К этому времени и приедете.

Я медленно разворачиваю машину, спиной чувствуя, у скольких “духов” мы на мушке, и начинаю выезжать. Причем знаю: есть территория, контролируемая нами, есть та, которую контролируют они, но есть и просто “беспредельщики”, которым один Аллах судья. Если нарвемся на таких, нам — крышка!

Но пронесло. Выехали из кишлака, добрались до блокпоста. Пообедали. Ротный спрашивает:

— Как вас вытаскивать, если...

Что ему сказать? Ташкурган не смогла взять дивизия вместе с маневренной группой погранцов и десантурой... Куда тут с ротой соваться!

Короче, в половине первого поехали назад. Дорога уже знакомая. Но пулю-то все равно ждешь: откуда прилетит? У машины хоть и афганские номера, но за рулем — русский (блондина от бронекара любой бача отличит).

Подъехали. Встали. Справа, слева наблюдаем присутствие “духов” и ощущаем их неподдельный интерес к нам.

Проходит полчаса, а парламентары не показываются. Проходит еще двадцать минут — никого. А мы по-прежнему на мушке. У меня мысли всякие: “Может, переговоры не состоялись. Может, наших “бабаев” уже убрали. Теперь наш черед...”

В половине третьего вышел из-за стены какой-то старик и напрямик к машине. Ситуацию отслеживаю, словно кадры в кино. Подходит он и кидает мне на колени скрученную записку. Я разворачиваю ее, а там цифры: “15.00”. Понимаю, что надо подождать еще полчаса. Напряженность нарастает...

В 15.05 появляется толпа бородачей, и я вижу, что среди них нет приехавших со мной.

— Готовься, Телло...

— Я готов.

Они подходят к машине окружают, оживленно переговариваются. Я спрашиваю солдата:

— В их словах есть угроза?

— Пока нет, командир...

— Тогда подождём...

Наконец из-за незнакомцев вынырнули парламентары. Опять длительное прощание с хозяевами. Потом “бабай” садятся в машину.

— Телло, спроси: мы — в безопасности?

Тот перевел вопрос, а потом ответ:

— Они утверждают, что в безопасности.

— Это гарантировано?

— Да.

Я вырулил на обратный курс. Доставил бородатых туда, куда они пожелали, и — в свой гарнизон. А там уже ждут представители ГРУ и КГБ:

— Как прошли переговоры?

— Не знаю. Я просто живой вернулся...

Сергея сделал паузу. Потом сказал:

— Поверите или нет, но рядом со смертью был два года: изо дня в день. Навидался всякого: и в засады попадал, и из окружения прорывался. Но одно скажу, в каких бы переделках ни оказывался, не маму, не Бога, а Людку свою в такие моменты вспоминал. Ей молился: “Если ты мне сейчас не поможешь, то — никто не спасёт”... И вот прошел всю войну без единой царапины и даже заразы никакой — болезни, в тех местах распространённой, — не подхватил.

Короче, цел и невредим остался.

Вернулся в Мукачево, как и уезжал, в самом начале лета. Подхожу к ДОСу — и первое, что увидел, березку мою. А она, ребята, аж под второй этаж вымахала...

Потом соседи рассказывали, как Люда деревце это выхаживала. По три раза на дно поливала, от пацанов, футбол гонявших, грудью заслоняла, словно с подружкой, с берёзкой разговаривала...

С той поры и повелось — зашумит Людка, забранит меня за что-нибудь, а я сам себе говорю: это она меня, как ту берёзку, поливает. Значит, любит ещё, волнуется, жизнь мою бережёт...

Сергея умолк. Мы, не сговариваясь, подняли чарки. Выпили. Без тоста. Просто так. И мужики как-то вдруг засобирались. Мол, время позднее, пора и честь знать.

Я проводил их до перекрестка. Поймали такси. Ребята укатили.

А я пошёл в сторону дома, где меня никто не ждал.

ПОТЕРЯННЫЙ “УРАГАН”

Командира взвода разминирования старшего лейтенанта Колкова вызвали к комбату прямо из офицерской столовой. Случай — небывалый.

Армейская пословица гласит: “Война войной, а обед — по распорядку!” По традиции, отнимать одну из солдатских радостей — не принято. Их и так в Афгане немного: сон, баня и еда... И если уж Игнатенко выдернул Вадима из-за стола, не дав даже дохлебать первое блюдо — изрядно надоевший суп из сухой картошки с тушенкой, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее.

У входа в командирскую палатку Колков привычным движением одернул “афганку”, провёл пятерней по выгоревшим, давно не стриженным волосам и, придав своему лицу уставное выражение, откинул полог.

— Проходи, садись, — не дослушав рапорт, предложил Игнатенко. У майора был зверский вид. И только глаза, синие, не утратившие своего природного блеска, говорили, что недоброе впечатление о майоре — обманчиво.

Колков знал комбата уже больше года. И, если по казенным меркам каждый день, проведенный здесь, приравнивается к трем, можно смело считать: съел вместе с ним не один пуд соли.

— Худые новости, взводный, — мрачно сказал Игнатенко. Он ткнул пальцем в карту района ответственности, распятую перед ним на столе двумя банками консервов и обрезком снарядной гильзы, заменившим пепельницу:

— По дороге на Тулак два дня назад пропала реактивная установка “Ураган”. В ней — двое наших: лейтенант Иванов и водитель... Здесь, а может, и вот здесь, — палец комбата передвинулся, по карте, — неизвестно. Пятнадцатый блокпост они прошли, на шестнадцатом не появились. По карте смотреть, километров двадцать будет. Потерянная машина — из арббригады армейского подчинения, выделена нам для поддержки... Эксперимен-

тальный образец! Артиллеристы “чесали” дорогу и окрестности сами — боялись докладывать наверх: за такую пропажу голову снимут!

— Выходит, не нашли... — заметил Колков.

— Комдив грома и молнии мечет, — продолжал майор, — радиостанцию, как печку, раскалил. Полчаса драл меня за то, что в нашей зоне это случилось... Говорит, что хочешь делай, а “Ураган” найди! Нельзя, чтоб секретная техника “духам” досталась! В общем, так: придется тебе с разведчиками сходить, посмотреть, куда эта экспериментальная хреновина подевалась...

Колков хотел напомнить майору, что завтра должен выехать в один из кишлаков на разминирование, но передумал: начальству виднее, кому куда ехать, а исполнителю — все одно, что огонь, что полымя... Спросил деловито:

— Когда выход?

— Свяжись с Лукояновым. Он все знает, под его началом и пойдешь. Да, прихвати с собой ребят посмышленей. Ну, сапер, с богом!

Выйдя от комбата, “озадаченный” Колков направился к палатке разведчиков. С капитаном Лукояновым — командиром разведроты, у Вадима дружба давняя, подкрепленная не только личной симпатией, но и служебной необходимостью. Без сапера разведчикам в горах — дело гиблое. Но и сапер без прикрытия — лёгкая добыча для “духовских” снайперов. Валерка Лукоянов или попросту — Люлёк, как беззлобно окрестили его сослуживцы, и Вадим Колков пол-Афганистана вместе проехали на броне, а вторую половину протопали на своих двоих. “Сработались!” — так это называют в Союзе, а здесь и определения-то подходящего не подберешь: своевались, что ли?..

...Люлёк сразу начал изливать душу.

— Ты погляди, Вадик, какой дурдом! — потрясая перед носом отпускным билетом, разорялся царь и бог полковой разведки. — Я же со вчерашнего дня в отпуске! Сегодня “вертушка” на Кабул уходит... Уже жене и дочке “бакшиш”* упаковал — вчера, как волк, по дуканам рыскал... Думал: послезавтра дома буду... А тут эта машина чертова! Батя как с цепи сорвался: подай ему “Ураган”! А все остальное — потом: ордена, отпуска, манна небесная... Ну, вылитый дурдом!

Колков понимающе кивнул — не повезло — и, не дожидаясь приглашения, присел на краешек самодельного топчана, покрытого солдатским одеялом.

— А потом, ты же знаешь заповедь, — понизил голос Лукоянов, — нельзя на дело идти, когда ты уже душой не здесь. Помнишь Ваську Смородинова из третьей мотострелковой? Во! Полез в горы уже с предписанием в кармане — заменщик в модуле ждал, водка на “отходную” затарена была... А он решил в благородство сыграть... Привезли со звездой во лбу — станешь тут суевренным!

Вадим эту историю знал. Что тут скажешь? Каждому — свое.

— Слушай, а может, мне “заболеть”? Начмед освобожденье сварганит... Обидно ведь: завтра был бы в Союзе...

Колков пожал плечами: Люлька можно понять и даже простить за мысли малодушные. Он свой отпуск честно заслужил. Не отсиживался по штабам, как некоторые...

— Ладно, что тут базарить, — неожиданно остыл капитан. — Первым делом, первым делом — самолеты... Собирай своих архаровцев. Через час выходим. До темноты надо успеть добраться до пятнадцатого блокпоста. Там оставим “броню”, а сами рейдик по окрестным пригоркам произведем!

Что такое “рейдик” по-лукояновски и какие это “пригорки”, Колкову объяснять не надо. Лукоянов не признает никаких запретов, действует всегда на свой страх и риск. Из времени суток предпочитает ночь. Для маршрута выбирает самые неприступные скалы. В полку шутят, что каждый солдат в разведроте уже давно выполнил норматив мастера спорта СССР по альпинизму! И шутка эта недалеко от истины. Зато и воюет разведрота без потерь и возвращается всегда с трофеями. Царандоевцы рассказывают, что за голову Люлька “бородатые” кучу афганей обещают. А вот комполка даже к ордену

* Бакшиш — подарок (дари).

его представить не хочет: уж больно “залётный” этот капитан, непредсказуемый, и поддать — не дурак...

— Ну, что ж, рейдик так рейдик,— Вадим поднялся. У самого выхода спросил:

— Ты Иванова, лейтенанта, который пропал, случайно, не знаешь? Что за мужик?

— Нет, лично не знаком. Он только по замене прибыл, выпускник артиллерийского училища.

— Значит, прямо с корабля на бал! Совсем наши полководцы из ума выжили... Кто ж пацана необстрелянного сразу в рейд посылает?

— А тебя самого не так, что ли?

— Я — дело другое...

* * *

...В первый рейд Вадим Колков на самом деле попал, не успев выйти из вертолота. Сступив на землю, на которой ему предстояло служить, удивился, что не спешит к нему с распростертыми объятиями заменщик, как пообещали в отделе кадров дивизии. Встречный солдат, у которого спросил, как найти комбата, торопливо объяснив, умчался, даже не задав офицеру традиционный вопрос: “Как там, в Союзе?”

Майора Игнатенко он отыскал в парке боевых машин. Тот уже собирался “оседлать” бэтээр, отдавая какие-то распоряжения дежурному. Колков представился.

Суровое лицо комбата оживилось:

— Вот это подарок! Вы, Колков, как нельзя более кстати. Сейчас же отправляйтесь в третью роту — поедете старшим машины. А чемоданчик свой можете у дежурного по парку оставить: будет в целости и сохранности... Вернемся, познакомимся поближе, а сейчас — некогда!

Вадим не успел задать Игнатенко вопрос, как ему ехать в рейд без оружия и экипировки. Тот ловко, словно обезьяна, вскарабкался на броню, и бронетранспортер, подняв облако едкой пыли, покатил к выходу. Колкову ничего не осталось, как, сдав дежурному на хранение свой нехитрый багаж, отправиться на поиски третьей роты.

Лейтенант, исполняющий обязанности ротного, со щеголеватыми вздёрнутыми усиками, в инструктаже, как и комбат, был краток:

— Едем на перехват каравана! По данным разведки, он будет проходить по нашей зоне. Пойдём на максимально возможной скорости. В движении необходимо строго держать дистанцию, идти колея в колею, следить за сигналами старшего колонны. Главное — никакой самостоятельности! Водитель машины Шорохов — парень опытный, в случае чего, подскажет. А сейчас — по машинам! Твой КамАЗ вон там!

В кабине Вадим попытался завязать разговор с Шороховым. Широкоплечий загорелый сержант оказался немногословен. Колков понял только, что батальон подняли по тревоге несколько часов назад, офицеров в роте не хватает, а его, Колкова, заменщик недавно угодил в госпиталь: подхватил то ли тиф, то ли лихорадку... Что же касается самого Шорохова, то он родом с Алтая, скоро на “дембель”. Служба здесь ему не то чтобы нравится, но жить можно. Комбат у них толковый — попусту солдата в пекло не пошлёт...

На этом красноречие Шорохова иссякло. Он надолго умолк, очевидно, считая, что и так выложил перед незнакомым офицером слишком много.

Сам Колков от быстрой смены событий и всего того, что он узнал, пребывал в некой прострации. Еще неделю назад он служил на Урале в гвардейской части, в воскресенье бегал на танцы в гарнизонный офицерский клуб. И вдруг — спешное оформление документов. Объяснили: вместо какого-то “отказника”. Семейного офицера без подготовки не пошлешь: то у него жилья нет, то ребенок в садик не устроен. А Колков — холостой, с ним никаких проблем. Так стремительно и очутился в Афганистане...

Вадим смотрел в окно КамАЗа и не мог поверить, что все это происходит с ним. Что он едет по незнакомой земле. Что в любой миг может проиступить пуля — и ничего больше для него не будет: ни неба, ни солнца, ни прошлого, ни будущего...

К настоящему Вадима вернул Шорохов:

— Товарищ старший лейтенант, Чергова пята!

Колонна в облаке пыли втягивалась на просторное плато, напоминающее коровье копыто. Вскоре пылевая завеса стала такой густой, что Шорохов включил стеклоочистители и фары.

— Дурное место, — сказал он, напряженно вглядываясь вперед. — Здесь всегда что-то случается...

— Что случается? — встрепенулся старший лейтенант. Шорохов не ответил. Впереди идущий бронетранспортер так резко затормозил, что только реакция сержанта спасла КамАЗ от столкновения.

— Ну, началось! — напряженно сказал водитель.

За стеклами кабины творилось и впрямь что-то невообразимое. То облако пыли, которое Вадим поначалу принял за шлейф от машин, не осело и тогда, когда колонна остановилась. Колков попытался опустить боковое стекло и выглянуть наружу.

— Не открывайте! Это — афганец, — остановил сержант. — Здесь он часто бывает. Раз проскочить не успели, теперь будем ждать, пока не закончится.

Тем временем в кабине стало совсем темно. Колкову, впервые попавшему в песчаную бурю, показалось, что ветер, как живое существо, стонет, воет, царапает по кабине тысячами когтистых лап, швыряет в стекла охапками песка, каменной крошки, раскачивает машину, как игрушку...

Афганец стих так же внезапно, как и начался. Взору старшего лейтенанта предстала экзотическая картина: увязшие по ступицы колес бэтээры и машины, покрытые красно-бурым налетом, стали похожи на доисторических чудовищ.

Еще некоторое время экипажи не подавали признаков жизни, словно всех унес с собой ураган. Первым человеком, появившимся перед КамАЗом, был Игнатенко. По колено проваливаясь в песок, комбат медленно продвигался вдоль колонны, энергичными жестами призывая подчиненных быстрее разгрести заносы. Поравнявшись с Колковым, он поднял руку с часами, давая понять, что они опаздывают.

...Что ещё запомнил Вадим из того первого рейда? Не найдя караван, который словно растворился в завихрениях афганца, колонна понуро возвращалась в гарнизон. Когда проходили мимо одного кишлака, серыми дувалами прилепившегося к склону хребта, случилось еще одно происшествие, потрясшее Колкова. Солдаты мотострелковой роты, шедшей впереди саперов, начали расстреливать всякую живность, попадавшую в поле зрения. Вадим видел, как полегло около десятка верблюдов, как заметались и бросились врассыпную перепуганные бараны, а один ягненок, потерявший мать, остался на месте, не зная, куда бежать... Снова заработал пулемет, ягненок как-то неестественно подпрыгнул и завалился набок.

— Зачем это они? — спросил Колков.

— Со злости, что караван не взяли, а может, так просто, чтоб поприкатываться, — объяснил Шорохов.

— Что ж офицеры их не удержат? Это же... Они же, как фашисты.

— Попробуйте, удержите. Это вам не Союз!

Потом Вадим обратил внимание, что номера стрелявших бронетранспортеров замазаны грязью, чтобы нельзя было определить, кто стрелял. Значит, всё-таки боятся...

...Ночью, уже на подходе к гарнизону, колонну обстреляли моджахеды. Обстреляли там, где, по утверждению Шорохова, с местными всегда были добрососедские отношения, и наши машины нападению никогда не подвергались. От пуль, к счастью, никто не пострадал. Правда, в борту своего

КамаЗа Вадим обнаружил три маленькие, аккуратные дырочки, безобидные на вид...

Возможно, это был обычный обстрел, совершенный какой-нибудь чужой бандой, но в сознании Колкова он почему-то соединился с убийством животных и с застигнувшим их на плато афганцем.

* * *

...Разведчики Лукоянова прочесывали ущелье уже вторые сутки. Никаких следов потерянного “Урагана”, никаких ответвлений дороги, узкой серебристой лентой петляющей по гигантскому каменному коридору. Короче — нулевой вариант.

К полудню лавиной навалилась усталость. Даже видавшие виды солдаты разведроты не выдерживали темпа, заданного их неукротимым капитаном. Про саперов Колкова и говорить нечего. Вадиму уже несколько часов приходилось тащить на себе часть амуниции рядового Кочнева — длинноногого, словно цапля, солдата. Второй подчиненный старшего лейтенанта — ефрейтор Мерзликин топал сейчас в авангарде рядом с проводником и ротным.

Привал устроили, взобравшись на высокую скалу. Так безопаснее.

Присев на круглый камень рядом с Люльком, Колков с наслаждением вытянул натруженные ноги:

— Какие планы, главком? Долго еще блукать думаешь?

— Какие тут планы... Надо на связь с “большой землёй” выходить: может, у них что нового... — Чувствовалось, что Люлёк зол на весь мир. — Говорил же я тебе: не будет толку от этой командировки! Без настроения иду... Только отпуск мне обосрала... Эй, связь! Запроси “первого”, как у него...

Через несколько минут связист доложил:

— “Первый” на связи, товарищ капитан!

Люлёк тут же завладел гарнитурой:

— Первый, первый, я — тринадцатый. Докладываю: у меня — пусто. Нахожусь в шестнадцатом квадрате у отметки семьсот двадцать восемь. Какие будут указания?..

Это “какие будут указания” из его уст звучало примерно как отречение от престола коронованной особы. Впрочем, помимо признания в собственном бессилии, в словах капитана был и упрек посланным роту без надлежащей подготовки в район, напичканный бандами и минными полями...

Наблюдая за ним, Вадим пытался угадать, как протекают переговоры с ЦБУ. По тому, как разгладилась и снова собралась морщинка на переносице Люлька, догадался: разговор с “первым” облегчения капитану не принес. Но обстановку, похоже, всё-таки прояснил.

— Нашли железяку пропавшую! — возвращая наушники и микрофон связисту, сообщил капитан. — Без нас с тобой, Вадик, нашли, верст за тридцать отсюда... Вертолётчики обнаружили. А вот теперь опять мы потребовались: не могут обойтись без разведки! Приказано нам ждать “вертушку” здесь. Полетим на место — там и разберемся во всем. А роту Борька поведет к дороге. Так что радуйся, старик: Аллах в лице комдива лаптям твоим даёт сегодня передышку, посылает за тобой железную птицу... Слышал анекдот про чукчу: “...железная птица летит — экспедиция называется...” — Люлёк нерадостно хохотнул и направился к сидящему в окружении солдат замполиту — старшему лейтенанту Борису Закатаеву.

Через четверть часа большая часть роты начала спуск вниз. На вершине остались Лукоянов с отделением разведчиков да Колков со своими саперами — больше Ми-8 в условиях высокогорья не поднимет.

“Вертушка”, поблескивая выпуклыми стеклами, зависла над ними, словно гигантская стрекоза. Лопастя несущего винта бешено молотили разреженный воздух, будто задалась целью сдуть людей со скалы.

Борттехник по одному втянул их в салон. Командир вертолёта обернулся в отсек: всё ли в норме? — и, получив утвердительный знак Лукоянова,

сдвинул рукоятку “шаг-газ”. Знакомая вершина за иллюминатором быстро поплыла назад, уменьшаясь в размерах.

Вадим с деланным безразличием уставился в окно. Летать вертолетами он не любил: постоянная вибрация, уши словно ватой набиты. Опять же, в полете не покидало назойливое ощущение, что он у кого-то на прицеле... Но к вертолетчикам он питал самое глубокое уважение. Хотя кто их в Афгане не уважает? Разве что “духи”? Да и те за каждого сбитого вертолетчика златые горы сулят... Тоже признак уважения, своеобразный, конечно.

Ободряя себя аргументом, что лучше плохо лететь, чем хорошо карабкаться по скалам, Вадим попытался сориентироваться на местности.

Ми-8 скользил над хребтом, окаймляющим ущелье так низко, что, казалось, шасси его вот-вот зацепятся за какую-нибудь вершину. Внизу, то появляясь, то исчезая под скалами, юлила дорожная лента. Черными скелетами громоздились на обочинах останки сожженных “наливников” и “бурбухаек” — афганских грузовых фургонов. Чем выше в горы забиралось шоссе, тем чаще среди расстрелянной и подорванной техники попадались танки и бэтээры. Вадим видел, что война не обошла стороной и афганские селения, изредка проплывавшие под вертолетом. Разрушенные дувалы, завалившийся минарет, раскученные воронками ракет квадраты крестьянских полей, на которых даже в страду не заметно дехкан.

Еще год назад эта картина заставила бы его содрогнуться. А сейчас... Неужели так ожесточилась душа, что следы войны не воспринимаются как что-то ужасное?

Вертолёт сделал крен влево и, перевалив через хребет, пошёл на снижение.

— Вот он, наш “Ураган”, загорает, смотри! — Лукоянов прижался носом к стеклу иллюминатора и стал похож на мальчишку.

Вадим уже и сам разглядел сиротливо лежащий на покато-склоне неподалеку от небольшого кишлака объект их поисков — злосчастный “Ураган”. Машина застыла колёсами вверх, что действительно делало её чем-то напоминающим отпускницу на пляже. Только вот место для отдыха было неудачное: дикие горы вокруг, недружелюбного вида кишлак...

Сделав несколько кругов над поверженной машиной и не заметив ничего подозрительного, приземлились, не выключая двигателя, метрах в ста от “Урагана”.

Когда разведчики и саперы покинули борт, вертолет, натужно гудя, ушел в сторону заката, торопясь вернуться на аэродром до темноты.

— Ну что, Вадик, — сказал капитан, — теперь твоё слово! Посмотри, что с машиной. Если заминирована, не возись, лучше взорвём! А мы по округе побродим, в деревеньку наведемся. Может, об экипаже узнаем... На всё у нас с тобой пара часов. А там пойдём к дороге. “Первый” обещал “броню” послать... Ну, давай, трудись! Да смотри, поосторожней! Я за тебя отвечаю...

— С какой это стати грозу душманов на лирику потянуло? — беззлобно огрызнулся Вадим. — Ты лучше за своими суперменами поглядывай, чтобы пальбу не открывали, а то мы и так “вертушкой” всех местных всполошили.

— Ну, пока. — Оставив двух автоматчиков для прикрытия саперов, Люлёк с разведчиками направился к кишлаку по руслу пересохшего арыка.

Вадим отправил Кочнева проверить, нет ли мин на склоне вокруг “Урагана”, а сам вместе с Мерзликиным направился к кабине. Двигался не спеша, словно рентгеном, ощущывая взглядом каждую пядь каменистого грунта. Мерзликин шел поодаль, таща на плече миноискатель и щуп, от которых среди этих камней толку мало... Здесь, как пел Высоцкий, надеяться надо только “на зоркость глаза и цепкость рук”.

У машины Вадим сделал знак ефрейтору остановиться, а сам стал продвигаться к кабине, время от времени замирая на месте и внимательно разглядывая “Ураган”. Поверхностный осмотр удивил: несмотря на неестественное положение, машина почти не пострадала, ни пулевых пробоин, ни вмятин, даже остекление кабины — в целостности и сохранности. Дверцы не деформированы. По всей видимости, их можно без труда открыть. Но делать этого он не стал: дверцы — излюбленный прием душманских минеров. При-

сев возле одной на корточках, он удовлетворенно прищелкнул языком: так и есть — растяжка. Тонкая, как струна, стальная проволока, прикрепленная изнутри к дверной ручке, другим своим концом пряталась в дальнем углу кабины под кучей ветоши. Что там: мина, фугас? Всё равно. Примитив, грубая работа, рассчитанная на дилетанта. Торопились “духи”: ловушка получилась неудачной. Хотя подрывники моджахедов и так изобретательностью не блещут: ставят мины, словно по заранее полученной инструкции, прямолинейно, однообразно. Если и попадётся какая-то закавыка, считай, наёмники-профессионалы поработали... Но сегодня разминирование его не волнует. Задача прямо противоположная: осмотреть “Ураган” и, убедившись, что машина не разграблена, подготовить к уничтожению!

Подозвав Мерззликина, поставил диагноз:

— Растяжка. Будем взрывать! Тащи ПТМ...

Пока возились с установкой противотанковой мины, возвратилась группа Лукоянова. Разведчики привели с собой старика, вылитого Хоттабыча: седая борода, тюрбан, длинная холщовая рубаха, шаровары. Только туфель с загнутыми носками нет — старик бос.

— Наши героини-разведчики “языка” взяли! — съехидничал Вадим.

— Что с машиной? — не удосужился обидеться капитан.

— Цела. Но заминирована: мина или фугас на растяжке. Мы в довесок ПТМ установили... Рванет, стоит только в кабину сунуться! Так что готовы хоть сейчас взрывать, хоть “душкам” в подарок оставить. Как прикажете, товарищ начальник...

— Добро! — кивнул Люлёк и наконец-то прореагировал на колкость Вадима. — Старик, что с нами — кадр ценный! Аксакал. По его словам, он — единственный взрослый мужчина в кишлаке, остальных моджахеды угнали в горы...

— Так зачем вы его притащили? — спросил Колков, продолжая разглядывать старого афганца, который стоял безучастный, точно идол.

— А затем, что он говорит... Одним словом, слышал пальбу здесь несколько дней назад. И еще — видел, как душманы увели каких-то людей в горы... Уразумел? Старик — свидетель (и, может, единственный) того, что приключилось с “Ураганом”. Правильно я понял, золотце? — повернулся Лукоянов к одному из разведчиков, таджику по имени Телло*.

Солдат заговорил со стариком. Каменная маска на лице аксакала дрогнула, и он ответил голосом скрипучим, как несмазанная арба.

— Там выше по склону стреляли чужие люди, — перевел Телло.

— Что ж, посмотрим...

— А не засада это, Валера?

— Засада — не засада, а лейтенанта с солдатом нам искать! — Люльку и самому не хотелось лезть в горы по одному лишь утверждению незнакомого старика, но задачу надо выполнять: Иванова с водителем, кроме них, разыскивать никто не будет.

— Товарищ капитан, товарищ старший лейтенант! — неожиданно раздался голос Кочнева. — Там, там... — солдат не мог подобрать нужных слов.

— Где там? Да говори же разборчиво, боец, что ты кашу жуешь! — по способности возвращать младшим по званию присутствие духа с Лукояновым вряд ли кто-то мог сравниться.

— Я нашёл... руку нашел... человеческую... — сделав несколько судорожных глотательных движений, выдавил сапёр.

— Человеческую?.. А какие ещё бывают? — усмехнулся Лукоянов и добавил строго: — Ладно, показывай!

Капитан и Колков зашагали вслед за Кочневым вверх по склону. Тот всё ещё путано рассказал, что, проверяя по приказу старшего лейтенанта окрестности, обнаружил обрубок чьей-то руки.

Место, на которое привел сапёр, оказалось небольшой пологой площадкой с вытоптанной травой. Среди мелких камней тускло поблескивали латунные гильзы. Лукоянов поднял одну:

* Телло — золото (тадж.).

— От АКМСа...

Кочнев остановился на краю площадки — здесь.

Офицеры увидели скрюченную кисть, которая, словно живая, притаилась сбоку от рыжего валуна. Палящее солнце сделало уже своё дело: от рубка исходил тяжелый запах, вокруг роились мухи.

Лукоянов склонился над страшной находкой, вынул из ножен финку и с ее помощью перевернул кисть. Между мертвыми пальцами оказалась зажатой какая-то бумага. Люлёк осторожно подцепил и извлек ее. Разгладил, прочитал вслух: “Вещевой аттестат. Выдан лейтенанту Иванову...” — резко бросил Кочневу, у которого, как у девушки, мелко подрагивали короткие бесесые ресницы:

— Старика — ко мне! Живо!

Когда угловатый солдат убежал, попенял Вадиму:

— Рассопливился твой сапёр, тошно смотреть!

— Не обгерея еще: второй раз на выходе, — вступился Колков и перевёл разговор на другое. — Думаешь: врёт дед?

— Не знаю... Сам видишь: бой был здесь. И кисть, похоже, Иванова, того самого. Гранатой оторвало... И чего это он аттестат в руке держал? Вот она, жизнь-житуха! Аттестат сдать вещевикам не успел... А сейчас он ему без надобности.

— Может, рано хоронишь?

— Может, и рано... — согласился Люлёк.

...Старик, которого привели Кочнев и Телло, ничего нового не сообщил. На все вопросы капитана, которые старательно переводил таджик, отвечал одно и то же: бой был здесь, потом моджахеды ушли в горы и увели с собой “шурави”^{*}; больше он ничего не знает.

Поняв, что большего не добиться, Лукоянов поручил Телло охранять старика, а сам разбил отряд на две части: одна, во главе с Колковым, будет обследовать склон горы у подножия; другая, под командой капитана, продолжит поиски ближе к вершине. Встретиться договорились через час возле “Урагана”.

...Экипаж нашёл Вадим. Пробираясь по ложбине, поросшей чахлой травой, он обратил внимание, что земля в одном конце отличается по цвету. Такое бывает на месте установки мины...

Щупом стал сантиметр за сантиметром проверять подозрительное место. Щуп беспрепятственно уходил вглубь.

Вместе с Кочневым осторожно разгребли землю руками. Когда убрали верхний слой, в нос ударил знакомый сладковатый запах. Солдата вырвало. Дальше Колков работал один. Вскоре неглубокая могила была разрыта...

Сверху, оскалившись, лежал труп черноволосого солдата, под ним тело лейтенанта. С помощью подоспевших разведчиков Колков извлёк из ямы останки погибших и уложил их на плащ-палатку. Тело Иванова было изуродовано взрывом гранаты до неузнаваемости: вместо лица — бесформенное месиво, живот вспорот, правая рука без кисти. От обмундирования уцелели только обрывки защитной рубашки с измазанными кровью и землёй лейтенантскими погонами. Ташмирзоев, напротив, без единой царапины. Если бы не пулевая пробоина в затылке, трудно было бы определить, от чего он погиб.

Тела отнесли к “Урагану” и стали ждать возвращения Лукоянова. Люлёк появился точно в условленное время. Потный, раздосадованный бесполезным брожением по горам, капитан, осмотрев убитых, стал еще мрачнее. Зло зыркнул на старика:

— Обмануть хотел, “божий одуванчик”! Ну, пеняй на себя... — и уже Вадиму: — Пора сниматься. Там, за перевалом, тропа. Я посмотрел, пройти можно до самой дороги. Дело мы сделали: ребят нашли... Ты говоришь, “Ураган” начинил надёжно?

— Нормально... Если от ПТМ “духовский сувенир” сдетонирует, от установки ничего не останется... А что будем со стариком делать?

Люлёк помолчал, что-то обдумывая, потом крикнул переводчику:

* Шурави — советский (дари).

— Золотце, деда сюда! — и когда те приблизились, приказал: — Вяжи его!

Солдат замялся, поглядывая на Колкова.

— Что ты задумал, Валера? — спросил старлей.

— Подстраховаться хочу, чтобы нас на обратном пути “бородатые” не продырявили... Как? Об этом пусть у тебя голова не болит... Старик — моя забота. А ты забирай команду и дуй на перевал. Мы с Телло вас догоним.

— А может, зря? Отпусти старика с миром. Ну, какой он “дух”? — попытался урезонить Вадим.

Но Лукоянова уже понесло:

— Послушай, Вадик! — ощерился он. — Кто здесь командует: я или ты? Я... Мне и решать, что зря, а что не зря! А ты — делай, что сказано!

Таким Люлька Колков еще не видел. Он хотел ответить столь же резко, но только покачал головой.

Уже выйдя на тропу, Вадим оглянулся: капитан и таджик ремнями привязывали стоящего на коленях старика к дверце “Урагана”. Лица аксакала не было видно, но Колкову показалось, что он молится...

...Ротный и Телло догнали отряд на седловине перевала, когда Колков приказал сделать пятиминутный привал. Люлёк подошел к Вадиму и протянул руку:

— Прости, погорячился... Что-то нашло! Понимаешь: одно к одному...

— Понимаю, — сказал Колков.

Лукоянов продолжал:

— Деду я шанс дал, если дёргаться не будет...

Договорить он не успел. Внизу, там, где остался “Ураган”, глухо, как новгородня хлопнула, сработала ПТМ. Почти сразу, сливаясь с первым взрывом, раздался второй, более мощный. Лукоянов отвел глаза:

— Не послушался старик... Что ж, оно и к лучшему. Теперь можно смело докладывать, что “Ураган” уничтожен. Коли, Вадик, дырку для ордена — я сам буду твоего комбата просить, чтоб представил.

...Одолели перевал и спустились к дороге без происшествий. “Броня” — два бэтэера лукояновской роты — ждала их в заданном квадрате. Старший бронегруппы — Закатаев обрадовался им, но улыбка сошла, как только увидел, какую ношу они несут.

Пока грузили тела погибших в десантное отделение, Лукоянов связался с комдивом, доложил о результатах рейда. Выбрался из люка довольный, общил:

— Батя всем объявил благодарность. Возвращаемся на базу!

Назад ехали в сумерках. Лукоянов с Закатаевым на первом бэтэере, Колков — на втором. Ехать рядом с Люльком не хотелось...

Из головы у старшего лейтенанта все не шел старик, казенный у “Урагана”. Смерть старого афганца заставила по-иному увидеть, нет, не Лукоянова, а себя самого. Эта смерть еще раз вернула его к давнему расстрелу животных в его первом рейде, такому же бессмысленному и жестокому.

Возможно, Лукоянов и прав, не дав старику уйти к своим и тем самым обезопасив отход отряда. Возможно, все содеянное можно назвать военной необходимостью и забыть... Но почему он не помешал убийству, не остановил Люлька? Неужели оттого, что год назад не решился удержать солдат, стрелявших в беззащитную скотину?..

Колков оглянулся на разведчиков, облепивших броню: кто напряженно вглядывался в темнеющие вокруг горы, кто пытался дремать, прицепившись к поручням брючным ремнем. Столкнулся взглядом с Телло. Таджик, сумрачный и нахохленный, как грач, отвернулся. “Тоже переживает, — понял Вадим. — Интересно, что чувствует сейчас Люлёк?”

А Лукоянов думал об отпуске, о доме. О том, что хорошо бы уже завтра улететь попутным вертолетом в Кабул...

Очевидно, замечавшись, он произнес слово “улететь” вслух, да так громко, что встрепенулся сидящий рядом замполит. Закатаеву всю дорогу не давал покоя один вопрос: как очутился “Ураган” по ту сторону гор? И слово, сорвавшееся с уст Лукоянова, он отнёс к тому, что волновало его.

— Ты думаешь, по воздуху он туда перелетел? — перекрикивая рев движка, спросил он ротного.

— Кто перелетел? — не сразу “включился” Люлек.

— Ну, “Ураган” этот... Просто мистика какая-то... Мы же вместе весь хребет излазили. Нигде ни прохода, ни перевала. Не могло же его туда ветром занести?

— Ветром-то, конечно, не могло. А вот мне рассказывали, что однажды в Панджшере “духи” танк в горы утащили. Обмотали веревками, как египтяне глыбу, и вместе с экипажем подняли.

— И что потом?

— Финал один, — Лукоянов кивнул в сторону десантного отделения, — только там и этого не осталось... Сбросили танк в пропасть. Груда металлолома — и всё.

Закатаев недоверчиво переспросил:

— А ты, командир, не заливаешь насчет танка? Как такую махину в горы на верёвках?

Лукоянов дернул плечом. Не веришь — твое дело: за что купил, за то и продаю.

Долго ехали молча, а когда скалы, окружавшие дорогу, начали расступаться, открывая плато, похожее на копыто, Люлёк, словно продолжая прерванный разговор, сказал:

— Чужие мы здесь. Чужие, комиссар. И людям, и скалам, и ветру даже... Оттого и понять многого не можем. И друг друга перестаем понимать! Закатаев покосился: что-то непохоже на ротного. Никак голову напекло? А солнце здесь и впрямь — безжалостное. Того и гляди, крыша поедет...

Поздравляем Александра Борисовича с 55-летием!
Ярких строк и радостных встреч, крепкого здоровья и неутомимого
служения делу Русской Культуры.

Коллектив «НС»

НИКОЛАЙ ПЕРЕСТОРОНИН



ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ

* * *

Край великих холмов и оврагов
Сохранял самобытность как мог.
Что сказать? Мы не звали варягов,
А они уже делят пирог.
Изобильно накрыты поляны
И украшены тоже зело,
Много званных, да мало избранных,
А и нас невелико число.
Медных труб возвышаются звуки,
Низко падать да травушку мять...
Истончились мечи и кольчуги,
Но за правду пора постоять.
А пока серебро серебрится,
Ярко яркие лампы горят.
Друг пророчит: "Мы будем гордиться,
Что не брали варяжских наград".
Будет снег терпеливей бумаги,
Но за слово цепляюсь и я:
"Милый друг, на фига нам варяги,

ПЕРЕСТОРОНИН Николай Васильевич родился в 1951 году в Кирове. Окончил Уральской государственной университет (факультет журналистики). Автор многих книг стихов и публицистики. Заслуженный работник культуры, лауреат премии Правительства России за 2009 год (в области печатных СМИ), лауреат всероссийских литературных премий имени Н. А. Заболоцкого, Святого благоверного князя Александра Невского. Член Союза писателей России. Живет в Кирове (Вятке).

Мы и сами побиша своя...
Мы и сами с мечами ходили,
Неужели опять и опять
Мы с тобой всех врагов победили,
Чтоб друг с другом теперь воевать?"
Милый друг, мы так грустно смеемся,
Или оптимистично молчим,
Что как волны у берега бьемся,
Называя тот берег родным.
Русь Святая! В едином просторе
Собери православный народ!
А варягов Варяжское море
Унесет, унесет...

* * *

В краю, где подзолы и глина,
В дому, где ни так и ни сяк,
Достанет гармошку Галина
И грянет: "Наш гордый "Варяг!"
И песня безмужняя льется,
Как вдовая доля ведет.
Она никому не сдается
И в плен никого не берет.
Она проросла в поколеньях,
Ее не забьют сорняки...
Есть женщины в русских селеньях,
Но где же вы есть, мужики?"

* * *

Покажется: здесь и душа отдыхает,
Хранима Всевышним на все времена,
В полуночной Вологде ветер стихает,
И белая церковь видна из окна.
Но запертый воздух холодного крова
Рванется наружу, знакомый до слез,
И каменный шарфик на шее Рубцова
Затянет потуже крещенский мороз.

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ

В годы несытого быта,
В пору студеных времен,
Зимнее солнце сокрыто
И небосвод убелен.
Стихла житейская вьюга,
Но не на все времена,
Дивная эта округа
Снегами занесена.
Чтобы земля не остыла,
Жизнь беззаветно любя,
Зимнее солнце явило
Хладному миру себя.
В небе заснеженном реет
Гордо, победно, светло.

Зимнее солнце не греет,
Но обещает тепло.
Словно грядущее знает,
Тайные зрит письмена,
Зимнее солнце сияет —
Не за горами весна.
Ну подморозило малость
И в серебре голова,
Зимнее солнце закралось
В наши земные слова.
В русские наши старанья,
В наши холодные дни...
Зимнее солнцестоянье,
Нас обогрей, сохрани.
Зимнее солнце утешит
И до тепла сохранит.

* * *

И памятник придумывать не надо —
В России снег.
С небес и до земли
Серебряные нити снегопада
По жизни, распахнувшейся крылато,
Холодными прожилками легли.

* * *

Сегодня вынос плащаницы.
Капительный дым не ест глаза,
Но словно раненые птицы
Восходят певчих голоса.
Они вовеки не прервутся
Смотреть на свечи не дыша,
И льются слезы, слезы льются,
И очищается душа.

Поздравляем нашего автора, самобытного поэта и яркого публициста
Николая Пересторонина с юбилеем!
Новых светлых книг, новых добрых встреч, здоровья и радости!

Редакция “НС”

ТАТЬЯНА ГРИБАНОВА



ОТ РОЖДЕСТВА ДО ПОКРОВА

РАССКАЗ

Под Рождество каждая половица нашего старенького домишки, каждая занавеска на окошке, где меж рам дозревают подмёрзшие рябиновые гроздья, каждая крошечная, но уютная, словно бабушкина душегрейка, комната напитываются смолистым сосновым духом.

Отец загодя, с утра, становится на широкие охотничьи лыжи, затыкает топор за солдатский ремень, подпоясывая собачий тулуп. Подламывая корочку хрусткого наста, идёт через игинское поле в Хильмечки — ближайшую рощу. К обеду притаскивает на липовых салазках, справленных для хозяйских дел, сосну. Размашистую, под потолок. Приносит из амбара заготовленное ещё по осени на Жёлтом ведро песка. Сосёнку устанавливаем в горнице на самом видном месте.

Ледышки и снег обтаивают, хвоя разомлевет в тепле и источает такой аромат, что замороженный происходящим кот Патефон выгибает спину и замирает на пороге. Принохивается, а потом — боком, боком пробирается знакомиться с новой пушистой жиличкой.

Отец спускается в погреб и возвращается с ящичком синапа. Это особые яблоки, отборные, рождественские. Завернуты в бумагу, пересыпаны ржаной соломой. Дождались своего часу.

К палочке привязываю прочным, хитрым узлом нитку и украшаю жёлтыми, с румяными бочками, синапками сосну. Шишки оборачиваю припасённой за год шоколадочной фольгой.

ГРИБАНОВА Татьяна Ивановна родилась в деревне Игино на Орловщине. Окончила факультет иностранных языков Орловского государственного педагогического института. Работала преподавателем иностранного языка в сельской школе и в Орле. Автор двух поэтических книг "Апрель" и "Прощёный день". Член Союза писателей России. Живёт в Орле.

Пахнет клеем, гуашью. Маленький братишка перепачкан красками с головы до пят. Колечки гирлянд, сугробы ваты, ливень серебристого дождика, стай замысловатых легкокрылых снежинок...

— Принимайте с пылу, с жару, — мама вносит большущее блюдо. Золотистая гора печенья: зверюшки, звёздочки, ёлки, сказочные герои — свойские игрушки из нашей печки. Духовитая сдоба не даёт покоя коту, устроившемуся под сосной на куче ваты. Он подбирается и уносит-таки пухленькую белочку.

— Пока не затвердели, продавай цыганской иглой тесёмочки, — командует мама.

Развешиваю украшенные помадкой-глазурью печенюшки на колючих лапах.

Ароматы сосны, синапа, ванили кружат голову. К ним примешивается запах плавящегося воска. Потрескивают свечи, пощёлкивают на кухне берёзовые полешки. Скрипят под окнами валенки, распахиваются промёрзшие сенные двери. С каляным морозным духом вваливаются ряженые. Шутят-дурачатся, распевают старые-престарые песни. Рассыпают по хате овёс, приговаривают: “Роди, Боже, жить, пшеницу, всяку пашницу”.

Братишка прячется за мамин подол, боится размалёванной, с пеньковой бородой, “kozy”. Из-под её вывернутого наизнанку овчинного тулупа выглядывают стёганные в ёлочку приметные бурки деда Зуба. “Коза” склоняется к маленькому Андрюше, запускает руку в карман и вынимает горсть ирисок.

— Коза-дереза! — пыхтит мальчишка, но от конфет не отказывается.

— Угощайтесь, гости дорогие! — мама выставляет приготовленные вкусности.

Ряженые сыпают сласти-угощенья в огромный мешок и, поблагодарив хозяев, пожелав им светлого Рождества, выкатываются в сенцы. А мы подбираем рассыпанное зерно и храним его до весны.

Укладываюсь в горнице у разряженной сосны, чтобы не проспять праздник. В окно глядится яркая-преяркая рождественская звезда, и я улплываю навстречу ей по густым смолистым волнам.

* * *

Что означает фраза “ломать косарецкого”, для меня и в детстве было тайной, и до сих пор остаётся непонятным. На Крещение зять в нашей деревне едет к тётке ломать этого самого косарецкого.

За несколько дней до праздника в кухне ко вбитому в потолок кольцу подвешивают гуся. На пол расстилают холстину, и мама с бабушкой щиплют птицу. Пух ложится на табуретки, на стол, на загетку и сундук. Ресницы, брови и волосы женщин становятся белыми-белыми. По дому, будто в форточку намело, порхают пушинки.

Железным крюком надёргивает дедушка в стогу за амбаром вязанку соломы и, когда тушку выносят на двор, разводит костёр. На большие вилы укладывает оципанного гуся и палит на огне. Пахнет горелым пером, пушинки на гусе тают, словно снег, а дедушка знай поворачивает птицу то одним, то другим боком. Пламя слизывает пух и перья, гусь лоснится от вытопленного жира. Бабушка забирает его на кухню, добела натирает отрубями, гремит чугунками. А дедушка старается над очередным гуськом.

Спустя пару часов сквозь приоткрытую дверь на улицу выползает такой дух, что у меня текут слюнки, словно у соседского кутёнка Мухтара. Я бросаю салазки и спешу в хату.

— Проголодалась, поди, на морозе? — торопится подкормить бабушка. — Бульонцу гусяного съешь-ка, голубка, — мясу-то ещё томиться и томиться.

Только к вечеру поспеваает долгожданный холодец. Мама помогает бабушке его разбирать, а я кручусь рядом: то лапку погрызть дадут, то кусочек печёночки обломится. Пока женщины стряпают, я уж и сыта.

Может, зять приезжает к тётце на Крещение не косарецкого ломать, а просто духовитый холодец есть? — размышляю я, укладываясь на печке с обьевшимися Патефоном.

Наступает крещенское утро. Дедушка ещё вчера, пробравшись сквозь прибрежные лозняки на Кромю, вырубил во льду иордань — двухметровый крест. Церковь на Поповке давным-давно взорвали, водички святой взять неоткуда. В Крещенский Сочельник берёт бабушка воду из Иордани и кропит ею скот, хлев, дом и двор. А на само Крещение мы отправляемся умываться на реку. Набираем водицы у ключей на весь год. Когда бы ни пробовала я крещенскую воду, хоть в июльскую жару, кажется мне, пахнет она январскими сугробами да метелями. Ледяная, аж дух захватывает.

* * *

Сколько себя помню — под Сретенье всегда метёт, куролесит, будто старается зима на прощанье такого наворотить, чтоб запомнили её надолго. В такой вьюжный день я и родилась. Предпраздничная, значит.

На Сретенье — успокаивается, любо-дорого поглядеть за окно — тишь да благодать. Солнце лупастит, на весну перелом. Середина февраля, а весна рядом бродит.

В хату со двора, чтоб не подмёрзли, приносят новорожденных козлят. От них пахнет парным. Кухня пропитывается козым духом.

Просыпаюсь поутру и чувствую: бабушка стряпает на завтрак омлет из молозива — первого коровьего молока. Значит, дождалась она-таки, ночью отелилась Зорька. Бегу в хлев. Уже обсохший, чёрненький с белой звёздочкой во весь крутой лоб, бычок мукает навстречу, взбрыкивает и прячется за опавшие мамкины бока. В честь ли моего дня рождения, по случаю ли появления на свет Зорькиного Маврика, в кормушке настоящее лакомство — июньское сенцо с разнотравья.

— Не сено, а чай. Хоть в самоваре заваривай, — улыбается дедушка, зашедший взглянуть на телёночка.

Копаясь в хоботной плетушке. Собираю праздничный букет — сухие кукушкины слёзки, иван-чай, лисохвост, клубника луговая (даже с ягодками!), чуть поблёкшие васильки и целая охавка ромашек. Закрываю глаза, принимаюсь: букет дышит летом, Ярочкиным логом, сенокосом.

Днём на припёке возпревает навоз. Из-под сарая, от гречишной соломы тянет мёдом. Или кажется? Может, просто хочется тепла, и я тороплюсь почувствовать ещё неощутимые запахи?

Порывом ветра доносит от сирени, что за верандой, тонкую-тонкую горечь побуревших почек. Чудится еле уловимый терпкий аромат пробуждающихся вешних соков.

На улицу из кухонной форточки вслед растолстевшему за зиму Патефону вышмыгивает запах поспевших тыквенных пирогов-гарбузят. Мама манит из окна перепачканной в муке рукой.

— Помоги-ка стол накрыть, да за Андрюшей под горку сбегай. Укатался, наверно, валенки не стащишь.

Пьём чай. Наш фирменный: липа, мята, зверобой да щепоть земляничного цвета. Вспоминаем, улетаая пироги, как растили для них духовитые медовые тыквы. Вымахали громадные. В сентябре отец с трудом погрузил на телегу да перевёз дозреть под сарай.

* * *

За неделю до Великого поста днями напролёт рычит маслобойка, разливается по кринкам, густеет сметана. Топится масло. В дуршлаг откидывается творог, выкатывается снежными шарами из марли на кухонный стол. Отец собственноручно, никому не доверяя, варит сыр: долго бьёт масло, творог и яйца в ведерной круглой макитре, следуя каким-то замысловатым прадедовским рецептам.

Сырная неделя — широкая Масленица. Кот лоснится от постоянного облизывания вкусюющих остатков, на столе не переводятся рыба, масло, молоко, яйца и сыр.

Накануне, вечером, с появлением первых звёзд, бабушка идёт к колодцу и потихоньку, чтобы никто не слышал, просит месяц заглянуть в кухонное окошко, осветить опару да подуть на неё. Бабушка ставит опару на чистейшем снегу, собранном на дальних огородах, пришептывает: “Месяц ты, месяц, золотые твои рожки, загляни в окошко, подуй на опару”.

Дрожжевой дух бродит по дому, пьянит и дурманит.

— Отнеси-ка, Таня, блинчик на поветь, да гляди, чтоб Патефон не стащил, — подаёт мне бабушка первый блин, — на помин усопших.

Несу горячий с пылу с жару блинок на улицу и слышу бабушкину присказку:

— Честные родители наши, вот для вашей души блинок.

Бабуля напекает целую стопу тонюсеньких дырчатых блинов. Поедаем одним махом.

— Блин не клин, живота не расколет, — подшучивает дедушка.

На другой день к печке заступает мама. Она жарит маленькие пышные оладушки. К ним подаёт береженное к Маслене любимое лакомство — земляничное варенье. Кубаны с томлёным молоком опорожняются быстро под мамины олады.

Отец запрягает Воронка, и мы отправляемся под Гнездилово на кулачки. Отведав кучу блинов, поднакопив силушки, местные мужички пытаются её в кулачных боях, ходят стенка на стенку, деревня на деревню.

Вечером — катанье с горок на санках, костры, и опять — блины, блины. С рыбой, с мёдом, с сыром, с творогом... Гречневые и пшеничные, кукурузные и овсяные, на любой вкус. И каждый день непременно другие.

Заканчивается Масленица. Патефон подбирает недоеденные блины. Мама обходит дом, вымывает подоконники и половицы уксуной водой — выгоняет масляный дух. Пахнет кислым. Начинается Великий пост.

* * *

Сходят снега, после первого тёплого дождичка проклёвывается робкая зелень. Мимо тополя не пройдёшь: дышишь, не надышишься пахучей клейковинной, не насмотришься, глаз радуют крошечные листики.

Из корзинки высаживаю на лужок желтопузиков — гусятюк. Тёплый, махонький комочек, солнечный, словно одуванчик. Подношу к щеке — и пахнет одуванчиком.

По лозьякам ползут длинные мохнатые гусеницы, кишмя кишат. Присматриваюсь: да это цветы. Ива цветёт. А запах!.. Вжикают, облётываются первые пчёлы. Наголодались за зиму, будоражат их весенние ароматы.

Припекает. Мама выкатывает из чулана квасную кадку. Заправляет первый квас — с мятой, с изюмом.

Во время Великого поста начинается работа на земле. Чтобы поддержать семью, придумывает мама постные вкусоности-разности.

А что тут мудрить? Рыжики, например, и в праздник, и в будень — одно объеденье. Мама жарит картошку на конопляном масле (запах к соседям за забор идёт), рыжики посыпает мелконарубленным чесноком. За уши не оттянешь!

Как уж умудряется она капусту засаливать — до самой Пасхи хрустящая. Ешь и ещё хочется.

Особая гордость отца — мочёная антоновка. Разломишь яблочко — белое, сахарное, духовитое.

А на Благовещенье, когда “и птица гнезда не вьёт, и девица косы не плетёт”, приносит дедушка с прудка, что у старой мельницы, десяток-другой краснопёрок. В саду, на собственноручно слаженной печурке коптит их на яблоневых веточках.

Обрезая сад, собирает поленницу, даже хмызник от яблонь и вишен не выбрасывает, складывает под сарай. Что на копченье пригодится, что в печи в холода сгорит, напитает хату ароматным садовым духом.

— На Благовещенье работать не след, — считает бабушка, — кукушка завет нарушила, вот и скитается теперь без родного гнезда, Господь наказал. Детей по чужим гнёздам раскидывает.

Сидеть сложа руки весь большой весенний день он не выдерживает, по-этому и приловчился на рыбалку ходить.

Бабушка на Благовещенье пережигает соль в печи, добавляет в тесто, печёт большие хлеба — “бляшки”, угощает ими скотину от всевозможных хворей. Ставит образок в закрое с яровым зерном, приговаривает:

*Мать Божья!
Гавриил-архангел!
Благословите,
Благословите,
Нас урожаем благословите:
Овсом да рожью,
Ячменём, пшеницей
И всякого жита сторицей!*

На восходе выносит отец клетку с синицами во двор, даёт нам с братом по птице, чтобы выпустили на волю.

День-деньской подкарауливает кот диких горлинок, слетающихся покормиться к куриной кормушке. От Патефона пахнет свежей рыбой, на морде сверкают серебристые чешуйки.

Вдоль стёжки, от клёна до ворот, натянута верёвка. Полощется свежестыранное бельё. Вчера затеяла мама большую стирку, весь день колотила вальком на омуте. От подсохших занавесок и покрывал тянет свежестью, речкой. А клеверный стог в углу двора задышал, подсыхая после первого дождика, парной мякиной.

* * *

В Чистый четверг с утра бабушка готовит кринки и махотки. В печи томится молоко, откидывается творог, собираются в узелочки яйца. Под Светлое воскресенье идём с ней к одиноким и хворым, несём угощения к празднику. Бабушка разливает по пузырьчкам какое-то благовонное снадобье, которое накануне варила под шёпот молитв. Может быть, в нём и не хватает всех компонентов, но она уверенно называет его “миро” и одаривает в Великий четверг односельчан. А ещё — пережигает спозаранку в печи соль с квасною гущей.

— Осквернил её Иуда-предатель, надобно очистить, — растолковывает бабуля.

Хранит в коробочке на божничке и лечит ею от всевозможных болезней. Запах и свойства этой соли особые, и называется она Великочетверговая.

Хата к этому дню пахнет чистотой. Вымыты окна и полы, развешены праздничные занавески, из сундука вынута пасхальная скатерть: по домотканому льняному полю вышиты мелкие крестики, а по уголкам — ХВ. Она дышит прошлогодней пасхой и свечами.

В кухне стоит крутой луковый дух — мама красит настоем из шелухи десятков пять яиц. Несколько, смочив, обваливает в пшёнке, помещает в тугой марлевый мешочек. Весёлые яйца “в крапку” раздарит в Велик день маленьким крестникам.

Отец топит баню. Вечером смываем грехи, паримся берёзовым веничком, на голышки плещем мятным квасом.

— Теперь можно и Велик день встречать, — замечает бабушка, расчёсывая сполоснутые травяным взваром волосы.

В правом ящике резного буфета и сейчас могу наощупь сыскать холщовый мешочек. В нём испокон веку хранится деревянная пасочница. Потемневшая от времени, с небольшой выщерблинкой по верхнему краю. На боках резные витиеватые буквы. Как только бабуля к ней прикасается, начинается священнодействие. Это случается раз в году — в пятницу перед самым большим праздником.

Накануне бабушка не ложится спать. Стоит в красном углу и читает. С первыми петухами, обрядившись в свежий передник, убирает штапельным платочком волосы.

Выскоблив ещё на неделе стол, в большой с мелкими розанами таз выкладывает из-под трёхсуточного гнёта тугие плюшки белоснежного творога. Кисловатый запах его смешивается с запахом ванили, размоченного изюма. Липовой с прорезью ложечкой выкладывает она в тесто дышащий донником мёд. Совсем чуть-чуть, “коли переборщить — потечёт пасха, не собрать”. Долго размешивает-соединяет. Наконец, вкусящей массой заполняет пасочницу, поверх выкладывает изюмом православный крестик, освящает. А чтобы пасха укрепилась, затвердела, выносит до вечера на холод, в подвал.

И только теперь растапливает печь. Наступает черёд куличам. Из эмалированного ведра выпирает пушистой шапкой тесто. Бабуля обминает его ещё разок, добавляет изюмцу, маслица, яичек, сахарку и чего-то такого, от чего у меня на печке сосёт под ложечкой, и я вскакиваю ни свет ни заря стащить горсточку ненашенских сластей, облизать ложки-миски из-под взбитых белков, поковырять ложечкой в махотке с зернистым засахаренным мёдом.

Часа через два бабуля вынимает куличи из протопленной по особому случаю вишневым хвостом печи. Поверх румяной сдобы толстым жгутом выпирает крест и маленькие букочки ХВ и ВВ. Белки молочными реками стекают по бокам, искрятся на весёлом апрельском солнышке, заглядывающем в оконце справиться, готова ли хозяйка ко встрече Пасхи.

Бабушка кропит куличики святой водицей, что хранится у неё для особых случаев за образом Анны Кашиной. В сенцах приготовлен стол. Выносим куличи, прикрываем полотенцем — доходить.

Бегаю мимо, принохиваюсь. И опять кажется мне, нынче куличи лучше прежних: и душистее, и пышнее, и краше.

Пасох и куличиков хватает на всю Святую неделю. До самой Красной горки стоит в хате и во дворе дух Светлого праздника.

С первыми летними радостями — Троицей и Духовым днём связаны самые яркие, самые душистые воспоминания.

Природа утопает в цвету. Зелень ещё молода и свежа. С утра бабушка связывает в пучок четыре травки: зорю, калужер, мяту и кадило. В середину ставит большую “троицкую” свечу и поджигает её свечкой, привезённой для неё кем-то от Гроба Господня.

Травы, соприкасаясь с огнём, источают благовония. Бабуля заканчивает молиться, убирает обожжённые стебельки в резной ларчик и хранит для лечения разных болезней. Свеча же прячется в дальний угол (разыскивается лишь для того, чтобы дать в руки умирающему).

Хата разряжена спозаранку, что девка на выданье. Пахнет цветочным сенцом: отец окосил Мишкин бугор. Притащил хоботную охавку лютиков, колокольчиков да кашки. Полы устланы цветами. Стол накрыт весёлой скатертью, расшитой синеглазыми васильками, пшеничными колосками да молочными ромашками. Красиво и радостно.

Повсюду берёзовые косицы. В сенцах тоже благоухают травы. Тут и мимоза нашенских оврагов — прогорклая полынь, и лесная затворница — душица, и дикая мята-мелисса, и терпкий любимец ребятни — анис.

А за окнами — липы в цвету. Тихий летний вечер. Ещё сильнее раздушиваются в палисаде махровые жасмины. Кремовые пионы приманивают своим колдовским ароматом десятки изумрудных светлячков, охочих до их вкусного клейкого лакомства.

Чуден и прекрасен твой мир, Господи! Век бы сидеть на лавочке у крылечка, слушать перешёлк неумолчного соловья, дышать не надышаться дедовой махровой черёмухой, купаться в ароматах резеды и притулившихся в тенёчке под кряжистой дулькой заблудших когда-то из Ярочкина леска белоснежных ландышей, сдвиг к противоположному краю пушистую пену, пить прямо из ведёрка пахнущее Зорькой парное...

* * *

Природа, предчувствуя неминуемые холода, в середине июня торопится жить в полную силу. В ночь на Ивана Купала поспевают большинство целебных трав.

Бабуля ходит по вечерней заре и, различая в сумерках лишь по ароматам нужные травки, собирает их целую плетушку. Поутру связывает пучками и развешивает в полумраке на амбарном чердаке, “на вольном духу”. Тут же подсыхают пахучие связки белых да подберёзовиков, проветриваются какие-то душистые коренья.

Из молодых сосновых шишек варим на сурепочном меду сладкое варенье. Скольких на деревне поднимает бабуля своими микстурами от простуд! Пахнет смолой. Забористый сосновый дух пробирается во все уголки нашей кухоньки, ползёт за ворота.

В теньке под сиренью усаживаемся перебирать луговую землянику. Ягоды переспели, аж вишнёвые. Нюхаю выкрашенные земляничкой ладони. Что за дух! Пахнет лесом, землёй, летом, солнцем, июньскими грозами, чем-то очень любимым, знакомым с раннего детства.

А бабуля тем временем толкует о том, что солнце в этот день выезжает из своих чертогов на трёх конях: серебряном, золотом и бриллиантовом. Пляшет “Русскую”, рассыпает в небесах огненные звёзды и едет к супругу месяцу.

Видать, она взаправду во всё это верит, если вечером на Ивана Купала, запалив во дворе костёр, сжигает на нём дедушкину рубашку, в которой лежал он хворый прошлую зиму, “чтоб болезнь не возвратилась”. Потом идёт в дом, молится у иконки Иоанна Крестителя, чтобы зло в эту ночь не смогло причинить вреда нашей деревне.

* * *

Не менее богатый на ароматы август. На него приходится три Спаса.

Самый первый — “Спас на воде”, “медовым” называют. Отец говорит, что с этого дня пчёлы перестают носить взятки с цветов.

Последний раз качаем мёд. С разнотравья: с донника, с душицы, с переспевших летних цветов. В беседке, где жужжит медогонка, воздух пропитан густым медовым духом. От отца пахнет дымом и вошиной. От переполненных баков тянет лугом.

Девятнадцатого августа — “Спас на горе” — Преображение Господне или Яблочный Спас.

Под сучья в саду ставим подпорки. Яровые яблоньки и груши гнутся от созревших плодов. Вороха медовки и белого налива. Пипин-шафран просвечивается насквозь, видны карие семечки. Тряхнёшь яблоком у уха — семечки звенят, понюхаешь — и есть жалко. Яблоки падают, бьются в крошево. Прогорлившие осы зундящим скопом наваливаются на переспевшие плоды, выгрызают мясистые дошесы и дули, оставляя в них глубокие дырочки.

Третий Спас — “полотняный” — следует за днём Успенья, в самом конце августа.

Из раннего детства припоминается в углу горницы огромный стан. Бабушка ткала половики, покрывала и тонкие скатёрные-полотенечные ткани. До сих пор стелется на печку её домотканые постилки, ещё в ходу замашные рушники.

В нашей местности третий Спас называют ещё “ореховым”. В эту пору подходит в Горонях и в Плоцком лещина. Весь неработный люд пускается за орехами. Расстилают вокруг куста холстинку и трясут ветки, обивают орехи. Набрав пудовичок, усаживаются на опушке. Чистят-лущат, откидывают “молоньёвые”. Домой принесут, на печь, на камешки сушить-жарить под постилки рассыпят. В сказке принцесса спать на горошине не могла, а у нас ребятня на орехах год напролёт дрыхнет и хоть бы что. Подсыхают орешки — по хатам щёлк идёт. И пахнет лесом, лещинкой.

* * *

А уж в пору Бабьего лета дня не пройдёт, чтобы мы с отцом в лесу не отметились. Руки от грибов чёрные, месяц не отмываются. Опята, маслята, рыжики! Для каждого гриба свой черёд. У каждого свой аромат.

Входишь по утру в Хильмечки и чувствуешь: воздух распирает от терпкого хвойного духа, замешанного на густом грибном запахе. Среди рыжей палой хвой россыпь крупнящих тёмно-коричневых бусин-маслят. Тут же, только наклонись, подними лапник — яркие блюдца молочных рыжиков. По берёзовым да по дубовым пням гранки тонконогих веснушчатых опёнок.

Потянет опавшим листом, спелым грибом. Задышат овраги прелью, дохнет с огородов костром, печёной картошкой. А там, глядишь: засеменит дробный ситничек, разоплывятся дороги, а вскорости и морозец почуешь.

* * *

Пора справлять Покров, Зазимки по-нашему.

На дворе клучи поваленных берёз. Отец и дедушка возят их на Буянке из лесу. Пилят на раскатайки-кругляши. В доме слышны тугие удары колуна, звонкие щелчки лёгонького топорика. Под сараем под самую крышу вырастает белоснежная поленница. Двор затапливает берёзовый аромат. Над трубой поплясывает лёгонький дымок — мама стряпает пироги к празднику. С чем только не придумает! Но вкуснее всех — с капустой. Вчера занесли её с улицы. Дозревала на дворе. Пощипали морозцы, забелела, подоспела. Целый день рубил её отец в деревянном корыте. Всем хватило работы: тёрли морковку, резали яблоки, грызли сахарные кочерыжки. В середину бочонка целиком уложили дробные кочанчики. Посыпали душистым тмином. От бочонка ещё не пахнет, как зимой, кислым, а капустно-морковно-яблочный сок, в котором утонул гнёт-голышек, кажется самым вкусным напитком на свете.

В другой кадучке, перестлав ржаной соломой, залив ключевой водой, замачиваем антоновку. Целый месяц стояли под моей кроватью ящики с яблоками. Проснусь ночью — как пахнет! — не удержусь, опущу руку, нащупаю самое лучшее и схрумкаю.

Бабушка входит в кухню, придерживает передник, наполненный полосатым штрифелем. Надкусываю яблочко — хрусткий запах поздней осени. Штрифелина гладкая, блестящая, внутри — розовая-перерозовая.

Бабушка усаживается перед окном передохнуть, размышляет.

— Журавлей не слышать, спровадились до Покрова. Знать, зима ляжет ранняя да студёная...

А мама накрывает на стол. Покров — последний большой праздник в году. Сытный, вкусный. По первому снежку закололи кабанчика — тушится печёнка, пошипывают зажаристые шкварки. Грузди, источая ароматы укропа, зарылись в листья смородины и хрена, разлеглись на блюде, словно недельные поросята. А рядом — лупастые пельмени. Мама любит пощутить над

домашними и в один из них вместо мяса заворачивает какой-нибудь сюрприз: школьный ластик или кусочек морковки. И я с нетерпением ожидаю, кому же на этот раз посчастливится. На вид все пельмешки одинаковы: перепачканы чуть кислотоватой сметаной, пахнут молотым перчиком, посыпаны какими-то бабушкиными духовитыми травками. Из чулана дедушка приносит бутылочку калиновки. С прошлого года. Нынешняя ещё не готовилась.

Ляжет потвѣрже наст, ударят покрепче морозы — поедем в Плоцкий за ягодой-калиной. На Святках настряпаем с нею пирогов-ватрушек, наварим душистого варенья, наготовим вкуснощего квасу-морсу. Как же без калины? Без неё, без терпкого её вкуса-запаха и год не завершится.

Повяжем пучками, подвесим за наличник снегирей приманивать. И станем дожидаться Рождества: смолистой сосны, душистого маминоного печенья, аромата переспелых синапок.

ОДОЛЕНЬ-ТРАВА

РАССКАЗ

Весь июнь полоскали дожди. Трава вымахала в человеческий рост. Стѣжка к роднику поросла анисом. Белые шляпки его укрыли днище оврага, словно снегом завалили-заметелили крутые скаты Мишкина бугра.

Сняв вѣдра с коромысла, Катька славливала ладонью с воды белых мушек и сердилась.

— С анисом-то вкуснее, оставь, — подшучивал отец.

— Ты бы лучше стѣжку обкосил. Сил нет пробираться.

Василь Петрович проходил ручку, другую, сбивал разбушевавшуюся траву. Но от тёплых ли дождей, от нашей ли благодатной землицы она пѣрла, как на дрожжах.

...Пробившиеся сквозь разрывы облаков лучи заштопали прохуdivшиеся небо лишь в августе, через неделю после Ильина дня, когда лето пошло на убыль. Дожди прекратились. Прояснило. Грозовые облака похохатывали где-то за Богачевым урочищем. Небо, отяжелевшее от беспросветных туч, вдруг очистилось и взмыло на такую высоту, что жаворонки затерялись в его бездонности.

Солнце, соскучившись за густыми облаками, обрушило на хутор нескончаемые потоки тепла и ласки. Над Жѣлтым зависла шафрановая радуга. Один её конец опускался в Сидоров сад, второй, густо окрашенный, напитался рыжевато-коричневой болотной водой, упал в торфяниках на Ломинке.

Отец загорелся: “Теперь уж устоится. Долгожданный нынче сенокос. Завтра с утречка и начнѣм. Не сгниѣт сенцо, подсушим, подворошим”. И застучал, затюкал, отбивая под сараем косу. Вскорости и у Меркуловых послышалось: “Дон-дон-дон”, и у Стѣпных подхватили: “Дилинь-дон, дилинь-дон”.

Завидя, что мать готовится закатить постирушку, отец упредил: “Все дела в сторону, едем на сенокос, в Ярочкин. Делянку нынче там отвели”.

Раным-ранѣшенько, ещё и кочет не в полную силу голосил, а так, подкукарекивал только, отец запряг Буяна. Не заходя в дом, приоткрыл окно, окликнул Катьку. Мать заспешила с подойником из сарая. Плеснула через край в кошачью миску на крыльчке, направилась к телеге, накинув на плечи белокрайку и прихватив стоящую на лавке у крыльца корзинку.

Отец привязал вожжи к гороже, постучал кнутом в двери соседской хаты:

— Шур, пусти Лѣньку с нами, пусть пособит на косовице.

— Заглянь на сеновал, дрыхнет ещё без задних ног, — откликнулась, не отворяя, тётка Шура.

— Боец, подъём! — и отец забарабанил по перевернутому вверх дном корыту.

Катька сидела на телеге, свесив ноги меж лесинок. Рядом пристроилась мать с корзинкой. Из-под рушника торчали хвостики лука, пахло гусятиной. В узелке ещё теплились лепёшки со шкварками. Россыпью на дне плетушки белел недоспелый налив. Сбоку телеги болтался закопченный чайник — спутник всех сенокосов. Под траву уложили пару граблей, косы.

Заспанный Лёнька с сеной трухой в смоляных волосах уселся на задке. Длинные ноги почти коснулись земли. Он поёжился и стал натягивать впахнутый тёткой Шурой свитер. Отец прикрикнул на Буянку.

Дорога заметно подсохла. Лишь иногда в лощинах попадались лужи. Лёнька соскакивал, подталкивал телегу, упираясь жилистыми руками в лесенки, а потом на полном ходу ловко запрыгивал на своё место. Ехали молча, досыпали. Увязавшийся следом Дружок шпындрап по росе, стращивал мокрую пыльцу с кремовых свечей подорожника и залиристо лаял. На Глиняной дороге из овса прямо перед мордой Буянки выпорхнула какая-то птичка. Замельтешила, заменила маленькими ножками, не уступая дорогу и подсмеиваясь: “Не догонишь! Не догонишь!”

Тонкий утренний холодок бодрил и мешал Катьке дремать. Лёнька пристроился к ней калачиком, прикрылся охашкой травы и тут же затих.

На верхушки Плоцкого березняка опустилось, задрожало на утреннем ветерке розовое пёрышко. Присмотревшись, Катька увидела чуть поодаль ещё одно, а потом ещё, и ещё. Казалось, какая-то розовокрылая птица, пролетая, обронила в перелесок, в курящийся Ближний лог подёрнутые перламутром перья. А через мгновенье явилась и сама. Распластала чудесные крылья, закрыла собою восток и полетела навстречу Буянке, навстречу улыбающемуся во сне Лёньке, навстречу замороженной рассветной красой Катьке.

Вот высветился Филькин овраг, очнулся Жёлтый, засверкал, зажурчал, убегая за Савин лог. Отступила в чащу Закамей ночная мгла, и ясное августовское утро засияло алмазами-изумрудами в зонтиках придорожной сныти, вспыхнуло рубинами в иван-чае, янтарём да редкими аметистами заиграло в иван-да-марье. Брызнули и потекли вдоль откосов кукушкины слёзки.

И вот уже слышно: вжикнула первая пчела, возвращаясь из разведки, а чуть позже замелькали, понеслись с хутора на гречишное поле, что пенится на Мершине, её товарки.

Косить по росе — самое время. Потому заторопился отец, встал во весь рост, закрутил над головой вожжами, засвистел. Буянка заметно прибавил, и косари въехали в Ярочкин лог.

...В стародавние времена, когда предки ещё не обустроили на Жёлтом хутор (а может, когда их и самих-то ещё не было), столкнулись два богатыря, упёрлись лбами, не уступая друг другу ни пяди земли. Заупрямились, замерли, да так и остались стоять в противоборстве на столетия. Лбы их — крутые горки — состарились, поросли мхом, травною-муравною, засеялись перелесками. А теперь шумит лес — стволы не обхватишь. Раскатился на километры, упираясь на юго-западе в Кромю-реку. Разросся дальше по горкам, развеивая осенью крупную манной семена на прилесные поля.

Буянка подустал... Долго колесить по лесу не прищлось: отец хорошо знал наделы. Выбрали местечко посветлее, поскидали грабли, косы, конька распрягли, стреножили.

Травица! Потеряться можно. Заколосилась, поспела, — самое сенокосное времечко. Дух в лесу крепкий, хмельной, на клеверах-донниках настоящий.

Присмотришься: и не видать ни колокольчиков, ни мятлика... одно лёгкое кисейное облако парит над поляной. И не различаешь уже: туман ли последний тает, дымка ли над чебрецом-душицей кружит. Елеем проливается аромат трав лесных на душу хуторянина.

Парят неожиданными снежинками зонтики сныти. Пробираешься в их расслях осторожно, словно боишься: оборвутся, спутаются тончайшие кружева.

Потянешь за паутинку-ниточку — распустишь невзначай, нарушится извечный порядок, не переснимется уже никогда старинный узор, утерается на века вечные.

За густыми зарослями орешника, где-то на дальних пригорках послышалось ржание. Чуткие уши Буянки тут же уловили радость в голосе отпущенной на волю кобылицы. Конь откликнулся, и разнеслось над лесом счастливое приветствие, его подхватили, затрещали сороки и растрезвонили на весь Ярочкин лог. Вот, мол, какое утро чудесное, празднуйте с нами пору сенокосную.

Жикнул брусочек. Отец налаживал литовку. Со всех концов леса послышалось: “Вжик! Вжик!” Это хutorяне подоспели, тоже к косьбе готовятся.

Лёшка между делом нарубил лапника, соорудил шалашик. В тень задвинули корзинку со снедью, жбан с квасом. Мать расстелила лоскутное одеяло.

Закатав повыше рукава клетчатой рубахи, отец пошёл первую ручку, за ним пристроился Лёнька. Ещё не так умело, но ладил, старался не отставать. Вжик-пережик — падает стена разнотравья, вжик-пережик — поют, переключаются литовки.

Всю свою недолгую восемнадцатилетнюю жизнь старался походить Лёнька на Василь Петровича, своего крёстного. За отца родного почитал.

Завербовалась Шурка, Лёнькина мать, когда-то, уехала на заработки. Всё, что привезла из краёв чужих, — черноглазого смуглого пацана. Сокрушался отец её, дед Зуб, мол, приبلудила мальчонку, позор на всю округу. Да и поднимать как? Нищета нищетой.

Всю жизнь мечтал Катькин отец о сыне, но Господь дал ему трёх девчонок. Привязался он к соседскому пацану: жалко, безотцовщина. Да и Лёнька потянулся к Василь Петровичу. Спозаранку пролазил через дырку в гараже на его двор и щенком бежал за соседом. То строгают-пилят вместе, то плетушки плетут, а то отправятся за гусьми на пруд. Заплывут вредины к неподступным болотистым берегам — и попробуй вымани на ночь. Выручал Лёнька. Плавал, будто рыба, с тех пор, как ходить начал. Да и вообще, на зависть деревенским бабам, Шурка не пичкала Лёньку микстурами. Ни соплей тебе, ни корей, ни кашлей-простуд. Раз только прихватило Лёньку крепко, лет в пять — и то по дури, от жадности. Забрался к Макеевым в сад — у бабки крыжовник крупнощипый — Лёнька и обтрескался, неделю штанов не носил, за двором сидел. Шурка сходила к Колдучихе, та без всяких наговоров посоветовала перво-наперво Лёньку выпороть, чтоб неповадно было, и корешков каких-то дала, велела с дубовой корой смешать и Лёньке отвар вскипятить. А так, ничего особенно болезного Лёнька за собой не припоминает.

Привязался он к соседскому семейству так, что тётка Шура даже ревновала.

— Мёдом тебе на ихнем дворе намазано, что ли? Прижился совсем.

Лёнька молчал, а после школы опять бежал к соседям и пропадал у них дотемна.

А тут ещё Катька: то задачку подскажи, то стенгазету нарисуй. Разница в возрасте небольшая, но он — старший, вот и присматривал повсюду за соседской малявкой.

Однажды собрались Катькины родители в клуб и тётка Шура с ними, фильм индийский смотреть, девчонке тогда года четыре было. Лёньку за няньку оставили. Рассказывал он ей сказки, смотрит: вроде спит, а глаз один всё равно приоткрыт, за ним наблюдает, не сбежал бы мальчишка...

Сейчас уж Катьке пятнадцать, а Лёньке осенью служить.

...Подвязав косынку, Катька шла следом за косцами, разбивала густые валки. Не первый год берёт отец её на сенокос. Уж и руки окрепли, не зажимают грабли, не напрягаются, не срывает она кровяные мозоли, как поначалу. Играют грабельки в девичьих руках. Посмотришь издали: не девчонка-малолетка, а девушка ладная.

Сняла по весне пальтецо, а и не Катька уж — Катерина. Расцвела, повзрослела за зиму. Хотел было Лёнька вечером на лавочке, как раньше, жука майского ей за шиворот кинуть, уж и руку занёс, да, взглянув на завитушки на шее, остановился и неожиданно для себя самого спросил:

— Катя! Не замёрзла? Холодает.

— Ты, что, Лёнь, духота какая! — рассмеялась Катька.

С той поры, куда бы она ни пошла, рядом возникал Лёнька, долговязый, чёрный, как смоль, глаза — вишни карие. И с кем его только Шурка приспала?

Слышно: где-то впереди отец подбадривал Лёньку:

— Не спи, боец, догоняй!

Парень приостановился, скинул рубашку, отшвырнул подальше. Поплевал на ладони, как заправский мужик, азартно рванул вперёд.

— Запалит Лёньку, — подумала Катька об отце.

К запаху свежескошенной травы примешивался аромат луговой клубники. Собрав насех пучок переспелых ягод, девчонка перевязала его стебельком овсяницы, кинула на приметное местечко и заторопилась вдогонку косарям.

— Обед! — послышался голос отца с конца делянки.

Она и сама порядком устала.

Мать возилась у шалаша, раскинув скатерть-самобранку. Первые малосольные огурчики, десятка два яиц, хлеб, нарезанный крупными ломтями, куски пахучей гусятины, домашний сыр.

— А что ж ты, забыла, что ли? — подсаживаясь к “столу”, покачал головой отец.

— Да прихватила, прихватила, — отвечала мать, вынимая завёрнутую в газетку пол-литру.

Готовил её хозяин сам, никому не доверяя, на не распущенных почках чёрной смородины. И рецепт свой держал в тайне. Считал каждую почку, и потому называл этот продукт “штучным товаром”. Употреблял только по праздникам, а сенокос в деревне истари самый весёлый, самый чистый, самый цветастый праздник.

Пообедав, отец забрался в шалаш вздремнуть.

— Лёнь, и ты отдохни, вон какой гай смахнуть до вечера придётся, — посоветовал он, и уже через минуту из шалаша донёсся мерный посвист.

Мать, пользуясь минуткой, поспешила в лес. В эту пору она всегда собирала ежевику, непременно с листьями. И сушила их потом в чулане. Рядом висели мешочки с липовым цветом, заготовленные в конце мая. За лето по пути с обеденной дойки набирала она пуки зверобоя, развешивала в том же чулане для просушки. Когда зацветала мята-мелисса, заполонившая задворки, мать обрывала самые цветочки, и опять — в чулан.

Зимой соседи ходили к ней на чай. Она брала по горсточке всех трав, заваривала в чайнике, добавляла топленое молоко, и долгими зимними вечерами соседки засиживались у неё на кухне.

...Солнце цеплялось за деревья. Над поляной змеилось марево. Неразбитые валки, как гребни волн, накатывали с пригорка. Море травы, непочатый край работы: и разбить, и поворошить.

Припекало. Лёнька подсел к Катьке, пристроившейся на поваленной берёзке. Набрав охапку пропахшего мёдом сергибуса, она очищала стебли от кожурки. Прозрачно-зеленоватые стружки падали к ногам.

— Может, искупнёмся?

По Лёнькиному смуглому телу стекали ручейки пота, а волосы ещё больше кучерявились. На прожженном солнцем лице сияла белозубая улыбка. Катька вспомнила, какая тёплая, парная бывает в эту пору вода, и ей захотелось окунуться, смыть жар с опалённых плеч. Нос облупился, лицо полыхало переспелым помидором.

...Они шли по заросшей дроком тропинке.

— Хочешь, во-он на той осинке имя твоё вырежу? — спросил вдруг Лёнька, показывая на высоченный остроконечный обрыв, прозванный хуторянами Иван-царевичем. На самом краю росло одно-единственное дерево.

— Хвастаешь, туда и взобраться-то никто не сможет.

Лёнька молча снял сандалеты, подкатал до колен штаны и, цепляясь за свисающие корни, полез по отвесному склону. Глина крошилась, осыпалась под ногами, но упрямец карабкался вверх. Большущий ком отвалился и по-

летел в ложбину, поросшую крушинником. Ленька сорвался, но успел схватиться за оголившийся корень.

— Лён, не надо, Лёничка, я пощупала. Я верю, ты долезешь, возвращайся!

Но его уже ничто не могло остановить.

Вот ухватился за ствол осинки, вот медленно пополз вверх. Остановившись на середине, вынул из кармана рубашки перочинный ножик. Крупными буквами вертикально по стволу вырезал: “Катя”. Потом сполз чуть ниже и добавил: “Я тебя люблю”. Убрал нож, схватил самый длинный корень, оттолкнулся от Иван-царевича и приземлился чуть поодаль девчонки.

— Дурак! — крикнула та, и не оглядываясь, побежала вниз, к озеру.

Только бы не взглядел счастья в девичьих глазах, только бы не услышал радостного стука сердца!

Ленька догнал её у воды.

Потянуло свежестью. Озеро напоминало блюдце из буфета в Катькиной горнице: края густо расписаны изумрудной ряской, купавы крупными куртинами желтели у берегов, болотник разбрызгал алые звёздочки среди острых листьев аира, рогоз многочисленными свечами украшал левый край озера. А в центре — водяные лилии, или, как их в народе называют, одолень-трава. Бело-розовыми чашечками стояли цветы на круглых буро-зелёных блюдцах.

Лён, не снимая штанов, нырнул с поросшей водорослями коряги и выплыл только на середине. Он что-то прокричал, но Катя не разобрала. Она вошла в воду, подоткнув сарафан, смочила косынку и покрыла голову. Умылась, сполоснула грудь и плечи; купаться не стала, заметив в камышах змейку-ужовку.

Стояла на песчаной отмели у берега. Вода была настолько прозрачна, что Катя до каждой песчинки-камушка видела дно. Меж ног стайками шныряли беззаботные мальки, щекотали икры. Пару раз объявлялись рыбы покрупнее, но, заподозрив чужака, отплывали и, сбившись в небольшие косяки, фланировали на глубине. Иногда рыбка всплёркивала, взлетала над водой, и Катя успевала разглядеть серебристую спинку. Рыбка исчезала, и по воде разбегались круги.

Водомерки, как залётные марсиане, расхаживали по недвижимой глади на своих длинных тончайших лапках.

Стрекозы носились парами над заводью. Они тарасили глазища и шуршали: “А ты зачем здесь?” Голубые мотыльки беззаботно роились у берега.

— Ка-тя! Катя! — донеслось с озера.

Лён плыл, держа в зубах водяные лилии. За ним тащились длинные стебли. Катя расхохоталась. Он был похож на щенка. Чёрный, лохматый Тяпка так же плавал за палочкой и приносил её в зубах.

Лён вышел, протянул кувшинки.

— Ты что смеёшься?

— А ты на Тяпку похож.

— И преданный такой же, — вспыхнул парень.

Одним движением подсек, подхватил её на руки и понёс в озеро.

— С ума сошёл, я же не плаваю.

— А ты держись за меня крепко-крепко, — шептал Лён, — не отпускаяй никогда рук.

И целовал.

Катя не услышала, как закуковала кукушка, не увидела, как мать, вышедшая с охоткой можжевельника к озеру, вдруг повернула и заспешила на покос.

Она смотрела в горящие глаза, чувствовала надёжные Лёнкины руки и понимала, что даже если расцепит свои, он никогда её не уронит.

ТРИШКА

РАССКАЗ

Давненько не виделись мы с тёткой Натальей. Под зимнего Николу дай, думаю, проведу старушку, с праздником поздравлю.

Погода, как назло, взбесилась. Снег в этом году выпал всего как с неделю. До середины декабря морозов не чуяли. А тут как засвирепело! Замело, закрутило! Но вчера с обеда поотпустило. Минус пятнадцать для русской души — самое то! Подделась поплотнее — и в дорогу.

Тётка моя который год живёт в опустевшей деревне. К дочери в город не съезжает. Не к чему, мол, теперь. Восемьдесят шесть прожила туточки и остальные, сколь Бог отпишет, доколтыхаю.

Вышла я, на остановке — ни души. До тётки пешком минут сорок. Только шаг наладила, слышу: лошадёнка в спину дышит. Сжалился, видать, Господь, подмогу послал. Зарылась поглубже в сено, и коняга потрусилась в сторону Кривой балки, на краю которой под кряжистым ясенем притулилась тёткина хатёнка.

Мужичок оказался болтливым. За двадцать минут успел обстоятельно прояснить обстановку в Больших Хомутах: света нет (линию в последнюю метель оборвало), и воды тоже нет (то ли башню разморозило, то ли мотор сгорел).

“Бедная моя, несчастная! — забеспокоилась я о тёткиной участи, — ключ под горой за версту”. Но, видать, человек наш настолько живучий и бывалый, что тётку Наталью не смогли подкосить такие мелкие неурядицы.

Распрощавшись с возницей, торопившимся за дровишками в Куманёв лесок, я постучалась в заиндевелое окошко знакомой кухоньки. Тётка будто поджидала гостей. Выскочила в сенцы, загремела щекоткой. Двери отворились, и она, всплеснув руками и заохав, кинулась ко мне. Время за пять лет ничуть её не изменило. На моё: “Теть Наташ! Да ты молодцом!” — старушка хихикнула, а что, мол, с сухофруктом подеется?

Не успела я осмотреться, за окошком начало смеркаться. От жарких ли всполохов печки, от лампадки ли, закоптившей угол горницы, а может, от лампы-керосинки по хате расточались уют и тепло. Вспомнилось детство на хуторе, бабушкина низенькая хатёнка, допотопная липовая прялка и сушилка с мотками крашеной овечьей шерсти.

Радостная тётка хлопотала у стола, собирала вечерить. Откуда-то взялась бутылочка кагора. “Для сугреву. От Пасхи берегла, свяченная”. Старушка шмыгнула в кладовку, вернулась со шматком морозового сала. Вынула из печи горшок с томлёными щами.

Я спохватилась, принялась выкладывать подарки. Довольная тётка с удовольствием их рассматривала и нахваливала. Очень ей по душе пришёлся шерстяной подшолок в мелкий розанчик. “Знатный платок-то!” — не удержалась она. Что означало её наивысшую благодарность.

Чай пили с какими-то раздушистыми травами, с козым молоком и гордскими бубликами. Я помнила, что нет для тётки лучше лакомства, чем баранки или бублики с кунжутом, и прихватила целую связку. “Мои любимые, с вениками!” — заметила старушка. Зёрна кунжута она принимала за семена веников и обожала ими баловаться.

— Ну, всего нынчи не перетрёшь. Умаялась, небось, с дороги. Ложись-ка, вздремни. Завтри повспоминаем. Постелю я тебе разобрала, а сама — на печку. Куды мне от ей!

Не успела улечься, слышу: “Треш-треш, скхрррн-скхрррн!” Живя в городе, совсем позабыла, что в деревенских деревянных домах любят селиться сверчки.

— Поздоровкайся, это — Тришка. У меня всего-то и осталось в хозяйстве: на дворе — коза Милка да в дому — сверчок Тришка. Только я на печь — он за песни. Убаюкивает, балакает со мной, чтоб теmeni да выюги

не пужалась... Летом-то он на улицу сбегает, а к холодам — опять в тепло норовит. Делит со мной печку.

Я вспомнила старую песенку о том, как у бабушки за печкою жила-была компания, и улыбнулась.

— Мне, милая, от его теперя никуда. Голос Тришин из сотни других распознаю, — продолжала бабушка.

— А самого-то видала?

— Как же! Объявлялся! Ма-а-хонький такой, кузнечик кузнечиком, — тётка завозилась на печи, видать, раздумала спать, поскольку речь зашла о её любимой животинке. — Сверчок — он ведь всегда у нас в деревне в почёте был. Что за хата без его? Помочник, подсказчик семейной. Ишо бабка моя говаривала: “Коли сверчок хату покинет или из-под печи на серёдку высигнет, быть худу вскорости”.

— Тётъ Наташ! В приметы, что ль, веришь?

— Как же, милая, не верить? Поверишь, коли петух жареный клонет... Вот ведь в том годе, как пожару случись, сижу я, картохи чищу. В хате тишина. А он — прыг-скок из печурки и прямо передо мной замельтешил. А в ночь амбар занялся. Полыма на хату перекинулось. Как отстояли (ветер был жуткий), ума не приложу... Как не поверить?..

— Простое совпадение, — ввожу в сомнение бабушку.

Но её голыми руками не возьмёшь. Ни за что не позволит в сверчке своём разувериться.

— Какое там совпадение! — доносится с печи. — А как такое дело понимать, растолкуй ты мне, будь добра. Пишет мой Миколай с фронту, скачаю, мол, шибко... хата всё снится... сверчок свиристит... А через неделю, следом за его письмом, похоронку получила. Не веришь — заглянь на Божничку... Там они... треугольнички-то... Только главного я тебе покамест не сказала. Как получить то письмо злосчастное, лежу я на печи, согреться не могу, пришла с окопов (фронт подкатился по той поре аккурат под нас), лежу, значит... руки поверх одеяла... Ещё и не спала вовсе, чую: прыг сверчок прямо на ладонь... и криком кричит. Сердце оборвалось. Смякнула сразу: дети при мне, посапывают, значить, с Миколой беда. Так и случилось. Под Сталинградом могилка-то его, ты же знаешь, — тётка вздохнула и при молкла.

А сверчок трещал и трещал. Монотонно, словно кукушка в лесу. Передохнул секундочку и опять за своё.

Показалось, что бабушка уснула. Но, видать, разбередила я её своим приездом.

— Вот... ты как полагаешь, чем он, шельмец, поёт? — послышалось вдруг с печи, — не догадаешься ни за что! — и сама тут же ответила: — Потирает проказник подкрылками по задним лапкам. А они у него в рубчик. Так и трывает Триша мой об них ночь напролёт. Я за ним, как за каменной стеной... Коли усну — он начеку... Ничего со мной до срока не поделется!

— Любишь ты, тётушка, своего постояльца!

— Люблю, как не любить. Только какой же он постоялец? Он — самый что ни на есть хозяин, домовик!.. Лексевна, соседка моя бывшая, отродясь скрыпу ихнего не переносила. Словила-умудрилась одного да прихлопнула. А на другой день — из самой дух вон.

— Сомневаюсь я. Сказки всё это.

— Какие тебе сказки-байки, коли душечка наша, как заснёшь, принимает его обличие... Как же изничтожить?.. Все у нас на хуторе знают, акромя тебя... А потом... знаешь, от чего у Шульженки голос такой? С утраца натошак настой из сверчков принимала. По две капли на ложку козьего молока. Только непременно от рябой однорогой козы.

— Ну! Это уж точно басни! Чепуха какая-то! — возмутилась я

— Ничуть не чепуха! — обиделась тётка Наталья. — Ты послушай-ка завтра пластинку: поскрыпывает голосок-то у певуны.

— А чем же ты своего артиста кормишь, не яйцами ли всмятку?

— Дык чем, чем, — ласково заворчала бабушка, — знамо чем — отрубями. Их за печуркой цельный мешок. От пашала прожариваются. Домо-

вик там и столуется-подъедается сколь надо. А летом — на вольные хлеба уходит, на зелень.

Наконец, неумолчный сверчок убаюкал тётушку, а я всё ещё бормотала пришедшие из далёкого детства стихи Барто:

*То близко сверчок,
То далёко сверчок,
То вдруг застрекочет,
То снова молчок.*

Тришка солировал до рассвета. И всё одним-единственным номером. Постепенно я привыкла к его стрекоту. Это однообразие не раздражало, не надоедало и не утомляло.

Вспомнилось: когда-то и в нашей хате жил свой хранитель домашнего уюта. Да и у соседей по вечерам тоже пиликали сверчки. Ночи напролёт устраивали они сольные концерты, а к утру хаты выстывали, и они смолкали, напоминая хозяйкам, что пора топить печи. А ещё жил сверчок под полком нашей бани. Похлёстываешь, бывало, веничком берёзовым в лад сверчковой песенке “рразз-рразз”. Жил-поживал сверчок в тёплой баньке и в усы свои длиннющие не дул. Холод не докучает, еды хоть отбавляй — веников в предбаннике тьма. А что ещё для счастья сверчиного нужно?

Размеренное “ккри-ккри” так меня убаюкало, что очнулась я, когда утро уже гляделось ясным морозным солнышком сквозь расшитые цыплятами занавески. Тётка Наталья потопала в сенцах валенками и вошла в горницу. Следом в промёрзлую дверь вкатились клубы молочного пара.

— Проснулась, голубка моя, ну, поднимайси. Милку подоила, утречать станем. Драников настряпала. Стынут.

За завтраком опять затолковали о ночном музыканте.

— Да я, поди, уж и всё про него выложила. Заинтересовалась? Ну, коли ещё чего прознать желаешь, дак поди к Лукьяну на хутор Степной. Деда этого по имени не кличут, всё Сверчок да Сверчок. Сказывают, помешался он на этих букашках.

Интересно, как может деревенский дед на сверчках тронуться? Не откладывая в долгий ящик, чтобы оборотиться дотемна, откопала в чулане старые лыжи, выдернула из горожи пару орешин и покатила на Степь.

Сколько лет минуло с тех пор, как в детстве ползала по этим пригоркам на салазках и лыжах с деревенской ребятнёй!

Местность наша холмистая. С горочки — на бугорок, то стрелой вниз, то ёлочкой вверх. Мороза не чуяла, даже в жар кинуло. Взятые напрокат тёткины валенки посеребрились, воротник шубника от морозного дыхания заиндевел. Декабрьский полдень играл на снегу дробными алмазами. Встречавшиеся на пути ракитки разукрасились игольчатым инеем.

Не успела притомиться, уж дымком потянуло, а там — и хутор на ладони.

Тётка Наталья в точности описала Лукьянову хату, и я, скатившись в низинку, притормозила у распахнутой калитки.

Залаял кудлатый пёс, и навстречу в телогрейке, ватных штанах и в валенках с подвёрнутым верхом и подшитыми задниками вышел сам Сверчок.

Дед этот иначе никак не мог называться. Кличка здорово ему подходила. Росточком низенький, гномистый, глазки маленькие, шныркие. Походка прискакивающая. А самое главное: длинные тонкие усики. Ну сверчок да и только.

Дед потёр руками, словно лапками, и засвиристел сквозь пару оставшихся зубьев:

— Кого это к нам принесло? Не прозябла ли с дороги? Не останешься ли переночевать? Не растопить ли пожарче печку?

Дед трещал, а я не успевала отвечать. Да ему, как видно, это было и не нужно.

Обив корявым берёзовым веником льдинки с тёткиных катанок, прошмыгнула в тепло.

Скромное убранство хаты подсказывало, что Сверчок или век прожил бобылём, или давным-давно овдовел. На длинном несобленном столе громоздился самовар. Дед чаёвничал в одиночку и очень обрадовался неожиданной госте. Снова раздул угольный самовар, доложил в него сухих вишнёвых веточек. Налил мне в чашку, а себе в блюдце и, указав на место поближе к печке, приготовился слушать. Сразу было видно, что это его любимое занятие.

— Говорят, дедунь, ты со сверчком дружен? — не стала ходить вокруг да около.

— Это ктой-то говорит? — насторожился дед.

Смекнула: надо поменять тактику. И, будто не слышала вопрос, решила польстить старику.

— Знаток, говорят, Лукьяныч большой и ценитель их пения.

Дед одобрительно крякнул и сверкнул хитренькими глазками.

— А пошто они тебе сдались, сверчки-то?

— Я, дедунь, о всяких увлечениях пишу. “Хобби” называются они по-научному. А у тебя очень уж необычное.

— Ну... коли так, расскажу, что знаю, и ребяток моих покажу... Чего ж не показать-то?.. А ты пропиши об них. Пушай... может, кто ишо заинтересуется.

Я достала блокнот, дед степенно допил чай, утёр усы, расправил их, как подобает Сверчку, полез в печурку. Достал и бережно поставил на стол собранный из спичек многоэтажный дворец, состоящий из комнаток-коробочек. Выдвинул одну из них. Смотрю: в уголке бурый, миллиметров двадцати сверчок. Дед полюбовался и задвинул комнатку на место.

— Ну, взглянула? Их у меня двадцать пять головок. Об чём разговор будем вести?

— А что же, бабушка, жильцы этого чудо-домика молчат?

— Дак день же. Спят мои родные.

— Как же так случилось, что ты не охотой занялся, не рыбалкой, а сверчками?

— А куды деваться-то? Этим делом, милая, весь род наш увлекался... С деда мово пошло. Как ушёл он на японскую, так и заболел сверчками. В плену два года провёл, выучился с ими обходиться.

— А что же, сверчкам какой-то особый уход требуется?

— Ды какой там уход! Едят всё, что мы любим. Главное для сверчка — тепло. Чуть ниже + 25, а ему уж не по себе. И петь перестает. А песня — главная его заслуга, дело жизни, прямо скажу. Ить его можно вовсе никогда не видеть, но не знать о его присутствии невозможно. Кажный вечер трели выдаёт. И не смолкает до утра.

— И чего им в тышине за печкой не сидится? С чего петь-то?

— А пошто квачут лягушки? Пошто соловей запузывает?.. Вот... то-то и оно... И сверчки за тем же поют: самок подманивают, а самцов гонят прочь.

— Не каждый выдержит его сверчение, ведь если он заведётся, то слышен в самых потаённых уголках дома.

— Поначалу, может, и необычно, но попривыкнешь, и не станет для тебя нежней и приятней песни, чем сверчинная.

— Со вчерашней ночи стоит в ушах его стрекот.

— Не стрекот, а музыка, — поправил старик, — бывало, посадит дед на колени и растолковывает мне, несмышлёному, про сверчинные напевы. Дед мой много чего про них у японцев прознал. В Японии энтой трели ихние ох как ценятся! Соревнования меж ими устраивают. Кто, мол, складнее выдаст. Это у нас сверчок копейки не стоит, а там животинка эта важная. Большие деньги на них делают... Мы всё щеглов да канареек в домах содержим, а японцы — сверчков.

— Да... точно! Кажется, где-то читала, и в Китае их тоже почитают. Да же на Новый год дарят, мол, счастье в дом стрекотаньем зазывают.

— Старики в Японии считают, что пение этих насекомых дарит им дол-

голетие и покой. И поэты, и музыканты, и художники, даже тибетские ламы занимаются разведением и воспитанием сверчков. Нет на Земле места, где бы не уважали сверчков. Дед говаривал, императоры японские заказывали для своих любимцев золотые клеточки. И во дворцах, и в хижинах слушают японцы ихние трели... Сверчок — вещь полезная. У нас привыкли — мамки, няньки, а япошки поставят рядом с младенцем коробочку со сверчком, и тот без умолку колыбельные распевает.

— Жаль, не знала раньше. Дети выросли. Внуки появятся — обязательно попробую так убаюкивать.

— В старину сверчка-то на Руси циркуном кликали. И говаривали о нём с уважением. Считалось: сверчок поёт — Бога хвалит... А что же это мы про чай забыли? Совсем простыл, — дед хрустнул кусочком сахара, прихлебнул с тарелочки и, показалось, на минутку задумался, о чём бы ещё рассказать. Но тут же встрепенулся и продолжил:

— Не поверишь, но для сверчков есть особые базары.

— Представляю, какой там стрекот стоит, — улыбнулась я.

— Чёрный сверчок стоит намного дороже, чем бледный, серенький, — пояснил дед Лукьян и подлил чайку, — ну, это всё в Японии, а мы сверчка привыкли слушать зимой — за печкой, летом — в лугах. Хоть и поют они летом слаженным хором, но любят одиночество, потому и драчуны-забияки отменные. Мы с Петром, братом моим, цельные бои устраиваем.

— Надо же, сверчковые бои! — так и ахнула я.

— Что, любопытно? Ну, коли заночуешь, может, и удастся увидеть оказно, — пообещал Сверчок, — только за Петром добегу.

Уехать и не посмотреть на такую диковинку я, конечно, не смогла. Захлопотала с ужином, а Сверчок отправился на другой конец хутора за младшим братом.

Оказывается, в детстве играли они в сверчиные бои, как мальчишки в футбол. Так и не смогли остановиться, увлеклись на всю жизнь. Полхутора собирается порой взглянуть на необычное зрелище.

Пётр, конечно, не отказался похвастаться своим воспитанником, и через двадцать минут деды затопали у порога. Брат Лукьяна как две капли воды на него похож: те же шустрые бусинки-глазёнки, те же потирающие друг друга ручки-лапки, и только усы отличались от Лукьяновых — куда длиннее. “Ещё один Сверчок!” — невольно подумала я.

Наскоро поужинав, освободили стол от посуды, и дед Лукьян принёс слаженный для таких случаев крошечный ринг. Посередине — сетка, чтобы бойцы до поры не набросились друг на друга.

Деды высадили из коробочек сверчков и дали им освоиться. Заприметив друг друга, соперники принялись готовиться к бою: передними лапками растёрли щеки и глаза (так же, как умывается кошка — склоняя головку то на один бок, то на другой), челюстями помассажировали лапки-ножки, ртом начистили до блеска шпаги-усики. Братья раззадоривали своих питомцев — шевелили соломинками усики и почёсывали брюшка.

— Пора! — старший Сверчок кивнул младшему, и тот убрал разделительную сетку.

Сверчки тут же бросились в атаку. Таким бойцовским качествам позавидовал бы любой боксёр. В ход шли и лапки, и крылья, и челюсти. Всеми силами драчуны старались опрокинуть соперника на спину или вообще вытурить подальше с поля боя.

Глаза у дедов горели, они кружили вокруг стола и внимательно следили за исходом боя. Но помалкивали, лишь изредка вскрикивали или громко вздыхали. Видно, уговор у них такой — не вмешиваться.

Наконец, Лукьянов ученик ухищрился завалить Петрова подопечного на бок и лапками, словно какой валик, перекатил на спину. Победитель оглушительно просверчел и отскочил в сторону.

— Надо же! Какое благородство! — подивилась я.

— Закон природы — лежачего не бьют, — пояснил Лукьян.

Деды только в азарт вошли, а бой уж закончился.

— Надо бы отыграться, — предложил Пётр.

— Ну что же, можно и ишо разок.

Пётр подкинул сверчка, тот взмахнул крыльшками и приземлился на табуретку. Тогда младший Сверчок подсутился ещё раз и, ловко изловив своего бойца, подкинул его снова.

— Чтoб злости поднакопил, — растолковал Лукьян.

И вновь соперники сошлись в поединке. Чувствовалось, что сверчок деда Петра уже подустал, а может, и впрямь был слабее. Взяв верх в прошлой схватке, Лукьянов самец ощутил вкус победы и, расхрабрившись, так больно укусил противника, что тот упал на спину и отчаянно заперебирал лапками, дав понять, что сдаётся окончательно.

— Перекормил ты его, братец. Увалень, а не боец, — поддел Петра Лукьян, — говорил же тебе: отруби отрубями, но и яблочка подкинуть не забывай. Для разгрузки.

Я удивилась, заслышав разговор о рационе и питании. Словно передо мной не деды, а тренеры серьёзных спортсменов. Для братьев же разговор этот — обычное дело.

— Молодой он ишо, — сопротивлялся Пётр, — погоди, через месячишко войдёт в силу, задаст твоему бугаю трёпку!

Ночью победитель ликовал и выдавал такие трели, что к утру я стала находить в них сходство с соловьиными руладами.

По зорьке, распрощавшись со Сверчком, двинулась в обратный путь. Тётка Наталья теперь все глаза проглядела. Как пить, задаст за то, что осталась у Лукьяна на ночевку.

Выехала за бакшу, слышу: дед кричит мне что-то вослед. Возвращаюсь, смотрю: вынимает из овчинной рукавицы коробочку.

— Подарок от меня. Пусть у тебя дома поёт, о нас напоминает.

Поблагодарила я старика. Запахнула коробочек в варежку, а её — за пазуху, чтобы певец не застудился. И — скорее к тётке.

Выговорила она мне, конечно. Не без этого. Но, заглянув в коробочку, смягчилась, оттаяла. Сверчка я назвала, как и тёткиного, — Тришка. Очень уж понравилась кличка. Вот уже месяц, как он живёт в моём доме. Трещит-сверчит без умолку! Чтобы не замолчал, кормлю его, по совету Лукьяна, досьта. Говорят, голодные сверчки не поют. Слежу за рационом.

Пронырливый оказался Тришка. Как-то ночью включаю свет, смотрю: он у Барсиковой миски. С тех пор подкладываю ему под батарею (он её сразу облюбовал) “Вискас”, пусть лакомится. А уж он в благодарность сверчит-заливается!

ПОЭЗИЯ

С предательским развалом Советского Союза, случившимся 20 лет тому назад, административные деления между республиками превратились в государственные. На моей малой родине — на юге Тюменской земли — граница с Кайсакией (Казахстаном) проходит ныне вблизи нашего огорода. Все персонажи и события в поэме “Граница” — реальные и гиперболизированные автором — связаны с южно-сибирским степным пограничьем.

НИКОЛАЙ ДЕНИСОВ



ГРАНИЦА

ПОЭМА

1. УТРО

Над озерком касатых табунок,
Окрест приметы ветхие былого:
Шалаш рыбацкий, ржавый таганок,
Остывший круг кострища станового.
Но тот же коршун — клюв наперевес —
И ястребок — перо отлито медью.
И жаворонок — собственность небес! —
Свивает трель, как в прошлое столетье.
Еще вдали быть должен мерный гул
Совхозной дойки, топот иноходца,
Стожок початый, войлочный аул
С гуртом овец и воротом колодца.
Еще камня соли-лизунца
Должны быть. И загон коровий сытный,
И строки троп в низинах солонца
Закаменелой повести копытной.
Уместны и незлобная гроза,
Кайсак-дружка*, и в шаялях цвета мака

* Кайсаки — старое название казахов.

Кайсачки, их приветные глаза —
Над необъятным блюдом бешбармака.
Ну и покос у рощи на краю,
Наш пёс Тарзан, он в радости задорной,
И наша Зорька в утреннем раю
Неутомленной травки приозерной...
Но даль пуста!

Иным стал отчий край,
И невозможно в прошлом воцариться.
Былого нет! Зброшенный сарай —
Теперь рубеж, твердыня,
Госграница!
Будь начеку!
Задержат и — взашей.
И вот, считай, в пяти шагах от бани,
В родных березках пара “калашей”
Уперлась в грудь.
— Полегче, бусурмане!
Наркотик ищут...
Эвон — три версты! —
Машинный тракт: ищи, являй усилья!
Хотя я сам тут, вроде наркоты,
Бревно в глазу — у властной камарильи.
Не гадство ли — угроблен прежний лад!
Еще, как встарь, на кольях сохнут кринки,
Но огород наш — “заданный квадрат”,
Где между грядок — азимут тропинки.
Ступи куда — под Божьей синевою
Заслоны, шмоны, экстренные меры.
Ты лишний здесь!
Всё схвачено братвой,
Поделено на “хазы” и на “сферы”.
И за “бугром”, где мой кайсак-дружок,
Наслышан: тоже байские коварства.
Один лишь ранний Петя-петушок
Как прежде, будит оба государства!

2. НАД ИШИМ-РЕКОЙ

По соседству, в цветах горячих,
То кайсацкий, то наш, казачий,
Скромн именем небольшим,
Катит воды степной Ишим.
Неустанно несёт к закату
И к восходу юдоль свою,
На полуденных перекатах
Кружит солнечную струю.
Проблеснет вдруг
в лесной чащобе,
Как лазоревый солнца луч,
С серебром чебаков в утробе
Омутов — у бездонных круч.
Пацанам-рыболовам служит,
Мужикам, что вершат зарод.
Тихий в осени, кроткий в стужу,
В половодье постромки рвет.
На челе вековые думы,
И виденья — из далека:
Вот поит табуны Кучума,

Вот — дружинников Ермака.
Кто-то черпает воду шлемом,
Кто-то шапкой, и дальше в путь,
Из былого — ордынец конный,
А из нового — мост бетонный,
Пост таможенный, шулера.
И слагбаум с орлом двуглавым,
Вроде лезвия топора.

3. ЖАРА

В сухой степи жаровня ада.
В колодцах пусто. Грай людской.
Дождя! Дождя живого надо,
Поливки, влаги хоть какой.
Горит пырей лесных опушек,
Спеклось кукушечье “ку-ку”,
Разверсты клювы кур-несушек,
И нет работы пауку.
Карасья мель бензином пахнет,
Над камышами смог густой.
И взвод контрактный тупо чахнет
Над трупом рыбки золотой.
И я влачу юдоль и муку
На той же “почве”, на мели.
С утра опять попал под руку
Пограннаряду: замели.
Сiju — вчерашний склад бригадный, —
Задержан, вякнуть не моги!
Жара в Эрэфии. Наглядно
Текут и плавятся мозги.
Ракетный щит — в металлоломе.
Военный рейтинг — никакой.
Уныл Генштаб, Главкомы в коме,
Бен Ладен ходит за рекой.
И правит бал ворьё в законе;
Протесты хилы и пусты,
И нету дыхания от вони, —
От телевизиорной туфты.
За что нам рыночные муки?
За что — Гоморра и Содом?
И Человек вздымает руки:
Да где ж Спаситель? Ад кругом!
Кто изувечил строй природы?
Кто посягнул на Божий трон?
И дьявол — зав бюро погоды,
Кивнул на стрелочника: он!
Он с кистенем по свету рыщет,
На нём сошелся клином свет,
Он объявил “духовной пищей”
Не образ Бога, бред газет!
Еще не ягодки, цветочки,
Но гуще стронция в крови...
Жара и сушь. Ни капли в бочке
У громовержца, у Ильи.
Рассохлись обручи, затычки
Противоядерных структур.
А Марс готов уж чиркнуть спичкой
И запалить бикфордов шнур.

4. УЗИЛИЩЕ

В дощатом сарае сижу, как случилось в “ментовке”.
Крест-накрест решетка. И строгий узилищный мир.
Виденья свободы проносятся, словно в кошечке
Когда-то носился на красной заре бригадир.
На скошенных рёлках вздымалась зародов орава,
Коняга игреневиный чуял ноздрями овсы,
И мгла корневищ, будто вымя, полнела отавой,
Шелковые травы всходили под жало косы...
И вспомнилась Арктика: трюмов железные вздохи,
Теснины торосов... В плену их был наш сухогруз.
Так что мне узилище — сиречь примета эпохи! —
При нынешней бойне оно вроде дружеских уз.
Ах, шуточки шучу! В либеральную тему не влезу,
Скорей уж приму я “горячие граммы свинца”.
За стенкой кузнечик отладил пилу по железу,
Быть может, сгодится посильная помощь бойца!
Пока я там складывал сладкую сказку о доме
В раздумьях-мечтах на стремящемся вдаль корабле,
Посевы предательства зрели в свердловском обкоме,
Кровавую жатву вершили в московском Кремле.
Кавказ подожгли, обкорнали Россию, вандалы,
Пропили моря, налепили по пьянке грани.
В сибирском подбрюшьи —
чреваты похмельным скандалом! —
Торчат полумесяцы свежих ордынских столиц.
Попробуй обратно верни — хоть одну колокольню! —
Без стычки, без крови, без злобы в огне и дыму!
Не помню, не зрю, чтоб нам кто-то вернул добровольно:
Хоть ту же Аляску иль Графскую пристань в Крыму.
С войной уже свыклись... Душа от видений огрузла:
Сквозь щели сарая — подлодки уходят ко дну.
Контрактники пьют за какую-то “спорную Тузлу”,
Здоровья не жалко, бухают — аж по стакану!
Блефуют ребята. А мирному солнышку рады!
И я был служивым. “Держитесь!” — запомнил приказ.
Мы были сильны! И Отчизна держалась, как надо,
За всех заклеянных, куда не предали нас.

5. НОВОЕ ОРУЖИЕ

На севере Казахстана по соседству с Россией усиливается вахитская опасность.

Из интернета

И вот случилось: тайный Абель,
Торчавший пугалом во ржи,
Засёк орду в пять тысяч сабель —
Близ государственной межи:
“Пока не в седлах, на привале.
Пассионарии, не сброд!”
А космонавты передали:
“Возможно, беженцы... Исход!”
И в энный час к степной округе,
На всяких “джипах”, жар-горя,
Чинов наехало, обслуги,
На месте тактику творя.

Едва московский ум великий
Разбросил карты на сукне,
Пошли валеты — черви, пики...
Бубновый выпал: быть войне!
Спецназ подвальной обороны
Едва кондратий не хватил.
Министр сказал: “Оставим бредни!”
И, будто скатерть иль парик,
Со “штуки” — сделана намедни! —
Снял полог, ленточку расстриг.
Замечу: “штуку” в тайне строгой
От всех разведок, как могли,
В оглобли впрягшись, спецдорогой
Две “Беларуси” волокли!
Достойна!
С парными дверями,
С посеребренными краями,
Сиденье — злато напоказ! —
От думских купчиков — лоббистов,
Нутро — труды специалистов
Немецкой фирмы “Унитаз”.
— Наш “Унитаз” имеет сходство
С простым...
Но есть и превосходство:
Наш и могуч, и видит даль!
Почти что лазерный — в итоге!
Его германский канцлер строгий,
Благословлял, нажав педаль.
Для битвы пламенной годится,
Приспичит, можно облегчиться
И побазарить, как в кафе.
Убойным золотом сверкая,
Напомнить скопищам Китая
Про интеграцию в РФ...
Контрактный взвод запомнил фразу:
“Аллюр, ребята! Три креста!”
А ночью Штирлиц узкоглазый
Пометил узкие места.
И на заре, не зная страху,
В глуши сараев и плетней,
Шепча одно — “Акбар Аллаху!”,
Запряг он в “штуку” зверь-коней.
Охране — раз-другой по “фазе”.
Вожжа — к вожже. Родные, ну-у!
Еще никто на унитазе
Не ездил в город Астану!
Но при наезднике умелом! —
Сортирный дух разил с прицелом:
До Байконура — всё мертво!
То небеса в лепешку плюща,
Разя летящих и ползущих,
Подстать хохляцким ПВО.
Хлестал в напоре перспективном
По мелким пташечкам наивным,
Полегшим, собственно, зазря.
Лишь лайнер с Ближнего Востока
Тянул, петляя, как сорока,
В кайсацком небе фраеря.
И вот при Ф-1 (гранатах)
Встречают визири в халатах,

Охранный полк — в зубах ножи!
Встал “Унитаз” вблизи фонтана,
Затмив палаты Нурсултана
И — там, вдали — туркмен-баши.
По чайханам точились ляды.
Строчил Указы Госсовет.
И семь старух жевали мясо
На представительский банкет.
Три дня кумыс по юртам пили,
Крепили зрение и слух.
Потом трофей скребли и мыли,
Чтоб не витал неверных дух.
Перенацелили бесшумно
В секретной лесополосе,
Потом собрали самых умных,
Открыли курсы в медресе.
На зуб, на ощупь пробы брали
Из спецконторы сыскари.
Всю технологию слизали,
Всё содержимое внутри.

6. БОЕВЫЕ МОЩИ

Налицо еще момент
Крупного значенья:
Приграничный контингент
Двинул в ополченье!
Как, мол, так — кайсак-дружка
Спину гнет на бая?!
Русака ж за дурака
Держит власть кривая?!
Возмутился и — готов!
И — заправлен щами,
Контингент решил врагов
Сокрушить мощами.
Не до крови воевать,
Как воют бабы,
А святым — вражин пронять,
Внутренних — хотя бы!
Подсобрали всех, кто смел,
От морковных грядок.
Но в разгаре ратных дел
Выплыл непорядок:
“Где же мощи? —
Кто их “знат”? —
Хмурились славяне, —
Иль в Румынии лежат,
Иль в Ишимской бане?!”
По сусекам помели
У старух знакомых
И к полудню обрели
Две кости искомых.
Как всегда, нашелся “спец”,
Произнес тираду:
“Для мощей нужен ларец,
Как жерло снаряду!”
Обсудив вопрос с ларцом,
Уточнили ГОСТы,
Златошвею с кузнецом

Привели с погоста.
И кузнец легко сковал,
Закалил поковку,
Подсобрал утиль-металл,
И явил сноровку.
Златошвея, щуря глаз,
Сильно жмет на чувства:
“Жемчуг нужен и алмаз,
Чтоб достичь искусства!”
Обуял товарку “стих”,
Спасу нет, канючит.
А в резерве нет таких
Благородных штучек.
Ополченцы, видит Бог,
Потускнели разом.
И хваленый не помог
Коллективный разум.
Погодился депутат
Православной школы:
“Был сверкающий оклад
У Св. Николы!”
Побежали к попадье,
К ручке припадают,
Мол, порой и кое-где
Паствы голодают!
Поп стоит — в глазах нули,
Молвит: “Воля Божья!
По сусекам подмели,
Заскребем остожья”.
Протодьякон удручен,
Ангелы на взводе:
“Нас еще зачистил ЧОН
В двадцать первом годе!”
Пресеклась стальная рать
И — спиною к храму.
Обращаться надо, знать,
К олигарху — прямо.
Он, конечно, паразит,
Но не глуп, кто знает,
Сиднем в Лондоне сидит,
Баксов не считает.
Олигарх поклону внял,
Поиграл на флейте.
Из “лопатника” достал
Миллион: “Владейте!”
В общем, принял мужиков,
Сдвинули стаканы!
И в сенях им жемчугов
Насовал в карманы.
“Ну! — вздохнул народ-мудрец, —
Значит, будем живы!”
Тут вскричи стервец-малец:
“Жемчуг-то фальшивый!”
“Вот! — икнул контрактный взвод. —
Обманул, пархатый!..”
Повздыхав, побрел народ,
Будто в плен... по хатам.

Ну а взвод рубать компот
Не схотел. И сделал — ход!

Дали “сникерс” пацану
Ушлые стратеги.
И зондировать войну
Сели в тень телеги.
Страх объял Париж, Брюссель.
“Что, мусьё, боитесь?”
Тут же “телок” Куршавель
В дар прислал: любитесь!
А война? Ну что война? —
Никакого смысла!
Вклад внесла и Астана —
Флягою кумыса!
Разносолам — несть числа!
Пили, ели жарко.
Без проблем в расход пошла
Вся гуманитарка.
Для порядка свежий флаг
Развернув на фляге,
Повертели так и сяк
“Пташечку” на флаге.
“Нет, — сказали, —
хрен кладем
На войну с прибором!
Ни под красным не пойдём,
Ни под триколором!
И зачем? — смекнули все
Нанятые рожи, —
При таком-то кумысе
И жратве хорошей...”

7. ДЖАМАН*

И пока контрактники от войны “косили”,
И дрожали суслики у нейтральных нор,
Не сыскалось витязя во всяя России —
Защитить от вырубки приграничный бор.
Двинули ефрейтора с “калашом” впридачу,
Тот спознался с девками на горе Любви.
На горе любовный пыл, а в бору кайсачий.
Ой, джаман! Что деется?

Со-ло-вьи!

Прокуроры прибыли. Не оперативно!
Скрытое вредительство? Иль живой обман?
Тут бы танки Ельцина. И — кумулятивным!
Гексогеном путинским! Но опять — джаман.
Где ж Ермак — надёжа наш, атаман казачий?
Ваххабиты схапали? И — секир-башка?
Демократы в панике, патриоты в плаче:
Не нашли — на выручку! — Горбунка-конька.
Самого Иванушку в три воды кидали,
Совращали деньгами и металлом жгли.
Ни медаль “За мужество”, ни кафтан к медали
Боевого рвеня не произвели.
Той порой в Кайсакии нахлебались страху:
Не в ту степь нацеленный, лопнул “Унитаз”, —
То ль батыр-наводчики были под турахом,
То ль сержант штуковины — сильно узкоглаз?

* Джаман (казахск.) — плохо.

Понапрасну тужился малахай режима:
Все барашки скушаны, сношена парча.
Вот уж янки наглые на берегах Ишима
Тискают кайсацких жен, го-го-ча.
Тарбаганом мечется кипишь эсенговский:
От объятий-форумов — до резни в Чечне.
Ой, джаман, начальники! — шелестят березки
Во бору Синицынском — русской стороне.

8. ЧЕРНОВОЙ ПРОЕКТ

Погружаемся в хаос, безверие, мрак,
А за ними — пещера, дубина и шкура.
Нет, Земля не кругла, будто круглый дурак,
Не успела сподобиться — плоская дура!
Довертелась!

Спеша, возжигают запал:
Фарисейство и глупость, позор и измена.
Ваххабит-дальнобойщик Нью-Йорк оседлал,
А Москва уж давно под огнём гексогена.
Уготован Антихристу лакомый кус:
Всепланетное пламя и черная тризна.
А с небес еще смотрит на нас Иисус
И не ангельский голос звучит — укоризна:
“Недостойные! Божий забыли завет.
Снова склоки, разбой, а в судах зубоскалы.
Для того ль я хранил вас две тысячи лет,
Чтоб вернулись в Мой Храм торгаши и менялы?
Для того ль говорил о терпенье, любви,
Чтобы — стража везде и глумливые клерки,
Чтобы мытарь с царем распивали чай,
Услаждая ноздрю из одной табакерки?..”
И — примолк.
И молчали окрест соловьи!
В это время страдал Он — в решении грозном.
Не решился пока. В колеснице Ильи
Прогремел.
Долго слушал я грохот колесный.

Продолжение в Европе —
Потоп, недород.
Над Парижем премудрая каркнет ворона,
Лев британский услышит и в Темзу нырнет,
Разбегутся слоны и ослы Вашингтона.
А бежать бесполезно —
Всеобщий Содом!
И когда доскрипит бытия колымага,
Наш двуглавый орел с византийским пером
От куриного гриппа помрёт, бедолага.
Никому не поможет и древний Коран,
Под копытом простонут пески и барханы.
Из последних проскачет батыр Нурсултан —
Без знамен и охраны...

Свет — в окне:
НЛО иль Вселенский конвой?!
Сон иль явь?
Иль убойного действия начало?
Впрочем, это прикидка, проект черновой,

Перспектива.
И Небом озвучено мало.

9. АТАМАН

*Опять, как в стародревние времена,
русичи надеются на героев типа
Муромца, Добрыни, Ермака...*

— Уж пятый век — тоска глубин холодных,
К своим хочю — к дымкам

костров походных,

С налимами якшаться не могу.

Эй, жив ли кто на Русском берегу?!

(“Жи-и-в...” — донеслось.)

С чего ж душа тревожна?

Опять Кучум резню сулит?

Возможно!

И держит скрад во мраке камыша?

Но кровь — за кровь, ордынская душа!

Меч уцелел, кольчуга ...

Будем биться,

Рубить сплеча, как в прежние лета!

Но тишь какая...

Млечный путь искрится,

Иртыш к Обским объятиям стремится,

Ишим устало плещет.

Лепота!

Восток багрян, как пламень из пищали.

Мы ж этот край, сибирские места,

Под Русь Святую малой силой брали,

И замиряли — верю в Христа!

А мир людской по-прежнему кровавый!

Стрелу в полете не остановить.

Но после битв — встают не только травы,

И я восстал — за ради Русской славы,

В разгуле зла порушенной Державы, —

С соратниками слово говорить!

Средь новых гроз сплотим мы наши речи,

И пусть еще ковыль пошелестит,

Как бились мы, какие знали сечи,

Как из любви к деяньям человечьим

Прощал нас Бог.

А нынче — не простит!

Цвел сорняком непаханый увал,

Куда незнамо, двигались телеги.

И сонмы стрел щетинил краснотал,

Напомнив вновь ордынские набег.

И мы сошлись, спроворили бивак

У таганка — в тени речных боярок:

Чалдонский сын и он — живой Ермак,

Я ликовал: не царский ли подарок!

Он говорил, исполнен грозных сил,

И, как итог, как песню завершая,

Клич атаманский даль степи пронзил,

В державных битвах павших воскрешая:

— Крещеные! В полуденном краю

Нас ждет опять неторная дорога!

Эй, казаки, есть кто-нибудь в строю?
И с кручи докатилось:
— Есть немного...
— Так, значит, скоро высверкнут клинки!
И ахнет разом ветхая Европа:
В казачий Верный взмыленным галопом
Мы понесем на пиках бунчуки!
Просторна Русь, а лишних нет земель!
И юг сибирский — русские твердыни.
А где-то т-а-ам! — кайсачья колыбель,
Самум-ветра и воинство полыни.
Продажный век. На тронах упыри.
Мы спросим с них — безжалостно и кратко...
А с кручи снова: — Любо! Говори!
Такой расклад — что чарка перед схваткой!
— Как на пиру непрошенных гостей,
Сброд воровской на пиках вскинем сразу.
С ума сойдут от зрелища костей
Писцы и дьяки Тайного Приказа.

10. УСЕКНОВЕНИЕ

Я вновь один. Речная глубина
Вздохнула рядом — сонная, степная.
Плеснул чебак. Кайсацкая луна
Чадрой укрылась...
Сон иль явь? Не знаю.
Но где-то там, в заоблачной дали,
На рубежах вселенского распада,
Сошлись две силы — неба и земли —
Геоργия с копьем и силы ада.
И гул копыт возник из ковылей:
Небесный всадник?

Божье откровенье?

Дымами труб, перстами тополей
Перекрестились хмурые селенья.
А всадник мчал, над нечистью царил,
Гвоздил ее бесовский облик злостный.
Но брег Ишима конский бег смирил,
И воссиял посланец Богоносный!

Страну ментов, налоговой полиции,
Страну воров и теле-инквизиции,
Страну заплечных младореформаторов,
Шутов, шутих и обер-комментаторов
Объяла жуть! Гробы река несла,
Как щепки, без ветрила и весла.
Гробы, гробы... Для жизни бесполезные.
Но местный люд кидал крюки железные,
Добыть пытаюсь пиломатерьял, —
Смолье и дуб от капитализации,
С клеймом Кремля,

с прищепкой думской фракции,

Где гроб-насельник раньше воспарял.
“Шли” домовины штатовских поборников,
Лоббистов бед, дефолтов, “черных вторников”,
Зинданов, в кои загнана страна.
У нас как раз нашлось местечко гадкое,
Где гроб-клиентов — с перхотью, с прокладками

И с “гоlden леди” — кушал сатана.
Да всё путё-ём!
Ну где-то не подмазали,
Теперь, как зайцы (давний стих Некрасова),
Неслись рекой. Эрефия, прощай!
Не помогли и флаги полосатые,
Кошерный пир и хануки пейсатые...
И дед Мазай рукой махнул: “Пущай!”

Рубеж, граница — место не для шалостей,
Для Божьей битвы голь степи досталась нам,
Где вся твердыня — два иль три пенька,
С десяток бань: теперь как доты значатся;
Пяток портков с лампасами — казачество,
Но — руки прочь! — потомки Ермака!
Еще спираль Бруно, стена форпостная:
Заставы твердь в погранселе Зарослое,
И водоем — добавочный форпост:
С гагарьим писком сумрачная ляжина.
И погранцов наряд закамуфляженный,
Упертый рогом в бывший сенокос.
“Где стол был яств...” —

порушено, повыжжено,
Скелеты ферм смердят навозной жижею.
И, как реликт, непьяный тракторист.
Фашизм пырея, глум чертополоховый,
Да сопредельный, с торбой, шут гороховый,
На местной фене — “злой контрабандист”.
И весь базар!
Окину даль закатную —
Из-под руки иль в линзы восьмикратные:
Ишим-река... Таможня... Пыль веков...
А это, тыфу, не Чичикова рожа ли?
Шкурят хмырь проезжего-прохожего,
Приспел как раз — кильватер мертвяков!
Гробы банкиров, сытые банкнотами,
В одном рука торчит с протестной нотою,
Другой — семейный, с креном на корму.
Пошло безгробье — тоже отбазарили! —
Орлы Кавказа, хитники Хазарии...
Челночных баб вот жалко. Ни к чему.

11. ЭПИЛОГ

С восходом, с зарей заалела и кровля амбара.
Как прежде, на пристань иду меж картофельных гряд.
Внезапной подлодкой всплывает на Долгом гагара.
Гусыня соседская гагает на гусят.
Порыв ветровой. Заходил дурулом камышинный.
Напуганно вскрикнул мартын над рыбацким садком.
Незрелый народ пролетел в иностранной машине
Меж Долгим — Головкой. И вот уж пылят большаком.
“На грязи”, конечно. Теперь толчея на Солёном*.
Чуть что, наезжают. И побоку всех докторов.
Живи бы отец, он бы выплыл на лодке смоленой
Да вместе с Тарзаном. И тот бы глотал комаров.
Кот Васька бы ждал на мостках в эйфории голодной,

* Долгое, Головка, Солёное — название озёр.

Как выберут сети, меж дел посудив обо всём,
Чтоб после прошествовать узкой тропой огородной:
Тарзан, и отец, и кот Васька в зубах с карасём!
И я после смены сиял бы в разводах мазута,
Скворчала б жарёха, дымилась с укропом уха.
А мама и с Зорькой сумела б управиться круто,
Пока за калиткой не выстрелит кнут пастуха.
Потом уж и спать, занавесив простор законный,
Где мать и отец сенокосят в медах визилей.
И в снах-полуснах над страницами “Тихого Дона”,
И после мечтать о желанной Аксинье своей...
Пустое теперь уж... Сложнее забыться и выпить,
Поплакаться небу — обложен позором границ...
Осталось на Долгом под долгое уханье выпить
Смотреть на домашних, давно не летающих птиц.
Но хоть бы разочек, процесс, как всегда, “переходный”,
Увидеть далёких, взгрустнуть о заветном своём,
Как шествуют дружно — гуськом по тропе огородной:
Отец и Тарзан. И кот Васька в зубах с карасём.

2003, 2011 гг.

ЮРИЙ ГОЛУБИЦКИЙ



УТОМЛЕНИЕ НАСТУПАЮЩЕГО ДНЯ

РАССКАЗ

Наше знакомство с литератором, кинематографистом, социологом Юрием Александровичем Голубицким состоялось уже далёкой осенью 1993 года. Буквально через несколько дней после кровавой бойни в Останкино и расстрела Белого дома на Красной Пресне он принёс в редакцию очерк-репортаж “Роковой выстрел (свидетельство очевидца)”, который и был опубликован в ближайшем номере журнала — № 1 за 1994 г. С тех пор наши творческие и личностные контакты развивались по нарастающей. Они касались не только дел литературных, но и участия в деятельности Московского интеллектуально-делового клуба (Клуб Н. И. Рыжкова), где 18 лет Ю. Голубицкий являлся управляющим делами, литературно-театральной премии “Хрустальная роза Виктора Розова”: он стал одним из двух её соучредителей, вице-президентом Благотворительного фонда поддержки премии и неизменным директором.

Последнее десятилетие оказалось наиболее плодотворным и в литературном творчестве Ю. Голубицкого. Выходят в свет сборник рассказов и повестей “Ожидание” (2002), романная дилогия “Бег волчицы во мгле” (2005), сборник социологических этюдов “Бизнес по-русски” (2008), монографическое исследование “Социология и литературный процесс” (2010). И это помимо регулярных публикаций в литературных журналах и периодике. За яркие творческие достижения и плодотворную литературно-организационную деятельность Юрий Голубицкий удостоен в 2007 г. звания лауреата престижной литературной премии преп. кн. А. Невского “России верные сыны”. Награждён медалью РПЦ преп. Сергея Радонежского I степени (2002).

16 января 2012 г. Ю. А. Голубицкому исполняется 65 лет. Мы желаем другу нашего журнала, нашему давнему и верному товарищу здоровья, счастья и неистощимого творческого вдохновения!

Резкий гудок покидающего соседнюю стоянку туристического автобуса вывел Сергея Павловича Хомякова из забытья. Он открыл глаза и через лобовое стекло своего микроавтобуса тотчас различил на ближайшей к парковочной площадке скале... тёмный профиль шпекантропа в овальном медальоне. Усмехнулся: “Надо же такому привидеться!”.

Скала была залита полуденным солнечным светом, тени легли контрастно, делая ещё более рельефным каждый выступ, каждую впадинку на скальной породе. В том, кто автор этого жутковатого барельефа, сомневаться не приходило: искусница-природа способна и не на такие странные художества!

Смущало Хомякова, что прямо от короткого широкого горла примата внутрь овала, составлявшего его тело, лихо закручивался острый поросячий хвостик, отчего знак по форме походил на большую плакатную запятую, или некое иносказание. И вот уже не причудливой игрой природы воспринял Хомяков взволновавший его профиль, а элементом дьявольского символа, рядом с которым поблизости вполне мог притаиться ещё какой-то ёрнический символ-знак...

Конечно, всё это вполне можно было объяснить последствиями недавно пережитого кислородного голодания. Ощутил его Хомяков примерно двумя часами ранее на станции “Мир”, расположенной на отметке 3500 метров от уровня моря. Едва он вышел из вагона канатной дороги на склон Эльбруса, как почувствовал удушье и головокружение, а после нескольких неуверенных шагов по рыхлому мокрому снегу, покрытому коркой ноздреватого хрусткого льда, критически ослабли ноги, сердце замедлило биение, с трудом проталкивая кровь через склеротические сосуды. Пришлось замереть на томительную минуту, не меньше, и продолжать путь воистину черепашими шажками, то и дело останавливаясь, чтобы купировать очередной спазм в груди.

Опытный экскурсовод, заметив недомогание своего пожилого подопечного, подошел к Сергею Павловичу, деликатно успокоил: с кем ни случается! Посоветовал не дожидаться всей группы, а после традиционной фотосессии отправиться вниз, в долину, лучше всего — напрямик в доставивший их к Эльбрусу микроавтобус. Прикорнуть там часок — в поездку пришлось вставать ни свет ни заря, да ещё сама дорога почти в две сотни километров, тут и юноша “поплывёт” от усталости, что уж говорить о солидном господине...

“Солидный господин” так и поступил. Выслушал короткий рассказ экскурсовода о горной гряде, раскинувшейся перед ними, о вкрапленных в неё пиках выше трёх тысяч метров, сфотографировался с группой на фоне развоенной вершины Эльбруса и, стараясь не привлекать внимания, вернулся к посадочной площадке. Дождался пустого вагончика и в два этапа с пересадкой спустился к подножию горы. Без проблем отыскал на парковке микроавтобус, согрелся, свернувшись калачиком на мягком удобном сиденье, перекусил неспешно из санаторского сухого пайка, запил безвкусные бутерброды соком из 200-граммового картонного пакета и провалился в дрему...

Вроде бы отпустило, — решил Хомяков, внимательно отслежив симптомы становящегося всё более ненадежным организма. Он знал по опыту, что окончательно купировать последствия приступа удастся не ранее завтрашнего дня, что носить ему в себе ощущение общей тяжести, перемагать спазмы и покалывания там и тут и всплески сердечной аритмии весь экскурсионный день. Это как похмелье. В данном случае похмелье от излишней самонадеянности. Но ведь Хомяков и подумать не мог, что Эльбрус встретит его столь неприветливо.

В позапрошлом году, отдыхая в Пятигорске, он в схожей поездке побывал на Домбае. И — ничего, выдюжил. Еще как выдюжил!.. В три пересадки по канатной дороге поднялся к самой вершине, а там, перед прикрытым облаком пиком, нанял мотосани и на них совершил несколько крутых виражей по снежному склону. Трясло немилосердно. Каждая кочка, каждая впадинка на прогулочной трассе, коварно прикрытая снегом, отдавалась болезненным толчком в поясницу, ягодицы. Чтобы не вылететь из седла позади довольно ухмыляющегося аборигена, приходилось изо всех сил удерживаться за боковины мотосаней, перенапрягая мышцы рук, спины, ног.

Потом, ощущая ломоту во всём отвыкшем от физических нагрузок теле, да ещё и изрядно проголодавшись, он выбрал дощатый шалман попримитивней, где и выказал желание отведать суп-харчо. Такого блюда в меню не значилось, но ему пообещали приготовить в индивидуальном порядке и вскоре принесли тарелку разогретой в микроволновке похлебки, в которой преобладали картофель, серые макароны и волокнистые, предельно разварившиеся овощи.

Удручал не сам по себе пресловутый общепит: когда он в нашей стране был приличным? Удручало почти не скрываемое презрение со стороны “гордых сынов гор” к туристам из равнинной России. Удручала свалка нечистот, в которую превратили и те и другие хаотично застроенное подножье Домбая и уникальные альпийские луга на первой станции подъёма. Хомякову, познавшему европейские горные курорты, оставалось утешаться этой самой европейской альтернативой; что ж, не Кавказ, так Альпы, Пиренеи, Карпаты — кому от перенаправления туристических потоков к заграничной географии будет хуже? Да, тогда для него ещё сохранялась перспектива достойно отдохнуть в горах. Теперь, похоже, горы в принципе стали не для него. И ведь прошло всего-то пару лет...

Первой из туристической группы вслед за Хомяковым в салон микроавтобуса вернулась молодая стройная блондинка. Это из-за неё им всем пришлось поколесить по Эссентукам, вместо того чтобы сразу после сбора, не мешкая, отправиться в долгий путь и реализовать немаловажный шанс опередить другие группы, следующие по тому же маршруту на более тихих больших автобусах. Женщина каким-то образом умудрилась разминуться со своим сыном и в растерянности суетливо, бессистемно посылала водителя к различным проходным санатория “Шахтёр”, привольно раскинувшегося на пространстве нескольких городских кварталов. Группа возроптала, потребовала прекратить поиски недостающего туриста — сам виноват, неча, неча! — и следовать по маршруту. Отчаявшаяся мать срезала обидчиков в их же манере, чем настроила против себя и тех попутчиков, кто доселе хранил молчание. По салону прокатился угрожающий ропот. Почти что вылезл хорошенький скандальчик. И тогда вмешался Хомяков...

Придав голосу баритональный тембр, искусно играя обертонами, Павел Сергеевич выказал поддержку вконец расстроенной матери, пристыдил попутчиков и заявил, что “будем кружить по городу хоть до Второго пришествия, пока не отыщем мальчишку”. И всё это изложил громким, уверенным, но спокойным голосом, с неизменным обращением к грубиянам исключительно на “Вы”, с нарочито старорежимными выражениями: “милостивыми сударями” и “сударынями”. Туристы притихли. И тогда грузный экскурсовод, устроившийся на сиденье возле водителя и до сих пор выдерживавший в перепалке нейтралитет, отчетливо кивнул головой и тем самым решил сомнения бузотёров; поддержала, значит, Хомякова администрация, одобрила его миротворческие усилия. И надо же, в это самое мгновение, воистину словно из-под земли, возник “мальчишка”! Лет эдак не менее шестнадцати: старшеклассник или даже студюоз. Был он так расстроен и смущен, так неподдельно обрадовался обретению мамочки, что растрогал даже самых прожжённых скандалистов. Да и были ли такие в экскурсионной поездке? Люди как люди, какова жизнь, такова и реакция на неё...

Постепенно растаяли колкие ледышки злости, по салону снова прокатился гул, на сей раз явно одобрительный. Кто-то даже сподобился на шутку. Шутка получилась никакой: набор малосвязанных между собой слов, сопровождаемых хихиканьем, но ситуации необходим был не смысл, а сам факт шутки: шутим, значит, помирились. Смеялись громко и долго, можно сказать, истерично, почти каждый что-то выкрикнул, множа бессмыслицу, но и продлевая, распаяя смех. Отсмеялись и с чувством выполненного долга затихли, невольно косясь на “архитектора мира” — Хомякова, с почтением и лёгкой опаской. Сергей Павлович понял: огньне он неформальный лидер группы, а если приведётся, то и третейский судья...

— Скажите, пожалуйста, — обратился Хомяков к блондинке, — что Вы различаете в овальном барельефе на скале?

Он четко объяснил попутчице, где именно на скале располагается оваль- ный барельеф, ни разу (особая гордость ритор!) не ткнув пальцем в прост- ранство перед собой.

— Орла на вершине скалы, — практически без промедления с улыбкой ответила блондинка.

То, что с улыбкой и без промедления — обрадовало Хомякова. Значит, у него есть реальные перспективы в отношениях с прельстительной дамоч- кой. Пусть не сегодня, пусть даже не завтра; до конца курортного срока у Сергея Павловича оставалась целая неделя... Недели-то уж точно хватит. Да, но откуда она взяла орла на горной вершине?

Орел, оказывается, был, и тоже в овале — правее и чуть выше питека- нтропа. Сергей Павлович, признав правоту попутчицы, убежденно заключил, что не случайно взгляд такой обворожительной женщины выделил на скло- не скалы орла — символ, или, как сказали бы сейчас, логотип Кавказских минеральных вод ещё со времен их основания при “проклятом царизме”, а вот его взгляду лукавый подсунул куда как мерзкое создание. Ох, не слу- чайно!

Блондинка с новой подсказки Хомякова добралась-таки взглядом до его барельефа и тотчас назвала считанное изображение обезьяной. Хомяков пох- валил попутчицу за способность различать в, казалось бы, хаотическом на- боре линий, теней и световых пятен конкретные рисунки. Заметил, уже без тени иронии, что такая способность к выделению *динамической метафоры* свидетельствует о склонности к кинематографическому творчеству.

Дамочка с возросшим почтением глянула на Хомякова; кинематограф, к которому, как видно, имел отношение её новый знакомый, оставался в на- роде престижной профессией.

— А как вас звать, прекрасная незнакомка?

— Просто Наташа...

— Ну что ж, пусть будет “Просто Наташа”... Простенько и мило, как название незабвенного мексиканского телесериала. Помните?

Напряженная улыбка “просто Наташи” подсказала Хомякову, что его собеседница не помнит первого на отечественном телевизионном экране се- риального “мыла” под названием “Просто Мария”, возможно, даже не смот- рела его вовсе. Вполне могла помнить мама её, судя по возрасту дочери — ровесница Хомякова.

— Я покину вас ненадолго...

Следовало дать Наталье в одиночестве спокойно разобраться с только что состоявшимся знакомством и окончательно принять или отвергнуть перспективу традиционного курортного романа. Да и самому подготовиться к неблизкой дороге. “Покурить и оправиться!” — как в годы армейской мо- лодости Хомякова командовал перед посадкой в автобус их оркестровый старшина.

По дороге в Эссентуки заехали в ущелье, название которого Павел Сер- геевич, конечно же, не запомнил. Попили тепловатой, насыщенной солями минеральной водички из мощного источника, и гуськом вслед за экскурсово- дом проследовали к подъёмнику. Представлял он собой просторную железн- ую платформу с дощатым настилом, которая усилием упрятанных под нее электродвигателей протаскивалась по выложенным на склоне горы рельсам к площадке на примерно 50-метровую высоту.

Управлял этим архаичным механизмом мужчина лет сорока из местных, словоохотливый, почти без акцента изъясняющийся на русском языке. Пока поднимались, он успел поведать с наигранной грустью, что за два десятиле- тия нового пришествия капитализма подъёмник ни разу не ремонтировали, хотя еще в середине восьмидесятых был готов проект его коренной рекон- струкции и вроде бы даже успешно решался вопрос финансирования.

Тема наступившей с падением советской власти разрухи была в послед- ние годы в стране беспроегрешной. Вот и здесь, в кавказском ущелье, ее с готовностью поддержали туристы из разных регионов России. Только вот за страстными обличениями “власти чистогана” как-то не обратили внимания на такой “пустяк”, как полное игнорирование на подъёмнике правил безо-

пасности пассажиров. Людей набилось на платформе, что сельдей в бочке, и при этом никакого ограждения по периметру, никакой надёжной опоры, за которую можно было хотя бы ухватиться. Случись встряска, многие слетели бы с платформы.

На кого не действовала демагогия горца, так это на Сергея Павловича. Он был убежден, что абориген-жалобник и является нынешним владельцем подъемника; приватизировал за копейки по остаточной цене и за два десятка лет “наварил” на нём немалый капитал. Из доходов этих вполне мог бы установить новый подъемник, хотя бы того, советских времён, проекта реконструкции. Однако разоблачать хитреца не стал: подъем короток, Бог даст, пронесёт, к тому же не хотел в глазах Натальи прослыть склочником.

Хомяков отыскал Наташу взглядом в толпе и просочился к ней и ее сыну. Когда наступила пора сходить на склон, галантно предложил руку помощи, хотя никакой помощи и не требовалось, более того, суетясь возле дамы, он только помешал другим туристам, да и самой Наталье тоже.

Прибывшие на альпийскую поляну две туристические группы разделились на группы по несколько сблизившихся в поездке человек и, выдерживая разумную дистанцию, начали восхождение по тропе, проложенной у кромки высокого берега. Хомяков, Наташа и сын её по имени Александр составили одну из таких группок.

Вскоре Сергей Павлович понял, что объективно служит помехой маленькой сплочённой семье. И Наташа и Александр находились в прекрасной спортивной форме, чем никак не мог похвастаться тучный, страдающий отдышкой Хомяков. О том, чтобы ему галантно опекал даму, страхуя от падения с крутого берега в опасные воды, и речи быть не могло. Дай Бог самому удержаться на круче!

Такое открытие не добавило Хомякову энтузиазма. Он ощутил жалость к ущербной семье, и, как противовес этому чувству — ещё пока не оформившееся, но зреющее недовольство собой, своим кобелиным поведением, особенно некрасивым и безнравственным в его преклонном возрасте.

Но главное всё же было не в этом. Он до сих пор так и не ощутил подлинного желания в отношении привлекательной блондинки... Надеялся, что оно возникнет, но время шло, всё явственней наваливалась усталость, а страсти, которая в конечном итоге способна оправдать всё: пошлость ситуации, косые взгляды и откровенные ухмылки окружающих, даже угрызения собственной совести, — такой страсти он так в себе и не ощутил... Всего более ему сейчас хотелось продолжать лежать на упругой мягкой траве обширной поляны, застывшими зелёными волнами поднимающейся к вершине горной гряды, и бездумно наблюдать за нескончаемым падением воды с полукруглого каменного уступа: с того места, которое он и его попутчики облюбовали для привала перед спуском в долину, открывался прекрасный вид на водопад.

...На спуске Хомяков отделился от Наташи и её сына. В прямом и переносном смыслах. В микроавтобусе тотчас заснул и проспал глубоким сном без сновидений до вечера, когда микроавтобус уже подъезжал к окраине Ессентуков. Сергей Павлович притворялся спящим до той поры, пока у проходной “Шахтёра” не вышли Наталья с сыном...

С этого дня время для Хомякова словно утратило свою пульсирующую энергию и замедлило бег. Так, тормозя перед последним на дистанции препятствием — рвом с водой, замедляет свой бег уставший стайер, поняв, что эту преграду ему уже не преодолеть с ходу и эффектно, а предстоит переползти под сочувственные взгляды почтенной публики на трибунах, смех и колкие шуточки молодых пересмешников.

Поездка в горы в определённом смысле явилась для Павла Сергеевича рубежом. После неё он окончательно уяснил, что вступил в прекрасную своей беззаботностью пору созерцания, следовательно, стал созерцателем. Теперь же он покорно, и надо заметить — не без облегчения, признался сам себе, что мужские подвиги его — в прошлом... Смотри распахнутыми глазами в прекрасный мир, подмечай в нём ранее проигнорированные детали и нюансы, радуйся каждому прожитому дню, благодари за него судьбу.

Как-то после завтрака и недолгих медицинских процедур он прогуливался в обширном городском парке — гордости Эссентуков. Миновав вход, сошёл с недавно благоустроенной центральной аллеи на едва различимую грунтовую тропу и буквально через несколько шагов был поглощён густыми зарослями свежей весенней зелени. Проплутав в них, Хомяков нашёл давно не крашенную скамейку в окружении разросшихся кустов сирени, черемухи, жасмина, устроился на ней и, прикрыв глаза, с упоением слушал птичье пение, вдыхая в лёгкие настоянный на цветущем разнотравье целебный прохладный воздух невидимых отсюда, но недалёких гор.

Неожиданно его разбудил и заставил встрепетаться колокольный звон. Многослойный звук потревоженной меди, щедро, как тотчас уловил Сергей Павлович, облагоустроенной серебром, отлетал от явно недалёкой звонницы, проплывал густыми невидимыми пластами над головой на уровне невысоких в предгорье кучевых облаков и постепенно иссякал, оставляя по себе лёгкое эхо в ушах.

Повинуясь не столько осознанному решению, сколько неясному чувству, Хомяков поднялся на ноги, натянул на тёплые от солнца волосы белую бейсболку с длинным козырьком и двинулся к источнику звука. Направление движения было выбрано без колебаний, ибо и тонкий “высотный” слух, и уникальное чувство пространственной ориентации, подмеченное ещё преподавателем топографии офицерского училища, к счастью, оставались верны Хомякову.

В отличие от ровной центральной аллеи, тропа в зарослях, уводящая на колокольный звон, неизменно шла вверх. Примерно через полчаса она вывела Хомякова к увитой диким плющом, шаткой от времени чугунной ограде парка, за которой, на противоположной стороне улицы, высился собор о пяти куполах с вызолоченными шестиконечными звездами по синей эмали купольных шатров и венчающими их золочёными византийскими крестами. Непрекращающийся колокольный звон стекал густым невидимым потоком с высокой стройной звонницы с золоченым же острым шпилем. И собор, и звонница, и заново мощённый белым камнем двор за новой каменной оградой недавно, как решил Павел Сергеевич, подверглись капитальному ремонту. Следы его сразу бросались в глаза: горка битой каменной плитки и бетономешалка, заляпанная застывшими подтёками раствора в углу двора.

О том, что сегодня один из самых значимых православных праздников — Троица, свидетельствовали разбросанные по двору, по крыльцу собора срезанные травы и ветки. Они уже успели увянуть с начала дня на горячем солнце и вовсю благоухали тем не передаваемым словами бодрящим духом крестьянского сеновала, каким он пребывает недолгие дни после первой летней загрузки.

Хомяков очень кстати вспомнил стихотворение весьма популярного в начале XX века православного поэта священника Фёдора Пестрякова.

*На Троицын день есть обычай прекрасный
С цветами во Храм приходите:
Как много в нём силы и нежной и властной
Застывшее сердце смягчить.*

*Весеннее утро: и блеск, и прохлада,
И песни весёлые птиц;
Вся в зелени церковь, вся в блеске наряда,
И радостью веет от лиц.*

Отчётливо вспомнилось Павлу Сергеевичу, как год назад в полупустой полуденной электричке, следовавшей из ближнего Подмосковья в Москву, коммивояжер, предлагающий пассажирам православную литературу, продал ему, находящемуся после недавнего крещения в самом начале воцерковления, православный календарь сроком на два десятилетия. Отпечатан он был на плотной мелованной бумаге и сложен, как иконный складень, из трёх узких фрагментов. По центру обложки располагалась икона с ростовыми фигурами святых старцев оптинских, а под иконой была напечатана их

молитва. Текст её легко втёк в сознание Хомякова, вызвав тихое ликование. Так ясно, доходчиво, мудро ещё ни одна молитва не входила в его сознание, хотя по форме молитва оставалась вполне традиционной: обращение смиренного христианина к Господу.

Особенно врезалась в сознание строфа с просьбой дать молящемуся старцу силу перенести “утомление наступающего дня” и все события в течение дня. Со всей очевидностью Хомяков осознал день грядущий как новое утомление, которое следует стойчески перенести. Да, это стариковское мироощущение, старческое мировоззрение, но что поделать, если именно такое мироощущение-мировоззрение всё в большей мере завладевало им?.. И при этом осознание истаявающих жизненных сил, которых, дай Бог, хватило бы на достойное преодоление наступающей старости, не угнетало Хомякова, а наполняло смирением и успокоением. “Дай мне силу перенести утомление наступающего дня...”

...В сентябре, когда наконец-то спала изнуряющая жара, и воздух очистился от едкой гари подмосковных торфяных пожаров, из германского Ганновера пришла радостная весть: работающая по контракту в местном оперном театре дочь Хомякова Александра родила ему долгожданного внука. Назвали Филиппом Илиёй Александром, тройным именем, как принято в Западной Европе, а по-русски просто — Филей.

Жена, которая заранее выехала в Германию к родам дочери, поведала счастливому деду по телефону подробности: сообщила идеальные параметры изометрии внука, активно используя художественные тропы, определила цвет его глаз, волос, тембр голоса — признаки, указывающие на русскую родню. Получалось со слов жены и дочери, что Филипп — вылитый Хомяков, только в лучшем издании. И красавец писанный, и обаяшка, каких поискать, и характера золотого, покладистого, и силы в ручонках воистину богатырской. А разумник какой, какой взгляд осознанный, как правильно реагирует на слова, к нему обращённые, притом сразу на двух языках!

Сергей Павлович, слушая жену и дочь, скептически посмеивался и снисходительно улыбался. Снисходительно к женской восторженности и чрезмерности, однако в глубине души верил в каждое слово об исключительности уже всей душой обожаемого внука.

Привезли новорожденного в Москву к концу декабря, к католическому Рождеству, которое празднуется в Европе как главный в году праздник. Привезли после долгих переговоров-уговоров с родителями, после консультаций с педиатрами и психологами, привезли до мая следующего года, когда ганноверская опера завершала сезон.

Сезон же Александре предстоял, без преувеличения, уникальный: помимо показа текущего репертуара театр взялся поставить полностью оперную тетралогия Рихарда Вагнера “Кольцо Нибелунга” и пригласил для этой цели ведущих в германоязычной опере дирижёра и режиссёра! Участие в таком проекте — бесценный опыт для всякого музыканта.

По заведённой в семье традиции встречал дочь в аэропорту и затем провожал Сергей Павлович. Не стали менять заведённого порядка и теперь, тем более что кто-то всё равно должен был остаться с внуком, и лучше, чтобы этим “кто-то” стала бабушка.

Заранее на метро добрались до Павелецкого вокзала, откуда регулярно следовали в Домодедово экспресс-электрички. Как только объявили посадку, Хомяков подхватил чемодан Александры и направился по пустынному перрону к первому вагону, но дочь решительно остановила его. Доводы её были разумны и оттого убедительны; к чему тратить несколько часов, лучше возвращайся, папочка, домой и будь с мамой и внуком. Признаться, он сам более всего хотел именно этого, оттого легко дал уговорить себя.

Всё же Сергей Павлович препроводил дочь в почти что пустой вагон, помог наилучшим образом разместить её необременительный багаж, дождался у окна на перроне, пока поезд неслышно тронулся с места. Дочь приветливо улыбалась отцу, махала рукой, посылала воздушные поцелуи, но по выражению глаз её Хомяков понимал, что она уже не здесь, а в ставших для неё привычных заботах о своей семье, своей работе, своей карьере...

Ближе к вечеру позвонила подруга жены и сообщила о теракте в Домодедово. Хомяков тотчас включил телевизор. С тех пор, как в доме поселился внук, столь нелюбимым его бабушкой “дудлом” пользовались неохотно и строго дозированно.

На Первом, официальном канале завершался спецвыпуск, но буквально через несколько минут начался вновь. Хроники было совсем мало, лишь короткий, снятый случайным свидетелем на видеокамеру мобильного телефона ролик, примерно в два десятка секунд. Повторяли его раз за разом по кольцу, а на фоне расплывшихся кадров вспышки взрыва и задымленного помещения, из которого люди на глазах разбегались во все стороны, кто куда, — диктор повторяла скудную информацию: подрыв совершён в зоне прилёта, есть пострадавшие, которым оказывается необходимая помощь, начато следствие...

Хомяков по опыту неоднократных посещений аэропорта знал, как далеко разведены в нём зоны прилёта и отлёта, почти к противоположным торцам гигантского здания. Понимал, что Александре нечего делать в пострадавшей от теракта зоне прилёта, да её никто туда и не пустил бы, особенно после того, как она прошла таможду и погранпост, но...

Все усилия дозвониться до служб аэропорта, как и предполагал Хомяков, оказались тщетными. Каждая попытка Сергея Павловича заканчивалась сигналом “занято”. При этом он был уверен, что с большинства телефонных аппаратов сотрудники аэропорта попросту сняли трубки.

Молчал и мобильный телефон Александры. Что особенно пугало родителей, именно молчал. В предшествующие разы, до перехода на германский роуминг, её мобильный оператор сообщал о временной недоступности абонента, а теперь из телефонной трубки в московскую квартиру Хомяковых втекал парализующий волю холод абсолютной тишины, словно сам телефонный аппарат перестал существовать...

В гнетущей тишине предельно напряжённые дед и бабка тщательнее, чем обычно, искупали Филю и покормили, сами же не притронулись к ужину. Вскоре сон сморил малыша, и его уложили в спальне на кровать Сергея Павловича. Крохотный диктатор ещё в фатерланде наотрез отказался спать в детской кроватке, предпочитая с первых своих дней в мире засыпать под боком у матери, а теперь вот — под боком у бабушки.

Ничто не могло отвлечь Хомякова от тревожных мрачных мыслей, занять хотя бы на короткое время. Он даже не пытался читать, включил и вскоре выключил компьютер, ибо интернет ничего нового по отношению к телевидению не сообщал о трагедии в московском аэропорту.

Сергей Павлович опустил в кресло возле ложа внука. Кресло это специально приобрели за несколько дней до приезда Александры с Филей, чтобы можно было так вот тихонечко устроиться в нём и наслаждаться зрелищем спящего сокровища.

Любимый внук мирно спал, смежив веки с длинными, загнутыми вверх рыжими немецкими ресницами и трогательно надув губки. Правая рука его была откинута почти под прямым углом к кровати бабушки, левая, согнутая дугой, обрамляла головку. Хомяков хорошо помнил, что в такой позе часто спал его тесть, прадед Филиппа.

Но вот малыш зашевелился, зачмокал беззубым ртом, повернулся на бок и, растопырив три пальца на левой руке — большой, указательный и средний — словно подпер ими голову у виска. Это была уже поза сна другого прадеда Фили — отца Сергея Павловича. Александра, которая не застала деда в живых, считала, что это жест её отца. Может, так оно и есть, со стороны видней...

“Сиротинушка”, — жалостливо подумал о внуке Хомяков, и тотчас обрутал себя последними словами. Как можно?! Но вековечный инстинкт был сильнее: только лишь предположения о неблагоприятном исходе для одного любимого человека заставляло перенести на другого, оставшегося, всю любовь-жалость.

Хомяков поднялся на ноги и, осторожно перемещая по ворсистому ковру кресло, придвинул его вплотную к кровати. Это тоже была часть задумки:

широкое массивное кресло в такой позиции надёжно оберегало внука от падения во сне с кровати.

Жена лежала в гостиной на диване перед выключенным телевизором, поджав ноги и плотно прижав к груди руки. Взгляд её наполнился обидой за ничем не заслуженные страдания.

— Она уже в Берлине, — объявила в пространство перед собой жена. — Может быть, даже на вокзале.

Хомяков глянул на настенные часы, но, в отличие от супруги, так и не смог провести простенькие расчеты и отделался глубокомысленным предложением:

— Возможно...

Возможно... всё возможно в этом лучшем из миров... Взрывать, убивая, рвать душу бесконечной неопределенностью!... Боже, смилостивься!...

Пяťся, Хомяков вышел из гостиной, прошел в кабинет, опустился в кресло перед письменным столом и, не сдерживаясь, дал волю копившимся в нём слезам.

Боже, будь милостив!..

*...Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить всё, что принесёт мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня и наставь и поддержи меня... — оказывается, он в процессе неоднократного повторения запомнил-таки текст молитвы оптинских старцев. Этот факт представился Хомякову добрым знамением, и он с ещё большим чувством предался молитве, перейдя с чтения про себя к чтению вполголоса: *Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твёрдым убеждением, что на всё святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что всё ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая.**

Зазвонил телефон. Павел Сергеевич слышал, как жена, словно подброшенная невидимой рукой, буквально слетела с дивана и зашпорила к телефонному аппарату, мелко перебирая ногами в мягких войлочных чулках.

Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.

Телефонные звонки оборвались. Хомяков, словно находясь сейчас подле жены, видел, как она кошачьим движением руки сняла трубку с телефонного аппарата, осторожно поднесла к уху и затаила дыхание, трепетно ожидая и страшась голоса с другого конца телефонной связи. В квартире воцарилась непереносимая тишина.

Руководи моею волею и научи меня каяться, молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать, благодарить и любить всех.

— Сашенька?..

Хомяков словно не услышал, а прочел с её губ это ликующее слово.

— Доченька!!!

Аминь.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 28. “Русское дело” Н. Клюева”

“Стая поджарых газет”, о которых писал Клюев в “Плаче о Сергее Есенине”, пополнилась ещё одним “воителем” – бывшим другом, “наставником” и “рачителем” (так ещё вроде недавно надписывал ему книгу Есенин) Сергеем Городецким. В журнале “Советское искусство” Николай мог прочесть о себе нечто совершенно в князевском духе.

“Гибель Есенина совершенно расстроила ряды крестьянской поэзии. Он был самый сильный и самый талантливый, и всё же он погиб на перевале от старого к новому. На плечи его товарищей по группе легла тяжёлая и, кажется, непосильная задача продолжить начатое им дело. Старший его товарищ, Николай Клюев, не подаёт никаких надежд. Он целиком и до сих пор покоится в иконах, лампадах и свечах. Изобразив в своё время Кремль, как Китеж, и увидев в Ленине “керженский дух”, он дальше не пошёл, и ничего, кроме старых песен, мы ждать от него не можем. В таком же положении находится Сергей Клычков, ближайший сверстник Есенина. Песня его отравлена надрывом и старой деревенской мистикой”.

К этому словоизвержению разум уже начал привыкать, хотя непросто было смириться с “воскрешением” Городецкого-предателя, памятного ещё по истории с “Красой”. Но тут же в “Новом мире” – новое сочинение Сергея Митрофанюча, словно зайчиком без остановки прыгающего с одной лужайки на другую: “неозызычник” – акмеист – “крестьянский поэт” – советский пропагандист.

Это уже были “воспоминания” о Сергее Есенине, в которых путалось и искажалось всё, что можно было перепутать и исказить.

“...Была ещё одна сила, которая окончательно обволокла Есенина идеализмом. Это – Николай Клюев... Чудесный поэт, хитрый умник, обаятельный своим коварным смирением, творчеством вплотную примыкавший к былинам и духовным стихам севера, Клюев, конечно, овладел молодым Есениным, как овладевал каждым из нас в своё время. Он был лучшим выразителем той идеалистической системы, которую несли все мы. Но в то время как для нас эта система была литературным исканием, для него она была крепким мировоззрением, укладом жизни, формой отношения к миру... У всех нас после при-

падков дружбы с Клюевым бывали приступы ненависти к нему. Приступы ненависти были и у Есенина: Помню, как он говорил мне: “Ей-богу, я пырну ножом Клюева!” Тем не менее Клюев оставался первым в группе крестьянских поэтов... Я назвал всю эту компанию и предполагавшееся ею издательство — “Краса”... “Краса” просуществовала недолго. Клюев всё больше оттягивал Есенина от меня. Кажется, он в это время дружил с Мережковскими — моими “врагами”. Вероятно, там бывал и Есенин...

Можно было читать — и диву даваться. Чего стоит одно это “пырну ножом” — ещё неизвестно, сказанное ли в действительности Есениным! Но пронзает память Клюева страшная догадка — зря, что ли, родились тогда строки “Жертва Годунова, я в глуши еловой восприму покой...” Но дальше — “дружба с Мережковскими”, в которой, “кажется”, Городецкий так и уличает Клюева! С Мережковскими — самыми лютыми врагами Николая в символистском кругу... И в более спокойное время прочитать о себе такое — мало радости. А сейчас — в 1926 году — воспринимается, как прямой политический донос.

И это ещё не конец. Городецкий жалуется на то, что “Ключи Марии” Есенина “не были разбиты” критиком К. (естественно, Князевым. — С. К.) по линии философии... А дальше пишется “путь спасения” заблудившегося в непроходимой “клюевщине” Сергея:

“Имажинизм был для Есенина своеобразным университетом, который он сам себе строил. Он терпеть не мог, когда его называли пастушком Лелем, когда делали из него исключительно крестьянского поэта... Он хотел быть европейцем... И вот в имажинизме он как раз и нашёл противоядие против деревни, против пастушества, против уменьшающих личность поэта сторон деревенской жизни... Быт имажинизма нужен был Есенину больше, чем жёлтая кофта молодому Маяковскому. Это был выход из его пастушества, из мужичка, из поддёвки с гармошкой. Это была его революция, его освобождение. Здесь была своеобразная уайльдовщина. Этим своим цилиндром, своим озорством, своей ненавистью к деревенским кудрям Есенин поднимал себя над Клюевым и над всеми остальными поэтами деревни... Есенинский цилиндр потому и был страшнее жупела для Клюева, что этот цилиндр был символом ухода Есенина из деревенщины в мировую славу...”

В этом пассаже, помимо всего прочего, присутствовала и еле скрытая подлость, рассчитанная именно на Клюева. Городецкий очень расчётливо переадресовал самому Есенину его сравнение Клюева с Уайльдом в “Ключах Марии” — причём, если Есенин снижал Клюева эти сравнением, подчёркивая “крестьянский эстетизм” Николая, то Городецкий возвышал здесь Есенина над всем крестьянским миром...

Читать всё это Клюеву было особенно тяжело — летом 1926-го он был опасно болен, перенёс две операции, чудом выжил после заражения крови. Нищий, безденежный, потративший все сбережения на врачей и санитаров, писал письма и в Московское и в Ленинградское отделения Союза писателей, прося помощи, которую так и не получил.

Оставалось ради хлеба насущного расставаться с самым дорогим. В это время он начинает продавать отдельные иконы и рукописные книги.

В декабре он ответил на письмо Сергея Клычкова.

“...Я никогда не обращался в союз за помощью, я горд был этим. В страшные голодные годы от меня никто не слышал просьб. Но сейчас я очень слаб. Ходить не могу, — а если и хожу, то это мне дорого обходится. Помоги, Сергей Антонович. Пострадай за меня маленько. Век не забуду. От многих умных и уважаемых людей я слышу негодование на статью Городецкого в “Новом мире” об Есенине и обо мне. Следовало бы “Новому миру” отнестись осторожнее к писаниям Городецкого и, глубоко уважая его честность и преданность красному знамени, принять во внимание и моё распутинское бытие. **Я ещё по/ка/ не повесился и не повешен** (выделено мной. — С. К.), и у меня есть перо и слова более резонные и общественно нужные, чем статья Городецкого. Или “Новый мир” этого не допускает и считает моё убожество неспособным тягаться с такими витязями, как Городецкий? Или всё это вытекает из общего понимания, что шаферы нужнее художников? Я бы сердечно хотел с тобой повидаться, ты ведь остался из родных поэтов для меня последним, но у меня нет денег на проезд в Москву... У меня в Москве негде головы преклонить. Прошу тебя — поговори с “Огоньком”, не издаст ли он книжечки

моих стихов. Дал бы любопытный материал под интересным названием... Пришли мне свой новый роман, я им – очень – по отрывкам обрадован. Извини, что всё письмо пересыпаю просьбами, но видишь, как я встревожен. Есть нечего. Из угла гонят. Весь износился...”

Летом 1926 года Максим Горький напишет из Сорренто Алексею Чапыгину: “Дорогой друг,

Прочитал я в очередной книге “Кр/асной/ нови” “Разина” и снова изумлён, снова с праздником. Человек, который сказал вам: “Да, это новый тип исторического романа”, – сказал неоспоримую правду. Так оно и есть, – до “Разина” такой книги в русской литературе не было... “Разин” – колоссальное создание истинного художника – под таким титулом эта книга и будет внесена в историю русской литературы. Я – едва ли доживу до этой записи, но вы-то, дорогой человек, наверное, доживёте. Мне хочется, чтоб дожили... Хорошие, удивительные люди вы, северяне... Моя Венера – Орина Федосова, маленькая, кривобокая старушка, олонецкая “сказительница” былин... Она дала мне то, чего ни до, ни после я не испытывал... И вот сейчас, читая “Разина”, я переживаю почти тот же потрясающий восторг, невыразимое словами волнение и радость за вас, и зависть к вам...”

И в самом конце письма, помянув “удивительных северян”, не мог Горький не вспомнить хотя бы одной фразой о Клюеве в череде других имён: “Что делает Клюев?”

И Чапыгин ответил – что же делает его собрат.

“Есть здесь у меня драгоценный человек, некто Вас/илий/ Вас/ильевич/ Гельмерсен – большой знаток старонемецкого и нового языков. Он, например, прекрасно переводил на немецкий язык Клюева, чего другие переводчики делать почти не могут. И вот Гельмерсену очень хочется перевести “Разина” современным веку языком на немецкий... Клюев – захирел, ибо ему печатать то, что он пишет, негде, а когда делает вылазки в современность, то это звучит вместо колокольного звона, как коровий шаркун, последнее время даже иконы писал, чтобы заработать хоть что-нибудь. Теперь он где-то в деревне, но не в Олонецкой, а в Новгородской...”

Когда Чапыгин писал это письмо, Клюев жил в деревне Марьино Новгородской губернии, страдаемый тяжкой болезнью. Но и после больницы его положение по сути не изменилось...

Когда Чапыгин писал о “вылазках Клюева в современность”, он, естественно, имел в виду клюевские “новые песни”, печатавшиеся в “Звезде”, “Красной газете” и “Прожекторе”... Публикации “нового” продолжались и в 1927 году. Одновременно с “Заозерьем”, “Деревней” и “Плачем о Сергее Есенине” читатель наслаждался гимном пионерской юности.

*Мой галстук с зябликами схож,
Румян от яблонных порош,
От рдяных листьев Октября
И от тебя, моя заря,
Что над родимую страной
Вздымаешь молот золотой!*

Перевоплощение идеальное! И своего рода пример для всей последующей “пионерской поэзии”... Личина, не ставшая лицом, но выглядящая, как настоящее лицо!

Правда, следующее стихотворение “Корабельщики” пришлось отдать в печать в отредактированном виде. Слишком очевидна была злая ирония уже в первых строфах:

*Мы, пролетарские поэты,
В водовороты влюблены,
Стремим на шквалы и кометы
Неукротимые челны.*

*И у руля, презрев пучины,
Мы атлантическим стихом
Перед избушкой две рябины
За Пушкиным не воспоем.*

*Нам ненавистна глушь Чарджуев,
Где вороньё — поводыри,
Пускай песнобородый Клюев
Бубнит лесные тропари.*

В результате первая строка приняла иной вид: “Мы, корабельщики-поэты”... “Пушкин” был заменён “вьюгою”, а третья строфа вообще исчезла. В итоге – никакой иронии, никакой литературной полемики. Одно восхищение новой советской поэтической генерацией:

*Познав веселье парохода
Баюкать песни и тюки,
Мы жаждем львиного приплода
От поэтической строки.*

*Напевный лев (он в чревной хмаре)
Взревёт с пылающих страниц —
О том, как русский пролетарий
Взнуздал багряных кобылиц,*

*Как убаюкал на ладони
Грозовый Ленин боль земли,
Чтоб ослепительные кони
Луга беззимние нашли...*

Да не снилось подобное в самых радужных снах ни Казину, ни Садофьеву, ни Светлову, не мечтали о такой поэтической мощи ни Тихонов, ни Твардовский, ни Смеляков, не говоря уже о прочих безыменских с алтаузенами... И разве что в самой последней строфе чуткое ухо различит диссонанс с общей торжественной мелодией – диссонанс, вызванный еле различимым ошеломлением от зрелища: что же это за племя на свет народилось?

*И вея кедром, росным пухом
На скрип словесного руля,
Поводит мамонтовым ухом
Недоумённая земля!*

А ведь это племя при полном параде выстроилось на страницах знаменитой “Антологии русской лирики первой четверти века” в составлении И. С. Ежова и И. С. Шамурина. Вот они все: Илья Ионов, Семён Родов, Г. Левлевич, А. Безыменский, Александр Жаров, Михаил Голодный... “Сколько их, куда их гонят? Что так жалобно поют?..”

Песни были, впрочем, отнюдь не жалобные. И воспевались, в самом деле, отнюдь не пушкинские “две рябины” и даже не “тонкая рябина” суриковская.

Эта эпоха требовала иных песен. А. Ясный, вождевший “укокошить” старую Русь, прозревал новую в иных статях и формах.

*Эх, ты, Русь, стальная зазнобушка,
Советская краля моя...
Забубённые наши головушки,
Забубённые наши края.*

*Теремок позабыла свой милая,
Во Кремле алый дом — Исполком,
Видно, скучно сидеть за сурмилами,
Что сменяла на серп с молотком.*

*Видно, хочется крале запевкою
Прозвенеть в алой песне веков...
Эй, Россия — озорная девка,
Принимай к нам гостей на поклон.*

Эта “кralя” и “озорная девка” скоро вспомнятся Клюеву... Кстати сказать, в этой антологию, где биографические справки составлялись со слов поэтов и по литературным источникам и, в основном, содержали стандартные биографические и библиографические сведения, Клюев приложил автобиографический текст в записи Павла Медведева:

“Жизнь моя – тропа Батыева. От Соловков до голубых китайских гор пролегла она: много на ней слёз и тайн запечатленных... Родовое древо моё замглено коренем во времена царя Алексия, закурдрявлено ветвием в предивных Строгоновских письмах, в сусальном полове печных действ и потешных теремов. До Соловецкого страстного сиденья восходит древо моё, до палеостровских самосожженцев, до выговских неколебимых столпов красы народной...”

Контраст был разительный. А для Клюева предельно важным было помещение именно этого автобиографического куска в антологию, представившую всех – от символистов до пролетарских поэтов. Текста с прямым отсылком к самому началу романа П. Мельникова (Андрея Печерского) “В лесах”.

“Верховое Заволжье – край привольный... Судя по людскому наречному говору – новгородцы в давние Рюриковы времена там поселились. Преданья о Батыевом разгроме там свежи. Укажут и “тропу Батыеву” и место невидимого града Китежа на озере Светлом Яре... Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славного Китежа... И досель тот град невидим стоит, – открывается перед страшным Христовым судилищем. А на озере Светлом Яре, тихим летним вечером, виднеются отражённые в воде стены, церкви, монастыри, терема княжеческие, хоромы боярские, двory посадских людей. И слышится по ночам глухой, заунывный звон колоколов китежских. Так говорят за Волгой. Старая там Русь, исконная, кондовая. С той поры, как зачиналась земля Русская, там чужих насельников не бывало. Там Русь сысстари на чистоте стоит, – какова была при прадедах, такова хранится до наших дней. Добрая сторона, хоть и смотрит сердито на чужанина...”

...Переводы на немецкий, публикации в журналах и альманахах – и напряжённые попытки свести концы с концами.

“В московский отдел Всероссийского Союза писателей Николая Клюева.

Пролежав пять месяцев в больнице и перенеся две изнурительные операции, крайне нуждаюсь в материальной поддержке, о чём усердно прошу Московский союз писателей”.

“В Ленинградское отделение Всероссийского Союза писателей Николая Клюева.

Довожу до сведения Союза, что книгоиздательством “Прибой” куплена у меня моя поэма под названием “Плач об Есенине” (так! – С. К.) за сумму двести рублей (200 руб.), которые и уплачены мне упомянутым книгоиздательством в два срока – сполна. (Далее – подробное перечисление об израсходовании денег. – С. К.)... В настоящее /время/ я крайне нуждаюсь – нужно сносное питание, ежедневные перевязки и лекарства. О помощи усердно прошу Союз...”

Но и подачки от Союза – если они были – помогали мало.

* * *

“Новый роман” Сергея Клычкова, о котором писал ему Клюев, печатался в “Новом мире” на протяжении 1926 года и назывался он “Чертухинский балакирь”. В том же году роман сей вышел отдельным изданием с “конвойным” предисловием одного из самых ярых “напостовцев” Г. Лелевича.

Выход “Чертухинского балакиря” был встречен обилием рецензий (более двух десятков) авторов самых различных умонастроений – от Александра Воронского до комсомольского активиста Зорича.

Это нужно было кое-кому сильно напрячь нервы, чтобы без дрожи в руках и со спокойным дыханием прочесть в 1926 году удивительное клычковское повествование, овеянное духом тысячелетней Руси.

“Теперь у нас в леших не верят, да и леших самих не стало в лесу... потому, должно быть, их не стало, что в них больше не верят. А было время – и лешие были, и лес был такой, что только в нём лешим и жить, и ягоды было много в лесу, хоть объешься, и зверья всякого-разного как из плетуха насы-

пано, и птица такая водилась, какая теперь только в сказках и на картинках, и верили в них и жили, ей-Богу, не хуже, чем теперь живут мужики.

Должно быть, так уж это положено и иначе быть не должно и не может: потому, надо думать, и такое время придёт, когда не только леших в лесу или каких-нибудь там девок в воде, а и ничего вовсе не будет, кроме разве пней да нас, мужиков, потому что последний мужик свалится с земли, как с телеги, когда земля на другой бок повернётся, а до той поры всё может изгаснуть, а мужик как был мужиком, так и будет... по причине своей выносливости природы!..

Только тогда земля будет похожа не на зелёную чашу, а на голую бабью коленку, на которую, брат, много не наглядишь!..”

Так и видишь перед собой лукавую, прячущуюся в многолетнюю бороду улыбку рассказчика, старичка-лесовичка, возраст которого теряется в далах глухих, слышишь его смешливое побряхтывание, когда повествует он, об чём беседовал Пётр Кириллыч с лешим Антютиком на глухой лесной тропе, печальное посапывание, когда речь зайдёт о книге “Златые уста”, да невесёлые пророчества на будущее, и чем далее они – тем грустнее.

“Чёрт и человек не мешают друг другу, потому оба живут во уничтожение мира и жизни... ”

Не за горами пора, когда человек в лесу всех зверей передумит, из рек выморит рыбу, в воздухе птиц переловит и все деревья заставит целовать себе ноги – подрежет пилой-верезгой. Тогда-то железный чёрт, который только ждёт этого и никак-то дожидаться не может, привертит человеку на место души какую-нибудь шестерню или гайку с машины, потому что чёрт в духовных делах – порядочный слесарь.

С этой-то гайкой вместо души человек, сам того не замечая и ничуть не тужа, будет жить до скончания века!..”

Любопытно сопоставить эпистолярные отзывы на этот роман Максима Горького и Николая Клюева.

Горький, отчаянный противник “идеологии мужикопоклонников и деревенелюбов”, писал Пришвину с каким-то диким восхищением от лицемерия клычковской неукротимости: “Читали Вы роман Клычкова “Чертухинский балакирь”? Вот – неожиданная книга! Это – в 1926 г. в коммунистическом и материалистическом государстве!.. ”

Да – “Крепок татарин – не изломится!

А и жиловат, собака, – не изорвётся!”

Это я цитирую Илью Муромца в качестве комплимента упрямому россиянину”.

Это – письмо противника. Противника идейного и непримиримого.

А вот – письмо друга и единомышленника.

“Милый друг!

Сердечно благодарю тебя за добрые слова и за твои хлопоты! Низко тебе кланяюсь за твою прекрасную книгу “Балакирь”. После “Запечатленного ангела” это первое писание – и меч словесный за русскую литературу. Радуюсь и величаюсь тобой!” И после выражения радости – новая мольба о помощи:

“Усердно прошу и молю тебя не охладеть в желании устроить вечер в мою пользу (если на самом деле ты уверен в этой пользе для меня)... Союз действительно мне выслал, по Кириллову, 50 руб., но это было в прошлом году в конце марта-апреля. А теперь я не получал ничего от него кроме Тв/о/их 25 руб. Приветствую, благодарю, люблю и всегда ношу в сердце своём образ твой... Жадно, нетерпеливо жду ответа о вечере. Умоляю его устроить, это смертельно нужно. Кто ненавидит или любит меня – помогите!”

Но любящие голоса всё более заглушались голосами ненавидящими.

Уже прогремели на всю страну бухаринские “Злые заметки”, в которых есенинская поэзия была охарактеризована, как “причудливая смесь из “кобелей”, икон, “сисястых баб”, “жарких свечей”, гспода бога, некрофилии, обильных пьяных слёз и “трагической” пьяной икоты; религии и хулиганства... бессильных потуг на “широкий” размах (в очень узких четырёх стенах ординарного кабака)... всё это под соусом юродствующего quasi-народного национализма”. Бухарин на этом не успокоился. Сразу же после публикации он произнёс речь на XXIV конференции ВКП(б):

“Мы сейчас имеем оживление политической активности мелкобуржуазных слоёв, оживление по “национальной” линии, что принимает форму роста шови-

низма. Надо повести энергичную борьбу с великорусским шовинизмом, за последнее время особенно выпирающим в нашей литературе. Надо считаться с общим положением страны, с общим положением наших отдельных республик и, прежде всего, держать за ухо великорусский шовинизм.

... Сущим вздором являются разговоры о том, что будто наша партия хочет изменить свой курс по отношению к интеллигенции и перейти к "нормам", которые существовали в 1918 году, что мы хотим интеллигентов посадить на сеledку и рассматривать как саботажников. При громадных задачах строительства потребность в научных, квалифицированных силах, работающих вместе с нами, будет непрерывно возрастать, и наше внимание к интеллигенции будет усиливаться. Но, конечно, мы должны бороться против различных процессов в интеллигентской среде, процессов, которые мы считаем отрицательными. Мы будем и наших дураков учить уму-разуму, тех, которые придираются к мелочам, усердствуют по части самых нелепых "оргвыводов", но мы будем вести борьбу против всяких вредных идеологических тенденций. От нашей пролетарской линии мы отступать не собираемся".

Выступление поистине замечательное по своему смыслу. Итак, с "нормами" 1918 года в отношении интеллигенции покончено раз и навсегда. Интеллигенция стала жизненно необходима. Но не вся. Носители "вредных" идеологических тенденций будут по-прежнему изолироваться. Само собой разумеется, среди них будут заражённые "великорусским шовинизмом". Это и есть "отрицательный процесс" в интеллигентской среде, с которым призывает бороться Бухарин. "Дураков", сторонников "оргвыводов" следует учить "уму-разуму", а с "врагами пролетарской линии", "шовинистами" необходимо бороться. Такая предлагалась программа.

То, что не расшифровал Бухарин, наглядно разъяснил в этом же номере "Вечерней Красной газеты" Александр Безыменский. Статья его называлась "Русское дело" Николая Клюева", что недвусмысленно давало понять, кого именно на данном этапе необходимо считать "великорусским шовинистом" и "носителем вредных идеологических тенденций". Вся безыменская инвектива была посвящена поэме "Деревня".

"Что кулаки и кулацкая идеология существуют — спору нет. То, что она жаждет пробиться в свет — не подлежит сомнению. Но почему должны ей давать место советские журналы — это непонятно. Это обидно. Это больно".

Далее Безыменский в самых восторженных тонах пишет о Бухарине, который "всею силой большевистского удара" обрушился на "шовинистов", в частности, на стихи Павла Дружинина в "Красной нови", "через которые кулацкая идеология просочилась явно". Стихотворение Дружинина "Российское" стало для Бухарина лишь поводом к наступлению на поэзию Сергея Есенина, которого уже год не было в живых, но живы были его недавние соратники, "товарищи по чувствам, по перу"... Необходимо было создать вокруг них такую же атмосферу, в которой они не могли бы нормально жить и творить, создать все возможные предпосылки к тому, чтобы выбросить их из литературы, а в будущем и из жизни.

Безыменский пугал читателя тем, что "есть вещи и похуже", чем упомянутое стихотворение Дружинина. "В журнале "Звезда" № 1 за 1927 год стихи Н. Клюева "Деревня". Облик этого поэта известен. И Ленина он сумел окулачить... Но "ячменный лик" поэта обнажился до конца..." Далее Безыменский цитировал кровью сердца написанные строки Клюева:

*Будет, будет русское дело, —
Объявится Иван Третий
Попрать татарские плети,
Ясак с ордынской басмою
Сметёт мужик бородою!*

Комментарий к этим строчкам давался совершенно недвусмысленный: "Ой, держитесь, большевики! Ваши татарские плети и вашу басму сметёт бородою кулацкий Иван Третий. Вот оно, "русское дело" Н. Клюева!

... Всякому ясно, что злодеи-большевики, вскрыв мощи Серафима Саровского и прочих "утолителей печали и ран", совершили, с точки зрения Клюева, страшное безобразия...

Дело ясное... И никакие “пирогошие” ухищрения Клюева не замажут этой кулацкой его правды.

Мы болеем лишь тем, что такие стихи (конечно, случайно) глядят на нас со страниц наших журналов. Не будем только констатировать. Будем это преодолевать”.

В “Комсомольской правде” Безыменский распоясался ещё пуще. Достаточно привести его комментарий к строчкам из “Плача о Сергее Есенине” (“Отцвела моя белая липа в саду. Отзвенел соловьиный рассвет над речкой. Вольготней бы на поклоне в Золотую Орду изведать ятагана с ханской насечкой...”)

“Ась? Товарищ Ленинградский гублит за № 26594? Родной мой! Да протрите глазыньки! Мы, конечно, верим, что кулаку вольготней изведать ятаган с ханской насечкой татарского ига, чем видеть страну пролетарской диктатуры, но вы тут при чём или ни при чём?... Мы ясно увидели лицо тех, которым вольготней целовать пятки ханов Золотой Орды, чем видеть советскую страну”.

Итак, один из главных носителей “чуждой идеологии” и “шовинизма” был назван: Николай Клюев, который через несколько лет в письме во Всероссийский союз писателей писал о “серых”, невоспитанных “для музыки слухов” людях, которые “второпях и опрометно” утверждают, что “товарищ маузер” сладкоречивее хородова муз”. В самом деле, эпиграфом к статье Безыменского, как и к “антишовинистским” выступлениям Бухарина вполне могла пойти строка “Ваше слово, товарищ маузер!”, причём слово “маузер” прочитывалось бы не в переносном, а в самом прямом смысле, что полностью подтвердили последующие события.

Прозвучал, однако, в открытой печати голос, категорически несогласный с вынесенным поэту приговором. Уже упоминавшийся Роберт Фёдорович Куллэ в “Вестнике знания” (№ 7, 1927 г.) выступил со статьёй “Поэт раскольничьей культуры”, отмечая все обвинения в адрес Клюева. Статья эта мало известна, так что стоит привести её в солидных выдержках.

“Там, в Олонецкой, Архангельской и Заволжской губерниях – до Урала и Сибири, в “лесах и горах”, у заповедных озёр, в водах которых “посвящённые” видели очертания затонувшего “Китежа-града”, хранились и накапливались богатства словесной руды, всегда золотоносной, всегда изобилующей густым, ярким, суггестивным символом. Былина, духовный и “цветной” стих, песня, сказка, заговор, приворот, загадка, заклинания живут и питаются корнями своей не только религиозно-исторической стихии, актуальной, как всё живое, и составляющей мироощущение, лишённой иных просветительных влияний среды, но и как большая, могучая культура словесного творчества, знающего грани между “низким”, ежедневным коммуникативным значением слова и его “возвышенным”, поэтическим значением, таким, к которому прибегают в совершенно особых, торжественных случаях...”

К сожалению, совершенно непонятым остаётся до сих пор наш крупный современный поэт Николай Клюев. Его мастерство, своеобразная поэтическая манера, кровно связанная со стихией народного творчества именно в его раскольничьем, культивирующем песенно-былинный сказочный стиль преломлении, его изумительная цветистость творческого слова, необычайная яркость его образов, таких нарочитых, сказочно-стилизированных – идут целиком от этой вековой “крестьянской” культуры...”

Только полным непониманием основных течений нашей литературной культуры можно объяснить “критику” Безыменского... Поэтическое слово Клюева несёт в себе ту рудоносную концепцию крестьянской культуры, которая и Разина, и Пугачёва, и Ивана третьего и четвёртого понимает по-своему, преобразенно, в каких-то обратных преломлениях, за которые мы судить поэта просто не вправе, как не вправе упрекать то или иное слово за его первоначальное значение, скрытое, но веющее древней тайной.

Ведь и “керженский дух”, обнаруженный в Ленине Клюевым, и “игуменский окрик в декретах” – только образы, говорящие определённой среде полно и суггестивно, но могущие стать подозрительными для мало знакомых с культурой нашего сказочно-мифологического севера критиков. И это совсем не “окулачивание” образа вождя революции, а только своя, единственно возможная в определённой среде концепция, величественная, если хотите, как величествен вообще словесно-поэтический подход поэта к явлениям, поразившим сознание, вошедшим в него острым углом.

Вся поэма (“Деревня”. – С. К.) говорит только о настроении и современной северной раскольничьей деревни, её языком, её образами. Совершенно очевидно, что эти настроения не однородны у разных возрастных и классовых слоёв. Винават ли в этом поэт? Реакционен ли он поэтому?..”

Роберт Куллэ дал такую интерпретацию заключительным строкам “Деревни”, которая могла бы убедить противников Клюева и сомневающихся, что поэт в самом деле пишет “о победе новой стихии над старой, жизни над застойностью”... Но финал статьи прозвучал мощным аккордом в унисон клюевскому финалу в его изначальном смысле:

“Ведь надо же понять, что именно в этой среде – хранительнице жемчужной россыпи сказочных слов, величавых образов, нарочитых приговоров и кровно-почвенной мужичкой культуры, – наиболее уместны недоумённые вопросы, выраставшие как грибы, на почве вечных гонений, преследований, аввакумовских бунтов, двуперстных знамений, нескончаемых схоластических споров, неутомимой бунтарской религиозной мысли, искавшей – страстно и мучительно – воплощений в магическом, покоряющем слове...”

Эти слова звучат совершенно по-особому, если связать их с декларацией Российской православной церкви того же года.

Заместитель Местоблюстителя митрополит Сергей (Страгородский) и Временный Патриарший синод утверждают лояльность Церкви к советской власти, несовместимость христианства и марксизма, полное отделение Церкви от государства.

А весной 1928 года Клюев начал работу над одним из своих вершинных произведений – поэмой “Погорельщина”, что вошла в классический свод русской и мировой поэзии.

Ленинградские современники Клюева рисовали его чрезвычайно разным, казалось, что перед глазами различных людей прошла вереница персонажей, совершенно не похожих друг на друга. А проходил один и тот же человек.

Зоя Дыдыкина, дочь известного скульптора, вспоминала полноватого мужчину с молодежавым лицом в рубашке навыпуск, вышитой по вороту и рукавам крестиком, с коричнево-малиновым пояском, также вышитом крестиком, мужчину, который рассказывал сны, в которых оживал его пояс, превращался в змею, коброй обвивался вокруг ножки стола. Девочка потом кричала от страха всю ночь.

Дочь Николая Бруни рассказывала о старике, который криком кричал, читая “Поддонный псалом”, а закончив, хитровато поглядывал на неё, и та опрометью неслась в кухню и забивалась в самый дальний угол – только бы этот старик до неё не добрался.

Ошеломительное впечатление производил Клюев не только на детей.

Читаешь Леонида Борисова – и перед глазами встаёт порочный старикашка, не переносящий рядом с собой женского общества.

Читаешь Игоря Запалова, записи рассказов его матери – и совершенно иная картина: “Он всегда был подчёркнуто вежлив, корректен, особенно с женщинами, – вспоминала мама. – И наверно из ревности, что ли, Леонид Борисов, наш общий друг и знакомый, незадолго до смерти писал, что, выходя в дружеской компании, Клюев не мог терпеть присутствия особ прекрасного пола. Ему, мол, всегда хотелось читать, когда не было дам или их было немного... Разве мог бы поэт, равнодушный и презирающий женщину, написать такие шедевры, как “Ты всё келейнее и строже”, “Любви начало было летом”, как посвящённые горячо любимой им матери Прасковье Дмитриевне “Избяные песни”...”

Александра Ивановна Вагинова и Виктор Мануйлов запомнили Клюева, как интереснейшего рассказчика и собеседника. “Клюев начал рассказывать о своих летних странствиях на Печору к старообрядцам, к сектантам, которые до прошлого года жили настолько уединённо, что даже не слыхали о советской власти, о Ленине. Николай Алексеевич был одним из немногих, кто знал, как добраться до отдалённых северных скитов по тайным тропинкам, отыскивая путь по зарубкам на вековых стволах. Он рассказывал, как в глухих лесах за Печорой, отрезанные от всего мира, живут праведные люди, по дониконским старопечатным книгам правят службы и строят часовенки и пятистенные избы так же прочно и красиво, как пятьсот лет тому назал...”

“Я помню, как Клюев рассказывал, – вспоминала жена Константина Вагинова, – что когда решили вывезти из Соловков всех, кто там сидел, в другие места, то оказалось, что они сделали там изумительный музей.”

Собрали старые иконы, всякие церковные архивы. И вот всех узников увезли, а Соловки отдали Морскому ведомству. Приезжал адмирал – прошёл-ся, увидел все эти витрины с иконами, книгами и приказал бросить всё в реку, и иконыплыли по воде. Вода приносила их на берег, а жители встречали колокольным звоном. Ключев этому сам был свидетель...”

Зое Дыдыкиной запомнилась комната Ключева вся в книжных стеллажах и иконах, освещаемая свечами и с телефоном на столе. Геннадия Гору поцудилась “изба, по брёвнышку перенесённая из Олонецкой губернии и собранная заново, разместившаяся в петербургской квартире”, в которой “между брёвен торчал мох”, а “из щелей выполз таракан”... Таракан, которого в помине не могло быть у Ключева, содержавшего своё жилище в идеальной чистоте.

“Но вдруг словно кто-то нажал на рычаг машины времени. Олонецкая изба понеслась в XX век. Бабий, деревенский окаяющий голос Ключева мгновенно изменился, по-интеллигентски заграссировал.

– Валери Ларбо, – сказал этот уже совершенно новый, другой, неожиданный Ключев, – Жак Маритен... Читали ли вы, советские студенты? Не читали? Так о чём же с вами спорить? О сочинениях Пантелеймона Романова, что ли?”

Скажем прямо, больно уж эта сцена напоминает “классическую” из “Петербургских зим” Георгия Иванова с “Отелем де Франс” и “Гейне в подлиннике”.

Но прослеживается и нечто иное: в первую очередь ощущаешь абсолютную пронизательность Ключева, мгновенно углядевшего, что советские студенты пришли полюбоваться на “диво невиданное”, всплывшее в современности невесть из каких времён... Пощекотать нервы “экзотикой”... Тут же осадил, оглушил “контрастом”, мгновенно дал понять, как ни во что не ставит очередную писательскую “звезду”, прославившуюся рассказами “Без черёмухи” и “Товарищ Кисляков” (зачитывались все комсомольцы) и указал – кого бы надо прочесть молодым да ранним.

Даниил Хармс огорошил своих собеседников рассказами о Ключеве, который читал наизусть по-немецки отрывки из “Фауста”. Он же стал свидетелем сцены, когда их с Николаем Алексеевичем не пускали в ресторан из-за того, что Ключев был в поддёвке, а тот, мгновенно распрямившись, подхватил одну даму, и прямо на ходу в ресторанный зал сделал с ней под музыку несколько классических проходов... Присутствующие так и замерли.

Совершенно по-иному отреагировал на Ключева Николай Заболоцкий.

В воспоминаниях Игоря Бахтерева описывается визит Николая Заболоцкого в гости к Николаю Ключеву. Причем, судя по этим воспоминаниям, молодые поэты пришли, изначально настроившись на зрелище. И их любопытство было удовлетворено полностью.

Ключев встретил обериутов в своей неизменной поддевке и смазных сапогах, заговорил с ними елейным голосом, предложил угощение. Заболоцкий смотрел-смотрел – и выдал нечто вроде следующего: “Николай Алексеевич, мы с вами поэты, серьезные люди, к чему весь этот маскарад?” Ключев, обронивший до этого “сказывай, Николка, сказывай, от тебя и терний приму”, – мгновенно изменился. Холодными глазами воззрился на сопровождающих: “Вы кого ко мне привели? Али я не хозяин в своем доме? Могу и канкан сплясать”. И тут же продемонстрировал знание канкана.

Бахтерев, зафиксировав эту сцену через много лет, подводил читателя к мысли о полном неприятии бесхитростным Заболоцким какого бы то ни было притворства. Но дело не в “бесхитростности” Заболоцкого и не в “притворстве” Ключева, которого, судя по всему, обериуты на дух не переносили. Заболоцкий, как бы он ни относился к Ключеву по-человечески, находился под его огромным поэтическим влиянием в конце 20-х и в первой половине 30-х годов. Это, в отличие от многих литературоведов, тонко прочувствовал великий русский композитор Георгий Свиридов, о котором когда-нибудь будет написано фундаментальная работа под условным названием “Свиридов – читатель русской классической поэзии”. В своих записных книжках он не единожды обращался к имени и поэзии Ключева и, в частности, оставил любопытную запись.

“Влияние Ключева не только породило эпигонов, имена которых ныне забыты. Его мир вошел составной частью в творческое сознание: Блока, Есенина, Александра Прокофьева, Павла Васильева, Б. Корнилова и особенно, как ни странно, – Заболоцкого в его ранних стихах, Николая Рубцова”.

Эту же мысль Георгий Свиридов повторил в письме к Сергею Субботину от 14 ноября 1980 года: “Повлиял Клюев и на А. Прокофьева (ранние, лучшие его стихи), и на Заболоцкого (как это ни странно), и вообще на многое в литературе”. Причем дважды повторил слово *странно* в применении к мысли о влиянии Клюева на Заболоцкого. Видимо, было ощущение властного воздействия клюевского мира на поэзию, казалось бы, безнадежно далекого от него и даже чуждого поэта. Но в чем это воздействие проявилось – Свиридов не расшифровал.

А между тем весь фантазмагорический кошмар “Столбцов” исходит не только из гоголевских видений “Невского проспекта” и “Носа”, о чем уже говорили некоторые исследователи. Неявное, но сильное соприкосновение с предреволюционными стихами Николая Клюева из первого тома “Песнословия” становится очевидным при углубленном сопоставлении.

*Помню столб с проволокой гнусавою,
Бритолицых табачников нехристей;
С “Днесь весна” и с “Всемирною славою”
Распростился я, сгнувшись без вести.*

*Столб кудесник, тропка проволочная
Низвели меня в ад электрический...
Я поэт — одалиска восточная
На пирушке бесстыдно-языческой.*

*Надо мною толпа улюлюкает,
Ад зияет в гусаре и в патере,
Пусть же керженский ветер баюкает
Голубец над могилою матери.*

(Николай Клюев)

“Ад электрический” и “пирушка бесстыдно-языческая” правят свой бал в “Столбцах”, где господствует пир уродливой плоти, калейдоскоп утративших органическую связь друг с другом разрозненных деталей городского пейзажа, наводя на мысль о сущей обреченности человека в этом мире смерти и распада.

*Мужчины тоже все кричали,
они качались по столам,
по потолкам они качали
бедлам с цветами пополам;
один — язык себе откусит,
другой кричит: я — иисусик,
молитесь мне — я на кресте,
под мышкой гвозди и везде...
К нему сирена подходила,
и вот, колено оседлав,
бокалов бешеный конклав
зажегся как паникадило...*

Оба они – и Клюев, и Заболоцкий – были внимательными читателями “Философии общего дела” Николая Федорова. “Город есть совокупность небратских состояний” – эту федоровскую мысль Клюев воплощал в своей поэзии в плане эсхатологическом, описывая в цикле “Спас” пришествие Христа на стогны предреволюционного Петербурга.

*Питер злой, железногрудый
Иисусе посетил,
Песен китежских причуды
Погибающим открыл.*

*Петропавловских курантов
Слушал сумеречный звон,*

*И “Привал комедиантов”
За бесплодье проклял он.*

Через считанные год-два в “Медном ките” бесплодный Петербург обретает черты совершенно апокалиптические.

*Всепетая Матерь сбежала с иконы,
Чтоб вьюгой на Марсовом поле рыдать
И с псковскою Ольгой за желтые боны
Усатым мадьярам себя продавать.*

*О горе! Микола и светлый Егорий
С поличным попались: отмычка и нож...
Смердят облака, прокаженные зори,
На Божьей косице стоголавая вошь.*

И еще через 10 лет Заболоцкий, подхватывая эту отчаянную, остервенелую ноту, рисует свои “немые стогны града”, где злость и бесплодье уже настолько привычны, что можно лишь отстраненным взглядом, в котором сочетаются истерическое спокойствие и ироническая ухмылка, созерцать картины “нового нэповского быта”, который уже спустя десятилетия воцарился в Петербурге, бандитском и разграбленном, помпезно отмечающем свое 300-летие. Фантасмагории поэта обретают в современной реальности новую зримую плоть.

*Качались кольца на деревьях,
опали с факелов отрепья
густого дыма, а на Невке
не то сирены, не то девки —
но нет, сирены — шли наверх,
все в синеватом серебре,
холодноватые — но звали
прижаться к палевым губам
и неподвижным, как медали.
Но это был один обман.*

.....
*Вертя винтом, шел пароходик
с музыкой томной по бортам,
к нему навстречу лодки ходят,
гребцы не смыслят ни черта;
он их толкнет — они бежать,
бегут-бегут, потом опять
идут-зазорные-навстречу.
Он им кричит: я искалечу!
Они уверены, что нет...
И всюду сумасшедший бред.*

А еще через несколько лет в статьях литературных критиков Заболоцкий и Клюев будут обвинены в кулачестве за поэмы, по смыслу диаметрально противоположные друг другу. За “Торжество земледелия” и “Погорельщину”.

(Продолжение следует)

АЛЕКСЕЙ ПАРЦЕВСКИЙ

“МОСКВА СДАНА НЕ БУДЕТ!”

Из записок военных лет

... Что делать человеку моего поколения, если ему исполнилось недавно восемьдесят лет, впрочем, сохранившему еще ясность мышления, возможность с достаточной стройностью излагать свои мысли на бумаге и имеющему горячее желание продолжать быть полезным соотечественникам и, в первую очередь, молодёжи, своим детям и внукам? Очевидно, что стоит вспомнить о делах минувших, правдиво обо всём рассказать, поделиться своим жизненным опытом и тем самым внести полезный вклад в наше, столь трудное настоящее, а также в недалёкое будущее, которое, как говорили ещё древние, “...теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно”.

С этих слов мой отец, Алексей Борисович Парцевский (1911–1998), начал свои мемуары. В них он вспоминает и своё раннее детство, и отрочество, и юность, и трудные дни войны, в которой участвовал от обороны Москвы до Победы. Отца вырастила и воспитала, также как и многих других юношей и девушек того поколения, наша Советская Родина. Он прошёл хорошую жизненную школу, начав с рядового рабочего, пройдя службу в Красной Армии в авиационных частях и став перед войной заместителем директора научно-исследовательского института. Записи, или, вернее, дневники, отец вёл с детских лет. К сожалению, все они не сохранились до нашего времени. Скромный и журналистский опыт времён войны: отец писал заметки об однополчанах в дивизионные, армейские и фронтовые газеты под псевдонимом Павел Алексеев. А в 1943 году он начал писать заметки лично для себя, хотя вести на фронте дневники запрещалось. Вот что он сам сообщает об этом.

В июле 1943 года, получив уже значительный опыт войны с немецкими фашистами, я решил записать свои воспоминания о днях войны. Эти записки были начаты вблизи от переднего края в блиндаже у разбитого дома на западной окраине станицы Крымской. И первые строки в них нередко сопровождались аккомпанементом разрывов снарядов и бомб. Далее я вернулся к этим запискам, так и получившим название “Дни войны”, летом на Карельском фронте, в землянке на 45 км шоссе Кандалакша – Куалоярви, где наш полк стоял в резерве. Потом в селе Хаж, близ Люблина, в Польше, в конце декабря 1944 года. И в разных местах после войны. Они были переписаны из разных тетрадей уже в Дрездене, летом 1947 года.

Я взял на себя смелость подготовить записки моего отца в той части, которая касается начала войны и обороны Москвы осенью 1941 года, к публикации. Тому уже 70 лет, а моему отцу в этом году исполнилось бы 100 лет...

Андрей Парцевский

22 июня. Воскресный день. Я вместе с женой и двумя дочками находился тогда на даче в Томилино под Москвой в гостях у родителей. Собрались накануне вечером в субботу – праздновать моё тридцатилетие. Приехала сестра с мужем Евгением Сокольским и сынишкой Станиславом. К вечеру затеяли чаепитие с пирогами и сладостями. Но почти все разговоры сводились к одной волнующей проблеме: когда начнётся война? Спать легли поздно.

Утром по радио звучала музыка. Радиотрансляционные точки ведь в каждом доме и работают с 6 часов утра. Сообщение о том, что в 12 часов дня по радио выступит Молотов, прозвучало неожиданно. Вся семья собралась у радио.

Звучат взволнованные слова Молотова. Чувствуется, что он сам глубоко переживает то, о чём говорит.

“Граждане и гражданки Советского Союза!

Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причём убито и ранено более двухсот человек. Налёты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории.

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключён договор о ненападении, и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершенно несмотря на то, что за всё время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей...

...Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!”

Зиночка заплакала. А старшая моя дочка Маринка, видя тревожное настроение, залезла на коленки ко мне и требовала, чтобы её развлекали.

Итак, война началась. Это значит, что красный листок, вложенный в мой военный билет, на котором написано: “по особому вызову”, скоро должен выполнить свое предназначение. Женя Сокольский также вскоре должен быть мобилизован.

Не теряя драгоценного времени, мы решили строить убежище для семьи в саду, недалеко от дома. Заняться этой работой нам, мужчинам, сейчас значит занять работой и женщин, дать им время успокоиться.

...Везде обсуждают речь Молотова. Строятся различные предположения, начиная от таких, где говорят только о приграничных боях, защите собственных границ. И заканчивая вероятными возможностями наступления на Варшаву и переходом угнетённого рабочего класса Европы на сторону СССР. Называют различные сроки, но все сходятся на том, что война продлится не более пары-тройки месяцев. Настолько сильна вера в Красную Армию и Красный Флот.

Вечером соседи-подростки вызваны в поселковый совет: разносить мобилизационные повестки. А построенное нами убежище пригодилось буквально вскоре, когда над Москвой стали появляться самолёты противника.

На следующий день, в понедельник, на работе установили постоянное дежурство команд МПВО. Москва затемнена, ночь проходит в ожидании налёта вражеской авиации, но пока всё спокойно. В ночь на 24 июня объявляют воздушную тревогу. Население ряда близлежащих домов уходит в построенное нами бомбоубежище. Команды МПВО дежурят на улицах и крышах. Стреляют зенитки, строчат пулемёты, шарят по небу прожектора. Под утро несколько самолетов проходят высоко в облаках. Тревога оказывается учебной. Всё в порядке! Пока... Но что будет завтра, если немцы и в самом деле начнут бомбить столицу?..

Следующим утром выясняется, что вражеские самолёты действительно пытались совершить налёт. Бывший рабочий института Егоров, а теперь зе-

нитчик, прибывший за расчётом на предприятие, рассказал, что в районе Голицына сбит немецкий «Юнкерс».

... Каждый день уходят в армию призванные граждане. Производство приходится перестраивать, ставить на опустевшие места женщин и изменять план применительно к первоочередным военным нуждам.

Начинается подготовка военного ополчения. Наши женщины шьют вещмешки, называемые «сидорами», подготавливают необходимые ополченцам вещи. Настроение народа относительно бодрое, хотя вести с фронтов начавшейся войны довольно неутешительные и глубоко тревожат. По радиотрансляции звучат названия оставляемых противнику городов, а затем неизменная песня: «Прощай, любимый город!». На улицах много призванных с вещмешками за плечами, они идут обычно с провожающими. Слышатся старые песни времён гражданской войны – это группы призывников проходят от сборных пунктов к вокзалам. Но общественный транспорт, магазины, театры и кино работают, как обычно.

Появились первые сводки Совинформбюро. Из сообщения от 28 июня следует, что везде идут тяжёлые бои. Называются Шауляйское и Минское направления. А вот на Луцком направлении «... в течение дня развернулось крупное танковое сражение, в котором участвует до 4000 танков с обеих сторон. Танковое сражение продолжается. В районе Львова идут упорные, напряжённые бои с противником, в ходе которых наши войска наносят значительное поражение ему. Наша авиация вела успешные воздушные бои и мощными ударами с воздуха содействовала наземным войскам. При налёте на район Тульчи нашей авиацией уничтожено 2 монитора противника на реке Дунай. На остальных участках фронта наши войска прочно удерживают госграницу».

28 июня. Меня вызывают во Фрунзенский РК ВКП(б), где специальная комиссия подбирает коммунистов в ударный отряд. В коротком разговоре с секретарём райкома Богуславским услышал: «Вам придётся подождать. Вы – лётчик, и будете призваны особо».

Ожидание призыва становится нестерпимым... Всё уже готово для ухода в армию. Нашлась замена на работе. Устроил все домашние дела. Уложил в вещмешок всё необходимое. Сходил в военкомат, просил записать добровольцем, а услышал дежурные слова: «Ждите! Вас вызовут!»

3 июля. Жаркое утро. На работе звучит телефон: «Через два часа прибыть в пункт сбора на Шаболовке, 21. Иметь при себе следующие документы...».

Но разочаровали! Вместо авиации призвали на курсы политруков МВО. Курсы находятся в летних лагерях в Покровском-Стрешневе, совсем рядом с Москвой. Правда, всех призванных успокоили: «Пройдя двухмесячные курсы, получите воинское звание и будете направлены на политработу в те войска, где служили ранее в кадрах!». Снова начинается воинская служба...

Уже при решении всяких организационных вопросов выяснилось, что все мои новые товарищи призваны из запаса, всем по 25–35 лет. Все являются членами ВКП(б).

С 3 июля по 7 сентября я нес службу курсантом в Покровском-Стрешневе. Каждый день проходит за учёбой. Тяжёлые марши с полной боевой нагрузкой. Тактика: «Противник слева! Противник справа! Перебежками, вперёд! Ползком, вперед – 100 метров, марш! Взвод, газы!». И это всё в пыли, под июльским солнцем. Рытьё щелей и обучение штыковому бою: «Коротким коли! Длинным коли!»... Потом изучение трудов Ленина и Сталина, «Краткого курса истории ВКП(б)», политработа в различных боевых условиях. Так – каждый день по 10–12 часов. Спать приходится мало и, когда это удаётся, в палатках. Снимаем только сапоги. Под головой патроны и гранаты, винтовки рядом. Учебный батальон курсантов готовят в любую минуту быть готовыми к борьбе с парашютными десантами противника, о них много говорят, нас часто поднимают по тревоге. Раз в неделю питание выдают сухим пайком. Это копчёная колбаса, сухари и чай. Как только темнеет, звучит сигнал воздушной тревоги, по которой все, кроме наряда, уходят в щели, открытые поблизости в сосновом лесу. Так проходит первый месяц войны.

А сводки Совинформбюро всё тревожней. Из вечернего сообщения 22 июля: «В течение 22 июля наши войска вели большие бои на Петрозаводском, Порховском, Смоленском и Житомирском направлениях. Существенных изменений в положении войск на фронтах не произошло».

... Но если посмотреть на карту СССР и найти эти города, сразу становится

понятным, какую огромную территорию уже захватил противник. Каких же это “существенных изменений не произошло”?..

22 июля. Тёплый летний вечер. В 21.00 ужин был прерван стрельбой зениток. Вражеский самолёт среди разрывов зенитных снарядов уходит на запад. В 22.00 – отбой. Едва успели снять сапоги – снова сигнал воздушной тревоги. Уже темнеет. Мы, курсанты, разбегаемся в свои укрытия, наблюдаем за привычной уже далёкой стрельбой зениток и лучами прожекторов, которые рыскают по горизонту. Примерно через час зенитный огонь приближается к лагерям, и вдруг становятся видны три самолёта в лучах прожекторов. Они идут на Москву! Проклятые немцы, прорвались-таки к нашей столице. Где-то вдали слышатся тяжелые разрывы. Первые бомбы падают на город... Неужели они сумеют разрушить нашу красавицу Москву?

Зенитный огонь то усиливается, то ослабевает, возникает в разных местах горизонта. Лучи прожекторов, словно огромные руки, бродят по небу, стараются схватить цель. Летят снопы трассирующих пуль. Внезапно над моей щелью раздаётся резкий свист, и в нескольких метрах от меня что-то падает и сейчас же загорается ослепительным ярко-белым светом. Таких очагов на территории лагеря и окружающей местности возникли сотни. Это зажигательные бомбы, которые мы видим первый раз. Ближайшая ко мне бомба горит, рассыпая кругом пучки искр. Я выхватил сапёрную лопатку и начал засыпать её землей. Пламя становится меньше и, наконец, гаснет. Так же поступают и другие курсанты с остальными бомбами.

К сожалению, за забором, рядом с лагерем, загорается деревянный барак. Слышны крики женщин, плач детей. Бросаемся туда! Шагов через двадцать происходит сильный взрыв, тёплая волна сбивает с ног, со свистом разлетаются осколки – это рвётся сброшенная с самолёта фугасная бомба. Слышны ещё взрывы. Это немецкий самолёт бомбит лагерь.

“Зажигалка” у барака потушена. Женщины и дети кричали скорее от страха, чем от причинённого ущерба. Возвращаемся на территорию лагеря, перелезая через забор. Светает. Снова слышен гул моторов. Вражеский самолёт летит совсем низко. Видны жёлтые консоли и чёрные кресты на них. Все кидаются в мелкую канаву. Резкий свист и грохот, свист осколков. Всех обдаёт землей и едким дымом. В десяти метрах – воронка от бомбы, дно которой ещё дымится. Рядом, на коновязи есть убитые и раненые лошади, часть из них сорвалась с привязи и мечется по дороге...

Со стороны Москвы видно зарево – полыхают пожары. Почти совсем рассвело. Два наших истребителя пролетают над лагерем в синем небе. На территории лагеря до 30 воронок от фугасных бомб в 100–250 кг, на земле то тут, то там торчат стабилизаторы немецких “подарков” – неразорвавшихся “зажигалок”. Комендант лагеря, к ужасу всего лагерного начальства, дёргает эти бомбы за хвост без всякого страха и укладывает их охапками, как дрова. По его примеру собрано более ста таких “подарков”. На каждом – немецкие буквы на алюминиевом сплаве, из которого сделаны бомбы. По-видимому, вся бомба отлита из какого-то сплава типа “термит”. Кроме бомб находим металлические стержни длиной около двух метров с какими-то пружинами. Вероятно, это держатели для бомб. На каждой уместается по 30–40 штук “зажигалок”. В лагере потери невелики: два курсанта ранено, убито несколько лошадей. Первая бомбёжка Москвы закончилась – сколько их ещё предстоит увидеть и пережить?..

Через два дня наш взвод находился в полевом карауле. К вечеру добрались до села Воскресенского, что около Тушино. Расположились на возвышенности, метров за 200 от шоссе. Начальник караула расставил секреты. Хорошо был виден Тушинский аэродром, где когда-то я впервые совершил полёт на самолёте, прыгал с парашютом, где проходили шумные авиационные праздники. Рядом – крутой берег Москвы-реки. На нём корпуса новых зданий. Над городом на стальных тросах в изобилии висят аэростаты воздушного заграждения. Тихий и тёплый летний вечер. Мирно гудят комары, всё время норовят впиться. Мало что напоминает о войне.

Темнеет. Далеко вправо по долине реки видны вспышки. Бледные лучи прожекторов начинают шарить по небу. Через полчаса слышны гудки. В Москве объявили воздушную тревогу. Значит, опять налёт! Москвичи прячутся в метро. Верно, и Зина, жена сейчас с детьми торопится укрыться там. А я ничего не могу для них сделать!..

Вот уже видны разрывы, лучи прожекторов вспыхивают и погасают, доносится стрельба зениток. Вскоре зенитки начинают стрелять рядом, прикрывая аэродром. Большой участок неба над полемым караулом покрывается разрывами зенитных снарядов. Прожекторы действуют сразу в нескольких местах. Их сотни. Над Москвой-рекой виснут фонари и медленно плывут к земле. Это вражеский самолёт сбросил осветительные бомбы, указывая, по-видимому, курс на Москву. В самой столице видно зарево, доносятся взрывы. Значит, немцы всё-таки прорвались. В лучах прожекторов виден самолёт, вдруг он бросает зелёную ракету. Прожектора гаснут. Это наш ночной истребитель.

Тревога продолжается около трёх часов. С того места, где я нахожусь, видна вся картина ночного налёта немецких бомбардировщиков на Москву.

...Учёба идёт своим порядком. В конце июля приходит приказ о её продлении с двух до шести месяцев. Многим это кажется слишком большим сроком: война, мол, скоро закончится. Другие, более осторожные, думают, что немцев постигнет разгром зимой, как Наполеона. О более длительных сроках речь не идёт. Кое-какие ретивые писаки в газетах приводят данные о том, что для ведения длительной войны, скажем, в течение года или более, у немцев не хватит нефти. Существует ещё надежда на то, что пролетариат захваченных немцами стран поднимется в защиту Страны Советов.

7 сентября. Приходит приказ о переходе на зимние квартиры в Алёшинские казармы. На одном из занятий рассказали, где нам выпало служить. Эти казармы раньше назывались Крутицкими по названию соседнего Крутицкого подворья, основанного ещё в XIII веке. В XVIII веке они были переданы под казармы частям жандармского корпуса. При них существовала и политическая тюрьма. В ней 7 месяцев провёл в заключении А. И. Герцен. Потом в казармах размещался Московский внутренний гарнизонный батальон. С начала Первой мировой войны в них находилась 6-я школа прапорщиков, которую во время Великой Октябрьской социалистической революции захватили красногвардейцы. С 1922 года казармы названы Алёшинскими – по фамилии одного из героев Октябрьской революции 1917 года А. А. Алёшина.

Маршевый переход в казармы поразил меня! Насколько же изменилась Москва за три месяца. Мостовая, по которой шли, имеет пятнистую окраску. Рядом – макеты из фанеры, изображающие крыши. Ими шоссе заставляются при воздушных налётах. Большие здания раскрашены жёлто-черными пятнами. Кое-где натянуты маскировочные сети. С помощью таких же сетей изменена форма здания Центрального театра Красной Армии, куда нас однажды сводили на спектакль, посвященный А. В. Суворову.

Поток машин с различными военными грузами, замаскированными зелёными ветками, стремился на выезд из Москвы. Автобаты везут на фронт боеприпасы, продукты. На улице много граждан в полувоенной форме с противогазами, иногда и с оружием. Это – народное ополчение. С противогазами не расстаёмся и мы, курсанты: ходят упорные слухи о возможном химическом нападении врага. Маршевую колонну обгоняют большие автобусы с ранеными. В 300–350 км от Москвы идут жестокие бои в районе Смоленска и Ельни. Противник наступает по всем фронтам и добился больших успехов. Врагу оставлен Киев. Бои идут у стен Ленинграда.

Самую большую опасность представляют немецкие танки. Нас учат, как бороться с танками: не бояться, устраивать засады, подползать ближе, метко метать бутылки с горючей смесью или связки гранат в заднюю часть танка. Появляется новое средство борьбы с танками: противотанковая граната. Правда, их мы ещё не видели. На вооружении у нас винтовка СВТ и польские трофейные гранаты.

...В Алёшинских казармах учёба продолжается. Во дворе отрыли “щели”. По сигналу воздушной тревоги разбегаемся по своим местам. Я назначен командовать двумя расчётами спаренных пулемётов “Максим” на треногах. Почти каждую ночь бывает налёт – совсем немцы не дают спать.

На дворе конец сентября. Воздушные тревоги начались и днём. Однажды, часов в пятнадцать, объявили воздушную тревогу. Я со своими расчётами был у пулемётов. Сначала слышалась стрельба зениток. Вдруг из низких облаков вывалился чёрный немецкий бомбардировщик “Ю-87” и полетел мимо казарм. Дал вводную, и расчёты начали палить длинными очередями. “Юнкерсу” пришлось сбросить бомбы на пустырь, в нескольких сотнях метров в стороне. Потом он резко свалил в сторону и ушёл вдоль Москвы-реки.

Однажды ночью мы наблюдали, как прожектора высоко над городом схватили в свои лапы вражеский бомбардировщик. Кругом огненными комочками засверкали разрывы зенитных снарядов. Самолёт вспыхнул длинным языком пламени и упал вниз.

Устраиваются двухсторонние учения: марш в район Крюково и “бой” с курсами “Выстрел”. Они – “синие”, курсы политработников – “красные”. Много бестолковщины, пальбы холостыми патронами. Вышли из Москвы ещё часа в три ночи, поднятые “по тревоге”. А “война” продолжалась до позднего вечера. Километров шестьдесят в движении. После команды “Отбой!”, порядком мокрые от лазания по лесу, “враги” выстраиваются длинной шеренгой. Прямо напротив меня какой-то седой генерал начал делать разбор учений. У меня вдруг потемнело в глазах от усталости... очнулся уже на земле. Свалился в сторону генерала, едва не задев кого-то из генеральского окружения штыком винтовки!

Через несколько дней находимся на стрельбище в Нахабино. Все мокрые – дождь льёт не прекращаясь. Наутро занятие: наступление стрелкового взвода с боевой стрельбой. Задача в том, чтобы поразить максимум мишеней на различных дистанциях. К вечеру продырявленные мишени наглядно показывают достигнутые успехи. Недаром учились! Будущие политработники, мы сбросили свой гражданский облик вместе с жирком мирных лет. Думаю, войска получат достойное пополнение политработников. Пота в учёбе пролито много, но, надо признаться, пополнены как строевые, так и политические знания.

3 октября. В клубе Алёшинских казарм выступает с докладом женщина – представитель Коминтерна: “...Гитлер снова перешел в наступление! Он хочет взять Москву!...”

Москва с каждым днем пустеет. Уехали дипломаты, часть правительства. Стало намного меньше детишек. Они уже на Востоке – в Сибири. Кое-кто из гражданских просто сбежал от бомбёжек.

А к нам прибывает пополнение: политработники, призванные из запаса. Многие уже не помнят, как нужно обращаться с винтовкой.

Однажды утром, в десятых числах октября, всех, кто находится в казармах, выстраивают во дворе. Из курсантов и пополнения формируют полк. Я назначен командиром пулемётного отделения. Расчёт: два курсанта и призванные из запаса батальонный комиссар и три политрука. Приходится усиленно обучать своих новых подчиненных устройству станкового пулемета, готовить ленты для стрельбы, набивать их бронебойными патронами, пули которых окрашены в чёрный цвет. Проверять наличие необходимого снаряжения. Роздан НЗ (неприкосновенный запас). С минуты на минуту весь полк ожидает приказа на выход из казарм. Ходят слухи, что полк приготовлен для уличных боёв в Москве...

15 октября. Государственный Комитет обороны СССР принял решение об эвакуации Москвы. На следующий день началась эвакуация (в Куйбышев, Саратов и другие города) управлений Генштаба, военных академий, наркоматов и других учреждений, а также иностранных посольств. Осуществляется минирование заводов, электростанций, мостов. При этом И. В. Сталин принял решение не покидать Москвы и остался в городе.

16 октября. Самый тревожный день! Начальству курсов и части курсантов приказано убыть в город Горький. Имущество курсов грузится на грузовики и отвозится на станцию Москва–Курская. Моё отделение назначено сопровождать грузы. На улицах неспокойно. У Крестьянской заставы толпа народа. Оказывается, предприятия не работают. Чтобы пробиться с гружёными автомобилями через людской поток, приходится расталкивать кое-кого прикладами. Легковые машины, пытающиеся проехать на Рязанское шоссе, толпа не пускает, заставляя пассажиров вылезать из них.

В этот день, часов в двенадцать, в расположение полка пришёл мой отец, Борис Иванович, договариваться о том, как быть, если немцы войдут в Москву. Решили: он с матерью, Зинаидой и детишками уйдут через Томино в леса по Казанской дороге и далее на Восток. Не хочется верить, что Москва будет оставлена. Тяжёлый, чёрный день! Он после войдёт в историю как “день смятения”.

17 октября. Утром приказ: собраться и строиться. Длинная походная колонна курсантов в полном походном снаряжении идёт по обезлюдевшим улицам столицы. Женщины, не стесняясь, плачут, провожая нас.

Путь оказывается недалёким. Клуб имени Кухмистерова. Курсантский полк назначен в распоряжение коменданта Москвы для охраны города. На следующий день я – начальник патруля на улице Горького. Проверяем документы у всех подозрительных лиц и военнослужащих. За день задерживаем человек сорок. Всех задержанных отводим на Манежную улицу, дом 7, к дежурному коменданту. Там идёт сортировка. Добрая половина из них – дезертиры. За спиной сидящего за столом дежурного дверь в комнату, где складывается отобранное оружие. Чего там только нет, начиная от станковых пулемётов и кончая финскими ножами.

Ночью патруль идёт по пустынным улицам, ведь в Москве действует комендантский час. Воздушная тревога. Разрывы зенитных снарядов над головой. Осколки сыплются вниз, визжа на разные голоса и стуча по крышам и мостовой. Заспанные, полуодетые москвички бегут по улицам в убежища. Особенно жалко поднятых среди ночи детишек. Зина, наверное, тоже бежит в метро, прижимая к себе дочек...

Через день, ночью, патруль проверял подозрительных лиц на станции метро “Охотный ряд”. Тяжёлый сон стариков и старух, женщин и детей на жёстких топчанах, расставленных по всей платформе. Задерживается несколько человек. У них отбирается оружие, несколько ручных гранат. Необходимо отнести их к дежурному коменданту. Очень темно, холодная октябрьская ночь, моросит дождь. Вдруг двое задержанных бегут. Приходится стрелять. Но беглецы скрываются в непроглядной мгле...

Утром на Манежной площади находим брошенный кем-то у Манежа “газик”. Присланный из комендатуры шофёр забрал машину.

20 октября. Назначен начальником комендантского патруля на Казанском вокзале. Поезда ходят с перебоями. На вокзале тысячи людей в ожидании отправки на восток. Занавешенные окна, полусвет, воздушная тревога, стрельба зениток, разрывы зенитных снарядов. Обычная ночь октября 1941 года в Москве...

Задерживаем подозрительного типа в полувоенной форме, который пытается убедить нас: “...немцы прут с такой силой, что Москва не удержится! Но вообще-то немцы – хорошие люди, они очень любят организованность и порядок...”

После обыска в отделении железнодорожной милиции у него находят документы на разные фамилии. Тут же им занялся следователь.

20 октября. Вечером на курсах зачитывают приказ по Московскому гарнизону. ГКО вводит в Москве и прилегающих районах осадное положение. Командующим армиями на дальних подступах к Москве назначен генерал Жуков, на ближних – генерал Артемьев. Но самое главное то, что приказ подписан Сталиным в Кремле! Это означает, что Москва сдана не будет.

Однажды, когда наш патруль находился в метро “Площадь Революции”, приехала жена, и мы недолго поговорили, сидя на лавочке. Я одет в солдатскую шинель с зелёными петлицами, подпоясан “тёплым” брезентовым ремнем и вооружён винтовкой. Должно быть, очень напоминаю одну из бронзовых фигур, что находились на станции до войны... А теперь все бронзовые фигуры сняты и, по-видимому, спрятаны. Впереди ещё вся война!

Очень страшна бомбёжка в городе. Ночью, в полной темноте, грохает близкий взрыв, жалобно звенят осколки стёкол, летящих из всех витрин и окон на мостовую. Однажды на Ильинке, после взрыва бомбы, осколок стекла глубоко вонзился в шею одного из наших курсантов. Кровь била ручьём. Мы с патрульными пытались её остановить, затащили раненого в освещённый подъезд. Пока звонили в “скорую” и пытались заткнуть рану индивидуальными пакетами, курсант потерял сознание и умер у нас на руках...

Ещё день. После обеда меня и еще нескольких курсантов-москвичей вызывает начальник курсов. Курсантов в полку осталось немного: большинство продолжает учёбу в тылу, где-то в Горьком.

– Вы пойдёте на фронт. Немцы близко от Москвы. Надо воодушевить её защитников, надо улучшить политическую работу среди бойцов. Вы московские коммунисты, и мы на вас надеемся. Как только вам будут присвоено воинское звание политрука, мы вам сообщим.

Курсанты, которые рвутся на фронт, заверили батальонного комиссара, что его доверие будет оправдано. Да и как может быть иначе? Ведь немцы остановлены в 40–50 километрах от города. А что для меня Москва? Москва не

только город, где я вырос, где сложился как человек, здесь – моя семья, мой дом. Москва – сердце Советского Союза, большая звезда на карте, на которую с волнением и тревогой смотрят миллионы людей во всём мире!

Москва сдана не будет! Это на данный момент лозунг всех москвичей, оставшихся в столице. Это лозунг всех бойцов, защищающих Москву!

Лицо Москвы с каждым днём меняет свой облик. Баррикады из мешков с песком и землёй, заграждения из стальных “ежей” на улицах, доты и дзоты на перекрёстках, пушки в капонирах во дворах и домах. Идёт постоянное строительство укреплений. Трудятся десятки тысяч москвичей, и особенно москвичек. Идёт упорная работа на заводах и фабриках, где, на оставшемся после эвакуации оборудовании, изготавливаются автоматы и миномёты, снаряды и мины. Уходят снова на фронт отремонтированные танки. Примерно половина Москвы эвакуирована. Воздушные налёты стали очень частыми, бывают и днём, и ночью. Но налёты уже никого не пугают. Отдельные прорвавшиеся самолеты врага Москва встречает градом пуль и снарядов. “Зажигалки” гасят, и большого вреда они не наносят.

“Мы выстоим!” – пишет в “Правде” Илья Эренбург. Он прав – москвичи это доказывают своим делом. Недаром они тысячами вступают в народное ополчение, ведут борьбу с бомбёжками врага, паникой, слухами, подозрительными элементами, бандитизмом.

Москвички, рабочие и служащие, домохозяйки, посетительницы театров и клубов, стадионов сменили туфельки и демисезонные пальто на сапоги и телогрейки, взяли в руки лопаты и под проливным осенним дождём в липкой грязи копают рвы против немецких танков, сооружают окопы, доты и дзоты, перевыполняя все нормы.

Каждый москвич находит себе дело в городе, фронт от которого в нескольких десятках километров, в городе, к которому тянутся только три железные дороги, не перерезанные врагом. Жизнь в Москве идёт нормально. Пускай в городе уменьшилось движение, темно по вечерам и ночью, пускай грохочут орудия и падают бомбы и “зажигалки”, каждый москвич знает, что это временно, что Москву немцам не взять, что они найдут себе здесь только смерть. Подавятся и умрут под Москвой!

... Несколько курсантов, в том числе и я, идём через весь город к Можайской заставе. Здесь, в большом здании, штаб бригады московских рабочих и политотдел соединения. Рядом с домом большая воронка от бомбы, и осколками избита вся стена соседнего дома. Вечереет. Начальник политотдела ставит задачу:

– Вы пойдёте в роты. Помните, отступить некуда. Мы у самой Москвы, нужно погибнуть, но немцев в город не пустить. Ваша задача – создать такое настроение у всех бойцов.

К концу совещания воеет сирена, стучат зенитки, немецкие самолёты где-то в серых осенних облаках летят на Москву. С полчаса нам приходится сидеть в убежище под домом. Конец тревоги. Я иду в свою новую часть: 5-й полк московских рабочих, который занимает оборону в укрепленном районе Кунцево. Комиссар полка старший политрук Николаев назначает меня, курсанта Парцевского, замполитрука в роту связи. Полк занимает укрепленный район (УР), проходящий поперёк Можайского шоссе и через город Кунцево.

Здание большой новой школы. Представился политруку роты Шемякину. Познакомился с бойцами и командирами, с которыми предстоит воевать. Большинство бойцов из народного ополчения и истребительных отрядов – москвичи. Пока ещё никто не воевал. Бои с противником идут в районе Голицино–Нарофоминск. Это в 40 км от УРа.

На следующий день ознакомился с точками роты. Это узел связи полка в блиндаже под землёй в 100 метрах от автомагистрали и дежурные связисты на КП батальонов. Кроме того, средствами связи служат велосипеды и два мотоцикла.

В здании школы находится также подразделение противотанковых собак. Собачки невзрачные, но свои обязанности, по крайней мере, на учёбе выполняют образцово. Лезут под идущий трактор, как в свою конуру.

Вместе с москвичами полк продолжает строить оборону: траншеи в полный рост, перекрытые и замаскированные землёй, дзоты, позиции для орудий, противотанковые сооружения и минные поля. Всё это – в непосредственной близости от Москвы. Иногда слышен далекий гул орудий, фронт сов-

сем недалеко. Часто бывают воздушные тревоги. Недалеко от школы стоит на позициях зенитная батарея. Когда она стреляет, дрожат стены и окна здания. Иногда неподалёку падают бомбы и “зажигалки”, от них бывают и настоящие пожары. Одна из сброшенных бомб угодила в Можайское шоссе и не взорвалась. Бесконечный поток машин был пущен в объезд, пока эту бомбу сапёры извлекали из земли.

Однажды вечером возвращался из политотдела бригады на попутной машине. Был сильный мороз с ветром. Зенитки вели огонь по невидимым самолётам, всё небо было в разрывах. Свистели падающие осколки. В Кунцево автомобиль остановился. А из рупора, висящего на улице, донесся голос Сталина. Вспомнил: сегодня, 6 ноября – канун Октября. Сталин говорит: “. . . Советская власть в короткий исторический срок превратила нашу страну в несокрушимую крепость. Красная Армия из всех армий мира имеет наиболее прочный и надёжный тыл. . .

Все народы Советского Союза единодушно поднялись на защиту своей Родины, справедливо считая нынешнюю Отечественную войну общим делом всех трудящихся без различия национальности и вероисповедания. Теперь уже сами гитлеровские политики видят, как безнадежно глупыми были их расчёты на раскол и столкновения между народами Советского Союза. Дружба народов нашей страны выдержала все трудности и испытания войны и ещё более закалилась в общей борьбе советских людей против фашистских захватчиков. . .

Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они её получат. Отныне наша задача, задача народов СССР, задача бойцов, командиров и политработников нашей армии и нашего флота будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию нашей Родины в качестве её оккупантов. Никакой пощады немецким оккупантам! Смерть немецким оккупантам! Разгром немецких империалистов и их армий неминуем!”

Незабываемый вечер на холодном ветру на асфальте Можайского шоссе. Останавливаются машины, у рупора толпа. . . Зенитки ведут огонь, но никто не обращает на это внимания – привыкли!

7 ноября. Новое событие: в 7 часов утра парад войск на Красной площади в Москве. И это – в 40 км от линии фронта! Под угрозой воздушного налёта. Еще раз выступает Сталин. Враг не пройдёт! Он будет разбит и уничтожен!

После праздников полк получает новое тёплое обмундирование и дополнительное оружие. Видно, как страна заботится о фронтовиках. По Можайскому шоссе, навстречу врагу, идут новенькие английские танки от союзников. В воздухе кружатся наши истребители.

В один из дней слышится приближающаяся стрельба зениток. Немного в стороне от шоссе летит группа немецких бомбардировщиков. Пятнадцать штук. Кругом них сплошные облака разрывов зенитных снарядов. Вдруг из-за облаков выскакивают три наших истребителя. Через минуту строй немцев разбит, и бомбардировщики расходятся в разные стороны. Облака скрывают дальнейшее. Только доносится стрёкот пулеметов.

Однажды ночью грохот разрывов около блиндажа КП полка, и вся связь не работает. Утром оказалось, что бомба порвала сеть высокого напряжения на линии электропередачи. Упавший провод вывел из строя линию связи.

Один раз ездил на велосипеде навестить своих на Смоленскую площадь. Зина с детьми переехала к маме, Марии Игнатьевне, в Карманицкий переулок. Путешествие совпало с воздушной тревогой. Зазвучали гудки, остановились трамваи и автомобили. Прохожие разбегаются в убежища и подъезды домов. Жизнь на улицах замирает. В облаках слышен гул моторов, бьют зенитки, слышна пулемётная стрельба. У Бородинского моста стреляет зенитная батарея. В центре Смоленской площади установленные на грузовиках счетверённые пулеметы ведут огонь по врагу. Зина с детишками находится в бомбоубежище, рядом с домом. Вскоре тревога кончается. Только начали пить чай, опять тревога. Опять грохочут зенитки, опять надо идти в подвал. Ну ничего, фашисты проклятые! Придёт время, рассчитаемся!

16 ноября. Решил позвонить по телефону на курсы. Приказано немедленно ввиться в Управление воздушно-десантных войск Министерства обороны. На ул. Фрунзе получил предписание: “Младшему политруку Парцевско-

му А. Б. явиться в распоряжение командира 2-го воздушно-десантного корпуса в город Орджоникидзе на должность комиссара миномётной роты”.

Жена помогает вставить в петлички по два кубика и пришивает красные звёздочки к рукавам шинели и гимнастёрки. Оказывается, приказ о присвоении звания и отправке на юг был уже месяц назад, только меня не нашли. Выписывается зарплата, выдаются проездные документы. . .

19 ноября. Прощаюсь со своими бойцами. Приказ есть приказ! Хотя и не хочется уезжать так далеко от Москвы, тем более в такое тревожное время. Ведь понятно, что перелом в войне наступит именно у Москвы, и именно отсюда погонят немца обратно на Запад!

После больших хлопот удаётся отправить в эвакуацию в Сибирь жену и дочек. Тяжёлые минуты прощания. Тёмный вокзал, битком набитые вагоны. С трудом нашлось место для Зины. Как ей удастся с детишками доехать до Омска? Какие трудности придётся пережить? Увидятся ли они ещё когда-нибудь? Железную дорогу немцы бомбят, правда, сегодня – непогода. А за ночь поезд уйдёт далеко. Дальше Александрова немец не летает. Гудок! Поезд отходит от станции! Вижу напоследок сплюснутый носик Маринки, прилипший к стеклу вагона. . .

Не думалось мне тогда, что встретиться с семьёй удастся через два с лишним долгих года. Никто и не подозревал тогда, что война окажется столь длинной!

Пока долго, с пересадками добирался до Кавказа, к новому месту службы, много чего произошло. Но запомнилось очередное сообщение Совинформбюро от 29 ноября: “В последний час. Ещё удар по войскам врага. Несколько дней назад неожиданным налётом немецких войск был занят Ростов-на-Дону. 28 ноября части Ростовского фронта наших войск под командованием генерала Ремизова, переправившись через Дон, ворвались на южную окраину Ростова и вели бой на улицах города с немецкими войсками. Ночью с 28 на 29 ноября части Южного фронта советских войск под командованием генерала Харитонова, прорвав укрепления немецких войск и грозя им окружением, ворвались с северо-востока в Ростов и заняли его. В боях за освобождение Ростова от немецко-фашистских захватчиков полностью разгромлена группа генерала Клейста в составе 14-й и 16-й танковых дивизий, 60-й мотодивизии и дивизии СС “Викинг”. Немецкие войска в беспорядке отступают в сторону Таганрога. Советские войска преследуют противника. Противник оставил на поле боя свыше 5 тысяч убитыми. Захвачены большие трофеи, которые подсчитываются”.

Красная Армия наступает! 28 ноября был взят Ростов-на-Дону, который немцы удерживали несколько дней. 9 декабря освобождён Тихвин. Вот, наконец, 12 декабря в ежедневной радиосводке прозвучал ликующий голос диктора Ю. Б. Левитана:

“6 декабря 1941 г. войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся громадные потери!”

Москва выстояла, не сдалась и разгромила врага! А впереди была ещё целая война. . .

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“В БОРЬБЕ НЕРАВНОЙ ДВУХ СЕРДЕЦ”

I

Я человек несовременный – компьютером не пользуюсь, во всемирную паутину интернета не ныряю. А когда друзья удивляются и пожимают плечами – как ты, мол, живёшь без этого? – то говорю им, что в моей памяти хранится столько образов жизни, поступков, имён и событий, столько всяческих мыслей и картин истекшего времени, что мне успеть бы всё это имущество вытащить из сознания, из подсознания, из подкорки, уложить в слова, найти всему этому хаосу достойную оправу. А то ведь вместе со мной всё это пока что виртуальное богатство исчезнет аки дым, растает в небесах, растворится в подлунном мире.

“Нет, весь я не умру” – оно, конечно, так. Но лишь в том случае, если я всё успею сделать согласно русской пословице: “Что написано пером – не вырубишь топором”.

Другая же пословица, выражающая сущность всемирной интернетной болтовни, по моему убеждению, звучит так: “Вилами на воде писано”.

Примеры такого невежественного презрения к техническому прогрессу в русской литературе не новость. Ведь писала же Анна Ахматова:

*Я давно не верю в телефоны,
В радио не верю, в телеграф.
У меня на всё свои законы
И, быть может, одичалый нрав.*

Вот почему, когда в начале 2011 года наш автор Сергей Ключников отправил на электронный адрес редакции беседу журналиста И. Панина с несостоявшейся женой Рубцова Людмилой Дербиной и со своей припиской: “Высылаю интервью этого чудовища с Игорем Паниным (который, между прочим, возглавляет отдел поэзии в “Литературке” и подаёт её здесь с явной симпатией). Она несколько не раскаялась”, – я не придавал этой беседе серьёзного значения. Ну что спорить с интернетом? Собака лает – ветер носит... Однако, когда я узнал, что беседа опубликована в “Независимой газете”, то задумался. Это уже “написано пером” и потому имеет другую цену.

В предисловии к беседе, приуроченной к 75-летию со дня рождения Николая Рубцова, “жюльнарист” (так называл их Виктор Астафьев) самонадеянно заявил: “Много мифов и легенд ходит об этой смерти, но мало кто пытался

объективно выслушать непосредственного свидетеля (! – Ст. К.) Людмилу Дербину. <...> Так повелось, что личностью и судьбой Дербиной интересовалась в основном жёлтая “пресса” да самозванные “защитники Рубцова”. Между тем она сама поэт, прозаик, человек талантливый и неординарный”.

Но первым же своим вопросом к Дербиной интервьюер задаёт лживый и провокационный тон всему разговору:

“Людмила Александровна! Недавно я услышал такую историю. Якобы Рубцов незадолго до смерти упорно работал над какой-то поэмой, считая это делом всей жизни. Принёс рукопись в “Наш современник” Станиславу Куняеву, а тот поэму разругал в пух и прах, после чего Рубцов её уничтожил и, решив, что исписался, практически перестал сочинять, всё больше погружался в пьянство и бытовые скандалы, что в итоге и привело его к гибели. Мне это рассказал один поэт, ссылаясь на слова Куняева”.

Вот яркий пример того, как создаются лживые мифы и сплетни. Принесли “рукопись в “Наш современник”, где Станислав Куняев своей властью решал судьбы поэтов и рукописей, Николай Рубцов не мог, потому что в начале 70-х годов главным редактором журнала был вологжанин Сергей Викулов, а Станислав Куняев тогда не был ни сотрудником, ни даже автором журнала... Он возглавил “Наш современник” лишь в 1989 году, через 18 лет после гибели Рубцова.

Жёлтый “жюльнарлист”, как говорится, слышал звон, да не знает, где он, потому что сам Станислав Куняев в книге воспоминаний “Поэзия. Судьба. Россия”, в главе “Образ прекрасного мира”, посвящённой судьбе и творчеству Рубцова, написал о том, как осенью 1970 года за несколько месяцев до смерти Николай Рубцов был у него дома и прочитал ему небольшую поэму “Разбойник Ляля”. Она не походила на лучшие стихи Рубцова, поскольку была эпической, и самого Рубцова в ней не было, о чём Куняев и сказал ему и добавил, что поэма “не лирическая”. А сказал так потому, что сам Николай Рубцов разделял все стихи (даже талантливые) на “лирические” и “не лирические” и первые ценил гораздо выше. Николай тогда даже не расстроился, услышав мои слова, и нечего газетному щелкопёру сочинять глупости, что я “разругал её в пух и прах”, что после этого Рубцов “уничтожил поэму”, “перестал сочинять” и “погрузился в пьянство и бытовые скандалы”.

Лживый вопрос порождает лживый ответ Дербиной: **“Если бы существовала такая поэма, то я, разумеется, знала бы о ней... не было ничего такого. Куняев очень много говорит лжи. Как-то я по телевизору увидела его беседу с тележурналистом Станиславом Кучером, и Куняев там сказал, что Рубцов бросил в меня спичку, а я подошла и его задушила. Видите, как всё просто у него получается... А ещё Куняев говорил, будто я ему неоднократно писала. Это неправда. Зачем мне ему писать и о чём? Пусть он предъявит эти письма, пусть обнародует их, если они у него действительно есть! Он говорил обо всём этом так, будто он истинна в последней инстанции... Он меня назвал леди Макбет! А как меня можно сравнивать с леди Макбет? Там замысел был злодейский, а в моём случае...”**

Журналист: – Трагическая случайность?

Л. Д.: **Мы на 8 января 1971 г. подали заявление в загс, хотели официально узаконить наши отношения, думали о свадьбе. И тут всё это происходит... Вы хоть представляете, что я почувствовала и чувствую до сих пор? Все эти сорок лет я на Голгофе!”**

Со дня смерти Николая в январе 1971 года в течение четверти века я никак не отзывался в печати и даже в своих воспоминаниях о Дербиной. Осудив её в душе, я как бы вычеркнул её из своей памяти, потому что считал, что кощунственно “вкладывать персты” в разверстую рану русской истории, а ещё и потому молчал, что исповедовал истину, живущую в русском народном сознании, которое считает преступление несчастьем, а преступников несчастными, поскольку они душу свою загубили... А к такому несчастью и добавить-то нечего, всё будет лишним.

Однако со временем для меня постепенно прояснялось, что Дербина не только не ужасается своего преступления, но даже чуть ли не гордится собой, посмевшей совершить нечто сверхчеловеческое, и в своих стихах отстаивает своё природное право на подобное “самовыражение”... И тогда я понял, что народное суждение о “преступлении – несчастье” к ней неприменимо.

А к 70-летию со дня рождения Рубцова она даже стала принимать приглашения и рассказывать на телевизионных подиумах об этой трагедии и сотворять о ней новый обеляющий её миф, что случилось в передаче у Малахова "Пусть говорят". Вот тогда-то я впервые согласился на телепрограмме "Совершенно секретно" встретиться со Ст. Кучером в передаче о Н. Рубцове. Про сюжет со спичками, который так разозлил Дербину, я вспомнил лишь потому, что сама Дербина подтвердила мои слова, когда на вопрос журналиста: **"А вот некоторые пишут, что никаких спичек, тем более зажжённых, Рубцов в вас не бросал перед самой развязкой, что, мол, Дербина это сама потом придумала..."** – запальчиво ответила:

– Конечно, Дербина всё придумала! Дело в том, что я ведь подмела эти спички-то, бросила в мусорное ведро...

Но, конечно, причину нервного срыва, овладевшего Дербиной, надо искать не в истории со спичками и не в рубцовой ревности, о чём говорила она на следствии. Причина зарыта гораздо глубже. И даже создатель уникальной, удивительной книги-энциклопедии "Рубцов. Документы. Фотографии. Свидетельства" недавно трагически погибший земляк Рубцова Михаил Суров, предположивший, что после милицейского отказа в прописке Дербиной и её дочери на рубцовой жилплощади *"терять Дербиной стало нечего. А значит, и терпеть дальше рубцовские "выходки" исчезла всякая необходимость"* ("Рубцов без квартиры ей был не нужен"), – был далёк от разгадки трагедии.

Людмила Дербина то ли с искренним, то ли с благородно разыгранным негодованием заявила журналисту "Независимой газеты" о том, что никогда не писала мне никаких писем.

Ну что ж. Значит, пришло время обнародовать эти письма, которые лежали в моём архиве много лет и остались бы там никому не известными, если бы не это надменное заявление подружки Рубцова.

Первое письмо от неё я получил через несколько лет после того, как она стала отбывать срок своей неволи. В этом письме она обращалась ко мне за сочувствием как к другу Рубцова и пыталась объяснить, что и почему случилось в ту несчастную ночь в рубцовой комнатке. К сожалению, письмо это не сохранилось, и я не могу ничего из него процитировать, но вспоминаю, что такие письма от Дербиной пришли не только мне. Их получили Анатолий Пердреев и Анатолий Жигулин, с которым мы однажды встретились и решили не отвечать ей, не вступать с ней в переписку. Не обвинять. Не оправдывать. Не сочувствовать. Не замечать. Как будто её не существует. Именно так мы тогда переживали гибель нашего друга.

Второе письмо я получил в феврале 1999 года, когда Дербина давно уже была на свободе и работала библиотекарем где-то в пригороде Ленинграда. Приведу его целиком, поскольку оно содержит важные подробности из жизни Николая Рубцова.

7/II 99 г. "Здравствуйте, Станислав!

Давно собираюсь написать Вам. И повод для этого был не один раз. Обидно было, что именно Вы, Ваш журнал напечатал шизофренический бред Коняева (№ 12, 1997 г.), но этот бред такой, что каждый здравомыслящий читатель, я думаю, всерьёз его не принял. На этом я и успокоилась.

В № 6 за 1999 г. в своих воспоминаниях "Поэзия. Судьба. Россия" в разделе, посвящённом Николаю Рубцову, Вы приводите отрывки из писем жительницы Барнаула Евгении Нифонтовны Кошелевой, адресованных Вам.

С Женей Кошелевой я переписывалась больше десяти лет, лет тринадцать. Почти все письма в целостности и сохранности. Представляете эту кипу? И почти все они – это размышления о Николае Рубцове, о его поэзии, его судьбе. Сейчас я тоже ничего не знаю о ней. Но ещё в начале восьмидесятых годов она сильно болела. Не знаю, жива ли она. Я очень ей благодарна. В неволе я жила её письмами, она была почти единственным читателем моих стихов. Но, конечно же, к некоторым её сообщениям надо относиться критически. Фантазёрка она ещё та. Вот в письме от 22/XII-73 г. Женя пишет Вам: "Судьба мне дала единственную встречу с Рубцовым. Это было в 57 году на Алтае. Дорога шла через сосновый бор. Он сидел на пригорке..." Но этого не могло быть. В 57 году Рубцов бороздил морские просторы на своём эсминце. А на Алтае он был летом 1966 года.

В письме ко мне от 29/VII-73 г. она меня спрашивает: "Скажите, мог ли быть Николай Рубцов на Алтае летом (VI-VII) 57 г.? В каком году он вернулся из армии?"

Не думаю, что я могла ей ответить утвердительно. Коля ушёл в армию, во флот в 1955 году. А на флоте служили 4 года. Вот и считайте. Отпуск дали ему только через 3 года службы. Тая его не дождалась, вышла замуж. Так что тот юноша на пригорке, конечно, был не Рубцов. Женя тут выдаёт желаемое за действительное. А теперь, что окончательно меня подвигло на письмо к Вам, это гнусная лживая статья в "Труде" за 27/1 2000 г. Виктора Астафьева. Николай последние полгода вообще не общался с этой семейкой, они были в ссоре. А он пишет, что будто был у нас незадолго до 19/1. Представляет меня как грязную пьющую бабу. Это меня-то! Не был он и в больнице у Коли. Если бы он был, то Коля мне обязательно сказал бы об этом. Эту встречу Астафьев расписал бы, а тут: "Я его вызвал, он ко мне вышел". И вдруг с места в карьер Коля стал ему начитывать старые стихи. В общем, сплошная ложь.

У меня к Вам большая просьба. Я послала открытое письмо Астафьеву в газету "Труд". Посылаю и Вам. Ну, во-первых, пришипьте моё письмо, как и письма еврея Э. *, к 15-томному изданию "великого" писателя. Шучу, конечно.

А во-вторых, если "Труд" не напечатает, что вполне может быть, то напечатайте Вы, пожалуйста. Вы общаетесь с газетчиками и отдайте в любую газету, в какую считаете возможным. Я полностью полагаюсь на Вас. Николай любил Вас, часто вспоминал. Только и слышишь, бывало: "Стасик, Стасик..."

А я лелею надежду, что, может быть, тот патологоанатом, имя которого держат от меня за семью печатями, хотя бы перед смертью признается, что умер Николай от инфаркта сердца, а не от удушения. Экспертиза была фальшивая. Я уже не сомневаюсь.

Вот у меня и всё.

Желаю Вам творческих успехов, процветания Вашему журналу. Его очень любят люди, в библиотеке нашей его буквально — на разрыв.

С большим уважением к Вам

Людмила Дербина"

Письмо слишком серьёзное, чтобы его забыть, хотя с женщинами всё бывает.

Когда я прочитал письмо Д., обращённое к Астафьеву, то, честно говоря, мне впервые стало жалко её. И без того она живёт с непомерной тяжестью на душе от содеянного, а тут Виктор Петрович унизил её на всю страну, унизил сознательно, мелко и жельно. И, как я сам догадался, много присочинив. Я знал, что Астафьев в своих воспоминаниях ради красного словца не пожалеет ни мать ни отца. А тут какая-то случайная рубцовская подруга...

Вот почему после некоторых колебаний я исполнил просьбу Дербиной и передал её послание Астафьеву в руки В. Бондаренко, который был автором самой, может быть, резкой и беспощадной статьи "Порча" о Викторе Петровиче, нашем классике, человеке из простонародья, лауреате всех советских премий и Герое соцтруда, авторе знаменитого письма Натану Эйдельману, которым в 80-е годы зачитывалась вся русская патриотическая интеллигенция, писателе, с которым как с писаной торбой носилось партийное начальство сначала Вологды, а потом Красноярска, не зная, как ему угодить с квартирами и дачами, человеку, который обернулся таким антисоветчиком, что всем его друзьям-фронтовикам стало плохо от его ренегатства, потому что в последние годы жизни он обнялся с Ельциным, получил деньги на издание 15-томного полного собрания сочинений, куда, конечно, не вошло письмо к Эйдельману, и в конце концов поставил свою подпись под позорным письмом, одобрявшим расстрел ельцинскими холуями российского парламента...

Владимиру Бондаренке, как говорится, и карты были в руки. Он без колебаний напечатал 28 марта 2000 г. письмо Дербиной, в котором она вспоминает, что Коля Рубцов в сердцах однажды назвал Астафьева "обкомовским прихвостнем".

Газету "День литературы" после её выхода с письмом Дербиной я отослал ей в Питер, но от себя не написал ни слова, потому что всё, что она эти десятилетия говорила о роковой январской ночи, отталкивало меня либо фальшью, либо беспредельной гордыней. Она никак не могла найти единственно верных слов ни для себя, ни для мира, ни для Господа Бога. Поскольку

* Имеется в виду Н. Эйдельман.

ку “День литературы” опубликовал письмо Дербиной в сокращении, я публику его целиком.

“МОСКВА Газета “ТРУД”

Открытое письмо писателю Виктору Астафьеву.

Виктор Петрович!

Давно приучаю себя не реагировать на камнепад клеветы, который сыплется на меня вот уже почти 30 лет. Да вот, не получается. Всё во мне восстаёт, хотя давно надо быть бы по-христиански смиренной и молиться за обидящих и ненавидящих меня.

Вот, наконец-то, и Вы публично высказались в газете “Труд” (27/1-2000 г.) и заклеили подлужу убийцу Николая Рубцова. Я читала и не удивлялась, потому что давно поняла Вашу суть: Вы навеки уязвлённый человек, в Вас живёт неиссякаемая злоба на весь человеческий род, которому Вы всё мстите и мстите за пинки, которые некогда получили. Теперь-то, уж давно обласканному властями, осыпанному всеми возможными наградами и премиями, надо бы подобреть, если уж не милосердным, то хотя бы снисходительным быть к людям и их человеческим слабостям. Но Вы обязательно должны кого-то унижать, кого-то жестоко высмеивать, хотя бы походя, но куснуть, ужалить. Вы, как писатель, далеко идёте в художественном вымысле в своих романах. На то они и романы. Но художественный вымысел о конкретных людях может называться только одним именем. Ложь должна называться ложью.

Давайте-ка разберём Вашу статью “Гибель Николая Рубцова” и кое-что уточним в ней, поскольку я ещё живая и могу напомнить Вам то, что Вы с течением времени, может, и подзабыли уже. Ясно одно, что мне придётся защищать от Ваших, мягко сказано, “неточностей” не только своё достоинство, но и память Николая Рубцова.

Вы пишете, что были в квартире Рубцова накануне трагедии: “...Дома были оба и трезвые... – Когда сочетается-то? Они назвали число. Выходило, через две недели после крещенских морозов”.

Но Вы в январе 1971 года у нас не были. При мне в квартире Рубцова Вы были единственный раз в феврале 1970 года. Вы пришли к нам вечером в длиннополом пальто, в таких интересных сапогах, у которых голенища были, как валенки. Вы даже не разделись. Расстегнув пуговицы пальто, Вы присели на стул. Речь шла в основном о Вас, о том, какой Вы умудрённый жизнью человек, прошли войну, всё видели-перевидели, всё испытали и теперь уже на три аршина в землю видите всё. Минут через 15-20 Вы ушли, так и не встав ни разу со стула.

Естественно, что никакого диалога о сроках нашего бракосочетания быть не могло, поскольку в то время даже и речи не заводилось на эту тему между нами, т. е. между Рубцовым и мной. Заявление в загс мы подали 8 января 1971 года, а день бракосочетания нам назначили на 19 февраля, т. е. от крещенских морозов до этого дня выходило не две недели, а ровно месяц.

“Дома были оба и трезвые”. Сразу же делается акцент на то, что в квартире проживают двое пьяниц. У меня к Вам вопрос: “А Вы меня когда-нибудь видели пьяной?” Слава Богу, проблемы с алкоголем у меня никогда не было за всю мою жизнь.

“...Из неплотно прикрытого шкафа вывалилось бельё, грязный женский сарафан и другие дамские принадлежности ломались от грязи”. Более страшного оскорбления для женщины быть не может. Но у Рубцова в квартире шкафа никогда не было. Да и зимой 1970 года никаких моих дамских принадлежностей быть не могло. Мы жили раздельно, и я была в гостях у Рубцова, а все мои вещи, естественно, остались дома.

“...Изожжённая грязная посуда была свалена в ванную вместе с тарой от вина и пива. Там же кисли намыленные тряпки, шторы-задергушки на кухонном окне сорваны с верёвочки...” А когда это всё Вы успели рассмотреть своим зорким глазом, не вставая со стула? Через стену, что ли? И зачем посуду валить в ванную, когда есть на кухне мойка для этого? И зачем тару от вина туда же бросать? И намыленные грязные тряпки Вам глаза застили, и ни одного-то светлого пятнышка не было в этом вертепе. И всё это нагромождение грязи понадобилось Вам для того, чтобы притворно пожалеть бедного поэта и нещадно унижить меня: “Ох, не такая баба нужна Рубцову, не такая. Ему нянька иль мамка нужна вроде моей Марьи”.

Не знаю, как насчёт Марьи, но однажды в разговоре на житейские темы Рубцов сказал: “Астафьевы хотели выдать за меня свою Иркут”. Я изумилась: “Да полно! Это тебе показалось!” Он даже обиделся: “А чем я плох? Поэт, красавец, богач!”

Свою статью Вы начали с того, что встретили еле живого знакомого врача, который оперировал Николаю руку. Да, это врач по фамилии Жила, и Коля был очень ему благодарен за его уникальную операцию. Вы пишете, что навещали Колю в больнице и даже приносили ему гостинец – 2 огурца (так Вы пишете в письме к Старичковой) и почему-то уже 3 огурца (так Вы указываете в данной статье). Рубцов рассказывал мне, что его навестил Романов. Но о Вашем посещении он даже не заикнулся ни разу.

В письме к Старичковой Вы пишете (Источник: Николай Рубцов “Звезда полей”. Сост. Л. А. Мелков. М., Изд-во “Воскресение”, 1999 г. Стр. 592): “Я первый, принесё в больницу ему пару огурчиков (огородных), купленных в Москве, услышал стихи “Достоевский”, “В минуты музыки печальной”, “У размытой дороги”, “Ферапонтово” и ещё какие-то, сейчас не вспомню уж, которые он тут, в больнице сочинил и радовался им и тому, что я радовался новым стихам до слёз, и огурчикам первым он обрадовался, как дитя...” Ах, ах... Сколько радости!

Да вот нестыковочка получается, Виктор Петрович, и вот какая: все перечисленные Вами стихи были написаны уже давным-давно и все в разные годы: “В гостях” или по-вашему “Достоевский” – 1962 год.

“В минуты музыки печальной” – 1966 год.

“У размытой дороги” – 1968 год.

“Ферапонтово” зима – 1970 год.

В больнице Николай написал единственное стихотворение “Под ветвями больничных берёз”.

Как же так, Виктор Петрович?

Вообще при личных встречах с друзьями Николай стихи, тем более старые, никогда не читал. Ну, уж если сильно попросят. Он любил беседовать, юморить, что-нибудь смешное слушать. Ещё мне очень странно, что Вы даже не упомянули о его больной внешности. Как Вы упустили это, чтобы последний раз не поиздеваться над его жалким видом в огромном синем халате, с шапочкой из газеты на голове? Создаётся впечатление, что Вы его вообще не видели. Во всяком случае, это не Ваш стиль.

Ваш стиль вот он: “...хамство и наглость, нечищенные зубы, валенки, одежда и бельё, пахнувшие помойкой...” Бр-р-р... Так мерзопакостно ещё никто Рубцова не живописал. Сколько же затаённо-жгучей иезуитской ненависти в этом описании!

“Люди-верхоглядые, “кумовья” по бутылке и видели то, что хотели увидеть, и не могли ничего другого увидеть, ибо общались с поэтом в пьяном застолье, в грязных шинках... бывало, и спаивали его, бывало, и злили, бывало, ненавидели, бывало, тягостно завидовали. И мало кто по-настойшему радовался. Радовались мы с Марией Семёновной...” Да-а-а... “Свежо предание...”

Во всяком случае, я точно знаю, что Вашему “радению” сам Рубцов не радовался. Он был с Вами очень осторожен. Разве могла обмануть его неизменно могучая интуиция, утончённая пронизательность истинного поэта? Любую фальшь он тут же замечал. Зная Ваш пиетет к высокому областному начальству, он Вас остерегался. Правда, однажды, не выдержав, сорвался, назвав Вас “**обкомовским прихвостнем**”. Вы же были с Рубцовым в длительной ссоре. Разве не так? Так что не надо лгать о Ваших якобы идиллических с ним отношениях.

Скажу более: мы с Колей в Вологде были изгоями. Если до меня его жизнь заполняли какие-то иногда случайные люди, было какое-то общение с собратьями по перу, то после встречи со мной всё это для него стало совершенно необязательным. Я заменила ему всех, увела от всех. Это было невероятное мученическое взаимопроникновение друг в друга. Наши миры соприкоснулись, и очарование было велико. Естественно, что мне не простили это тотальное завладение Рубцовым его “друзья”. А Рубцов нашёл во мне не только мощную обратную связь своим мыслям, переживаниям, но прежде всего женщину, красивую для него женщину. Он говорил мне: “Люда, ты так стройно живёшь, не пьёшь, не куришь”. В вопросе о женитьбе он был очень разборчив, даже крайне щепетилен. Осознавая свою драму пьющего человека,

на женщине пьющей и курящей, да ещё неряхе он никогда бы не женился.

Да, с нами стряслась беда. Не выдержала я пьяного его куража, дала отпор. Была потасовка, усмирить его хотела. Да, схватила несколько раз за горло, но не руками и даже не рукой, а двумя пальцами. Попадалась мне под палец какая-то тоненькая жилка. Оказывается, это была сонная артерия. А я приняла её по своему дремучему невежеству в медицине за дыхательное горло. Горло его оставалось совершенно свободным, потому он и прокричал целых три фразы: “Люда, прости! Люда, я люблю тебя! Люда, я тебя люблю!” Сразу же после этих фраз он сделал рывок и перевернулся на живот. Ещё несколько раз протяжно всхлипнул. Вот и всё. Буквально до последних лет для меня было загадкой, почему он умер. Но теперь я, наконец, поняла, что он умер от инфаркта сердца. У него было большое сердце. Во время потасовки ему стало плохо, он испугался, что может умереть, потому и закричал. Сильное алкогольное опьянение, страх смерти и ещё этот резкий, с большой физической перегрузкой рывок – всё это привело к тому, что его большое сердце не выдержало. С ним что-то смертельное случилось в момент этого рывка. После этого рывка он сразу весь обмяк и потерял сознание. Разве могли два моих пальца, два моих женских пальца сдавить твёрдое ребристое горло? Нет, конечно! Никакой он не удушенник, и признаков таких нет. Остались поверхностные ссадины под подбородком от моих пальцев, и только. А я тогда с перепугу решила, что это я задушила его, пошла в милицию и всю вину взяла на себя. Сказала это роковое для себя слово “задушила”. Делу был дан ход. Все вологодские писатели и Вы в том числе изначально отказались от меня. К сожалению, отказались и от правды. Вот тогда я и вспомнила слова Николая: “Если между нами будет плохо, то они все будут рады”. Все вы способствовали тому, чтобы меня засудили, не пожалели моего маленького ребёнка. Никто не возвысил голос в мою защиту. Даже ни у кого не было попытки разобраться в истинности случившегося. Ну, хорошо. Отбарабанила я почти 6 лет, туберкулёз лёгких заработала. Чудом выжила. С Божьей помощью выздоровела. Но меня не оставили в покое. Началась беспрецедентная травля, которая продолжается до сего дня. Вы, писатели, изначально оболгали меня, и эта ложь являет миру всё новые и новые версии “убийства” Рубцова. Договорились до того, что я агент КГБ, что я была подослана к Рубцову. Вот уже почти 30 лет нет предела глумлению надо мной. Ваша статья – неоспоримое свидетельство этого глумления. Но с таким высокомерным презрением, с таким цинизмом никто не врал ни о Рубцове, ни обо мне.

Да, я издала книжку своих стихов в провинциальном “райгородишке” Вельске. Неважно где, важно что. Знали бы вологодские, какой сюрприз я им преподнесу, и типографию разнесли бы по кирпичику. Но опоздали. Сильно не понравилась им моя “Крушина”. И на костре сжигали ритуально, и колючей проволокой сплетали. Но ещё рабочие типографии, прочитав в гранках мои стихи, в знак признательности сделали сами и подарили мне роскошный фотоальбом с дарственной надписью. “Крушине” посвящено более десятка стихотворений. Я получаю множество писем, люди плачут над моими стихами, **мои** стихи уже поют. О книжке стихов из “райгородишка” уже **давно знают** за океаном, в Америке. Ваша похвала меня, как поэта, что-то запоздала. Всё исходящее из Ваших уст для меня уже ничего не значит. О том, что я не бездарна, Вы знали ещё в 1969 году. Вы надеялись, что испытания, вами мне присуждённые, уничтожат во мне дар поэта. Но не вами он дан, не вам его и отнимать. Все эти годы вы намеренно замалчивали моё имя. **Вы ждали от меня покаяния. Я покаялась перед Богом. Три года исполняла епитимью.** За утренней молитвой всегда поминаю Николая. И во мне не перестаёт звучать его голос: “Что бы ни случилось с нами, как бы немилосердно ни обошлась с нами судьба, знай: лучшие мгновенья жизни были прожиты с тобой и для тебя”. А Вам я отвечу словами апостола Павла: “Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди... Судия же мне Господь”.

Мудрый человек Александр Володин, наш с Вами современник, как-то сказал: “Если у вас отнимут всё, живите тем, что осталось. Стыдно быть несчастливым”. А я добавлю:

*Не мил мне удел человека,
размолотого на корню.*

*Во всех унижениях века
достоинство сохраню.*

Людмила Дербина.

5 февраля 2000 года.
Санкт-Петербург”.

Меня тогда в письме покорило её утверждение о том, что она себя в состоянии аффекта оговорила, что Рубцов умер не от её рук, а от инфаркта. Но я подумал: мало ли что придёт женщине в голову – тем более оскорблённой.

* * *

Третье письмо от Дербиной я получил в апреле 2000 года вместе с книжкой стихотворений “Крушина” и с надписью: “Станиславу Куняеву на добрую память от всего сердца. Л. Дербина 25/IV-2000”. Я никогда ранее не видел её и долго вглядывался в молодую, видимо, фотографию: лицо скуластое, но выразительное, запоминающееся, большие глаза, чувственный рот, сильная обнажённая шея, украшенная крупными круглыми бусами. Не то чтобы красивая, но эффектная женщина. И письмо и надпись были сделаны старательным образцовым почерком учительницы или лучшей ученицы из провинциальной школы. Одного не пойму: как могла Дербина забыть, что посылала мне целую бандероль – копию второго письма Астафьеву, отправленного в “Новый мир” в ответ на его очередные воспоминания о Рубцове, опубликованные там же, личное письмо ко мне и книгу стихотворений “Крушина” с весьма признательной и нестандартной дарственной надписью. И название книги – “Крушина” – удачное и многозначительное. По крайней мере у Владимира Даля это слово растолковывается так: “Крушина (ж) хрупкое дерево, собачьи ягоды, берёза с чёрною, шершавою корою; медвежина; крушиной – хрушкой, хрупкий, ломкий” **“Один лишь древний дух крушины всё так же горек и уныл” (Н. Рубцов)**. Многие свидетельства и факты из жизни Николая Рубцова, присутствующие в новомировском ответе Астафьеву, будут интересны для историков литературы и поклонников поэта. Да и письмо ко мне (чтобы она о нём вспомнила, привожу его целиком) – документ откровенный, незаурядный и раскрывающий самые разные черты её характера.

“Уважаемый Станислав Юрьевич!

Во-первых, спасибо за присланную газету. Я, конечно, уже купила 3 экзemplяра у Гостиного двора. Я благодарна Бондаренко, но не надо было выносить в заголовок “Обкомовский прихвостень”. В контексте это ничего, а тут какая-то обзывалка. У меня такое чувство, что меня использовала одна из враждующих сторон. А я ведь не знала, что Бондаренко ненавидит Астафьева. Ну, что есть, то есть...

В “Новом мире” ещё безобразнее текст. Я не удержалась, как могла, ответила. Один экз. посылаю Вам, конечно, там не напечатают. Да и возможно ли? В “Новом мире” сотрудники прочитают, ваше прочитают, и то хорошо. Купила ещё газету “Д. Л.” Прочитала В. Белова о Шукшине. Читала и мурашки бежали по коже. Какое счастье идти с Шукшиным по лесной тропинке целых 12 км! Вот если бы мне так! Я бы шла и молчала, а только слушала бы хруст еловых иголок под сапогами его и была бы счастлива. Шукшин приснился мне в самый момент своей смерти. Это было 2 окт. между 5-7 часами утра. Он полулежал в кресле-кровати в комнате с низким потолком. Я вошла и крепко поцеловала его в губы. Вдруг какой-то топот многих сапог бегущей толпы и крик мужчин: “Что ты наделала?! Что ты наделала?! Теперь всё кончено!” Вот такие чудеса. А 4-го я узнала из некролога в “Правде” о его скоропостижной смерти. Помню, больше месяца у меня слёзы лились из глаз сами собой, такие тихие слёзы. Если бы он был жив, и в моей жизни всё было бы не так. Он не дал бы меня в обиду на съедение коняевым. Он бы всё понял раньше других. Я ведь ему письмо написала в сентябре, кстати, на Ваш журнал. Не знаю, получил ли. Последние слова в письме были такие: “Живи-

те долго!” Он ведь приезжал в Москву незадолго до... Ой! Не хочется произносить это слово. Передайте от меня привет Ирине Ракше. Прочитала я её “голубка”. Плакала и удивлялась. Это ж надо транзитом из Москвы прямо на печку к Марии Сергеевне. Чудо!

Посылаю Вам **свою “Крушину”**. Надо бы новую книжку издать, но пока ещё не разбогатела. Спасибо, Станислав, за помощь в опубликовании письма моего. Вы человек слова. Спасибо.

Какую прекрасную книгу Вы написали о Есенине! Такую глубокую, одухотворённую, правдивую! Никто ещё о нём так не писал.

До свиданья. Всего Вам доброго, здоровья и творческих сил. А Бондаренко гонорар не платит?”

К сожалению, не платит, но об этом я не сообщил ей.

А вот и текст письма Дербиной в журнал “Новый мир”, насколько мне известно, так и нигде не напечатанного.

“ПИСЬМО

в редакцию журнала “Новый мир”

Уважаемая редакция!

Во втором номере Вашего журнала за этот год опубликованы воспоминания (“Затеси”) Виктора Астафьева о Николае Рубцове. Известный писатель Виктор Астафьев уподобился неприличному старому сплетнику с его скабрёзными побасенками. Фельетонный, развязно-насмешливый тон повествования оскорбляет память человека почитаемого и не просто почитаемого, но всенародно любимого поэта, которому воздвигнуто на Вологодчине уже два памятника. Если у писателя Астафьева не всё в порядке с нравственным чутьём, то куда же смотрела редакция такого серьёзного журнала, как “Новый мир”? Или теперь в наше абсурдное время всем всё позволено?

Я уже ответила Астафьеву открытым письмом, **которое опубликовано в газете “День литературы” за 28 марта с. г.**, на публикацию его статьи “Гибель Николая Рубцова” в газете “Труд” за 27 января. Повторяться бы не хотелось. Это моё письмо будет дополнением к предыдущему, но не исключено, что где-то и повторюсь. Заставило меня снова взяться за перо то, что в Вашем журнале ложь Астафьева явлена в ещё большем объёме и в ещё более разнузданной и циничной форме.

Так его, бедного, несёт без запинки и без остановки. Я уже не говорю о том, что Рубцов предстал, как убогий зомби, хотя это был умнейший человек. Свидетельство тому его гениальные стихи.

Но здесь особый случай. Здесь, что всего обиднее, прослеживается явная цель Астафьева путём инсинуаций намеренно выставить Рубцова в позорном виде. Впервые за 30 лет о Рубцове написали даже не просто без уважения, но как об отбросе общества, как о бомже, пропахшем помойкой. Надо совершенно не понимать природу поэта, чтобы унижать его бытом. Истинный поэт безбытен. И ему простится и его помятая рубашка, и нечищенные ботинки за тот свет и тепло, которое он несёт людям от своего чистого сердца.

Астафьев пишет, что будто бы навещил Рубцова в январе 1971 года, незадолго до трагедии. **НО ОН У НАС НЕ БЫЛ!** Последний из членов Союза писателей был у нас Александр Романов 30 ноября 1970 года. Спрашивается, для чего нужно было Астафьеву лгать? Для того, чтобы подробно “описать” страшную картину запустения и неряшливости в квартире Рубцова. Тут и моё грязное бельё вывалилось вдруг из шкафа, и в ванную он успел заглянуть и увидеть там посуду и тряпки, и бутылки – всё в одной куче. И столы обшарпаны, и шторки сорваны...

НО ШКАФА В КВАРТИРЕ РУБЦОВА НИКОГДА НЕ БЫЛО. Я как-то сказала ему: “Купи шкаф для одежды”. Он сразу же привёл в пример Михаила Светлова: “Вот и Светлову советовали шкаф купить, а он на это ответил так: “Мой костюм и на стуле повисит”. У Светлова, Люда, был всего один костюм. Зачем ему шкаф? Так и мне”. Свидетельствую, что ни мою постель, ни моё бельё писатель Астафьев никогда не видел, точно так же, как и я его. Оказывается, всю страшную картину запустения в квартире Рубцова потребовалось нарисовать для того, чтобы вынести “авторитетный” вердикт: “Ох, не такая баба нужна Рубцову, не такая. Ему нянька или мамка нужна вроде моей Марьи...” Вот надо человеку выхвалиться своей Марьей, и всё тут. Значит, кого-то надо унижить, а свою Марью возвести в образец. Марья Марьей, а однажды как-то

в разговоре Рубцов неожиданно сказал такую фразу, я привожу её в точности: “Астафьевы хотели выдать за меня свою Ирку”. Я изумилась:

– Да полно! Это тебе показалось! – Он даже обиделся.

– А чем я плох? Поэт, красавец, богач.

Начал серьёзно, а потом, как всегда, съехал на юмор. “Красавец и богач” были добавлены для смеха. Уж такой он был.

А я с Марьей Семёновной Корякиной совсем незнакома. 23 июня 1969 г. проездом из Воронежа я разыскала и навестила Колю. В этот же день он повёл меня к Астафьевым. В комнате мы были втроём: Астафьев, Рубцов и я. Где была Марья Семёновна, не знаю, но к нам в комнату так ни разу и не зашла. Примерно через полчаса мы ушли. Я видела Марью Семёновну в Вологде всего один раз в притворе дверей её квартиры осенью 1970 года. Коля пошёл отдать долг Марье Семёновне и уговорил меня идти с ним. Я только что приехала из своей деревни, застала Колю уже одетым в пальто и во хмелю, стала его отговаривать, но он заупрямился и всё тут. Идти мне с ним не хотелось, но пошла. Вероятно, это был октябрь, стояла непролазная грязь, у дома, где жили Астафьевы, во дворе некуда было поставить ногу. В мои резиновые полусапожки чуть-чуть не заливалась серая жижа. Вот и пришлось подняться по лестнице в грязной обуви. Рубцов позвонил, дверь открыла Марья Семёновна, но впускать нас не торопилась. Взгляд её испуганно-неодобрительный остановился на наших грязных сапогах. С чувством стыда я тут же немедленно сбежала вниз по лестнице этажом ниже и встала у окна на лестничной площадке. Рубцова всё ещё держали у притвора, я невнятно слышала их разговор, наконец, Рубцов вскричал: “Могу я, наконец, войти в этот дом, чтобы отдать долг?!” Голоса сразу же переместились за дверь, а минуты через две Рубцов, как ошпаренный, вскочил и, кособочась и громко топая, стал спускаться по лестнице, обиженно бурча и чертыхаясь. Так и не пришлось мне познакомиться с Марьей Семёновной, и теперь понимаю, что это для меня хорошо. Не та грязь, что на ногах твоих, но та грязь, что в сердце твоём.

Что же пишет Астафьев? “Разика два парочка эта поэтическая появлялась у нас... Рыжая, крашенная, напористая подруга Николая не поглянула на Марью Семёновну, да и мне тоже. Жена моя попросила Рубцова не приходиться к нам больше с пьяной женщиной...” Господи! Суди клеветников по правде твоей! Да нет, господа Астафьевы, как сухое говно к стенке не прилепить, так и вам из меня пьяницу не сделать! Я всю жизнь веду не просто здоровый, но, можно сказать, аскетический образ жизни. Потому и выжила, и выживаю, и ни к кому с протянутой рукой не хожу. Я всю жизнь работала от звонка до звонка, ветеран труда, медаль имею, в библиотеке Академии наук СССР работала старшим редактором в отделе научной обработки литературы. Какой это скрупулёзный кропотливый труд, требующий предельного внимания и высокого профессионализма, знают только те, кто был допущен к этой работе, только избранные библиотекари.

И я невольно задаюсь вопросом: откуда у четы Астафьевых такая изначальная ненависть ко мне, в чём я им дорожку перешла? Предположений всяких много...

Я уже 20 лет с 1980 года живу снова в Петербурге, в городе, где я родилась. А вот Астафьев пишет, что я “всеми гонимая на земле женщина, наедине живущая в глухой болотистой Вологодчине”, и лицемерно просит милосердного Бога, чтобы он не оставлял меня вовсе без призора... Никто меня никуда не гонит, а “гонит” и клеветает на меня разная околосредовая и мелкокалиберная литературная сволочь, которая делает на моём горе деньги и хочет сделать себе имя, что весьма безуспешно. Я не отвечала им. Но вот уже и тяжёлая артиллерия ударила по мне, тут я не удержалась, отвечаю. И дело тут не в моей гордыне и тщеславии. Тут страшно и цинично позорят Рубцова, оскорбляют его память. С упоением завираясь, Астафьев даже не замечает, как сам попадает в нелепое положение. Вот диалог между Астафьевым и Рубцовым:

– Ты чего, Коля?

– А я деньги получил из Москвы за книжку “Зелёные цветы”.

– Много?

– Ой, много!

Но сборник стихов “Зелёные цветы” вышел в 1971 году уже после смерти Рубцова.

А вот ещё:

– На, питайся витаминами, может, поумнееешь?
– А я уже и так умный. Стихи пишу, несколько штук уже написал. Хочешь, прочитаю?

И он прочитал “Ферапонтово”, “Достоевский”, “У размытой дороги”, “В минуты музыки печальной”...

Будто бы все эти стихи Рубцов написал во время пребывания в больнице в июне 1970 года и первым, кому их прочитал, был Астафьев, якобы навестивший его в больницу. Но эти стихи БЫЛИ УЖЕ НАПИСАНЫ ДАВНЫМ-ДАВНО И ВСЕ В РАЗНЫЕ ГОДЫ. Что это? Маразм, что ли?

Для Астафьева мы всего лишь “гулевая парочка”. Да уж, погуляли мы, бывало! Никто не знает, никто не видел моих слёз. Сколько их выплакано? Да и у Рубцова на глаза постоянно навёртывались слёзы. Я свидетельница Колиного отчаяния, его мук, его безысходности и боли за судьбу России. Он не заботился ни о чём личном, довольствовался малым, больше жалел других людей, чем себя. Что скрывать? Себя он считал пропащим, не мог побороть в себе это роковое пристрастие к спиртному. Мне он сказал как-то: “Люда, ты так стройно живёшь. Не пьёшь, не куришь”. Для меня это было моё всегдашнее естественное состояние, а ему это казалось великой добродетелью. Разве я могла спокойно наблюдать, как на моих глазах пропадает человек? Потому и в ЗАГС с ним почти согласилась, тащила его, как могла, из этого омута. Много было всяких драматических моментов и однажды случилась трагедия. То, что это случилось и случилось в самое Крещение, для меня такая же загадка, как и для всех. Но что случилось, то случилось. Но до конца жизни я буду защищать имя Николая Рубцова от клеветников, которым “не дано подняться над своей злобой”. Разве по “жалости природы” может так мерзопакостно глумиться над гениальным поэтом тот, который “радовался его стихам до слёз”? “В дырявых носках выйдя из-за стеллажей, он обвинял читателей-торфяников в невежестве, бескультурье, доказывал, что лучше Тютчева никто стихов не писал...” Вот так. И откуда торфяники-то взялись? Впервые узнаю, что жила я, оказывается, на торфоучастке в торфяном посёлке в полугнилом бараке с дырявой крышей, с перекосившимися пыльными рамами в окнах. О, Боже, да что же это такое? Ни одного слова правды!

Вероятно, речь идёт о посёлке Лоста. Но я там никогда не жила. Ну, а если бы и жила в посёлке торфяников в полугнилом бараке. Что тут зазорного-то? Почему у господина Астафьева такое презрение к торфяникам? Да у нас пол-России по баракам жили и живут. Да и сам Астафьев половину жизни прожил в бараках. Это потом уже в Вологде по дружбе с высокими партийными чинами ему пожаловали роскошные апартаменты бывшего секретаря обкома. А я жила в деревушке Троица. Некогда там стояла церковь святой Троицы, но её разрушили, а сейчас и сама деревушка исчезла с лица земли. Осталось только кладбище.

Стихотворение Рубцова “Уже деревня вся в тени” – это о Троице. “И мы с тобой совсем одни!” – это последняя строчка. Мы, действительно, всегда были одни. Мы в Вологде были изгоями. Никуда меня Рубцов не таскал, ни по квартирам, ни по редакциям, ни по мастерским художников, как пишет Астафьев. Мы были однажды за трое суток до трагедии у друга Николая Алексея Шилова и провели там замечательный вечер у этих добрых людей. Вот и всё.

Мы ни разу не были на “дружных гулянках творческих сил” и ни разу не были приглашены на встречу этих творческих сил с читателями. Тогда я не задумывалась над этим, а теперь понимаю, что это не было случайностью. Вот и сейчас, конечно, через великую силу назвал меня Астафьев даровитым поэтом. Но подленькое в нём пересилило, и он выискал строчки, которые якобы изблещают во мне “волчью суть убийцы”. Разорвал одно из сильных моих стихотворений “Люблю волков”, изъял всю середину-сердцевину стихотворения, даже знаки препинания у оставшихся обрывков оставил на месте далеко не все. Что это? Да, самый настоящий разбой! Ну, ничего. Пусть он гонорар получит за мои горькие строчки. А я думаю, что мои дела не так уж плохи, раз меня “поливают” в таком уважаемом журнале. А ещё думаю, что данные “Затеси” Астафьева журнал не очень-то украшают, всего скорей компрометируют как произведение злобное и насквозь лживое. В конечном счёте Астафьев опозорил не нас с Рубцовым, а показал ещё раз своё червоточное нутро. В чужом глазу соринку видит, а в своём и бревна не видно. Как-то ещё очень давно поэт Александр Романов даже стихи посвятил пирушкам в Овсянке.

*В Овсянке в доме тётки Нюры
такие шаньги на столе,
что не сдержат натуры-дуры:
ОПЯТЬ СИДИМ НАВЕСЕЛЕ...*

Да, вот уж, воистину, не та грязь, что на ногах твоих, но та грязь, что в сердце твоём!

Людмила Дербина, 24 апреля 2000 года
г. Санкт-Петербург.

Ярость, с которой Дербина бросается на Астафьева, неподражаема и не фальшива. Но зря она на меня огрызнулась, что я сравнил её с леди Макбет. Ведь я сказал, что они похожи характерами, а не преступлениями. Как тут не вспомнить стихотворенье Юрия Кузнецова, восхищавшегося шекспировской героиней с окровавленными руками:

*За то, что вам гореть в огне
На том и этом свете;
Поцеловать позвольте мне
Вам эти руки, леди.*

А ведь шекспировские страсти — дело нешуточное. Они в протоколы допросов и решения судов не вмещаются.

Впрочем, то, что Д. зря обиделась на меня за сравнение с леди Макбет, мне стало окончательно ясно, когда я нашёл на своих полках её сборник “Крушина” и наконец-то прочитал его.

II

Я действительно был приглашён в 2006 году на телевизионную программу “Совершенно секретно”, и мы в течение часа разговаривали с ведущим Станиславом Кучером о литературной и житейской судьбе Николая Рубцова. Я помню, что на вопрос журналиста о том, как могло случиться, что женщина, которую Рубцов собирался назвать женой, убила его, нетрезвого, слабого, тщедушного, я ответил, что, конечно, она его любила, но в ту роковую ночь у них произошла катастрофическая размолвка, во время которой Дербину, разведённую жену, мать-одиночку, видимо, надеявшуюся на семейную жизнь, на женское устройство судьбы, вдруг осенило страшное прозрение, что ничего толкового с Рубцовым у неё не случится, что он не из тех мужчин, которые могут даровать женщине благополучие, уют, защиту, уверенность в завтрашнем дне, что он и сам-то, по словам поэта Виктора Коротаева, из породы созданий, которые “долго не живут”. А когда такие чувства вспыхивают как чёрные молнии в разочарованной и оскорблённой душе, то несчастья не миновать.

Однако сейчас, по прошествии уже сорока лет после гибели Рубцова, я понимаю, что подобное объяснение январской трагедии слишком уж просто.

Любимым поэтом Рубцова был Фёдор Тютчев. Зная об этом, я в середине 60-х годов подарил Рубцову, который в те дни заехал ко мне домой, изящное, старинное — конца XIX века — издание стихотворений Тютчева в атласном переплёте, украшенном серебряным шитьём, отпечатанное на жёлтой веленовой бумаге, с надписью: “Дорогому Николаю Рубцову от Стасика и Гали”. Эту книгу Рубцов, несмотря на свою бездомную жизнь, сохранил, не потерял, и сейчас она лежит под стеклом в музее поэта в деревне Никола. Особенно любимыми из этого сборника у Рубцова были стихи “Брат, столько лет спутствовалавший мне...”, которое он даже положил на музыку и самозабвенно исполнял под гитару, и стихотворенье “Любовь, любовь — гласит преданье”... Тогда он ещё не был близок с Дербиной, но, видимо, это гениальное стихотворенье волновало его каким-то пророческим для его собственной судьбы смыслом:

*Любовь, любовь — гласит преданье, —
Союз души с душой родной —
Их съединенье, сочетанье,*

*И роковое их слиянье,
И... поединок роковой.*

*И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец...*

Самоотверженные женщины любили Тютчева и Достоевского не за плотскую статью (которой у них не было), не за талант и не за литературную славу. Они благоговели перед своими избранниками за то, что чувствовали, какой сверхчеловеческий мужской подвиг послушания и преданности своему призванию вершат эти люди на протяжении всей жизни. Это женское благоговение может быть в какой-то степени сравнимо с чувствами женщин, окружавших Иисуса Христа и боготворивших его за готовность к самопожертвованию, которую они прозревали своими сердцами. Недаром же Василий Розанов писал в "Апокалипсисе нового времени": **"Талант у писателя съедает жизнь его, съедает счастье, съедает всё. Талант – рок, какой-то тяжеляющий рок"**.

Талант съел жизнь Гоголя и Лермонтова, Тютчева и Блока, Есенина и Цветаевой, Рубцова и Юрия Кузнецова. И меньше всего в их судьбах виновато время, государство, общество и прочие внешние силы...

"И не она от нас зависит, а мы зависим от неё", – писал Николай Рубцов о власти поэзии над его собственной душой и судьбой. Маленькая трагедия "Моцарт и Сальери" завершается великим вопросом о совместности гения и злодейства. Пушкин не рискнул ответить на этот роковой вопрос утвердительно, потому что знал: творчество может служить и добру и злу, потому что один талант ощущает в себе Божью искру, а другой – вспышки чадающего адского пламени. Светлые таланты, как правило, осуждают грешную сторону своей тварной природы, а тёмные восхищаются ею. Пушкин бесстрашно осуждал грешную половину своего "я":

"И с отвращением читая жизнь свою, / я трепещу и проклиная", впадал в отчаянье, что не может избавиться от искушений лукавого:

"Напрасно я бегу к сионским высотам, грех алчный гонится за мною по пятам; так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, голодный лев следит оленя бег пахучий".

Лермонтов, страдая от капризов тёмной стороны своей природы, тоже искал спасения на сионских высотах и в евангелических истинах:

*В минуту жизни трудную,
теснится ль в сердце грусть,
одну молитву чудную
твержу я наизусть.*

Или вспомним его молитвенное – "Когда волнуется желтеющая нива". А великое стихотворенье "Выхожу один я на дорогу", где поэт выразил мечту о жизни души после плотской смерти и которое стало чуть ли не безымянным явлением народного творчества!

Николай Рубцов был светоносным поэтом. Свет – основная стихия, в которой растворены его мысли и чувства, его образы русской северной жизни.

"В горнице моей светло – это от ночной звезды",

"Светлый покой опустился с небес",

"Светлыми звёздами нежно украшена

тихая зимняя ночь",

"И счастлив я, пока на свете белом

горит, горит звезда моих полей",

"Снег освещённый летел вороному под ноги".

Пригоршнями можно черпать из поэзии Рубцова свет солнца, свет звёзд, свет луны, свет воды, свет снега, свет души.

*Сколько мысли и чувства и грации
Нам являет заснеженный сад!
В том саду ледяные акации
Под окном освещённым горят.*

И если в его стихах присутствуют ночь, мрак и мгла, он всегда пытается высветить, очеловечить и одушевить их.

*Да как же спать, когда из мрака
Мне будто слышен глас веков
И свет соседнего барака
Ещё горит во мгле снегов.*

Даже с баракком, с его почти нечеловеческими условиями жизни Рубцова примиряла поэзия.

Его родина – это страна разнообразного света, переходящего в святость.

*Но пусть будет вечно всё это,
Что свято я в жизни любил:
Тот город, и юность, и лето,
И небо с блуждающим светом
Неясных небесных светил.*

Но в “роковом поединке” его светлому, воздушному, духовному созерцательному миру противостоял совершенно другой мир. Как в трагедии Пушкина “Моцарт и Сальери” в светлый мир Моцарта вторгается “виденье гробовое, внезапный мрак”, так и в светлое царство Николая Рубцова в роковой час вторглась тьма иного мира, тьма ее стихов:

*“по рождённым полночным травам
я, рождённая в полночь, брожу”;*

*“Но в этой жизни, в этом мраке
какое счастье наземь пасть”;*

*“Душа, как прежде, жаждет света,
Но я, как зверь, бегу во мрак”...*

Уникальность вологодской трагедии в том, что расследование дела было бы точнее и успешнее, если бы им занимались не милицейские следователи, а исследователи стихотворных текстов, которые сразу бы поняли, почему случилось то, что случилось. Они безошибочно установили бы мотивы трагедии. Но тогда бы и приговора не было, поскольку за поэзию не судят... Тьму – естественную, природную, животрепещущую, утробную – можно теми же пригоршнями черпать из книги “Крушина”. А поскольку её создательница – поэт со своей натурой и своим талантом, то приходится признавать подлинность этой тьмы, живущей в её стихах...

* * *

При всей любви к Тютчеву Рубцова отталкивал тютчевский “угрюмый тусклый огонь желанья”, его любовь была нематериальна, как воздух.

*И вдруг такой повеяло с полей
Тоской любви, тоской свиданий кратких...*

Не случайно же, что у него, написавшего столько стихотворений о “любовной тоске” в юношеские годы, нет ни одного стихотворения, рождённого во время жизни с Дербиной.

*Ну и пусть! Тоской ранимым
мне не так уже страшно быть,
мне не надо быть любимым,
мне достаточно любить.*

Их поединок начался, когда в ответ на рубцовское завещание:

*До конца, до смертного креста
Пусть душа останется чиста —*

его избранница отвечала:

*В душе таинственной и тёмной
Вовеки не увидеть дна,
Душа, что кажется бездонной,
До глубины своей темна.*

Рубцовское любовное чувство — доверчивое, безыскусное, простодушное, почти детское, очищенное от животной похоти и расхожего секса, не могло выдержать столкновения с чувством женщины — тёмным, волевым, ревностным, эгоистичным, хищным.

*Мы с тобой не играли в любовь,
Мы не знали такого искусства,
Просто мы у поленницы дров
Целовались от странного чувства.*

(Как тут не вспомнить лермонтовское — “но странную любовь”!)? Какая трогательная, какая одухотворённая стихия неосознанной, неискушённой любви живёт в этих строчках, как и во многих других:

*Наивная! Ей было не представить,
Что не себя, её хотел прославить,
Что мне для счастья надо лишь иметь
То, что меня заставило запеть.*

Всю беззащитность и обречённость своего любовного чувства, рождённого на грешной земле, Николай Рубцов гениально выразил в стихотвореньи “Венера”.

*Где осенняя стужа кругом
Вот уж первым ледком прозвенела,
Там любовно над бледным прудом
Драгоценная блещет Венера.*

*Жил однажды прекрасный поэт,
Да столкнулся с её красотой.
И душа, излучавшая свет,
Долго билась с прекрасной звездой!*

*Но Венеры играющий свет
Засиял при своём приближенье,
Так что бросился в воду поэт
И уплыл за её отраженьем...*

*Старый пруд забывает с трудом,
Как боролись прекрасные силы,
Но Венера над бедным прудом
Доведёт и меня до могилы!*

*Да ещё в этой зябкой глуши
Вдруг любовь моя — прежняя вера —
Спать не даст, как вторая Венера
В небесах возбуждённой души.*

О том, что это стихотворенье было особенно важным для него, свидетельствует тот факт, что оно имеет, кроме окончательного варианта, приведённого выше, ещё два. В одном последняя строфа после строчки “доведёт и меня до могилы” читается так:

*Ну так что же! Не все под звездой
Погибают — одни или двое?
Всех, звезда, испытай красотой,
Чтоб узнали, что это такое!*

Строфа поистине пророческая по отношению к себе. Второй же вариант имеет шесть строф. Первые три строфы полностью совпадают с тремя строфами главного варианта, но четвёртая строфа рисует наглядную картину жизни после гибели поэта, бросившегося навстречу любовному соблазну:

*Он уплыл за звездою навек...
Призадумались ивы-старушки,
И о том, как погиб человек,
Горько в сумерках плачут кукушки.*

Пятая строфа повторяет строфу из окончательного варианта, но зато шестая (лишняя!) вдруг потрясает читателя не метафорическим, а живым открытым чувством поэта, самозабвенно бросившегося навстречу “играющему свету” Венеры, навстречу своей гибели:

*Столько в небе святой красоты!
Но зачем — не пойму ничего я —
С недоступной своей высоты
Ты, звезда, не даёшь мне покоя!*

Из этого трагического восклицания можно понять, что “играющий” свет Венеры, “доводящий до могилы”, и “святая красота” небес — струятся из разных источников мироздания. Загадку о том, когда было написано стихотворень “Венера”, — до романа Рубцова с Д. или после, я оставляю разгадать литературоведам.

А добавить к сказанному могу ещё то, что у Сергея Есенина, одного из самых любимых поэтов Рубцова, есть строчка: “Ах, у луны такое, — светит — хоть кинься в воду”, и что Есенин, по воспоминаниям современников, узнал о трагическом поединке поэта с небесным светилом из стихотворенья классика древней китайской поэзии Ли Бо. И последнее: в третьем варианте строка “так что бросился в воду поэт” — выглядит иначе: “что звезде покорился поэт”... Не просто был соблазнён её светом, но покорился ей, словно злоеющей силе.

* * *

Любовь его “соперницы-Венеры” жила по своим законам, а вернее, по законам не только языческого дохристианского, а даже недочеловеческого мира.

*“Я по-животному утробно тоскую глухо по тебе”;
“Что ж! В любви, как в неистовой драке,
я свою проверила стать!”*

“Как жгучей глухой полынью, тобой я тогда отравилась”,

*“Он видел бездну, знал, что погублю?
И всё ж шагнул светло и обречённо
С последним словом: “Я тебя люблю!”*

“Светло и обречённо” — честнее о Рубцове не скажешь, надо отдать должное нашей “волчице”, для которой любовь была не самопожертвованием, а борьбой за своё место под солнцем (Венерой) и неизбежно должна была окончиться либо гибелью, либо пленом побеждённого. Если бы Д. умела читать его стихи, то, возможно, навсегда исчезла бы из жизни поэта. Но понять такое было выше сил дочери Венеры, верившей в другую правду:

*“Что добродетель? Грех? Всё сказки, всё сущий вздор!
Есть только жизнь!”*

Да, это была внушавшая Рубцову суеверный ужас её жизнь, с “животной неизречённостью”, которой она гордилась. “Опять весна! Звериным нюхом я вдруг почуяла апрель”; “Я, как медведица, рычу”; “Как лесная огромная кошка, у которой звериная прыть”; “тебе, любимый, до скончанья дней хочу быть верной, как волчица волку”; “язычица, дикарка, зверолов, ловка, как рысь,

инстинкту лишь послушна”; “всей звериной тоской Зодиака и моя переполнена грудь”; “Как быстро кончались знакомства, когда в моих рысьих глазах природное вероломство внушало знакомому страх”...

Глубочайшая тайна жизни у доисторических племён и народов скрывалась в крови. Венцом жертвоприношений, драгоценным даром тотему и покровителю рода считалась кровь, стекавшая с жертвенника.

Перебирая в памяти стихи Николая Рубцова, я не смог вспомнить, чтобы в них где-нибудь встречалось страшное слово “кровь”. Слово “смерть” присутствует часто. А слова “кровь”, видимо, он избегал. Но в книжке “Крушина” оно повторяется во всевозможных ипостасях многие десятки раз. “Кровью брызнет в суземь заря”, “с мятежным напором в крови”, “всё в мире тяжело, всё темнокровно”, “Узнала сердцем, кровью, кожей” и т. д.

Впрочем, понятие “кровь” всегда значило гораздо больше, нежели просто слово (“что с кровью рифмуется, кровь отравляет и самой кровавою в мире бывает” — А. Ахматова, любимая поэтесса Л. Д., о слове “любовь”). Я сам много думал об этом и, пытаясь объяснить самому себе тайны этой соКРО-Венной, сКРЫтой во тьме горячей и солёной сущности, однажды (давным-давно) написал короткое стихотворенье.

*Не ведает только дурак,
что наши прозренья опасны!
Как дети прекрасны и как
родители их несуразны.*

*Измучены жизнью, вином,
с печатями тлена и фальши,
не мыслящие об ином,
чтоб выжить хоть как-нибудь дальше.*

*А рядом комочек тепла
витает в блаженной дремоте,
не ведая зла и добра...
Как странно — он тоже из плоти!*

*Как будто природа сама
твердит нам устами любви
о том, что сиянье и тьма
повенчаны узами крови.*

* * *

Меня мало интересует то, что поэты говорят в своих интервью, на телевизионных подмостках, в гневных письмах и мемуарах. Я верю тому, что они говорят в стихах. А в стихах Д. говорила и мечтала не о загсе, не о свободе, не о судьбе дочери, а о другом: о безраздельной власти над своим избранником.

Светлый и беззащитный мир поэта был обречён рухнуть перед грубым напором этой тёмной силы. “Ты зачем от меня не бе-жа-ал?!” — вот какой вопль вырвется из её груди, когда она осознает, что произошло непоправимое.

И напрасно “женщина-рысь” огрызается и рычит на своих гонителей: “Зовут пантерой и медведицей, ужасною волчицей злой, додумались и до нелепицы — назвали дамой козырной!”. Все звериные клички она дала себе сама. К её счастью, одной, самой страшной и рискованной, никто из её “хулителей” не воспользовался.

*Я топтала рассветные травы.
Из-под ног снегирями зори взлетали.
Ради горькой моей славы
люди имя моё узнали.
Я — чудовище! Полулошадь!
Но мерцают груди, как луны.
Моя жизнь — это скорбная ноша,
насмешка злая фортуны.*

Не знаю, вспомнила ли Д., когда писала стихотворенье “Монолог женщины-кентавра”, что у Рубцова есть стихотворенье о встрече с лошадей глубокой ночью. И в том, что и он и она написали эти стихи, есть что-то мистическое, словно бы вечное продолжение их рокового поединка. Николай Рубцов избегал тёмного мирового пространства, исполненного слепых и неподвластных человеку сил, и в этом был близок к Фёдору Тютчеву с его противостоянием хаосу: “ночь хмурая, как зверь стокий, глядит из каждого куста”, “и бездна нам обнажена с своими страхами и мглами”, “о, страшных песен сих не пой про древний хаос, про родимый”. Рубцов страшился беззвёздного и безлунного мрака, “шипящих змей” и “чёрных птиц”.

*Когда стою во мгле —
душе покоя нет
и омуты страшней,
и резче дух болотный.*

“И вдруг очнусь — как дико в поле! Как лес и грозен и высок”.

Бывали мгновения, когда, будучи не в силах очеловечить животную тьму, он в страхе отступал в сторону:

*Мне лошадь встретила в кустах,
И вздрогнул я. А было поздно.
В любой воде таился страх,
В любом сарае сенокосном...
Зачем она в такой глуши
Явилась мне в такую пору?
Мы были две живых души,
Но неспособных к разговору.
Мы были разных два лица,
Хотя имели по два глаза.
Мы жутко так, не до конца
Переглянулись по два раза.
И я спешил — признаюсь Вам —
С одной мыслью к домочадцам,
Что лучше разным существам
В местах тревожных не встречаться.*

Жаль, что стихотворенье о полулошади-полуженщине Д. написала после смерти Рубцова, а то, прочитав его, он, может быть, послушался бы своего предчувствия: “что лучше разным существам в местах тревожных не встречаться”.

Сначала мне было странно сознавать, что у женщины из деревенского советского простонародья в душе было столько гордыни, что после преступления она стала ощущать себя на пьедестале. Она поистине “не отличала славы от позора”. “Моя судьба надменно высока”; “в гордыне моей темнокровной”; “но только помни, помни — в горе/опора лишь в самой себе, /в своём невысказанном позоре, /в своей невысказанной судьбе”...

*Пусть под свист и аплодисменты
упаду я, но в тот же миг,
о душа моя, крылья легенды
понесут твой немеркнущий лик.*

Потому и на судебный процесс она смотрела как на жалкий фарс, недостойный её имени и её деяния. В стихотворенье “Суд” она смеётся над людским правосудием, её кровь, её природа, её воля, как ей кажется, выше ничтожной и пошлой юридической казуистики:

*Ударил в лицо, как из дула,
толпы торжествующей вой,
и я отрешённо качнула
отпеты своей головой.*

*В тюрьму? О, как скучно и длинно
гудит этот весь балаган!
В тюрьму? Ну а если невинна,
Как в гневе своём океан!*

В этих стихах есть признание преступления (пере-ступить!), но не вины. Из акта судебно-психиатрической экспертизы от 9.III.1971 г.

“Сожалеет о случившемся. Понимает всю тяжесть своего поступка, но полностью виновной себя не считает и то, что произошло, называет “смертельным поединком”.

В первое время после приговора Д. ещё была способна с предельной искренностью воскликнуть:

*Что натворила! Отреклась
в порыве ревности жестокой,
и жизнь моя оборвалась
на ноте гибельно высокой.*

А ревность её была особой – не к какой-то земной сопернице, а к нему самому, якобы желавшему силой взять её душу, пленить её, сделать подвластной себе... Она не понимала одного: “в борьбе неравной двух сердец” в жертву будет принесено более беззащитное, более открытое и неспособное к ненависти и сопротивлению сердце поэта, писавшего свои стихи, в отличие от неё, “неоскорбляемой частью души” (слова М. Пришвина о поэзии).

Она отторгала от себя его мир. Как отторгает телесная ткань вторжение чужеродного организма. Но если это так – то можно ли судить ткань за то, что в ней живёт и действует инстинкт самосохранения...

*Краски дня были слишком резки,
и в глазах моих, в сини накала
не заметил ты грозной тоски,
дерзновенного бунта начала.*

Из стихотворенья, которое начинается строчкой: “Невозможно, чтоб ты одолел, покори́л меня всю безраздельно”.

* * *

Конечно же, предположение М. Сурова о том, что Рубцов стал “не нужен” Дербиной и что она перестала “терпеть его выходки” лишь потому, что ей с дочерью местные власти “отказали в прописке” на рубцовскую жилплощадь, несерьёзно и даже унизительно для Д. При чём здесь прописка, если она, судя по её стихам, всю свою творческую жизнь примеряла на себя роль “роковой женщины”, играющей мужскими судьбами?

*Когда толпа шпыняет мне в бока,
когда через меня куда-то рвутся,
моя душа, надменно высока,
мне не велит за всеми вслед рвануться.
Когда глаза, мои глаза шалят,
намеренно волнуя плоть мужскую...*

На пути к этой соблазнительной власти Д. легко перешагивала через прошлые свои романы.

*А что мне брачные обеты,
пусть ветер обвенчает нас;*

или:

*Но при муже мне быть не место,
мне счастливою быть не гоже...*

Женское тщеславие, опиравшееся на талант, вскружило ей голову настолько, что она уверовала в свою безраздельную власть над поэтом и, сов-

сем уже впад в горячее состояние от успешного исполнения роли, решила, что поэтическое бессмертие – вот оно, рукой подать!

*Поэзия? Не всем поэтам верьте,
Где боли нет, есть легковесность слов.
Как тот солдат, поэт идёт в бессмертье
Тяжелой поступью стихов.*

*Мятежный демон — вдохновитель битвы
раскинет вновь два сумрачных крыла
над головой моей непобеждённой...*

До встречи с поэтом Д. понимала, что

*ни расторопной ласковой жены,
ни жрицы муз, что жаждет громкой славы,
как посмотрю, не вышло из меня.*

Но тут судьба предоставила ей, разведённой жене, матери-одиночке с дитем на руках, последний шанс добиться этой славы.

Убийство навсегда связывает убийцу с жертвой. И мечется погибающая душа, ища утешения и поддержки то в припадках отчаяния:

*Как мне кричали те грачи,
чтоб я рассталась с ним, рассталась!
Я не послушалась (молчи!) —
И вот что случилось... Вот что случилось...*

то в приступках признания в посмертной любви —

*Как страшно! Но я ведь любима
была и любима сейчас,
поэтому неуязвима,
неуязвима для вас.*

* * *

Но “роковой поединок” закончился ужасным, пошлым и самым что ни на есть унижительным исходом.

Из протокола допроса от 29. I. 1971 г. гр. Грановской Л. А., которая, изобразив картину ссоры и драки, возникшей между ними ночью, завершает свои показания так:

“Он всячески оскорблял меня нецензурной бранью, унижал меня: стал ломать руки, плевал на меня, бросал в меня спичками”, “я схватила его за горло и стала давить его”;

“мы упали оба на пол. Я схватила Рубцова за волосы. Каким-то образом я оказалась наверху. Рубцов протянул руку к моему горлу. Я схватила руку Рубцова своей рукой и укусила. После этого я схватила правой рукой за горло Рубцова двумя пальцами и надавила на горло. Рубцов не хрипел, ничего не говорил <...> Мне показалось, что Рубцов сказал: “Люда, прости! Люда, я люблю тебя. Люда, я тебя люблю”. Я взглянула на Рубцова и увидела, что он синееет. Рубцов ещё, кажется, вздохнул, и затем затих <...> Я поняла, что Рубцов мёртв”.

Из дополнительного допроса от 18. III. 1971.

“Ненависть к Рубцову, копившаяся длительный период времени, вылилась наружу. Меня взбесили его слова о любви. Я думала — то убью, то люблю! Убить Рубцова я не хотела”.

Из справки, составленной со слов секретного агента (“источника”), имевшего на тюремной прогулке разговор с Грановской:

“Источник спросил: “Люда, ты мужа своего сама убила, зачем, не жалко теперь его тебе?” На это Грановская высказала недовольство и ответила: “Я бы его и ещё раз убила. Всю жизнь мне сломал. Пьяница. Никчёмный человек. Видите ли, поэт... учил меня. А мои стихи не хуже, а намного лучше. Но ничего, в Ленинграде есть люди, и за меня вступятся, и за границей тоже знают. Вспомнят ещё Людмилу Дербину”. Можно только удивляться, что хо-

лодные, натуралистические, жестокие описания поступков Рубцова и поэтические посмертные разговоры с ним написаны одним и тем же человеком и одной и той же рукой.

*Ничего в этом мире не исчезает.
Тихий свет этой горестной отчей земли
В твоих строчках рассеян и нежно мерцает,
И звездою полей ты восходишь вдали...*

*Мир и любовь между нами,
Друг мой, уже на века!*

*Но чудный миг! Когда пред ней в смятенье
Я обнажу души своей позор,
Твоя звезда пошлёт мне не презренье,
А состраданья молчаливый взор...*

*Я стою и молчу средь шумливого люда,
И всё кажется мне, что на том берегу
Вдруг появишься ты вон оттуда, оттуда!
Я наверно, к тебе по воде побегу...*

*Промолчи о мгновенье, в котором
Ты и я были только вдвоём,
Промолчи — пусть мне будет укором
То гнездо, что с тобой не совьём...*

Обнялись, будто сёстры, опять наши души...

Чему же верить — протоколам или стихам? А может быть, и тому и другому? Протоколы живут по своим законам, а стихи по своим. У каждого жанра своя правда. У одного бытовая, грязная, низкая. У другого — вдохновенная, высокая, очистительная. В протоколах Д. вспоминает всё худшее, что было у неё с Рубцовым. В стихах — всё лучшее.

* * *

За сорок лет со дня смерти Николая Рубцова наш мир изменился неузнаваемо. Нынешнее общество превращает в мерзкое шоу любую трагедию. Это становится возможным лишь тогда, когда люди перестают отличать добро от зла, славу от позора, когда совесть и стыд выветриваются из душ человеческих.

Вот почему Л. Д., постепенно превратившаяся в юбилейные рубцовские даты на голубом экране и в жёлтых СМИ чуть ли не в телезвезду, стала рассказывать о событиях января 1971 года совсем иначе, нежели это отображено и в протоколах, и в стихах. Она отказалась от роли женщины-рыси (волчицы, кентавра, медведицы и т. д.), отмела все свои надежды на Божий Суд, забыла все свои показания во время следствия и в стенах вологодского суда, понимая, видимо, что высокая трагедия не по зубам аудитории Малахова, а низкие протоколы допросов унижают и Рубцова и её вместе с ним. И тогда Л. Д. примерила на себя новую и чрезвычайно удобную для нынешнего телеобывателя маску женщины, случайно оговорившей себя и несправедливо оклеветанной молвой. Тут она и озвучила на всю страну версию (26.6.2008 г. на Первом канале) о том, что Рубцов погиб от инфаркта, что она стала жертвой заговора со стороны друзей и почитателей Рубцова, а заодно со стороны следователей, прокуроров, судей и даже патологоанатома, давшего лживое заключение о причинах смерти поэта. И как это ни абсурдно — версия эта была принята какой-то частью нашей творческой интеллигенции. Но это всё равно, как если бы следователь Порфирий Петрович поверил бы Фёдору Раскольникову, что тот замахнулся топором, а старушка отпрянула да и поскользнулась и головой ударилась о каменный порожек. И Раскольников бы добавил:

— А вначале я сам себя из-за гордыни оговорил.

Конечно, куда достойней было бы, если б всё, что случилось, осталось в нашей памяти как преступление, совершённое из-за предельного накала чувств, от любви до ненависти, с обеих сторон.

Стихи, написанные Д. в состоянии вдохновения, покаяния и гордыни одновременно, тогда бы не девальвировались и могли вызвать сочувственный отклик во многих душах и даже восхищение перед силой чувства — “а если это ураган!”

Придумав же якобы смягчающую её вину версию об инфаркте, Д. сама второй раз перечеркнула и опустила свою судьбу. Более того, она загубила слабые побеги жалости к себе, как к человеку, совершившему невольное преступление, которое в русском народном сознании раньше называлось “несчастьем”, а преступники “несчастливыми”.

Гений и злодейство — две вещи если и “несовместные”, то рождённые равновеликими стихийными силами, живущими в человечестве.

Стенька Разин хотя и злодей, но, по словам Пушкина, является “единственным поэтическим лицом в русской истории”.

Но увы! Показания, данные на допросах, всегда можно изменить, заявить, что они даны под давлением или в сумеречном состоянии сознания, или при помутнении памяти.

Но стихам, которые вырываются если не из души, то из утробы с предельным накалом, не верить нельзя.

*Быть, право, стоит виноватой
с виной иль вовсе без вины.
Быть стоит проклятой, распятой,
прослыть исчадьем сатаны.
Но надо самой полной мерой
своё отплакать, отстрадать,
постичь на собственном примере
всю бездну горя, чтоб сказать:
— Прошедшие без катастрофы,
мой час возвыситься настал.
Не сомневайтесь, крест Голгофы
весьма надёжный пьедестал!*

Какая была бы легенда про ее сорокалетнюю Голгофу, какой апофеоз её судьбы! Одно только она забыла, что на голгофских крестах, кроме Иисуса, висели ещё двое — убийца и разбойник. Один из них, закосневший в своей гордыне, сказал Спасителю: — Если ты сын Божий, спаси себя и нас!

* * *

Сколько всяческих знаменитых убийц и жертв обрели вечную жизнь в мировой литературе! Помимо Раскольникова и старушки-процентщицы — Отелло и Дездемона, которая его “за муки полюбила”, а он её “за состраданье к ним”; Сальери, отравивший Моцарта и до сих пор изнемогающий от вопроса: “совместны” ли “гений и злодейство” или несовместны? Парфен Рогожин, окаменевший над телом Настасьи Филипповны.

А ещё, конечно, надо вспомнить безымянного конногвардейца, убившего свою возлюбленную из баллады Оскара Уайльда о Редингской тюрьме. Поэт произнёс одну из самых страстных речей в истории человечества с оправданием смертного греха убийцы.

*Ведь каждый, кто на свете жил,
любимых убивал,
один — жестокостью, другой
отравой похвал,
коварным поцелуем трус,
а смелый — наповал.*

Но ведь это всё литература! Мы воспринимаем её как жизнь благодаря всего лишь навсего таланту сочинителей! А могила на Вологодском кладбище — совершившаяся правда! Процитировал я стихи Д. о Голгофе и, как вологодский судья, произнёс: — виновна! Но прочитал стихи изломанного жизнью декадента и грешника Оскара Уайльда, и жалость к несостоявшейся музе Николая Рубцова шевельнулась в душе. Несчастливая...

(Окончание следует)

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

ПОЕЗД УБИРАЕТСЯ В ТУПИК

III. ПРОБУЖДЕНИЕ

Последняя возможность

Они не могут понять, что это кончится плохо. Это закончится революцией.

Римма Маркова, актриса*

Первый день после выборов начался для москвичей с истошных сигналов полицейских автобусов. Один за другим они рвали сумеречную тишину. “Наверное, оппозиция митингует”, – позёвывали разбуженные обыватели.

Позднее выяснилось: эмвзедешники спешили занять главные площади столицы до того, как начнут собираться несогласные. К середине дня на Маяковской, Пушкинской и далее по направлению к Кремлю толпились люди в униформе мышиного цвета.

Вечером Москва взорвалась митингами. Коммунисты собрались на Пушкинской площади. От 5 до 7 тысяч пришли к Навальному на Чистые пруды (“Независимая газета”, 07.12.2011). Людей было так много, что они не поместились на площади, взяли в грязи расквашенных газонов. “Вы верите, что выборы были честными?” – заводили толпу ораторы. “Нет!” – ревели тысячи глоток.

Так началось противоборство, на долгое время определившее политическую жизнь России.

Выступления продолжились во вторник. На Триумфальной собрались 5 тысяч оппозиционеров (“Бегущая строка”. РБК. 06.12.2011). Полиция неистовствовала: 600 задержанных (“Бегущая строка”, РБК. 07.12.2011).

Выводили и “прокремлёвскую” молодёжь. Часть привезли из других городов, обещая экскурсии по Москве (“МК”, 08.12.2011). Часть сняли с занятий в столичных вузах и школах. В блогах появились сообщения, что руководство МАИ “принуждало студентов военной кафедры прийти на митинг” (“Независимая газета”, 08.12.2011). Мать учащегося медколледжа № 4 позвонила в газету “Коммерсантъ” и рассказала: “...Пришёл классный руководитель и приказал выходить. Ребятам по 17 лет, они испугались” (“Коммерсантъ”, 07.12.2011).

В понедельник “нашисты” расположились на Театральной. Во вторник организаторы (от большого ума или желая устроить побоище?) подтащили их к несогласным на Триумфальной. Заказанной драки не случилось. Более того, верноподданные барабанщики подыграли оппозиционерам. Лупя что есть

* “Новости-24”, РЕН-ТВ. 29.11.2011.

мочи, они создавали невообразимый шум, привлекая внимание к акции. Несколько полинялых флагов не выдавали их партийной принадлежности, так что можно было думать, что они протестуют, а не поддерживают власть.

На другой стороне площади, где когда-то находился знаменитый ресторан “София”, скопились сотни зевак. Они глядели на происходящее с ужасом и восторгом. Когда появилась группа так называемых “молодогвардейцев”, лучше экипированных и более агрессивных, чем барабанщики, и начала скандировать: “Россия—Медведев—победа”, зеваки неожиданно (может, и для себя самих) закричали: “Позор! Позор!”.

Любопытно было наблюдать за правоохранителями. Они хмуро глядели и на зевак, и на противников, и на сторонников режима. Второй день они стояли в оцеплении и начинали догадываться, что это не последний погубленный вечер. От протестующих они ждали прорыва. От прохожих — неприятных сурпризов. Думаю, они не были уверены и в “наших” — сотни молодых ребят под барабанную дробь заходились в речёвках. Напряжение нарастало. Психологический срыв мог произойти в любую минуту — и кто знает, как бы тогда повела себя толпа.

Опасения оказались небеспочвенными. Нет, побоища стенка на стенку не произошло. Случилось другое: часть верноподанных переметнулась к оппозиционерам. “Я посмотрел всю кухню “Наших”, и она мне не понравилась”, — цитировал “МК” слова “перебежчика”. Таких, по утверждению газеты, набралось “несколько десятков человек” (“МК”, 08.12.2011).

На среду назначили очередной митинг протеста на Триумфальной. Охранительство к этому моменту переросло в паранойю. Оппозиционеров выслеживали на земле, под землёй и... в небе. Над центром кружили вертолёты. Станции метро напоминали лагерь внутренних войск. На отдалённых (за два-три километра) подступах к Триумфальной встали автобусы с ОМОНОм. По Цветному бульвару, где находится редакция “Нашего современника”, вместо обычных выпивох и влюблённых парочками прогуливались здоровенные детины в пятнистой форме. Они бдительно вглядывались в прохожих: угроза чудилась в каждой.

Накануне в Москву начали втягиваться колонны военных грузовиков. В блогах и в прямом эфире оппозиционных радиостанций очевидцы сообщали об их передвижении — Пресня, Бутырский вал, Волгоградский проспект, Ленинградское, Ярославское шоссе, Кутузовский. Блогеры также обнаружили в центре города несколько броневиков под выразительным названием “Каратель” (официальное наименование модели), что вызвало оживлённые дискуссии в интернете (“МК”, 09.12.2011). Отвечая на вопрос о возможном развитии событий, замруководителя фракции “Справедливая Россия” Геннадий Гудков сказал: “Если власть решила подавлять народ силой, то это, наверное, самое глупое решение, которое можно придумать в этой ситуации” (“Бизнес ФМ”, 06.12.2011).

Колонны грузовиков с солдатами ВВ были замечены и вблизи Питера (“Новая газета”, № 137, 2011). В Северной столице оппозиционеры каждый вечер выходили к Гостиному двору, взрывали петарды, скандировали “Позор!”. Протестные акции в начале недели проходили в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону (“Коммерсантъ”, 07.12.2011).

Протестная волна обвалила фондовый рынок. Обычно московские биржи послушно следуют за европейскими и американскими. Но те в начале декабря росли, а индексы РТС и ММВБ падали. Внешэкономбанк вынужден был отложить уже объявленное размещение евробондов — покупатели испарились. Бегство капиталов, и так лавинообразное (64 млрд долл.), ещё более ускорило. На следующий день после начала выступлений и. о. министра финансов предположил, что к концу 2011 года из страны будет выведено 85 млрд долларов (“Уолл-стрит джорнел”, 06.12.2011. Цит. по: inoСМИ.ru).

“Мальчики в розовых штанишках”, отечественные и зарубежные “плохиши” испугались “беспощадного” русского бунта.

Главную акцию кампании, которая получила название “За честные выборы”, наметили на субботу 10 декабря. Собраться разрешили на площади Революции. Название оказалось актуальным. В социальных сетях на митинг записывались, как на престижный концерт или азартный спортивный поединок. Уже к середине недели желающих набралось около 40 тысяч человек (“Коммерсантъ ТВ”, 09.12.2011). Сообщали,

что ФСБ оказывает давление на администрацию сети “ВКонтакте”, требуя блокировать оппозиционные группы. Однако генеральный директор сети ответил отказом (там же).

В преддверии митинга Михаил Ростовский опубликовал в “МК” спорную, но серьёзную статью “Культ личности” (08.12.2011). Спорность её в том, что журналист обрекает своих единомышленников на бездействие: отмечая “поляризацию” общества, “раскалывающегося на враждебные лагеря”, он призывает читателя “просто остаться порядочным и приличным человеком”, не примыкая ни к тем, ни к другим.

Легко возразить: “Ага! А пока “порядочные” будут соблюдать комфортный нейтралитет, остальным придётся подставлять головы под полицейские дубины!” Но нельзя не согласиться с обеспокоенностью автора, задумавшегося о дальнейших действиях власти: **“Может случиться так, что в один прекрасный (или не очень) день на улицах столицы окажется такая большая толпа протестующих, которую уже нельзя будет разогнать дубинками. Как власть поступит в этом случае? Отдаст приказ стрелять?”** (выделено мною. – А. К.).

Ростовского волнует не столько конкретная ситуация (что следует поставить ему в вину), сколько атмосфера взаимного насилия, которое с неизбежностью станет итогом подобных действий. И здесь аналитик прав.

Впрочем, нельзя не заметить и того, что сама вероятность ответа общества на опрометчивые действия властей – уже колоссальный прогресс. Совсем недавно ситуация была иной: отдаст приказ какой-нибудь “жемчужный прапорщик” – и подставляй, народ, головы под удары “демократизаторов”. А сейчас начинают задумываться: что будет, если народ ответит...

Между тем конфликт и даже кровопролитие могли начаться уже 10 декабря. Количество “записавшихся” на митинг более чем в 100 раз (!) превысило цифру, согласованную с властями, – 300 человек. Полиция могла начать вытеснение огромной толпы с площади, провести массовые задержания. В нынешней ситуации это неминуемо породило бы отпор.

К счастью, худшего удалось избежать. В пятницу, накануне акции, объявили итоги ночных переговоров: митинг перенесли на Болотную площадь. То был компромисс. Оппозиция согласилась собраться в менее “престижном”, да прямо говоря, глухом месте. Взамен мэрия увеличила количество разрешённых участников до 30 тысяч.

Что стояло за решением московских властей? Здравомыслие, желание избежать беды? Или это признак раскола в верхах, следствие закулисных противоречий, которые вполне могли возникнуть в преддверии реформирования властной вертикали – неминуемого после парламентских и президентских выборов. Все радикальные политические перемены, происходившие в мире в последние годы, начинались с разрешённого митинга в центре столицы...

... На площадь в субботу собирались, как в поход, с непривычки преувеличивая опасность. Впрочем, в предыдущие дни полиция лупила несогласных так, что опасения не казались чрезмерными. “Конечно, пойду на митинг. Хотя я знаю, что могу не вернуться”, – симпатичная девчушка откровенничала перед камерой (“Новости”, Евроньюс, 10.12.2011).

На остановке троллейбуса, идущего в Центр, встречаю знакомого. Спрашивает: “Куда?” – “На Болотную!” – “Вот и я туда же”. Он лет на 20 моложе, работает в банке, ездит на джипе. Казалось бы, ему-то зачем выходить на площадь? “Достали!” – отвечает на невысказанный вопрос. И рассказывает, что студенты, подрабатывающие в офисе, печатают какие-то материалы.

– Партийные?

– В том-то и дело, что нет. Пишут сами, что называется, по велению сердца, с грамматическими ошибками.

– И как объясняют “трудовой порыв”?

– Да так же: достали...

Кто-то усмехнётся: “Это несерьёзно!” Не соглашусь. О серьёзных причинах разговора впереди. Но эмоциональная мотивация – самая сильная. Её практически невозможно искоренить. Надо менять условия, сам стиль жизни. На Западе справились с “парижской вес-

ной” только тогда, когда развратили молодёжь: “Секс. Рок. Наркотики”. В советском блоке на это не пошли и задавили весну пражскую танками. Но идеи не искоренили, и спустя 20 лет они подточили устои. “1989 год как продолжение 1968 года”, – остроумно поменяли порядок цифр ведущие западные социологи И. Валлерстайн, Дж. Арриги, Г. Франк, размышляя о крушении восточного блока.

Можно предложить и созидательный проект, как сделали китайцы, отменив коммунистическую уравниловку и большинство запретов, но сохранив коммунистический контроль. В качестве альтернативы успешен и “социализм XXI века”, провозглашённый в Латинской Америке У. Чавесом.

Варианты возможны. Невозможно одно: подавить эмоциональный порыв новых поколений грубой силой.

С Полянки на Болотную текут рекой. В основном молодёжь. Сколько юных лиц! Хотя власти сделали всё, чтобы не пустить их на митинг. В старших классах школ объявили контрольную работу. Распустили слух, что всех военнообязанных прямо с площади повезут по военкоматам.

Много пар. Передо мной девушка и парень лет 17-ти взяли за руки. А те обнялись. Демонстрация влюблённых.

*Я поля влюблённым постелю,
Пусть поют во сне и наяву.*

Сегодня не поют – скандируют. Сначала неуверенно, вразброд, затем слаженнее, громче: “Хватит врать и воровать!” Действительно – хватит!

*Кто сказал, что земля умерла?
Нет, она затаилась на время.*

И вот – пробуждается, пробует голос.

Из-за поворота с Большого Москворецкого моста появляется колонна “Левого фронта” – идут с площади Революции. Красные полотнища с портретами Че. Первые ряды задают тон: “Чурова – в урну! Путина – в отставку! Капитализм – на свалку!”

Накануне в газетах услужливые писак восторженно рассуждали о “хитроумии” премьера. Якобы он запустил “ЕР” на выборы как пробный шар. И, обнаружив её непопулярность, теперь обопрётся на “Общероссийский народный фронт” в борьбе за президентское кресло.

А то никто не знает, чья она, “Единая Россия”? Господа щелкопёры, не думайте, что люди ничего не видят и не помнят. Лозунги на площади сразу указывали в корень кадровой проблемы.

Под чёрно-красными флагами быстрым маршем проходят анархисты. Скандируют: “Выше, выше чёрный флаг. Государство – главный враг!”

Размашисто и несправедливо. Государство – это мы. Очистите госструктуры от воря, и они станут служить простым людям.

Плывут, волнуясь на декабрьском ветру, десятки чёрно-жёлто-белых стягов с надписью “Я русский”. “Русские, вперёд!” – раскатывается над площадью.

Какими нелепыми кажутся здесь начальственные разглагольствования о “происках американского Госдепа”. Для этих рукастых молодцев пресловутые “пиндосы” – злейшие враги. После тех, кто украл их голоса. “Нас нае..ли!” – белые буквы по чёрному полю.

Да, в толпе попадаются колоритные персонажи – горбоносые, с жёсткими чёрными кудрями, кажется, перенесшиеся в слякотную Москву прямо из раскалённой Иудейской пустыни.

Да, кто-то раздаёт книжечку Немцова-Милова о Путине. Залежалый товар.

Но они не то что меньшинство – капля в народном море. От “Ударника” до Балчуга – люди, люди, люди. Стоят и на другой стороне канала. Облепили мосты. Карабкаются на строительные леса, чтобы лучше видеть.

Мало кто вслушивается в речи ораторов. Да они с непривычки к массовой аудитории говорят сбивчиво, без огня. “Немцов тоже так себе”, – повернулся к приятелю очкарик-студент после выступления бывшего вице-преьера. Здесь ещё нет вождей. Есть массы. Люди, гордые тем, что они не отмолча-

лись, не отсиделись по домам в ненастный день. Вышли на площадь, требуя уважать их выбор.

“Где мой голос, Волшебник?” – вопрошает плакат. “Волшебника в отставку!” – рокошет толпа*. “Какое – “в отставку”, – жёстко усмехается немолодая женщина. – Фальсификация итогов голосования – уголовная статья. До 4 лет тюрьмы”.

Реплики из толпы, лозунги на плакатах, обрывки речей со сцены сливаются в грандиозный диалог. Непрерывный, насыщенный и, что особенно важно, проникнутый взаимным уважением. Внимательно – без захлопывания и оскорблений – слушают всех. Либералы – коммунистов, антифашисты – националистов.

Уже на следующий день после митинга каждая из партий станет тянуть одеяло на себя. Вырвутся наружу, как из ящика Пандоры, амбиции руководителей. Но люди, стоящие на площади, далеки от мелочных дрызг**.

В этом мне видится главное значение 10 декабря. Скептики уныло вопрошают: “Ну и чего вы добились?” Так и подмывает спросить этих “реалистов”: “А чего вы хотели? Смены власти? Решения всех проблем?” Ничего себе, реализм! За один день, тем более с помощью мирного митинга, этого не добиться.

Но сам по себе выход на площадь десятков тысяч – событие огромной политической важности. Общество сбросило морок безразличия, длившийся без малого 20 лет. Начиная со злосчастного 1993-го, когда порыв масс власть расстреляла из танковых орудий, всякая мысль об общественном благе, об интересах страны воспринималась как блажь, если не как крамола.

Помню, как настраивались аудитории, когда я говорил о проблемах и нуждах России. “Ни слова о политике”, – угрюмо упирались они. В конце концов конформизм, охвативший всю страну – с жирующих верхов до голодного дна, – нашёл формулу: “А мне по барабану”. Всех, кто несмотря ни на что продолжал думать об общем, считали чудаками, лузерами. И вот всё изменилось. Думающие оказались в большинстве. Во всяком случае здесь, на площади.

Многие поднимают мобильники над головой, чтобы сфотографировать толпу. Люди радуются тому, что их много, что они сумели преодолеть взаимное отчуждение. В последние годы немало сказано об атомизации общества. Но именно здесь и сейчас стало ясно: этот процесс в значительной мере спровоцирован властью.

Ты в ужасе от засилья жуликов и воров на верхних этажах системы. А социологические службы, близкие к Кремлю, объявляют: чуть ли не 100% поддерживают существующий порядок. Смотри, жалкий отщепенец, ты одинок! Как бы и вовсе не пропал с такими-то взглядами.

Ты вынужден считать каждый рубль. А официальная статистика трубит: благосостояние растёт, средняя зарплата в Москве под 50 тысяч. У тебя одного карман с дыркой. Потому что ты неудачник, а вовсе не оттого, что блага распределяют несправедливо.

И так во всём! Убойная цифирь, цитаты авторитетов, “народное” мнение – против тебя. И против тысяч таких, как ты, мучающихся поодиночке, даже не подозревая, что у них общие проблемы.

Сегодня они вышли на площадь и обнаружили: их много, они не одиноки. Они – сила!

Полицейские, стоящие в оцеплении, смотрят растерянно. Среди них немало ребят с чёрными глазами и выгнутыми восточными бровями. Чечня?

* “Волшебником – кстати, с подачи Д. Медведева – прозвали главу Центризбиркома В. Чурова.

** К счастью, несмотря на подковёрную борьбу, благожелательный настрой сохранился и на грандиозном (около 100 тысяч человек) митинге 24 декабря. “Хомячки идут”, – шутливо переговаривались в толпе, обыгрывая злые слова Немцова. Беззлбно вспоминали и путинские “контрацептивы”. “Яблочники” стояли рядом с националистами. Активисты КПРФ, чей лидер обозвал участников митинга на Болотной “оранжевой проказой”, раздавали газету “Правда Москвы”. Ошалевшие от такого “всепрощенчества” журналисты признали, что митинг стал “образцом демократии и цивилизованности” (“Новости”, РБК, 24.12.2011).

С тяжёлым гулом движется бесконечная цепь “Уралов”. ОМОН! А вот и ставшие знаменитыми благодаря интернету броневые автомобили “Каратель”. Неужели эту армаду бросят на ребят? С них станется.

Нет, сворачивают на Софийскую, глядящую на Кремль, набережную. Замысел ясен: перекрыть Большой Каменный мост, отрезать собравшихся от Кремля. Видимо, правоохранители не ожидали, что придёт столько народа. А когда увидели море голов, испугались: “А ну как ломанут...”

А по мосту уже потянулись расходящиеся с митинга! Другая автоколонна ринулась наперерез, спеша перехватить шествие у Боровицкой.

ОМОНовцы спешно выпрыгивают из машин. Понимают ли они, что мы идём не на Кремль, а в метро? Две массы – серая и цветная – какое-то время текут бок-о-бок. Кажется, столкновение неизбежно. Но серые останавливаются, вытягиваются в цепочку сцепления.

“Боятся”, – раздумчиво произносит молодой работяга с обвислыми усами. И медленно, будто нехотя, произносит непечатное слово.

Я киваю. Мы улыбаемся. Мы понимаем друг друга.

10 декабря акции “За честные выборы!” прошли во Владивостоке, Хабаровске, Барнауле, Горно-Алтайске, Кемерово, Новосибирске, Томске, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Астрахани, Ижевске, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Казани, Уфе, Перми, Волгограде, Краснодаре, Ставрополе, Воронеж, Калуге, Орле, Брянске, Пскове, Архангельске, Петрозаводске, Петербурге. Всего в 130 городах (“Коммерсантъ”, 12.12.2011). В Москве в них участвовало, по разным оценкам, от 35 до 80 тысяч человек. В Питере – 10 тысяч. В Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре – до 5 тысяч. В Красноярске, Нижнем Новгороде – до 4 тысяч (там же).

“Никогда в жизни не видела столько нормальных людей”, – делилась радостью в блоге участница московского митинга (здесь и далее: “Бегущая строка”, “Коммерсантъ ТВ”, 10.12.2011). Другой пользователь писал: “Сегодня Россия родилась заново”.

Это, конечно, чересчур. За тысячу лет страна и не такое видела! Но определённно – Россия обновилась.

ТЕПЕРЬ ЕЮ УЖЕ НЕЛЬЗЯ ПРАВИТЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ.

Кто-то сочтёт это утверждение чересчур смелым. Дескать, масштаб протестов не столь значителен, чтобы делать серьёзные обобщения. Точка зрения, популярная у сторонников власти. Директор Фонда исследований проблем демократии М. Григорьев заявил: “Мы знаем, что такое массовое недовольство, мы знаем, что было в начале 90-х, когда митинги собирали сотни тысяч, мы знаем, что означают митинги по примеру других стран. И мы понимаем, что даже то, что происходило на Болотной площади, не идёт ни в какое сравнение с теми форматами, которые происходили в других странах, в том числе европейских” (“Независимая газета”, 21.12.2011).

Увы, эксперт лукав и косноязычен. Если уж говорить о глобальном “формате”, следовало бы уточнить: протестные акции в Европе и Северной Африке были не просто масштабными – примерно в половине случаев они привели к падению правительств (Греция, Италия, Египет, Тунис). Этого хочет г-н Григорьев? Может быть, ему – и тем, кто за ним стоит, – не стоило бы будить лиха, провоцируя массы на ещё более масштабный протест? Кстати, на проспекте Сахарова 24 декабря собралось примерно в два раза больше людей, чем на Болотной. Процесс, что называется, пошёл.

Но главная ошибка тех, кто думает, как Григорьев (в схожем духе высказался и пресс-секретарь премьера Д. Песков): они не учитывают массовую поддержку протестных выступлений. Всегда и везде активничает меньшинство. На площади выходят тысячи – миллионы отсиживаются по домам. Но в конечном счёте успех или неуспех движения определяется отношением к нему молчаливого большинства.

Социологические опросы, проведённые по горячим следам Фондом общественного мнения (ФОМ) и региональными службами, фиксируют высокий уровень солидарности с участниками митинга на Болотной. С их требованием пересмотра итогов голосования и проведения новых выборов согласны 26% – четверть населения. Это по России в целом. Но есть ещё столица: как показывает история, именно её мнение оказывается решающим при определении судьбы страны. Почти половина – 46% – москвичей поддерживают акцию на Болотной.

Осуждающих вдвое меньше – 25% (newsru.com/russia/22dec2011/quarter_print.html).

... Но вернёмся в день голосования, породивший такие страсти.

На скамейках Бульварного кольца броские – оранжевым по чёрному – наклейки: “4 декабря. Бойкот незаконных выборов”. Не думаю, что страна слышала именно этот призыв. Но, по данным на 22.00 в воскресенье, в голосовании приняли участие только 50% избирателей. Всего половина от списка! Другая выборы проигнорировала. “Я не знаю, за кого голосовать. Нет ни честных людей, ни честных партий. Они все жулики”, – досадовал таксист из Екатеринбурга Александр Рыбченко (“О Глобо”, 05.12.2011. Цит. по: inoСМИ.ru).

Правда, к утру явка дисциплинированно подросла. Точно в соответствии с пожеланиями г-на Чурова. Ночью он выразил надежду, что проголосует 60%. Любопытно, когда это могло произойти? Ведь в 10 вечера участки, даже в Калининграде, уже два часа как были закрыты.

Ночь после выборов вообще время волшебных превращений. Не случайно Д. Медведев, с присущим ему своеобразным юмором, провозгласил Чурова “волшебником”. А что, похож – прямо бородатый старичок из страшной сказки. И хотя М. Прохоров откликнулся в Твиттере ядовитой репликой: “Не пора ли сплести на берег “кукловодов” и “волшебников?”” (“Коммерсантъ ТВ”, 09.12.2011), чудодей во главе Центризбиркома – мечта, наверное, любой партии власти.

В 22 часа, после обработки пятой части бюллетеней, ЦИК объявил, что “Единая Россия” набирает 45% голосов, а их главные соперники коммунисты – 21%.

Разбивка по регионам и вовсе сулила сенсацию. В Приморье “ЕдРо” получило 33,12%, а КПРФ – 23,27%. В Иркутской области соотношение: 34,94% и 27,79%. В Новосибирской области коммунисты подошли к единороссам на расстойные вытянутой руки: у “ЕР” – 33,84%, у КПРФ – 30,25 (данные приведены по публикации “Выборы-2011”. “Коммерсантъ”, 06.12.2011).

Особое внимание было приковано к Красноярскому краю. Он считается модельным: уже не раз результаты выборов здесь совпадали со средними по стране. Так вот, 4 декабря “ЕР” набрала в крае 36,7%, за КПРФ проголосовали 23,6%. Это данные Избиркома. Экзит-поллы и вовсе обещали единороссам лишь 30%, отдавая 28% КПРФ (“Новая газета”, № 137, 2011). Если бы и на этот раз красноярские результаты совпали с общероссийскими, то у “медведей” едва бы хватило процентов на простое большинство.

Но по мере того как сгущалась тьма, цифирь начала меняться. “... Ночью в данных тесно связанной с властью Центральной избирательной комиссии намечился удивительный рост числа голосов в поддержку “Единой России”, – деликатно высказалась французская “Фигаро” (05.12.2011. Цит. по: inoСМИ.ru).

Конечно, стоит учесть, что к утру в ЦИК поступили протоколы с Северного Кавказа. А там под мудрым руководством Р. Кадырова и других авторитетных вождей население традиционно обеспечивает партии власти чуть ли не стопроцентный результат. В Чечне она получила 99,48%, в Дагестане – 91,44%, в Ингушетии – 90,96%, в Карачаево-Черкессии – 89,84%, в Кабардино-Балкарии – 81,91% (“Коммерсантъ”, 06.12.2011).

Алексей Навальный остроумно заметил: “Путин – президент Чечни, Дагестана и Ингушетии, но не России” (“Новая газета”, № 137, 2011).

Однако на финише “медведей” ждали испытания в городах-миллионниках, рассадниках фронды и оплотах оппозиции. Результаты, полученные здесь, должны были понизить, а никак не повысить показатели единороссов. И действительно, в Питере “ЕР” достались только 35,11%, в Ленобласти и вовсе 33,73%, в Московской области – 32,97%. Выручила Москва – 46,62% (“Коммерсантъ”, 06.12.2011).

Как был добыт этот результат – вопрос. Отчёты многочисленных наблюдателей, публикуемые в прессе, показывают: там, где за голосованием следили целые команды, “ЕР” набрала до 30%. К примеру, на московском участке № 2687 “ЕР” получила 26,4%, КПРФ – 23,2% (“Новая газета”, № 137, 2011). На участке № 2937 соотношение: 24,26% – 23,38%. Правда, наблюдатель услышал, как глава комиссии обречённо произнёс: “Уволят нас тут всех”

(“МК”, 07.12.2011). Там же, где ход голосования контролировала только “Единая Россия”, она ставила электоральные рекорды...

Немаловажно: единоклассники отказали в поддержке подмосковные наукограды. В Королеве, городе ракетостроителей, “ЕР” взяла только третье (!) место, пропустив коммунистов на первое (“МК”, 07.12.2011). В Дубне, Троицке, Черноголовке “медведи” обосновались на втором. Умные за “ЕдРо” не голосуют!

В самой Москве, по данным “Левада-центра”, за “Единую Россию” проголосовало 32%. Специалисты Института социальных исследований уменьшают этот показатель до 27,6% (Infox.ru 19 декабря 2011).

Как бы то ни было, наутро повеселевший Чуров объявил, что “ЕР” улучшила результат по стране на 4%, а КПРФ растеряла полтора. Копеечная разница. Но, видимо, властям психологически важно было убедить мир, что “Единой России” отдала голоса половина избирателей, а главная сила оппозиции не дотянула и до 20%.

“Партия имеет моральное право на то, чтобы продолжить свой курс”, – прокомментировал первые результаты Д. Медведев, заскочив на огонёк в штаб “ЕР” (Выборы-11. Россия 24, 04.12.2011).

По-инному отнёсся к медвежьей победе известный беллетрист М. Веллер в прямом эфире у Владимира Соловьёва (пусть читатель не удивляется этой ссылке: русским писателям на телевидение путь заказан, хотел бы процитировать, да взять неоткуда). Веллер оценил произошедшее как трагедию и высказал опасение, что Россия не переживёт ещё две пятилетки хозяйничания “ЕдРа” (Россия-1, 04.12.2011).

И в самом деле, вот результаты двух предыдущих сроков её правления, опубликованные в солидном издании:

“Россия занимает:

- 1-е место в мире по абсолютной убыли населения;
- 1-е место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей;
- 1-е место в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков;
- 1-е место в мире по числу разводов...
- 1-е место в мире по числу детей, брошенных родителями;
- 1-е место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы;
- 1-е место в мире по числу пациентов с заболеваниями психики;
- 1-е место в мире по объёмам торговли людьми;
- 1-е место в мире по количеству абортотворения и материнской смертности;
- 1-е место в мире по объёму потребления героина (21% мирового производства);
- 1-е место в мире по объёму продаж крепкого алкоголя;
- 1-е место в мире по темпам роста табакокурения;
- 1-е место в мире по темпам прироста ВИЧ-инфицированных”

(“Независимая газета”, 18.11.2011).

Происходящему есть название. ГЕНОЦИД.

Можно было бы сказать и о катастрофическом состоянии техносферы. О взрывах на электростанциях, падении самолётов, крушении кораблей. Но об этом много говорено в предыдущих главах моей работы. Разве что упомяну о трагикомической подробности. Когда В. Путин собрал лидеров “ЕР” в своей загородной резиденции, чтобы подвести итог её четырёхлетней работы в Думе, в здании вырубилось электричество. Несмотря на отчаянные усилия службы, задействовать аварийные источники не удалось. Заседание продолжалось в призрачном свете телекамер (“Коммерсант”, 25.11.2011).

Если вспомнить, что в начале работы V Думы случилось техническое ЧП в здании на Охотном ряду – прорвало трубы с горячей водой и затопило зал заседаний (Gazeta.ru. 15.12.2009), то станет ясно, что состояние отечественной инфраструктуры, в том числе особо охраняемых объектов, плачевное.

Но даже если абстрагироваться от технических параметров, ограничившись одними лишь показателями качества жизни (это главное при оценке любой власти!), итог окажется неутешительным. Не позволявшим единоклассникам рассчитывать на победу. Тем не менее, потеряв 16% голосов, по сравнению с 2007 годом, они всё равно обеспечили себе абсолютное большинство.

За счёт чего – мы догадываемся. Впрочем, догадываться мало, надо знать. Чтобы объяснить колеблющимся (а они-то и составляют большинст-

во): на таком-то участке украли столько голосов, на таком-то приписали столько. Во второй части главы скажу об этом подробнее.

Но убеждён: взрывная реакция общества на результаты, объявленные Чуровым, не сводится к недовольству фальсификациями. Хотя сегодня юридически “подковавшийся” городской избиратель реагирует на подтасовки острее, чем прежде. Однако сводить всё к одним лишь подтасовкам, как делают политики и СМИ, в том числе оппозиционные, на мой взгляд, в корне ошибочно.

Глубина негодования объясняется тем, что люди почувствовали: победные проценты должны прикрыть провальный курс — аферы олигархов, резню в Кущёвской, катастрофы “Булгарии” и “Кольской”, падения спутников, крушения самолётов, “художества” кавказской молодёжи, обвал образования, крах производства, вымирание страны. Всенародный “одобрямс” призван разложить вину на всех: дескать, знаем — и всё равно отдаём свои голоса власти. Нас хотят сделать не просто жертвами, а добровольно согласившимися — на всё. Вот что действительно нестерпимо.

Таков замысел. Реализованный бездарно: голосов не хватило. И вызвающе — решили приписать. К чему это приведёт?

Теперь по порядку. Я не забыл, что в конце предыдущей главы (“Наш современник”, № 10, 2011) обещал читателям сказать о третьем пути. Модели поведения, предлагающей населению нечто лучшее, чем бегство от действительности (граничащее с равнодушием “смирение”) и бегство из страны (эмиграция). Меня не раз спрашивали: что это? Я удивлялся недогадливости: конечно — борьба.

Однако бесконечные поездки по стране — от Питера до Иркутска — помешали закончить главу в срок. А тут грянули выборы, событие, которое не проигнорируешь.

С другой стороны, выборы тоже борьба. Но введённая в правовые рамки. В отличие от уличной, а тем более партизанской. Не отказываясь от обещанного, эту главу я решил посвятить противоборству мирному — выборному.

...Ах, как идиллически смотрятся эти строки спустя всего неделю после начала уличных протестов, следовавших после выборов! Случилось то, от чего я хотел предостеречь. “Благодарить за “русский Тахрир” следует Чурова и его команду”, — по меткому выражению блогера (“Бегущая строка”, “Коммерсантъ ТВ”, 07.12.2011).

О том же с досадой высказался эксперт: “Посмотрите на дискуссию по каналу “Россия” в послевыборную ночь, посмотрите на разгоны протестующих после выборов. Но хоть у кого-то там сохранился хотя бы инстинкт самосохранения? Какие ещё аргументы, кроме результатов выборов, им нужны?” (“Новая газета”, № 137, 2011).

Именно потому, что российские власти не воспринимают выборы как “аргумент”, напомним им об азбуке политической науки. В конце концов лучше просто учиться, чем учиться на собственных ошибках...

Американцы, за двести с лишним лет поднаторевшие в проведении избирательных кампаний, так обосновывают их значимость: они “направляют в разумное русло потоки эмоциональной и полемической энергии, захлёстывающие страну... Позволяют избежать... применения прямого насилия” (Лернер Макс. Развитие цивилизации в Америке. Пер. с англ. Т. I, М., 1992).

Кому-то это покажется отвлечённым теоретизированием. Но стоит взглянуть на события, происходившие в минувшем году в Африке, чтобы уразуметь: попытки обойтись без выборных процедур или грубо фальсифицировать их оборачиваются большой кровью.

Вообще-то тема протестных движений (и не только на Чёрном континенте) заслуживает особого разговора. Мы обратимся к ней в следующей главе. А пока ограничусь несколькими иллюстрациями заявленного тезиса.

В Египте на парламентских выборах 2010 года Национально-демократическая партия Хосни Мубарака получила 92% голосов (Baltinfo.06.12.2010). Оппозиционеры уличили власти в махинациях и потребовали нового голосования. Мубарак высокомерно отказал. Через три недели на площади Тахрир начались протесты. А в феврале 2011-го небо над Каиром озарили фейерверки: Мубарака свергли.

В Кот д'Ивуаре президент Лоран Гбагбо, проиграв выборы, не пожелал уступить власть. Началась гражданская война. В крупнейшей стране Африки – Нигерии сомнительные результаты президентских выборов привели к многочисленным погромам. Буквально перед новым 2012 годом аналогичная ситуация возникла в Демократической Республике Конго.

Но наибольшие потери понесла Ливия, где за 42 года правления Муаммара Каддафи выборы вообще не проводили (так же, впрочем, как и при короле Идрисе, а тем более при итальянцах). Не спорю, Каддафи был яркой личностью, но Джамахирия, несмотря на своё название (в переводе – Государство масс), создавалась под одного человека. Когда в лице повстанцев у него появились политические соперники, в стране не нашлось структур, способных обеспечить диалог или перенять власть, дабы уберечь страну от гражданской войны. В Египте, Тунисе, Нигерии такие структуры были: военные, религиозные деятели, политические партии. А в Ливии не было ни партий, ни религиозных авторитетов. Племена? Но их влияние по определению регионально. Даже армия не имела веса.

Конечно, я не забываю об иностранном вмешательстве. Оно обострило конфликт. Но к тому времени война охватила всю тысячекилометровую прибрежную дугу. В условиях отсутствия политических институтов она могла закончиться только кровавой зачисткой одной из сторон. Понятно, что без бомбардировок НАТО победителем стал бы Каддафи. Но при любом раскладе побеждённые теряли всё. Именно это произошло с жителями Киренаики, когда Каддафи подавил восстания в Тобруке в 1980-м и в Бенгази в середине 90-х (см. содержательную статью Эль Мюрида “Ошибки полковника Каддафи” в газете “Точка.ру”, № 10, 2011).

Вот почему более политически зрелые народы предпочитают выяснять отношения не на полях сражений, а у избирательных урн. Зачем убивать оппонентов, когда можно забаллотировать их кандидата? Это и практично, и надёжно. Проигравшие в сражении бюллетеней без злобы подчиняются решению большинства. Конечно, если убеждены, что выборы честные.

“Пусть лучше египтяне сосредоточатся на голосовании, а не на маршах миллионов”, – пояснил решение о проведении выборов в разгар беспорядков представитель Верховного военного совета (“Новости”, РБК, 28.11.2011). В этом вопросе с армией солидарны и простые жители Каира. Один из них сказал корреспонденту: “По крайней мере мы знаем, что наши голоса что-то значат. Это не то, что раньше” (“Новости”, Евроньюс, 28.11.2011).

Если для египтян возможность реального выбора – первая за многие годы, то для россиян она может оказаться последней. “Медведи”, хотя и под улюлюканье несогласных, уселись в Думе надолго. По крайней мере на время правления Путина, планирующего в марте вернуться в Кремль. Как бы ни пытались сейчас импровизировать с “Общероссийским народным фронтом”, только бюрократия может служить надёжной опорой режима. А бюрократия – это “Единая Россия”.

Сам “национальный лидер” заявил, что намерен отсидеть в президентском кресле два срока (newsru.com/russia/14nov2011/valday_print.html). А это 2024 год! В свою очередь, в окружении Д. Медведева намекнули на возможность очередной рокировки, после того как Владимир Владимирович оставит пост. Если затея удастся, нынешний электоральный цикл завершится аж в 2036-м!

Как будут проводить выборы в то время, какие права и свободы останутся у граждан – неизвестно. Так что обществу следует поторопиться, если оно хочет, чтобы его мнение учитывалось в будущем, расписанном на десятилетия вперёд*.

Но и для власти нынешние выборы – декабрьские и особенно мартовские – важны не менее, чем для нас. Именно потому, что они хотят остаться всерьёз и надолго. Сделать это, не заручившись прочной об-

* Декабрьские выступления несогласных позволяют по-новому взглянуть на планы руководства страны. С другой стороны, удастся ли обществу добиться реальных перемен, неизвестно. А власть, вот она, “существует – и ни в зуб ногой”, как говаривал поэт. И, даже сменив риторику, она не изменила ни своей сути, ни своих планов.

щественной поддержкой, легитимизацией, как говорят праведы, невозможно. А легитимность власти дают выборы.

Харизматичность вождя, чрезвычайные обстоятельства тоже играют существенную роль. Однако харизматик, не утверждённый на выборах, это всё-таки лишь претендент, а зачастую элементарный авантюрист. Любой человек того же склада может оспорить его первенство. Вспомним бесконечные военные перевороты в Латинской Америке прошлого века.

Только выборы делают позицию лидера по-настоящему прочной. Как выразился участник голосования, проходившего не так давно в Баден-Вюртемберге, одной из крупнейших земель Германии: “Ну, теперь уже ничего не поделаешь (разрядка моя. – А. К.): народ проголосовал, результат налицо” (“Новости”, Евроньюс, 28.11.2011).

Понимает ли власть, что ей необходимо не просто оставить за собой контрольный пакет в Думе, а затем провести своего кандидата в Кремль, но и добиться доверия общества? К самой власти и к её победам? Вряд ли.

Показательно: отвечая на вопрос журнала “Коммерсантъ Власть” (№ 48, 2011) “Зачем России выборы?”, правительственные чиновники дали ответы, поражающие формализмом: “Выборы нужны для того, чтобы формировать парламент, а парламент нужен, чтобы принимать законы”; “чтобы идти по пути строительства демократического общества”. Ни слова о моменте выбора, который определяет самую суть голосования.

Руководители страны, в отличие от бюрократов, демократической риторики не чуждаются. “...Выборы – это единый цикл полного обновления власти”, – провозгласил на съезде “Единой России” В. Путин (newsru.com/russia/27nov2011/edro).

Но как только речь заходит об оппозиции, с помощью которой и может происходить “обновление власти”, тем более “полное”, тон лидеров “ЕР” резко меняется. На встрече с ветеранами перед выборами Путин, с плохо скрываемым раздражением, заявил: “Нужно уметь отличать реальные проблемы и тех, кто их решает, хорошо или плохо, но решает, от тех, кто ни фиги не делает, извините меня за такие слова, а только опять всё обещает с целью получить какие-то властные инструменты и полномочия” (цит. по: “Независимая газета”, 18.11.2011).

Увлечись, “национальный лидер” не заметил логического противоречия: если у оппозиции нет “властных инструментов и полномочий”, то как можно упрекать её в том, что она “ни фиги не делает”. Что имеет в виду премьер: перераспределение бюджетных средств, например, направление больших сумм на образование или здравоохранение? Так депутаты от оппозиции голос сорвали, требуя этого! Партия власти не даёт. Или же Владимир Владимирович хочет попросту отправить политических оппонентов на “общественно-полезные работы”, а то и вовсе на сибирские стройки века?

Именно так поступали во время оно с тунеядцами, как называли тех, кто “ни фиги не делает”. Но, во-первых, сейчас нет таких строек, за что надо спрашивать именно с власти. Во-вторых, руководителям страны следовало бы определиться в отношении к политическим оппонентам и к самим демократическим процедурам.

Если представители других партий – в лучшем случае бездельники, а в худшем демагоги, то какой же смысл в проведении выборов? Логичнее заменить их плебисцитом о доверии к власти. К слову, именно так понимает голосование глава Чечни Р. Кадыров: “Голосуя, мы выражаем одобрение тому курсу (разрядка моя. – А. К.), который считаем наиболее правильным. Единственной дееспособной партией сейчас является “Единая Россия” (“Коммерсантъ Власть”, № 48, 2011).

Не удивительно, что при такой установке Чечня дала “ЕР” 99,48% голосов. Как в лучшие советские времена! Следует ли думать, что это и есть искомый вариант, кремлёвский идеал проведения выборов?

Вот и “либерал” Д. Медведев призвал единокороссов не стесняться отвечать “бездельникам и политиканам, которые сами ещё ничего не сделали, но пытаются умничать по любому поводу” (цит. по: “Независимая газета”, 24.10.2011).

Вообще-то, Дмитрий Анатольевич, “умничать”, иными словами, предлагать альтернативы правительственному курсу – основная задача оппозиции. А смысл “всенародного голосования” заключается в том, что народ выбирает между программами правящей партии и её оппонентов.

Простите за ликбез. Но он не помешает в ситуации, когда власть пытается свести выборы к простой формальности. Необходимой, приходится предположить, лишь для того, чтобы Запад поставил РФ галочку в графе “Соблюдение демократических процедур”.

На местах из деклараций лидеров делают далеко идущие выводы. Выборы представляются затеей не только ненужной, но и неблагоприятной. В Хабаровске руководитель правозащитного (!) общества “Мемориал” обратился в Генпрокуратуру по поводу предвыборных материалов оппозиционных партий: они-де призывают к смене власти. “Призыв менять власть – всё равно что призыв свергать власть”, – шьёт статью оппонентам “Единой России” бдительный “правозащитник” (“Независимая газета”, 18.11.2011).

Над доносом дальневосточника можно было бы посмеяться, однако его обращение совпало с началом кампании запретов, прокатившейся по всей стране. С середины ноября региональные филиалы ВГТРК начали снимать с эфира агитационные ролики “Справедливой России”, ссылаясь на то, что “ЦИК усмотрел признаки разжигания социальной розни” (“Коммерсантъ”, 21.11.2011). Отказы в предоставлении эфира поступили из Новосибирской, Томской, Свердловской областей, Ставропольского края. “У ГТРК “Воронеж”, – сообщал “Коммерсантъ”, – возникают “опасения”, что споровоссы “разжигают социальную рознь”, призывая жителей села “не бояться давления начальников” (там же).

Вот венец демократии! Призыв не бояться начальников трактуют как эстремистский. Что же хотят от нас чиновники с телевидения – страха и повиновения?

Впрочем, сотрудники ВГТРК ссылаются на ЦИК. “Фактически речь идёт о введении цензуры”, – комментируют юристы оппозиции (там же).

В Пермском крае разразился громкий скандал. Цитирую публикацию в “НГ”: “Редакторы местных печатных и телевизионных СМИ заявили, что администрация запрещает им предоставлять площади и эфирное время для агитации оппозиционных партий” (“Независимая газета”, 18.11.2011).

В Рязани на отказ в публикации агитационных материалов жаловались споровоссы. О запрете на распространение партийных листовок в Московской области сообщила ЛДПР (там же). Лидер коммунистов Г. Зюганов привёл целый список регионов, где правоохранительные органы изымают агитационные материалы, “ссылаясь на устные распоряжения региональных избиркомов или вышестоящего руководства”, – Москва и Московская область, Тверская, Пензенская, Воронежская, Курская области, Алтайский край (“Коммерсантъ”, 21.11.2011).

Случались и вовсе криминальные эксцессы. 6 ноября агитаторы КПРФ у метро “Тушинская” (Москва) “были обстреляны из пневматической винтовки” (“Независимая газета”, 07.11.2011).

Но самые возмутительные эпизоды имели место в российской глубинке, где нет ни корреспондентов, ни правозащитников. Так, в селе Рои Кировской области “правоохранители” дважды проводили рейды с целью установить, кто расклеил плакаты с призывом не голосовать за правящую партию. Сведения об этом всё-таки просочились в печать: “Поздним вечером к нам приехала целая группа захвата, – рассказала “МК” сотрудница деревенской администрации. – Нагрянули на машинах, всего их человек 10 было. Они не представились, не предъявили документов. Часть была в штатском, часть в форме. Прошли по всем домам, требовали объяснений, кто повесил эти плакаты”. Сельчане возмущались: “Выставили пенсионеров ночью на мороз, опрашивали с пристрастием, а затем у подозреваемых в злостном преступлении откатали отпечатки пальцев” (“МК”, 10.11.2011).

Если руководители “Единой России” полагают, что подобными методами они упрочат своё положение, то глубоко заблуждаются. Не исключено, что им придётся убедиться в этом скорее, чем можно предположить. И дело не только в потере 13 миллионов голосов по сравнению с выборами 2007 года. И даже не в том, что в Кировской области, как

и по всему русскому Северу, заповедному истоку национального самосознания, “ЕР” не смогла дотянуть до скромной планки 35% (34,9 – в Кировской, 30,74 – в Костромской, 33,4 – в Вологодской, 31,90 – в Архангельской, 32,02 – в Мурманской, 29,04 – в Ярославской областях*). Дело в куда более серьёзном факторе – утрате доверия народа.

Не случайно лидер партии дистанцировался от неумелых соратников. На второй день послевыборных протестов пресс-секретарь “национального лидера” В. Песков в интервью русской службе ВВС как бы между прочим заметил: “Путин никогда не был связан напрямую с партией, поэтому он рассматривался как независимый политик” (<http://www.BFM.ru/articles/2011/12>).

Правда, позднее Песков заявил, что его неправильно поняли. Однако посланный им сигнал очевиден. Понятно, Путин не откажется от “Единой России”, как от организационной базы. Но и жертвовать личным рейтингом ради спасения медвежьего реноме он не намерен.

Вернуть доверие избирателей “Единая Россия” могла, обеспечив проведение честных и абсолютно прозрачных выборов. Её предыдущие победы вызвали большие сомнения. Дошло до того, что стали выходить монографии, обобщающие способы подтасовки результатов (Смирнов Валерий. Аферы на выборах. М., 2008). А эксперты в области статистики, в частности, Д. Орешкин, анализируя выборные кампании с помощью математических методов, показали, где и сколько голосов приписали “ЕР”**.

К декабрьским выборам страна подошла, не доверяя ни самой власти, ни её партии, ни Центризбиркому. Результаты опроса избирателей, проведённого Институтом социальных исследований в октябре 2011-го, показали: 74% выражают сомнение в честности подсчёта голосов. Такое же число опрошенных заявило, что у людей нет “возможности влиять на решения властей” (“Независимая газета”, 01.11.2011).

Эксперты подвели итог: “Речь идёт о сбое в системе регулирования социально-политических отношений... о разрыве между желаниями и ожиданиями общества, с одной стороны, и реальными возможностями и средствами их реализации в ходе гражданского волеизъявления – с другой” (там же).

В целом соглашаясь с этим выводом, уточню: “возможности” удовлетворить чаяния населения у власти есть. Экая невидаль: обеспечить честное “гражданское волеизъявление”!

Нет желания. Понимания того, что к “голосам снизу” следует прислушиваться. Что наличие обратной связи – принцип функционирования любой органической системы.

Вместо диалога с обществом господа начальники предложили ему диктат. В сущности, в этом и заключается смысл выстраивания вертикали.

В результате общество раскололось на верх и низ, регионы и Центр, государство и простых граждан. Возьмите любую газету: заголовки буквально кричат об этом: “Мы и они”, “Свой – чужой”, “Власть и народ у нас перпендикулярны друг другу”*.**

В регионах, особенно отдалённых, политические последствия поляризации проявились раньше: протестные акции в Приморье и Калининградской области (2009–2010), протестное голосование на выборах мэра Мурманска в 2009 году. Обо всём этом я писал в книге “Возвращение масс”.

Выборы в Мурманске, где кандидат от “Единой России” потерпел унизительное поражение, проходили под лозунгом “Москва, не учи нас жить!” Областные политики твёрдо заявили: “Мурманск – не какой-нибудь Царевококшайск. Мы не любим, когда на нас голос повышают и грозят пальчиком. Мы не крепостные и никогда ими не были” (“Коммерсантъ”, 16.04.2009).

Такой же настрой доминировал в Янтарном крае. Калининградский политолог А. Высоцкий свидетельствовал: в регионах местная власть уже потеряла

* Данные Центризбиркома даны по публикации “Выборы-2011” (“Коммерсантъ”, 06.12.2011).

** Вот и после выборов-2011 в блогах отмечают: результаты, показанные “Единой Россией”, противоречат математическому закону нормального распределения случайных величин (закону Гаусса).

*** Авторы названных публикаций Ю. Калинина (“МК”, 08.04.2011), В. Речкалов (“МК”, 11.03.2011), А. Высоцкий (“Время новостей”, 24.11.2009).

поддержку населения, “оно испытывает к ней глухое раздражение”. Аналитик предупреждал, что на очереди “потеря уважения к российской власти вообще” (“Время новостей”, 24.11.2009).

Перелом настроения заметил даже один из членов тандема, к которому простых людей обычно не подпускают. И всё-таки, вспоминая поездки по стране, Д. Медведев обмолвился: “...Голову повернёшь – а там бараки, и люди стоят с не очень добрыми лицами” (“МК”, 10.10.2011).

А за что им благодарить власть? За жизнь в разрухе и нищете, за развал медицины и образования? За то, что у рождённых в этих бараках (хрущёбах, сельских избах и т. д.) с момента их появления на свет нет ни единого шанса выбиться в люди, преодолеть “исключённость”, как модно выражаться нынче. Разве что стать спортсменом или паханом (в спорте и криминале социальные лифты ещё работают).

“Глухое раздражение”, о котором в 2009-м писал А. Высоцкий, годом позже переросло в готовность к протестным действиям. Что и зафиксировали серьёзные социологи. Заведующая кафедрой политической психологии МГУ Елена Шестопал отметила: в обществе “сильна готовность к политической мобилизации” (здесь и далее разрядка моя. – А. К.), подчеркнув, что эта тенденция начала проследиваться в 2010 году “впервые за все 20 постсоветских лет” (“Коммерсантъ”, 14.04.2011).

Опросы, проведённые ФОМом в начале 2011-го, показали: “49% граждан в настоящее время заявили о готовности лично принять участие в массовых акциях протеста” (newsru.com/25fev2011/49_protest_print.html).

Как видим, напряжённость нарастала с 2009 года. Ничего удивительного: именно тогда по России ударил кризис. Было бы безответственным вероглядством полагать, что этот удар, сброс уровня жизни миллионов людей, в том числе из так называемого среднего класса, не скажется на их социальном самочувствии. И уж разумеется, не следовало думать, что разрушительные последствия удалось купировать в считанные месяцы. Понятно, их не ощущали в Кремле. Но это ещё не вся Россия.

Летом 2011-го Геннадий Гудков предостерегал: “...Мы стремительными темпами движемся к системному кризису, который может перейти в свержение власти, войну, даже распад страны” (“МК”, 17.06.2011). Опытный политик недоумевал: почему руководство страны не замечает очевидного.

О приближении бури заговорили даже за океаном. Профессор политологии Калифорнийского университета Даниэл Трисман предупредил, что “после выборов в России вместо стабильности может случиться “паралич власти” (“МК”, 28.06.2011).

Нельзя сказать, что “медведи” совсем уж проспали ситуацию, посясывая лапу в тёплой думской берлоге. В начале 2011-го партийные аналитики подготовили доклад, где говорилось о “росте протестных настроений”, об “отсутствии возможностей реального выражения мнений населения”, о “деградации элит”. Текст попал в интернет.

Авторы рассматривают пять сценариев:

1. Сохранение статус-кво;
2. Дальнейшее усиление централизации в политической и экономической сфере;
3. Первоочередная активизация процессов демократизации... с широкой децентрализацией полномочий и финансов;
4. Административная децентрализация и восстановление “правил игры” с постепенным возвращением к демократическим механизмам на всех уровнях власти;
5. Развитие общественных механизмов управления при ограниченной децентрализации и демократизации.

Оценив политические эффекты и риски, эксперты высказались за третий и четвёртый варианты – демократизацию либо немедленную, либо постепенную. Но в том-то и дело, что они говорили не о конкретных мерах, а о “более глубокой проработке” проблемы.

Сведений о “проработке”, а тем более реализации предложений не поступало. Неизвестно и то, как отнеслись к идее члены тандема. В. Путин до самого последнего времени был против каких-либо перемен. Д. Медведев

более склонен к мечтаниям. Но они, как правило, обращены у него в виртуальную сферу.

Можно предположить, что отголоски интеллектуального штурма различимы в его проекте “большого”, а точнее “электронного” “правительства”. Эта поначалу широко разрекламированная затея предполагала перенесение на российскую почву американской модели, в рамках которой граждане получают информацию о работе органов власти всех уровней в интерактивном режиме. К примеру, ознакомившись с законопроектом, они высказывают своё отношение к нему, оценивают деятельность должностных лиц и т. п. (см. статью М. Ремизова “Технологии большого правительства. Диалог с обществом по формуле “Правим вместе”. – “Независимая газета”, 31.10.2011).

Отечественные бюрократы тут же подхватили идею, бросились реализовывать – и похоронили. Свели всё к элементарному предоставлению информации о деятельности госструктур. Но и этот вариант отложили на потом, сославшись на технические сложности.

В качестве совсем уже слабого импульса идея дошла до Москвы, где в ноябре 2011-го был открыт городской Центр мониторинга общественного мнения (ЦМОМ). Он задуман как “связующее звено между москвичами и столичными властями”, сообщила “Независимая газета” (18.11.2011). Вы звоните в Центр, вас выслушивают, а затем о проблеме докладывают наверх. Прекрасное начинание. Но настораживает подробность, с восторгом отмеченная в статье: большинство сотрудников Центра – инвалиды, в основном по зрению.

Понятно: поддержать физически обделённых – дело благородное. Но почему же – за счёт обделённых социально? Не выйдет ли так, что просьбам о помощи будут внимать инвалиды по слуху, оформлять жалобы – инвалиды по зрению...

Достойный результат правительственных усилий услышать общество!

(Окончание главы следует)

.....

Дорогие читатели!

Работа Александра Казинцева “Возвращение масс” отмечена Большой литературной премией “За лучшую книгу 2010 года”. В редакции остались последние 200 экземпляров. Внимание: цена снижена! В редакции 100 руб. Для иногородних (с пересылкой) — 150 руб. Деньги следует направлять по адресу: 127051, Москва, Цветной бульвар, дом 32, стр. 2. Казинцеву А. И.

СЕРГЕЙ КАРА-МУРЗА

доктор химических наук

ПРИЧИНЫ КРАХА СОВЕТСКОГО СТРОЯ

Результаты предварительного анализа

Мы имеем опыт катастрофы, поражения советского строя, включая его политическую систему и систему межнационального общежития (СССР). За 20 лет мы многое поняли. Остается ряд загадок, но мы имеем к ним подходы. Об этом и будем говорить – создавая нашу картину крупными мазками, без деталей.

Данный доклад посвящен внутренним факторам и условиям, которые ослабили СССР и привели его к кризису 1980-х годов. С этим кризисом советский строй не справился. Это не значит, что внешние факторы считаются несущественными для судьбы СССР. Напротив, советский строй не устоял против разрушительного воздействия системы внутренних и внешних антисоветских сил, которая и сложилась в 1970–1980-е годы. Скорее всего, без этого обе группы сил порознь справиться с советской системой не смогли бы.

Решающее значение внутренних факторов определяется не тем, что у противников СССР в холодной войне без союзников внутри советского общества не хватило бы сил для победы. Для нас факторы внешней среды – это почти данность, устранить которую невозможно; а внутренние условия и факторы – следствие действий или бездействия самой советской системы. Это те переменные, на которые могло и обязано было влиять наше общество. Эти переменные все мы обязаны изучить – ведь жизнь продолжается, а уроки поражения – самые ценные.

Перед нами два вопроса: что такое был “советский строй” и что с ним произошло? Почему СССР рухнул, казалось бы, на пике своего могущества? Почему к концу 1980-х годов его легитимность была подорвана, и в массовом сознании иссякло активное благожелательное согласие на его существование?

Как было определено еще в XVI веке Маккиавелли, власть держится на силе и согласии. Развивая эту тему, А. Грамши добавил, что согласие должно быть активным. Если население поддерживает политическую систему пассивно, то этого достаточно, чтобы организованные заинтересованные силы сменили социальный строй и политическую систему. А такие силы всегда есть и в стране, и за ее рубежами.

Работа подготовлена в рамках программы Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования.

В 1990–1991 годы массовое сознание населения СССР не было антисоветским. Люди желали, чтобы главные условия советского общественного строя были сохранены и развивались, но они желали этого пассивно. И этот общественный строй был обречен.

Трудность разговора заключается в том, что официальная советская история была мифологизирована, и нам требуются усилия, чтобы уйти от ее стереотипов. Многие покажутся непривычными, многое трудно будет встроить в устоявшиеся взгляды. Эта история “оберегала” нас от тяжелых размышлений и кормила упрощенными, успокаивающими штампами. И мы не вынесли из истории уроков, даже из Гражданской войны.

Мы, например, не задумывались над тем, почему две марксистские революционные социалистические партии – большевики и меньшевики – оказались в той войне по разные стороны фронта. Советские экономисты обучались в Академии народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, а Плеханов считал Октябрьскую революцию реакционной. Разве это не символично? Мы только сейчас узнаем, что западные марксисты называли большевиков “силой Азии”, в то время как марксисты-меньшевики видели себя “силой Европы”.

Этот разговор трудный еще и потому, что через образование мы получили язык западных понятий (в особенности язык марксизма), а болезни и радости незападных обществ сложно выразить на этом языке. Но давайте сделаем усилие и взглянем на катастрофу СССР без догм и стереотипов, стараясь говорить на естественном языке, а не на языке идеологии.

Итак, о том, что было. Кратко об исходных установках работы.

Советский строй – это реализация цивилизационного проекта, рожденного Россией и лежащего в русле ее истории и культуры. Надо различать советский проект, то есть представление о благой жизни и дороге к ней, и советский строй как воплощение этого проекта на практике. Многие из намеченного проектом не удалось создать в силу исторических обстоятельств, но очень многое удалось – сегодня это даже поражает. И то, и другое надо понять. Советский строй просуществовал 70 лет, но в бурном XX веке это было несколько исторических эпох. Его стойкость при одних трудностях и хрупкость при других многое сказали о человеке, обществе и государстве.

Советский проект – не просто социальный проект, но и ответ на фундаментальные вопросы бытия, рожденный в Евразии, в сложном обществе России, находящейся “между молотом Запада и наковальней Востока” (Д. И. Менделеев). Рядом был мощный Запад, который дал свой ответ на вопросы бытия в виде рыночного общества и человека-атома, индивида – из недр протестантской Реформации. Рядом начинал подниматься и мощный Восток, ответ которого на те же вопросы мы только-только начинаем понимать.

Советский проект повлиял на все большие цивилизационные проекты: помог зародиться социальному государству на Западе, демонтировать колониальную систему, на время нейтрализовал соблазн фашизма, дал многое для укрепления и самоосознания цивилизаций Азии в их современной форме.

Советский проект не исчерпал себя, не выродился и не погиб сам собой. У него были болезни роста, несоответствие ряда его институтов новому состоянию общества и человека. Было и “переутомление”. В этом состоянии он был убит противником в холодной войне, хотя и руками “своих” – союзом трех сил советского общества: части номенклатуры КПСС, части интеллигенции (“западники”) и части преступного мира.

Никаких выводов о порочности проекта из факта его убийства не следует. Бывает, что умного, сильного и красивого человека укусит тифозная вошь, и он умирает. Никаких выводов о качествах этого человека и даже о его здоровье сделать нельзя. Из факта гибели СССР мы можем сделать только вывод, что защитные системы советского строя оказались слабы. Этот вывод очень важен, но на нем нельзя строить отношение к другим системам советского строя.

Нет смысла давать советскому строю формационный ярлык – социализм, “казарменный феодальный социализм”, государственный капитализм и т. д. Эти определения только ведут к бесполезным спорам. Например, во время перестройки интеллигенция увлек совершенно схоластический спор о том, являлся ли советский строй социализмом или нет. Как о чем-то реально существующем и однозначно понимаемом спорили о том, как его надо называть. Сказал, к примеру, “казарменный социализм” – и вроде все понятно.

Академик Т. И. Заславская уже под занавес перестройки в важном докладе озадачила аудиторию: “Возникает вопрос, какой тип общества был действительно создан в СССР, как он соотносится с марксистской теорией?” [1].

Страну уже затягивало дымом, а глава социологической науки погрузилась в тонкости дефиниции и марксистской теории, смысл которой даже закоренелые начетчики помнили очень смутно.

А вот как трактует природу СССР профессор МГУ А. В. Бузгалин: “В сжатом виде суть прежней системы может быть выражена категорией “мутантно-го социализма” (под ним понимается тупиковый в историческом смысле слова вариант общественной системы)”.

А. В. Бузгалин считает, что создал целую теоретическую категорию, объясняющую гибель советского строя. На деле взятая им из биологии ругательная метафора “мутант” бессодержательна и ничего не объясняет. Мутация есть изменение в генетическом аппарате организма. Если такое изменение наследуется и благоприятствует выживанию потомства, то эта полезная мутация оказывается важным механизмом эволюции. Если, как это делает А. В. Бузгалин, уподоблять общественный строй биологическому виду, то любое социальное жизнеустройство оказывается “мутантным” и иным быть не может.

Метафора неверна и потому, что мутация есть изменение чего-то, что уже существовало прежде как основа (“дикий вид”). Если бы в мире где-то существовал правильный социализм, а под воздействием Сталина из него возник казарменный социализм, исказивший исходный образец, то его еще можно было бы считать мутантом. Но никакого исходного социализма, от которого произошел советский строй, не существовало. И эту метафору профессор МГУ переносит из публикации в публикации уже двадцать лет.

Будем исходить из очевидной вещи: советский строй представлял собой жизнеустройство большой сложной страны – со своим типом хозяйства, государства, национального общежития. Мы знаем, как питались люди, чем болели и чего боялись. Сейчас видим, как ломают главные структуры этого строя и каков результат – в простых и жестких понятиях. Из всего этого и надо извлекать знание о советском строе и создавать его образ.

Кризис мировоззрения 1970–1980-х годов

Крах СССР поражает своей легкостью и внезапностью. Но эта легкость и внезапность кажущиеся. Кризис легитимности вызревал 30 лет. Он и стал необходимым и достаточным условием для того, чтобы антисоветские силы завоевали в 1980-е годы культурную гегемонию в среде интеллигенции, в том числе партийной.

Почему же, начиная с 1960-х годов, в советском обществе стало нарастать ощущение, что жизнь устроена неправильно? В чем причина усиливавшегося недовольства? Сегодня она видится так.

В 1960–1970-е годы советское общество изменилось кардинально. За предыдущие 30 лет произошла быстрая урбанизация, и 70% населения стали жить в городах. Под новыми объективными характеристиками советского общества 1970-х годов скрывалась главная, невидимая опасность – быстрое и резкое ослабление, почти исчезновение прежней мировоззренческой основы советского строя. В то время официальное советское обществоведение утверждало (и большинство населения искренне так и считало), что этой основой является марксизм, оформивший в рациональных понятиях стихийные предвещения трудящихся о равенстве и справедливости. Эта установка была ошибочной.

Мировоззренческой основой советского строя был общинный крестьянский коммунизм. Западные философы иногда добавляли слово “архаический” и говорили, что он был “прикрыт тонкой пленкой европейских идей – марксизмом”. Это понимал и Ленин, примкнувший к общинному коммунизму, и марксисты-западники, которые видели в этом общинном коммунизме своего врага и пошли на гражданскую войну с ним в союзе с буржуазными либералами. Своим врагом его считали и большевики-космополиты, их течение внутри победившего большевизма было подавлено в последней битве гражданской войны – репрессиях 1937–1938 годов.

В 1960-е годы вышло на арену новое поколение последователей этих течений, и влияние его стало нарастать в среде интеллигенции и нового молодого поколения уже городского “среднего класса”. Поэтому перестройка – этап большой русской революции XX века, которая лишь на время была “заморожена” единством народа ради индустриализации и впоследствии – войны. Сознательный авангард перестройки – духовные наследники троцкизма и, в меньшей степени, либералов и меньшевиков. Сами они этого не осознавали и поначалу считали, что пытаются “улучшить систему”.

Общинный крестьянский коммунизм – большое культурное явление, поиск “царства Божия на земле”. Он придал советскому проекту мессианские черты, что, в частности, предопределило и культ Сталина, который являлся выразителем сути советского проекта в течение 30 лет. Кстати, антисоветский проект также имеет мессианские черты, и ненависть к Сталину носит иррациональный характер.

В ходе индустриализации, урбанизации и смены поколений философия крестьянского коммунизма теряла силу и к 1960-м годам исчерпала свой потенциал, хотя важнейшие ее положения сохраняются и поныне в коллективном бессознательном. Для консолидации советского общества и сохранения гегемонии политической системы требовалось строительство новой идеологической базы, в которой советский проект был бы изложен на рациональном языке, без апелляции к подспудному мессианскому чувству. Однако старики этой проблемы не видели, так как в них бессознательный большевизм был еще жив, а новое поколение номенклатуры искало ответ на эту проблему (осознаваемую лишь интуитивно) в марксизме, где найти ответа не могло. Это вызвало идейный кризис в среде партийной интеллигенции.

Руководство КПСС после идейных и административных метаний Хрущева приняло вынужденное решение – “заморозить” мировоззренческий кризис посредством отступления к “псевдосталинизму” с некоторым закручиванием гаек (“период Суллова”). Это давало отсрочку, но не могло разрешить фундаментальное противоречие. Передышка не была использована для срочного анализа и модернизации мировоззренческой матрицы. Видимо, в нормальном режиме руководство КПСС уже и не смогло бы справиться с ситуацией. Для решения этой срочной задачи требовалась научная дискуссия; но если бы руководство ослабило контроль, то в дискуссии потерпело бы поражение – “второй эшелон” партийной интеллигенции (люди типа Бовина, Бурлацкого, Загладина) был уже проникнут идеями еврокоммунистов. В открытой дискуссии он подыгрывал бы антисоветской стороне, как это мы наблюдали в годы перестройки.

Пришедшая после Брежнева властная бригада (Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе), сформировавшаяся в условиях мировоззренческого вакуума и идеологического застоя, была уже проникнута антисоветизмом.

Чем был легитимирован советский строй в массовом сознании старших поколений? Памятью о массовых социальных страданиях. Аристотель выделял два главных принципа жизнеустройства: минимизация страданий или максимизация наслаждений. Советский строй создавался поколениями, которые исходили из первого принципа.

В 1970-е годы основную активную часть общества составляло уже принципиально новое для СССР поколение, во многих смыслах уникальное для всего мира. Это были люди, не только не испытавшие сами, но даже не видевшие зрелища массовых социальных страданий.

Запад – “общество двух третей”. Страдания бедной трети очень наглядны и сплывают “средний класс”. В этом смысле Запад поддерживает коллективную память о социальных страданиях, а СССР 1970-х годов эту память утратил. Молодежь уже не верила, что такие страдания вообще существуют.

Возникло первое в истории, неизвестное по своим свойствам сытое общество. О том, как оно себя поведет, не могли сказать ни интуиция и опыт стариков, ни тогдашние общественные науки. Вот урок: главные опасности ждут социализм не в периоды трудностей и нехватки, а именно тогда, когда сытое общество утрачивает память об этих трудностях. Абстрактное знание о них не действует.

Урбанизация создала и объективные предпосылки для недовольства советским жизнеустройством. Как известно, манипуляция сознанием опирается прежде всего на уже имеющиеся в общественном сознании стереотипы.

В психологической войне, направленной на разрушение общества, важнейшими из таких стереотипов являются те, в которых выражается недовольство¹.

Слабые места любого социального проекта возникают оттого, что он не удовлетворяет какие-то фундаментальные потребности значительных частей общества. Если обездоленных людей много и они сильны, проект под их давлением изменяется или, при достижении критического уровня, терпит крах. Кто и чем был обездолен в советском проекте? Откуда вырос советский проект и какие потребности он считал фундаментальными?

Он вырос прежде всего из мироощущения крестьянской России. Отсюда исходили представления о том, что необходимо человеку, что желательно, а что – лишнее, суета сует. В ходе революции и разрухи этот проект стал суровым и зауженным. Носители “ненужных” потребностей были перебиты, уехали за рубеж или перевоспитались самой реальностью. На какое-то время в обществе возникло “единство в потребностях”.

По мере того как жизнь входила в мирную колею и становилась все более и более городской, узкий набор “признанных” потребностей стал ограничивать, а потом и угнетать все более и более разнообразные части общества. Для них Запад стал идеальной, сказочной землей, где именно их ущемленные потребности уважаются и даже ценятся. Дрейф к утопии “Запада” как устоявшегося порядка начался в интеллигенции. Он не был понят и даже был усугублен попыткой “стариков” подавить его негодными средствами. В 1980-е годы этот сдвиг уже шел под давлением идеологической машины КПСС. О тех потребностях, которые хорошо удовлетворял советский строй, в этот момент никто не думал. Когда ногу жмет ботинок, не думают о том, как хорошо греет пальто.

Эта слабость сознания – оборотная сторона избыточного патернализма. Он ведет к инфантилизации общественного сознания в благополучный период жизни. Люди отучаются ценить блага, созданные усилиями предыдущих поколений, рассматривают эти блага как неуничтожаемые, “данные свыше”. Социальные условия воспринимаются как явления природы, как воздух, который не может исчезнуть. Они как будто не зависят от твоей общественной позиции.

Чем отличается крестьянская жизнь от городской? Тем, что она религиозна. А значит, земные потребности просты и естественны, зато они дополнены интенсивным “потреблением” духовных образов. Речь идет не о Церкви, а о космическом чувстве, способности видеть высший смысл во всех проявлениях Природы и человеческих отношений. Пахота, сев, уборка урожая, строительство дома и принятие пищи, рождение и смерть – все имеет у крестьянина литургическое значение. Его жизнь полна этим смыслом. Его потребности велики, но они удовлетворяются внешне малыми средствами.

Жизнь в большом городе лишает человека множества естественных средств удовлетворения его потребностей. И в то же время создает постоянный стресс. Этот стресс давит, компенсировать его – жизненная потребность человека². Как же ответил на потребность нового, городского общества советский строй? Большая часть потребности в образах была объявлена ненужной, а то и порочной. Это четко проявилось уже в 1950-е годы, в кампании борьбы со “стилягами”. Они возникли в самом зажиточном слое, что позволило объявить их просто исчадием номенклатурной касты. А речь шла о симптоме грядущего массового социального явления.

Предпосылки для узости советского проекта кроются и в крестьянском мышлении большевиков, и в тяжелых четырех десятилетиях, когда человека питали духовные, почти религиозные образы – долга, Родины. В 1950-е годы

¹ При этом неважно, какого рода это недовольство, так как его можно “канализировать” на любой объект. Оно может быть совершенно противоположно установкам манипулятора. Например, в ходе перестройки антисоветские идеологи в основном эксплуатировали недовольство людей, вызванное уклонением власти от советских идеалов.

² Кризис урбанизации тяжело переживался в период индустриализации всеми культурами. На Западе от него отвлекли резким неравенством и необходимостью борьбы за существование, а позже – созданием масс-культуры, дешевым массовым потребительством и суррогатами приключений. Массовая школа воспитывала большинство детей и подростков в мозаичной культуре, которая резко снижает духовные претензии человека.

даже некоторые преподаватели МГУ еще ходили в перешитых гимнастерках и сатиновых шароварах. У них не было потребности в джинсах, но через пять лет она возникла у студентов. Выход из этого состояния осуществили плохо. Не была определена сама проблема и ее критические состояния. В конце заговорили о “проблеме досуга”, но это не совсем то, да и дальше разговоров дело не пошло. Беда советского строя была даже не в том, что проблему плохо решали – ее игнорировали, а страдающих людей считали симулянтами и подвергали презрению. Так возникла и двойная мораль (сама-то номенклатура образы потребляла), и озлобление.

К проблеме голода на образы тесно примыкает другая объективная причина неосознанного недовольства жизнью в городском советском обществе, начиная с 1960-х годов – избыточная надежность социального уклада, его детерминированность. Порождаемая этим скука значительной части населения, особенно молодежи, – оборотная сторона высокой социальной защищенности, важнейшего достоинства советского строя. В СССР все хуже удовлетворялась одна из основных потребностей человека – потребность в неопределенности, в приключении.

У старших поколений с этим не было проблем – и смертельного риска, и приключений судьба им предоставила сверх меры. А что оставалось, начиная с 1960-х годов, всей массе молодежи, которая на своей шкуре не испытала ни войны, ни разрухи? БАМ, водка и преступность? Этого было мало. Риск и борьба возникали при трениях и столкновениях именно с бюрократией, с государством, что и создавало его образ как врага.

Среднему человеку жить при развитом советском социализме стало скучно. И никакого выхода из этой скуки в тот момент советский проект не предлагал. Более того, все говорило о том, что дальше будет еще скучнее. И тут речь идет не об ошибке Суслова или даже Ленина. Тот социализм, что строили большевики, был эффективен как проект людей, испытавших беду. Это могла быть беда обездоленных и оскорбленных социальных слоев, беда нации, ощущающей угрозу колонизации, беда разрушенной войной страны. На какое-то время в обществе возникло “единство в потребностях”. Но проект не отвечал запросам общества благополучного – общества, уже пережившего и забывшего беду.

Ошибка советского социализма в том, что он принял как догму убеждение, будто все люди мечтают быть творцами и рады предоставлению им такой возможности. Эта догма неверна дважды. Во-первых, далеко не все мечтают о творчестве, у многих эти мечты подавлены в детстве – родителями, детским садиком, школой. Во-вторых, значительная часть тех, кто мечтал, испытали неудачу при первой попытке и не смогли преодолеть психологический барьер, чтобы продолжить. Так и получилось, что основная масса людей не воспользовалась тем, что реально давал советский строй. Не то чтобы их оттеснили – их “не загнали” теми угрозами, которые на Западе заставляют человека напрягаться.

Надо признать как провал советского проекта то, что он оказался неспособным создать альтернативный буржуазному, не разъединяющий людей механизм вовлечения их в творчество. А значит, сделал неудовлетворенными массу людей. Можно не считать их мотивы уважительными, но ведь речь идет о страдающей части общества. Ведь советский строй не дал этой категории людей хотя бы того утешения, которое предусмотрительно дает Запад – потребительства.

На такое снижение запросов молодежи советское руководство не пошло, хотя в начале 1970-х годов подобные предложения, исходя из западного опыта, делались. Это решение не допустило снижения долговременной жизнеспособности нашего общества (на этом ресурсе постсоветские республики продержались в 1990-е годы); однако в краткосрочной перспективе СССР получил пару поколений молодежи, которые чувствовали себя обездоленными. Они были буквально очарованы перестройкой, гласностью, митингами и культурным плюрализмом. Прежнее руководство (да и старшие поколения советских людей) не понимали их страданий, вызванных неудовлетворенным “голодом на образы”.

Говорят, что массы “утратили веру в социализм”, что возобладали ценности капитализма (частная собственность, конкуренция, индивидуализм, нажива). Это мнение ошибочно. Очень небольшое число граждан сознатель-

но отвергали главные устои советского строя. Чаще всего они просто не понимали, о чем идет речь, и не обладали навыками и возможностями для самоорганизации. Отказ от штампов официальной советской идеологии вовсе не говорит о том, что произошли принципиальные изменения в глубинных слоях сознания (чаяниях).

Советский тип трудовых отношений воспринимался в массовом сознании как наилучший, а в ходе реформы стал даже более привлекательным. В среднем 84% опрошенных считали в 1989 году, что обязанностью правительства является обеспечение всех людей работой, а в ноябре 1991 года это убеждение, которое в антисоветской пропаганде было одним из главных объектов атаки, выразили более 90%.

Самым крупным международным исследованием установок и мнений граждан бывших социалистических стран – СССР и Восточной Европы – является программа “Барометры новых демократий”. В России с 1993 года в рамках совместного исследовательского проекта “Новый российский барометр” работала большая группа зарубежных социологов.

В докладе руководителей этого проекта Р. Роуза и Кр. Харпфера в 1996 году говорилось: “В бывших советских республиках практически все опрошенные положительно оценивают прошлое и никто не дает положительных оценок нынешней экономической системе” [2]. Если точнее, то положительные оценки советской экономической системе дали в России 72%, в Белоруссии – 88% и на Украине – 90%. Эти установки устойчивы и подтверждаются поныне. Но они не воплотились в политическую волю и организацию.

Мировоззренческий кризис порождает кризис легитимности политической системы, а затем и кризис государства. Для крушения советского строя необходимым условием было состояние сознания, которое Андропов определил четко: “Мы не знаем общества, в котором живем”. Не знали – не могли и защитить. В 1970–1980-е годы это состояние ухудшалось: незнание превратилось в непонимание, а затем и во враждебность, дошедшую у части элиты до степени паранойи.

Незнанием была вызвана и неспособность руководства выявить и предупредить назревающие в обществе противоречия, найти эффективные способы разрешения уже созревших проблем. Незнание привело и само общество к неспособности разглядеть опасность начатых во время перестройки действий по изменению общественного строя, а значит, и к неспособности защитить свои кровные интересы.

Уходило поколение руководителей партии, которое выросло в “гуще народной жизни”. Оно “знало общество” – не из учебников марксизма, а из личного опыта и опыта своих близких. Это знание в большой мере было неявным, неписанным, но оно было настолько близко и понятно людям этого и предыдущих поколений, что казалось очевидным и неустрашимым. Систематизировать и “записать” его казалось ненужным, к тому же те поколения жили и работали с большими перегрузками. Со временем, не отложившись в адекватной форме в текстах, это неявное знание стало труднодоступным.

Новое поколение номенклатуры в массе своей было детьми партийной интеллигенции первого поколения. Формальное знание вытеснило у них то неявное интуитивное знание о советском обществе, которое они еще могли получить в семье. Гуманитарная культура СССР не смогла в должной мере интегрироваться с социально-научной рациональностью.

Общественное сознание, построенное на истмате, представляет собой законченную конструкцию, которая очаровывает своей способностью сразу ответить на все вопросы, даже не вникая в суть конкретной проблемы. Это квазирелигиозное построение, которое освобождает человека от необходимости поиска других источников знания и выработки альтернатив решения.

Инерция развития, набранная советским обществом в 1930–1950-е годы, еще два десятилетия тащила страну вперед по накатанному пути. И партийная верхушка питала иллюзию, что она управляет этим процессом. В действительности те интеллектуальные инструменты, которыми ее снабдило общественное сознание, не позволяли даже увидеть процессы, происходящие в обществе. Тем более не позволяли их понять и овладеть ими.

Не в том проблема, какие ошибки допустило партийное руководство, а какие решения были правильными. Проблема состояла в том, что оно не обладало адекватными средствами познания реальности. Это как если бы полко-

водец, готовящий крупную военную операцию, вдруг обнаруживает, что его карта не соответствует местности, что это карта совсем другой страны.

Степень отрыва высшего слоя номенклатуры от реальности советского общества просто потрясала. Казалось иногда, что ты говоришь с инопланетянами: партийная интеллигенция верхнего уровня не знала и не понимала особенностей советского промышленного предприятия, колхоза, армии, школы. Начав в 1980-е годы их радикальную перестройку, партийное руководство подрезало у них жизненно важные устои, как если бы человек, не знающий анатомии, взялся делать сложную хирургическую операцию. Ситуацию держали кадры низшего звена. Как только Горбачев в 1989–1990 годы нанес удар по партийному аппарату и по системе хозяйственного управления, разрушение приобрело лавинообразный характер.

Важно и то, что учебники исторического материализма, по которым училась партийная интеллигенция с 1960-х годов (как и западная партийная интеллигенция), содержали скрытый, но мощный антисоветский потенциал. Люди, которые действительно глубоко изучали марксизм по этим учебникам, приходили к выводу, что советский строй неправильный. Радикальная часть интеллигенции уже в 1960-е годы открыто заявляла, что советский строй – не социализм, а искажение всей концепции Маркса.

Это вовсе не означало, что часть партийной интеллигенции “потеряла веру в социализм” или совершила предательство идеалов коммунизма. Даже напротив, критика советского строя велась с позиций марксизма и с искренним убеждением, что эта критика направлена на исправление дефектов советского строя, на приведение его в соответствие с верным учением Маркса. Но эта критика была для советского общества убийственной. Хотя надо признать, что и конструктивная критика “просоветской” части общества была применена во время перестройки в антисоветских целях. Избежать такого ее использования было практически невозможно.

Критика “из марксизма” разрушала легитимность советского строя, утверждая, что вместо него можно построить гораздо лучший строй – истинный социализм. А поскольку она велась на языке марксизма, оставшая часть интеллигенции, даже чувствуя глубинную ошибочность этой критики, не находила слов и логики, чтобы на нее ответить – у них не было другого языка.

Перестройка обнаружила важный факт: из нескольких десятков тысяч профессиональных марксистов, которые работали в СССР, большинство в начале 1990-х годов перешли на сторону антисоветских сил. Перешли легко, без всякой внутренней драмы. Всех этих людей невозможно считать аморальными. Значит, их профессиональное знание марксизма не препятствовало такому переходу, а способствовало ему. Они верно определили: советский строй был “неправильным” с точки зрения марксизма. Значит, надо вернуться в капитализм, исчерпать его потенциал для развития производительных сил, а затем принять участие в “правильной” пролетарской революции. Сейчас большинство их, видимо, разочаровались в этой догматической иллюзии, но дело сделано.

Русский философ В. В. Розанов сказал, что российскую монархию убила русская литература. Это гипербола, но в ней есть зерно истины. По аналогии можно сказать, что советский строй убила Академия общественных наук при ЦК КПСС и сеть ее партийных школ.

Смена культурно-исторического типа СССР

Таким образом, предпосылкой краха СССР стал цивилизационный, мировоззренческий кризис. Суть его в том, что советское общество и государство не справились с задачей обновления средств легитимации общественного строя в процессе смены поколений, не смогли обеспечить преемственность в смене культурно-исторического типа, которая происходила в ходе модернизации и урбанизации и совпала с кризисом выхода общества из мобилизационного состояния 1920–1950-х годов.

Это особая тема, а здесь заметим следующее. Культурно-историческим типом Н. Я. Данилевский назвал воображаемую надклассовую и надэтническую социокультурную общность, которая в данный исторический период является носителем главных черт цивилизации. В моменты исторического выбора

и переходных процессов (включая кризисы, войны, революции) она является выразителем главного вектора развития. Данилевский видел в этом типе очень устойчивую, наследуемую из поколения в поколение сущность – народ, как бы воплощенный в обобщенном индивиде.

Исходя из опыта XX века, мы изменяем его концепцию и считаем, что цивилизация является ареной конкуренции (или борьбы – даже вплоть до гражданской войны) нескольких культурно-исторических типов, предлагающих разные цивилизационные проекты. Один из этих типов (в коалиции с союзниками) становится в конкретный период доминирующим и “представляет” в этот период цивилизацию.

Реформы Петра опирались на волю культурно-исторического типа, сложившегося в лоне российской цивилизации в XVII веке и начинавшего доминировать на общественной сцене. Модернизация и развитие капитализма во второй половине XIX века вызвали кризис этого культурно-исторического типа и усиление другого, вырастающего на матрице современных буржуазно-либеральных и социалистических ценностей. Это было новое поколение российских западников, но вовсе не клон западных либералов (о “самобытности” российских либералов начала XX века писал М. Вебер).

На короткое время именно этот культурно-исторический тип возглавил общественные процессы в России и даже осуществил бескровную Февральскую революцию 1917 года. Но он был сметен гораздо более мощной волной советской революции. Движущей силой ее был культурно-исторический тип, который начал складываться задолго до 1917 года, но оформился уже после Гражданской войны. Все цивилизационные проекты для России были тогда “выложены” в самой наглядной форме; культурно-исторические типы, которые их защищали, были всем известны и четко различимы, все они были по рождению России.

Более половины XX века – самые трудные периоды – Россия (СССР) прошла, ведомая культурно-историческим типом “советский человек” (в среде его конкурентов бытует негативный, но выразительный термин *homo sovieticus*). Советские школа, армия, культура помогли придать этому культурно-историческому типу ряд исключительных качеств. В критических для страны ситуациях именно эти качества позволили СССР компенсировать экономическое и технологическое отставание от Запада. Мы можем описать социальный портрет людей советского типа – с их культурой, ценностями, способностью к организации, к трудовым и творческим усилиям. Его символами стали такие монументы, как “Рабочий и колхозница” и памятник “Воину-освободителю” (Берлин).

Общности, которые были конкурентами или антагонистами советского человека, после Гражданской войны оказались “нейтрализованными”, подавленными или оттесненными в тень – последовательно одна за другой. Они, однако, пережили трудные времена и вышли на арену, когда советский тип стал сдавать позиции и переживать кризис идентичности (в ходе послевоенной модернизации и урбанизации). Среди этих набирающих силу общностей вперед вырвался культурно-исторический тип, проявивший наибольшую способность к адаптации. Его можно назвать, с рядом оговорок, мещанством.

Видные западные советологи уже в 1950-е годы разглядели в мировоззрении мещанства свой главный плацдарм в холодной войне. Крупный философ И. Бохенский считал, что рост мещанства станет механизмом перерождения советского человека в обывателя, поглощенного стяжательством. Как и любой общественный процесс, этот сдвиг мог быть перепрофилирован в направлении, не подрывающем главный вектор развития. Но этого не было сделано.

Суть философии мещанства – “самодержавие собственности”. Но этот идеал собственности, в отличие от Запада, не стал буржуазным и не был одухотворен протестантской этикой. Буржуа был творческим и революционным культурно-историческим типом. Мещанин – это антипод творчества, прогресса и высокой культуры. Ему противно любое активное действие, движимое идеалами. Герцен отмечал, что мещанство не столько максимизирует выгоду, сколько стремится “понизить личности”. Это – духовный вектор.

Антисоветский проект сделал ставку на активизацию мещанства как самого массового культурно-исторического типа, который был оттеснен на обочину в советский период. В отличие от тончайшего богатого меньшинства дореволюционной России (аристократов, помещиков, купцов и фабрикантов), мещанство пронизывало всю толщу городского населения и жило одной с ним

жизнью. Доведенные до крайности его установки были художественно собраны в образе Смердякова. В разных формах культурный тип мещанства представлен в русской литературе очень широко, на переломе веков он стал едва ли не самым главным образом. Достоевский и Толстой, Чехов и Горький, Маяковский и Платонов – все оставили художественную летопись эволюции русского мещанства.

Революцию мещанство “пересидело”¹. Составляя значительную часть мало-мальски образованного населения, оно быстро овладело знаками советской лояльности и стало заполнять средние уровни хозяйственного и государственного аппарата. Социальный лифт первого советского периода поднял статус мещанства, и уже тогда возникли ниши, где негласно стали господствовать его ценности.

Война сильно выбила творческую, активную часть общества. Мещанство, напротив, окрепло, обросло связями и защитными средствами – и стало повышать голос. Агрессивная аполитичность мещанства, демонстративный отказ от участия в любом общественном деле были действительно важным фактором социальной атмосферы – целостной позицией, которая стала подавлять позицию гражданскую.

Ход утраты культурной гегемонии советским типом – важный урок истории и актуальная для России проблема обществоведения. Здесь мы ее не касаемся, приведем один только штрих. Этот процесс можно проследить по динамике когнитивной активности рабочих. В 1922 году продолжительность рабочего времени в СССР сократилась, по сравнению с 1913 годом, на 537 часов. Люди использовали появившееся у них свободное время первым делом на самообразование. Затраты времени на это выросли с 1923 года по 1930 год с 12,4 до 15,1 часа в неделю. С середины 1960-х годов начался резкий откат. Среди работающих мужчин г. Пскова в 1965 году 26% занимались повышением уровня своего образования, тратя на это в среднем 5 часов в неделю (14,9%) своего свободного времени. В 1986 году таких было уже 5%, и тратили они в среднем 0,7 часа в неделю (2,1%) свободного времени. К 1997/98 гг. таких осталось 2,3% [3].

К 1970-м годам мещанство сумело добиться культурной гегемонии над большей частью городского населения и эффективно использовало навязанные массовой культуре формы для внедрения своей идеологии. Советский тип вдруг столкнулся со сплоченным и влиятельным “малым народом”, который ненавидел все советское жизнеустройство и особенно тех, кто его строил, тянул ляжку. Никакой духовной обороны против него государство уже и не пыталось выстроить.

Советский тип сник в ходе мировоззренческого кризиса в 1970–1980-е годы, не смог организовать и проявить волю во время перестройки и был загнан в катакомбы. Но ни КПСС, ни ВЛКСМ, ни государство не смогли (и даже не попытались) заместить на общественной арене этот культурно-исторический тип родственным ему типом, который продолжил бы реализацию советского проекта. Напротив, на арену с помощью всех ресурсов власти и провластной интеллектуальной элиты вывели тип-антипод. Господствующие позиции заняло мещанство, в том числе криминализованное. Эта смена культурно-исторического типа и предопределила резкую утрату жизнеспособности России как цивилизации. Та культурная общность, которая стала господствовать в России, не обладает творческим потенциалом и системой ценностей, которые необходимы, чтобы “держат” страну, а тем более сплотить общество для модернизации и развития.

Советский тип был загнан в катакомбы, но не исчез. Он – молчаливое большинство, хотя и пережившее культурную травму. Сейчас неважно, какое духовное убежище соорудил себе каждый из людей этого типа – стал ли он монархистом, ушел ли в религию или уповае на нового Сталина. В нынешнем рассыпанном обществе именно эти люди являются единственной общностью, которая обладает способностью к организации, большим трудовым и творческим усилиям. Именно они могут быть собраны на обновленной матрице, ибо

¹ Надо сказать, что мещанство было врагом обеих столкнувшихся в Гражданской войне сторон, которые представляли разные революционные проекты. В мировоззренческом конфликте с мещанством в 1920-е гг. красные и белые ветераны были по одну сторону баррикад.

сохранилось культурное ядро этой общности, несущее ценности и смыслы российской цивилизации, ценности труда, творчества и солидарности.

Кризис рациональности

Кризис мировоззрения был использован и углублен действиями антисоветской части элиты. Культурная программа перестройки была жесткой, массовое сознание испытало шок. У людей была подорвана способность делать связные рациональные умозаключения, особенно с использованием абстрактных понятий. Они затруднялись рассчитать свой интерес и предвидеть опасности.

Функция предвидения, в том числе функция распознавания угроз, угасала в 1970-е годы. Так, не были правильно оценены сообщения о переносе направления ударов информационно-психологической войны против СССР с социальной сферы на этническую. Было проигнорировано обновление теоретической базы доктрины этой войны – принятие за основу теории Грамши о культурной гегемонии. Можно сказать, что речь шла о смене парадигмы холодной войны, а в СССР доктрина обороны осталась неизменной.

Не последовало никакой реакции на создание в США политических технологий постмодерна, использующих новаторский опыт фашизма и “молодежных бунтов” 1960-х годов. Соответственно, СССР не смог адекватно ответить на вызов польской “Солидарности”, которая была мотивирована именно коммунистическим фундаментализмом, но использована против СССР. Советская цивилизация утрачивала жизнеспособность.

К концу XX века наше общество, в массе своей, утратило навык предвидения угроз. Даже предчувствия исчезли. Это было признаком назревания большого кризиса, а потом стало причиной его углубления и затягивания. Не чувствуешь опасности – попадешь в беду.

Уже с начала перестройки специалисты фиксировали это странное изменение в сознании людей – на время в обиход вошёл даже термин “синдром самоубийцы”. Операторы больших технических систем совершали целую цепочку недопустимых действий, как будто специально хотели устроить катастрофу. Вот на шахте в Донбассе произошел взрыв метана, погибли люди. Был неисправен какой-то датчик, подавал ложные сигналы. Вместо того чтобы устранить неисправность, его просто отключили. Не помогло, сигналы продолжали беспокоить – и тогда последовательно отключили 23 анализирующих и сигнализирующих устройства.

В конце 1980-х годов положение ухудшилось, пренебрежение опасностями стало принимать патологический характер. Так, на трубопроводах – транспортной системе повышенной опасности – были повсеместно устранены обходчики. Между тем присутствие хотя бы по одному обходчику даже на больших участках трассы предотвратило бы тяжелую аварию лета 1989 года в Башкирии. То же происходило и на железной дороге – резкое сокращение работ по осмотру пути и подвижного состава привело к росту числа крушений и аварий, включая катастрофические, в том числе при перевозке особо опасных грузов.

Но признаком общей беды это стало потому, что так вели себя люди в самых разных делах. Среди бела дня, при полной видимости немыслимым образом сталкивались два корабля, которые вели опытные капитаны. Точно так же была исключена проблема угроз и рисков из обсуждения программы реформ. Навык их предвидения сумели изъять и из массового сознания. Да, подавляющее большинство граждан с самого начала не верило, что приватизация будет благом для страны и для них лично. Но 64% опрошенных ответили: “Эта мера ничего не изменит в положении людей”.

Это – признак глубокого повреждения в сознании. Как может приватизация всей промышленности – и прежде всего практически **всех рабочих мест** – ничего не изменить в положении людей! Как может ничего не изменить в положении людей массовая безработица, которую те же опрошенные предвидели как следствие приватизации!

Кто несет ответственность за деградацию этой защитной функции? Надо признать, что Сталин и руководимая им команда эту функцию в течение своего “отчетного периода”, в общем, выполнили успешно, что и показала Великая Отечественная война. Дальше – возникла неопределенность. В новых ус-

ловиях со сменой поколений старые методы быстро теряли эффективность. Общество вступило в новый этап, а руководство не смогло выработать адекватной доктрины и создать адекватные новым угрозам средства защиты. Старая интеллектуальная элита КПСС и советского государства (представленная Сусловым) оказалась несостоятельной. А новая – сама стала источником угроз.

Почему эрозия мировоззренческой матрицы советского строя не вызвала эффективных действий руководства государства и КПСС, пока доминирующие позиции не заняли функционеры “поколения Горбачева”? Можно утверждать, что они с их когнитивной структурой – типом знания и методологическими навыками – были не на высоте этой задачи, как генералы бывают не на высоте задач войны нового поколения. Их образование, относящееся к данной проблеме, ограничивалось историческим материализмом, проникнутым механистическим детерминизмом. Понимание тех процессов, которые переживало советское общество, требовало как минимум освоения представлений о культурной гегемонии, развить А. Грамши. Но эти представления были отвергнуты официальным советским обществоведением, их освоила именно антисоветская часть сообщества гуманитарных специалистов.

Мышление старого поколения советской политической элиты, как и обыденное сознание советского человека, было проникнуто эссенциализмом, верой в неизменность (или хотя бы высокую устойчивость) некоторых сущностей и качеств, присущих общественному сознанию.

Подавляющему большинству советских людей казалось, что заданные культурой качества человека очень устойчивы, что в них есть как будто данное нам свыше жесткое ядро. Специально об этом не думали, а оказалось, что оно подвижно и поддается воздействию образа жизни, образования, телевидения. Культура – это огромная машина, которая чеканит нас в основном по чертежу, заложенному в нее сильными мира сего. Мы, конечно, сопротивляемся, подправляем чертеж, изменяем чеканку своей низовой культурой. Но диапазон воздействий широк, возможностей уклониться от них часто не хватает.

В массе своей советские люди исходили из того представления о человеке, которым был проникнут общинный крестьянский коммунизм как версия “народного православия”. Они считали, что человеку изначально присущи качества соборной личности, тяга к правде и справедливости, любовь к ближним и инстинкт взаимопомощи. В особенности, как считалось, это было присуще русскому народу. Как говорилось, таков уж его “национальный характер”. А поскольку все эти качества считались сущностью национального характера, данной человеку изначально, то они и будут воспроизводиться из поколения в поколение вечно. Была такая неосознанная уверенность.

Эта вера породила ошибочную, в важной своей части, антропологическую модель, положенную в основание советского жизнеустройства. Устои русского народа и братских народов России, которые были присущи им в период становления советского строя, были приняты за их природные свойства. Считалось, что их надо лишь очищать от “родимых пятен капитализма”. Задача воспроизводства этих устоев в меняющихся условиях (особенно в обстановке холодной войны) не только не ставилась, но и отвергалась с возмущением. Как можно сомневаться в крепости устоев! А ведь это воспроизводство надо было вести в принципиально новых условиях конца XX века, оно требовало гибкости и адаптивности, регулярного “ремонта” и “модернизации”.

Эффективности крестьянского коммунизма как мировоззренческой матрицы народа хватило в СССР на 4–5 поколений. Люди пятидесятых годов рождения вырастали в новых условиях, их культура формировалась под влиянием мощного потока образов и соблазнов, идущих с Запада. Если бы советское общество исходило из реалистичной антропологической модели, то за 1950–1960-е годы в принципе можно было выработать и новый язык для разговора с грядущим поколением, и новые формы жизнеустройства, отвечающие новым потребностям. А значит, Россия преодолела бы кризис и продолжила развитие в качестве независимой страны на собственной исторической траектории культуры.

С этой задачей советское общество не справилось. Оно потерпело поражение и сдало страну “новым русским”. Надо признать, что для этого были предпосылки, которые корнями уходят в XIX век; они определены тем влиянием, которое оказал на русскую интеллигенцию романтизм классической немецкой философии. В советское время это влияние было закреплено марк-

сизмом. Требовалось кардинальное обновление познавательного аппарата, но этого не произошло.

В 1970–1980-е годы большинство населения обрело тип жизни “среднего класса”. В массовом сознании стал происходить сдвиг от советского коммунизма к социал-демократии, а потом и к либерализму. В культуре интеллигенции возник компонент социал-дарвинизма и соблазн выиграть в конкуренции. Из интеллигенции социал-дарвинизм стал просачиваться в массовое сознание. Право на жизнь (например, в виде права на труд и на жилье) начали ставить под сомнение – сначала неявно, а потом все более громко. Положение изменилось кардинально в конце 1980-х годов, когда это отрицание стало основой официальной идеологии.

Перестройка

Выход из “сталинизма” в 1950-е годы оказался сложной проблемой – как и вообще выход из мобилизационного состояния. Она была решена руководством СССР плохо и привела к череде политических кризисов. Профессор МГУ А. П. Бутенко, занявший радикальную антисоветскую позицию, пишет о реформах Хрущева: “Антисталинизм – главная идея, мобилизационный стяг, использованный Хрущевым в борьбе с тоталитаризмом. Такой подход открывал определенный простор для борьбы против основ существующего социализма, против антидемократических структур тоталитарного типа, но его было совершенно недостаточно, чтобы разрушить все тоталитарные устои”.

Удар “по основам” был нанесен тяжелый, а ресурсов знания для рационального ответа не хватило.

Вспомним недалекую историю. 1960-е годы для СССР были очень сложным периодом. Общество переживало кризис урбанизации – большинство населения за очень короткий срок стало городскими жителями. Люди переезжали в города, резко меняли образ жизни, приспосабливались к другому производству и быту, другому пространству. Массы людей испытывали тяжелый стресс, одновременно происходила смена поколений. Общество быстро менялось и усложнялось, эти процессы надо было быстро изучать, находить новые социальные формы, чтобы снизить издержки трансформации. Но обществоведение методологически не было готово к решению этих задач, и страна скользила к обширному кризису, который превратился в системный.

Переломным стал момент, когда авангард инакомыслящей интеллигенции заключил союз с противником СССР в холодной войне и начал выполнять функции “пятой колонны” внутри советского общества. Эволюция установок этой части антисоветской интеллигенции хорошо прослеживается в текстах А. Д. Сахарова.

В 1968 году Сахаров мечтает о конвергенции социализма с капитализмом и пишет о войне США в Индокитае: “Во Вьетнаме силы реакции... нарушают все правовые и моральные нормы, совершают вопиющие преступления против человечности. Целый народ приносится в жертву предполагаемой задаче остановки “коммунистического потопа”” [4, с. 17].

В 1975 году он уже пишет о “героизме американских моряков и летчиков” и упрекает Запад в том, что тот плохо помогал США воевать во Вьетнаме. По его мнению, требовалось вот что: “Политическое давление на СССР с целью не допустить поставок оружия Северному Вьетнаму, своевременная посылка мощного экспедиционного корпуса, привлечение ООН, более эффективная экономическая помощь, привлечение других азиатских и европейских стран” [4, с. 131].

Сахаров переживает за США, которым пришлось в одиночку выдержать столь тяжелую войну: “Очень велика ответственность других стран Запада, Японии и стран “третьего мира”, никак не поддержавших своего союзника, оказывающего им огромную помощь в трудной, почти безнадежной попытке противостоять тоталитарной угрозе в Юго-Восточной Азии” [4, с. 132].

В 1968 году Сахаров так пишет об СССР: “Как показывает история, при обороне Родины, ее великих социальных и культурных завоеваний наш народ и его вооруженные силы едины и непобедимы” [4, с. 20]. В 1975 году он пишет “о многих тревожных и трагических фактах современного международного положения, свидетельствующих о существенной слабости и дезорганизован-

ности перед лицом тоталитарного вызова... Единство требует лидера, таким по праву и по тяжелой обязанности является самая мощная в экономическом, технологическом и военном отношении из стран Запада — США» [4, с. 146].

Если учесть, каким авторитетом обладал А. Д. Сахаров среди западной интеллигенции, то можно считать, что с середины 1970-х годов в этой части общества отношение к США как внешнему союзнику в борьбе с советским строем сменилось чувством идентификации с США как цивилизационным лидером. Отношения союзника сменились отношениями подданного, влиятельная часть общества стала патриотами США, а не СССР (России).

Обострение кризиса произошло в 1980-е годы, когда к власти пришли люди нового поколения и нового культурного типа. Начали рушиться скрепы, которые соединяли общество в 1970-е годы. Важные структуры советского строя не выдержали, произошел срыв, с которым руководство не справилось и своими действиями усугубило ситуацию.

В советском обществе в 1960-х годов вновь оживился проект, альтернативный советскому, который раньше был “заморожен” во время войны. Основания для этого проекта имелись в русской культуре с середины XIX века — как в течении либералов-западников, так и ортодоксальных марксистов. Эти основания были обновлены и развиты “шестидесятниками” в годы “оттепели Хрущева”, а затем и течениями диссидентов — социалистами-западниками (Сахаров), консервативными “почвенниками” (Солженицын) и патриотами-националистами (Шафаревич). В 1970-е годы была определена технология антисоветской борьбы на новом этапе, основанная на теории революции Антонио Грамши — подрыв культурной гегемонии советского строя силами интеллигенции через “молекулярную агрессию” в сознание.

Элита интеллигенции, в том числе партийной (“номенклатура” КПСС), прошла примерно тот же путь, что и западные левые. Еврокоммунисты (руководство трех главных коммунистических партий Запада — итальянской, французской и испанской), осознав невозможность переноса советского проекта на Запад ввиду их цивилизационной несовместимости, совершили историческую ошибку: заняв антисоветскую позицию, они отвергали советский строй и в самом СССР. Это привело к краху их партий. Наши партийные интеллигенция, осознав необходимость преодоления “первого” советского проекта (как дети преодолевают отцов), также в основном заняли антисоветскую позицию.

Утверждение, что советский строй является “неправильным”, стало с 1986 года официальной установкой. В кругах интеллигенции стали ходить цитаты Маркса такого рода: “Первое положительное упреждение частной собственности, грубый коммунизм, есть только форма проявления гнусности частной собственности”.

Эта изощренная конструкция была квинтэссенцией антисоветского кредо меньшевиков в 1917–1921 годы и команды Горбачева в конце XX века. Согласно идеологии перестройки, советский коммунизм был выражением зависти и жажды нивелирования, он отрицал личность человека и весь мир культуры и цивилизации, он возвращал нас к неестественной простоте бедного, грубого и не имеющего потребностей человека, который не дорос еще до частной собственности.

Антисоветским идеологам не пришлось ничего изобретать, все главные тезисы они взяли у Маркса почти буквально. Более того, даже сегодня ортодоксальные марксисты опираются на концепцию “грубого уравнилного коммунизма” в своем отрицании советского строя. Вновь стал муссироваться и старый тезис о “неправильности” русской революции “в одной стране”, тем более “отсталой”.

Постепенно антисоветский проект укреплялся, накапливал силы. Здесь обнаружилась несостоятельность советского обществоведения, которое не смогло ни объяснить причин социального недомогания, ни предупредить о грядущем кризисе. Эта беспомощность была такой неожиданной, что многие видели в ней злой умысел, даже обман и предательство. Конечно, был и умысел — против СССР велась холодная война, геополитический противник ставил целью уничтожение СССР и всеми средствами способствовал возникновению кризиса в стране. Но наш предмет — то общее непонимание происходящих процессов, которое парализовало защитные силы советского государственного и общественного организма.

На первом этапе перестройки критика советского строя велась под лозунгами “Больше социализма!” и “поворота к Ленину”. Это, в общем, было принято за чистую монету и вызвало энтузиазм у населения. Точно оценить искренность этих исходных установок идеологов перестройки трудно.

Позже А. Н. Яковлев писал: “После XX съезда в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомышленников мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества. Избрали простой, как кувалда, метод пропаганды “идей” позднего Ленина. Надо было ясно, четко и внятно вычлнить феномен большевизма, отделив его от марксизма прошлого века. А потому без устали говорили о “гениальности” позднего Ленина, о необходимости возврата к ленинскому “плану строительства социализма” через кооперацию, через государственный капитализм и т. д.

Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработала (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и “нравственным социализмом” – по революционризму вообще” [5].

Конечно, эти откровения “архитектора перестройки”, который удачно спрыгнул с тонущего корабля и всплыл как видный деятель режима Ельцина, принимать за чистую монету тоже нельзя. Но быстрый дрейф этой прослойки номенклатуры КПСС в лагерь противника – факт. Удивительно быстро идеологическая машина КПСС, абсолютно подчиненная высшему руководству партии, перешла к открытым боевым действиям против СССР. Уже в 1988 году был “открыт кран” для потока антисоветских публикаций и стал сокращаться и фильтроваться поток публикаций с положительными оценками и даже с конструктивной критикой советского строя¹.

Любое явление советской жизни, которое квалифицировалось антисоветской элитой как отрицательное, доводилось и доводится в его отрицании до высшей градации абсолютного зла². У людей, которых в течение многих лет бомбардируют такими утверждениями, разрушается способность измерять и взвешивать явления, а значит, адекватно ориентироваться в реальности.

В марте 1990 года академик Т. И. Заславская, советник М. С. Горбачева и глава советской социологии, представила на обсуждение в АН СССР программный доклад под названием “Социализм, перестройка и общественное мнение”. Доклад стал подведением итогов перестройки в оценке ведущего социолога, непосредственно отвечавшего за ее “научное сопровождение”. В своем докладе Т. И. Заславская, в частности, заявила:

“Политически советское общество было и остается тоталитарным... Социально советское общество резко поляризовано. Полюса его социальной структуры образуют высший и низший классы, разделенные социальной прослойкой... .

Нижний полюс советского общества образует класс наемных работников государства, охватывающий рабочих, колхозников и массовые группы интеллигенции. Границы этого класса в значительной степени совпадают с часто используемым газетным клише “трудящиеся”. С моей точки зрения, “трудящиеся” составляют единый класс, отличительными особенностями которого служат практическое отсутствие собственности и крайняя ограниченность социально-политических прав. Положение этого класса характеризуется скученностью в коммунальных квартирах или собственных домах без удобств, низкими доходами, ограниченной структурой потребления, неблагоприятными экологическими условиями жизнедеятельности, низким уровнем медицинского обслуживания и социальной защиты... .

Сотни миллионов обездоленных, полностью зависимых от государства представителей этого класса пролетаризированы, десятки миллионов –

¹ Этот процесс был начат уже в 1986–1987 гг. Зам. главного редактора журнала “Социологические исследования” Г. С. Батыгин писал позже: “В 1987 г. Главлит потребовал снять из статьи, предназначенной для опубликования в журнале “Социологические исследования”, тезис о неэффективности свободного рынка в высокоорганизованной экономике. Это означало, что идея централизованного социалистического планирования уже не соответствовала цензурным требованиям” [6].

² К числу отрицательных явлений были отнесены те стороны советской жизни, которые традиционно приветствовались демократами и гуманистами – высокий уровень социальной защиты, доступность образования и здравоохранения, реальное право на труд, низкий уровень преступности и пр. Инверсия оценки этих сторон жизни вызвала культурное потрясение.

люмпенизированы, то есть отчуждены не только от средств производства, но и от собственной истории, культуры, национальных и общечеловеческих ценностей...

Главное социальное отношение советского общества на протяжении десятилетий заключалось в экономической эксплуатации и политическом подавлении трудящихся партийно-государственной номенклатурой. Возникшее в начале 1930-х годов и резко углубившееся к 1980-м социальное противостояние этих классов носило и носит антагонистический характер...

Больное, прогнившее, резко дифференцированное общество предполагало сделать здоровым и социально справедливым. Но идея социального возрождения могла сплотить только прогрессивные силы, заинтересованные в оздоровлении общества... Советскому обществу предстоит пройти через серьезные трудности, которые представляют своеобразную "плату" за приобретение к общечеловеческим ценностям...

Единственно разумной политикой является последовательный демонтаж тоталитарной государственно-монополистической системы в целях ее замены более эффективной системой "социального капитализма", сочетающего частную собственность с демократической формой политического правления и надежными социальными гарантиями для трудящихся...

Такое развитие советского общества надо рассматривать как переход от самого негуманного и антисоциалистического капитализма в мире к значительно более цивилизованному, гуманному и "социализированному" капитализму" [1].

В этом докладе даны квалификации советскому строю – не в период сталинизма, а именно в 1990 году, – которые прямо обязывали каждого "честного человека" начать непримиримую борьбу против СССР. Сказано, что "политически советское общество (больное, прогнившее) остается тоталитарным". Следовательно, демократизации оно не поддается, политическую систему надо менять. "Социальное противостояние классов носит антагонистический характер", – значит, общественный диалог и компромиссы невозможны, "демонтаж тоталитарной государственно-монополистической системы" является "единственно разумной политикой". Советская система – "самый негуманный и антисоциалистический капитализм в мире", и ее надо заменить "цивилизованным капитализмом".

Ясно, что этот доклад, зачитанный в АН СССР в марте 1990 года, вынашивался как минимум с начала 1989 года. В нем выражена согласованная позиция той части верхушки КПСС, которую называли "прорабами перестройки".

Сошлемся и на такое откровение А. Н. Яковлева: "Для пользы дела приходилось и отступать, и лукавить. Я сам грешен – лукавил не раз. Говорил про "обновление социализма", а сам знал, к чему дело идет... Есть документальное свидетельство – моя записка Горбачеву, написанная в декабре 1985 года, т. е. в самом начале перестройки. В ней все расписано: альтернативные выборы, гласность, независимое судопроизводство, права человека, плюрализм форм собственности, интеграция со странами Запада... Михаил Сергеевич прочитал и сказал: рано. Мне кажется, он не думал, что с советским строем пора кончать" [7]. Да, в 1985 году "кончать с советским строем" было рано, идеологическая обработка населения заняла 7 лет.

В 1988 году появились первые массовые политические организации с антисоветскими и антисоюзными платформами – "народные фронты" в республиках Прибалтики. Они возникли при поддержке руководства ЦК КПСС и вначале декларировали цель защиты "гласности", постепенно, но достаточно быстро переходя к лозунгам сначала экономического ("республиканский хозяйрасчет"), а потом и политического сепаратизма.

Антисоветская оппозиция на I Съезде народных депутатов СССР организационно оформилась как Межрегиональная депутатская группа, программа которой была изложена в "Тезисах к платформе МДГ" в сентябре 1989 года. МДГ сразу стала использовать "антиимперскую" риторику и вступила в союз с лидерами сепаратистов. Два главных требования МДГ сыграли большую роль в дальнейшем процессе – отмена 6-й статьи Конституции СССР (о "руководящей роли КПСС") и легализация забастовок. Был также выдвинут лозунг "Вся власть Советам!" как средство подрыва гегемонии КПСС (впоследствии Советы были объявлены прибежищем партократов и стали ликвидироваться). Вопрос об отмене 6-й статьи не был включен в повестку дня II Съезда народных депутатов СССР Верховным Советом СССР (не хватило нескольких голо-

сов). Перед открытием Съезда 12 декабря 1989 года МДГ обратилась с призывом ко всеобщей политической забастовке в поддержку требований об отмене 6-й статьи. Но большинство на Съезде также отказалось включить вопрос в повестку дня.

На III Съезд сама КПСС, согласно решению состоявшегося накануне Пленума ЦК КПСС, внесла “в порядке законодательной инициативы” проект “Закона СССР об изменениях и дополнениях Конституции СССР по вопросам политической системы (статьи 6 и 7 Конституции СССР)”. Отмена 6-й статьи была “упакована” в один пакет с необычным изменением (введением поста Президента). “Послушное большинство” приняло этот закон; правовая основа, на которую опиралась руководящая роль КПСС, была устранена, что вынуло стержень из всей политической системы государства.

Президент СССР (бывший одновременно Генеральным секретарем КПСС) вышел из-под контроля партии. Её Политбюро и ЦК были сразу практически отстранены от участия в выработке решений. Упразднение в 1989 году номенклатуры вместе с лишением КПСС правовых оснований для влияния на кадровую политику освободило от контроля партии республиканские и местные элиты. Государственный аппарат превратился в сложный конгломерат сотрудничающих или противоборствующих групп и кланов.

Легализация забастовок дала мощное средство шантажа союзной власти и поддержки политических требований антисоветской оппозиции – лидеры МДГ прямо призывали шахтеров Кузбасса бастовать, и эти забастовки сыграли большую роль в подрыве государства.

В январе 1990 года было создано радикальное движение “Демократическая Россия” (“демократы”), которое положило в основу своей идеологии антиякоμμунизм. Другим типом антисоветских движений были возникающие националистические организации, которые готовили почву для конфликта как с союзным Центром, так и с национальными меньшинствами внутри республик.

Консервативная оппозиция ни в органах власти, ни в КПСС организовать не смогла. Те народные депутаты, которые были не согласны с изменениями (“агрессивно-послушное большинство”), образовали рыхлую группу “Союз”. Она, однако, не выработала ни платформы, ни программы действий, выражалась туманными намеками. Воспитанные в советской системе люди не могли перейти психологический барьер и открыто выступить против руководства КПСС.

С первых лет перестройки велась жесткая идеологическая кампания против КГБ, МВД и армии как систем, обеспечивающих безопасность государства и общественного строя. Считая их личный состав наиболее консервативной частью советского государства, идеологи перестройки стремились организационно и психологически разоружить эти структуры. Велась работа по разрушению положительного образа всех вооруженных сил в общественном сознании и по подрыву самоуважения офицерского корпуса. Военное руководство было отстранено от участия в решении важнейших военно-политических вопросов. Так, поразившее весь мир заявление М. С. Горбачева 15 января 1986 года о программе полного ядерного разоружения СССР в течение 15 лет было неожиданностью для военных.

Были спровоцированы (с участием преступного мира и западных спецслужб) очаги насилия под этническими лозунгами. Во время вспышек насилия в Ферганской долине, Сумгаите, Нагорном Карабахе армия и правоохранительные органы сначала предпринимали попытки пресечь действия провокаторов и преступников – и тут же из Москвы поступала команда отступить – “Нельзя применять силу против своего народа!”. Насилие вспыхивало с удвоенной силой, а государство, не выполнив своей обязанности, теряло авторитет. При этом в Москве проводились демонстрации против “преступных действий военщины”.

А. А. Собчак писал: “За десятилетия сталинизма глубоко укоренились в нашем общественном сознании антигуманные представления о безусловном приоритете ложно понимаемых государственных интересов над общечеловеческими ценностями. . . Необходим общий законодательный запрет на использование армии для разрешения внутривнутриполитических, этнических и территориальных конфликтов и столкновений”.

Одной из крупных провокаций против армии стали события в Тбилиси 9 апреля 1989 года, их расследование депутатской комиссией под председа-

тельством А. А. Собчака и обсуждение его доклада на I Съезде народных депутатов. Этой теме посвящена обширная документальная и аналитическая литература. В ходе этой операции и была сформулирована концепция преступных приказов и преступных действий военнослужащих, которые выполняют эти приказы. К созданию этой концепции были привлечены очень большие политические силы, действия которых в нормальной ситуации следовало бы считать противозаконными. Например, СМИ широко транслировали “доклад Собчака”, но не было опубликовано заключение Главной военной прокуратуры, которая проводила расследование тех событий по своей линии.

Так, “комиссия Собчака” сделала ложные выводы о том, что причиной смерти погибших при разгоне митинга людей стали ранения, нанесенные саперными лопатками, и воздействие отравляющих веществ. Следствие опровергло эти выводы на основании экспертизы внутренних органов и одежды погибших. В проведении экспертизы участвовали эксперты ООН.

Не было ни ранений саперными лопатками, ни воздействия ОВ. 18 человек погибли в давке, один “погиб от сильного удара о плоский предмет. Этот боевик-каратист намеревался в прыжке обеими ногами пробить цепь солдат. Но цепь расступилась и нападавший упал, получив смертельное ранение головы”. Доклад следствия не был доведен до сведения общественности, и до сих пор источником массовой информации остается “доклад Собчака”.

После событий в Тбилиси началось интенсивное внушение приоритета демократических идеалов перед воинской дисциплиной, велась идеологическая кампания, внедряющая мысль, что солдат не должен выполнять приказы, идущие вразрез с “общечеловеческими ценностями”. Так происходил подрыв монополии государства на насилие, вследствие чего началась криминализация насилия, стирание грани между насилием легитимным и преступным.

В 1989 году на вооружение милиции была принята резиновая дубинка, что имело большое символическое значение. В 1989–1991 годы произошло внешне малозаметное, но важное изменение во всех правоохранительных органах (МВД, КГБ, суда и прокуратуры) – уход большей части квалифицированных кадров. К этому побуждали две причины: сильное давление прессы, которая дискредитировала эти органы, и быстрое понижение зарплаты, которое в этих органах тогда было невозможно компенсировать побочными заработками.

В годы перестройки началось создание целой индустрии, производящей особый культурный продукт – поток “сообщений”, в совокупности очерняющих все стороны Великой Отечественной войны как системы. Поскольку эта война была беспристрастным, абсолютным экзаменом для всех главных систем советского строя, лишение ее авторитета в массовом сознании обрушило психологические защиты против антисоветской пропаганды даже самого оголтелого и примитивного толка. Публиковались не только “художественные” произведения, разрушающие образ войны, но и “документальные” фальшивки.

Вот показательный случай. В 1950 году в ФРГ вышла книжка “Последние письма из Сталинграда” с 39-ю письмами немецких солдат из окружения. Она стала бестселлером и была переведена на многие языки. Вскоре, однако, выяснилось, что все эти письма – фальсификация. Их автором оказался военный корреспондент Хайнц Шретер, получивший задание Геббельса сделать книгу о доблести германских войск в Сталинграде. Она не была опубликована – показалась Геббельсу недостаточно героической. Разоблачение было громким, но в 1990 году эту стряпню издал журнал “Знамя” [8].

Было проведено радикальное изменение всей структуры управления. За один год в отраслях было полностью ликвидировано среднее звено управления с переходом к двухзвенной системе “министерство–завод”. В центральных органах управления СССР и республик было сокращено 593 тыс. работников, из них только в Москве – 81 тыс. Прямым результатом этой акции стало разрушение информационной системы народного хозяйства.

Поскольку компьютерной сети накопления, хранения и распространения информации в СССР еще не было создано, опытные кадры с их документацией являлись главными элементами системы. Когда эти люди были уволены, а их тетради и картотеки свалены в кладовки, потоки информации оказались блокированы. Это стало одной из важных причин разрухи. Фактически, начиная с осени 1986 года, центральный аппарат управления хозяйством стал недееспособен.

Разрушение финансовой системы и потребительского рынка

Декларированная цель реформы, начатой в 1988 году, – превращение советского хозяйства в рыночную экономику. Фактически это был способ разрушения советской хозяйственной системы. В ходе этого эксперимента получен большой запас нового знания в области экономической теории. Именно когда ломают какой-то объект, можно узнать его внутреннее устройство и получить фундаментальное знание.

Разрушение финансовой системы и потребительского рынка в 1988–1990 годы вызвало шок, который и использовали политики для уничтожения СССР. Кризис был создан при демонтаже советской системы, а не унаследован от СССР.

В советском государстве действовала особая финансовая система из двух “контуров”. В производстве обращались безналичные (в известном смысле “фиктивные”) деньги, количество которых определялось межотраслевым балансом и которые погашались взаимозачетами. По сути, в СССР отсутствовал финансовый капитал и ссудный процент (деньги не продавались). На рынке потребительских товаров обращались нормальные деньги, получаемые населением в виде зарплаты, пенсий и т. д. Их количество строго регулировалось в соответствии с массой наличных товаров и услуг. Это позволяло поддерживать низкие цены и не допускать инфляции. Такая система могла действовать при жестком запрете на смешение двух контуров (перевода безналичных денег в наличные).

Второй особенностью была принципиальная неконвертируемость рубля. Масштаб цен в СССР был совсем иным, нежели на мировом рынке, и рубль мог циркулировать лишь внутри страны (это была “квитанция”, по которой каждый гражданин получал свои дивиденды от общенародной собственности – в форме низких цен). Поэтому контур наличных денег должен был быть строго закрыт по отношению к внешнему рынку государственной монополией внешней торговли. Либерализация финансовой системы и рынка в СССР могла быть проведена лишь после приведения цен и зарплат в соответствие с мировыми.

В 1988–1989 годы оба контура финансовой системы СССР были раскрыты. Прежде всего была отменена монополия внешней торговли. С 1 января 1987 года право непосредственно проводить экспортно-импортные операции было дано 20-ти министерствам и 70-ти крупным предприятиям. Через год были ликвидированы Министерство внешней торговли и ГКЭС (Государственный комитет по экономическим связям) СССР и учреждено Министерство внешнеэкономических связей СССР, которое теперь лишь “регистривало предприятия, кооперативы и иные организации, ведущие экспортно-импортные операции”. Законом 1990 года право внешней торговли было предоставлено и местным Советам.

Согласно “Закону о кооперативах” (1988 г.), при государственных предприятиях и местных Советах быстро возникла сеть кооперативов и совместных предприятий, занятых вывозом товаров за рубеж, что резко сократило поступление на внутренний рынок. Многие товары при спекуляции давали выручку до 50 долларов на 1 рубль затрат и покупались у предприятий “на корню”.

Следующим шагом, через “Закон о государственном предприятии (объединении)” (1987 г.), был вскрыт контур безналичных денег – было разрешено их превращение в наличные. Это стало первым шагом к приватизации банковской системы СССР. В большой мере эта работа была поручена комсомольским деятелям. Созданные тогда “центры научно-технического творчества молодежи” (ЦНТТМ), курируемые ЦК ВЛКСМ, получили эксклюзивное право на обналичивание безналичных денег (ЦНТТМ называли “локомотивами инфляции”).

При плановой системе поддерживалось такое распределение прибыли предприятий (для примера взят 1985 г.): 56% вносится в бюджет государства, 40% оставляется предприятию, в том числе 16% идет в фонды экономического стимулирования (премии, надбавки и т. д.). В 1990 году из прибыли предприятий в бюджет было внесено 36%, оставлено предприятиям – 51%, в том числе в фонды экономического стимулирования – 48%. Таким образом, не только резко были сокращены взносы в бюджет, но и на развитие предприятий средств почти не оставлялось. При этом сразу было нарушено социальное равновесие, так как личные доходы работников стали зависеть от ис-

кусственного показателя рентабельности: в легкой промышленности она составляла в 1990 году 32%, а в топливно-энергетическом комплексе — 6,1%.

Произошел скачкообразный рост личных доходов вне связи с производством. Ежегодный прирост денежных доходов населения в СССР составил в 1981–1987 годы, в среднем 15,7 млрд руб., а в 1988–1990 годы — 66,7 млрд руб. В 1991 году лишь за первое полугодие денежные доходы населения выросли на 95 млрд руб. **Такой рост доходов при одновременном сокращении товарных запасов в торговле привел к краху потребительского рынка (“товары сдуло с полок”)! Был резко увеличен импорт.** До 1989 года СССР имел стабильное положительное сальдо во внешней торговле, а в 1990 году отрицательное сальдо составило 10 млрд руб.

Оттянуть развязку правительство пыталось за счет дефицита госбюджета, внутреннего долга и продажи валютных запасов. Государственный внутренний долг СССР возрастал следующим образом: 1985 год — 142 млрд руб. (18,2% ВВП); 1989 год — 399 млрд руб. (41,3% ВВП); 1990 год — 566 млрд руб. (56,6% ВВП); за 9 месяцев 1991 года он составил 890 млрд руб. Золотой запас, который в начале перестройки составлял 2 000 т, в 1991 году снизился до 200 т. Внешний долг, который практически отсутствовал в 1985 году, в 1991 году составил около 120 млрд долл. Был открыт путь к неконтролируемому росту цен, снижению реальных доходов населения и инфляции. Государство лишалось экономической основы для выполнения своих обязательств перед гражданами, в частности пенсионерами.

В соответствии с концепцией перестройки как перехода к рыночной экономике стала свертываться плановая система распределения ресурсов, взамен создавалась сеть товарных и сырьевых бирж. В 1991 году был ликвидирован Госнаб СССР. Нарушился межотраслевой баланс, были свернуты все государственные программы и начался быстрый спад производства. СССР погрузился в состояние “без плана и без рынка”.

В “Программе совместных действий Кабинета министров СССР и правительств суверенных республик...” (10 июля 1991 г.) было сказано: “Социально-экономическое положение в стране крайне обострилось. Спад производства охватил практически все отрасли народного хозяйства. В кризисном состоянии находится финансово-кредитная система. Дезорганизован потребительский рынок, повсеместно ощущается нехватка продовольствия, значительно ухудшились условия жизни населения. Кризисная обстановка требует принятия экстренных мер с тем, чтобы в течение года добиться *предотвращения разрушения народного хозяйства страны*”. (Курсив мой. — Авт.)

В мае 1991 года был представлен проект закона “О разгосударствлении и приватизации промышленных предприятий”. Готовился он в закрытом порядке, все попытки организовать обсуждение в печати или хотя бы в руководящих органах КПСС были блокированы (этого не могли добиться даже консервативные члены Политбюро). На заседании Комитета по экономической реформе ВС СССР, где обсуждался законопроект перед вынесением на голосование в ВС, не были заслушаны даже эксперты, которым премьер-министр поручил анализ проекта. Уже действовало “революционное право”.

В июне 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете. Она декларировала раздел общенародного достояния СССР и верховенство республиканских законов над законами СССР. Это был первый правовой акт, означавший начало ликвидации Союза. Декларации о суверенитете приняли союзные и некоторые автономные республики. Они содержали официальную установку на создание этнических государств, то есть на законодательное оформление отказа от государства советского типа (“республики трудящихся”).

Перестройка поначалу была с энтузиазмом поддержана обществом потому, что оно “переросло” политическую структуру, созданную на первом этапе советского строя. Вынужденное создание в 1920-е годы закрытого правящего слоя (“номенклатуры”) породило, как и предвидели Ленин и Сталин, рецидив сословных отношений. Однако произошел срыв, и процессом овладела именно часть “номенклатуры”, получившая шанс превратиться в собственников национального богатства.

Вслед за развалом СССР и сломом хозяйственной системы (“приватизация”) последовал катастрофический кризис. Все большие технические системы, на которых стоит жизнь страны (энергетика, транспорт, теплоснабжение

и т. д.), созданы в советское время. Все они устроены иначе, чем в западном рыночном хозяйстве.

За последние 20 лет выяснилось, что нынешняя хозяйственная система не может их содержать – при рыночных отношениях они оказываются слишком дорогими. Они деградируют или разрушаются. В то же время рынок не может и построить новые, рыночные системы такого же масштаба. Страна попала в историческую ловушку – в порочный круг, из которого при нынешней хозяйственной системе вырваться невозможно.

Демонтаж советского народа

Надо преодолеть ограничения подходов, загоняющих всю жизнь общества в узкие рамки интересов социальных групп, и посмотреть, что происходит со всей системой связей, объединяющих людей в общности, а их – в общество. Тогда мы сразу увидим, что гораздо более фундаментальными, нежели классовые отношения, являются связи, соединяющие людей в народ. И что непосредственная причина краха СССР заключается в том, что за двадцать лет был демонтирован, “разобран” главный субъект нашей истории, создатель и хозяин СССР – **народ**. Все остальное – следствие.

Идея разборки и создания народов нам непривычна; нам внушили, будто общество развивается по таким же законам, как и природа. В действительности все сообщества людей складываются в ходе их сознательной деятельности, они проектируются и конструируются. Это – явления культуры, а не природы. Народ – большая система, в которой множество элементов (личностей, семей, общностей разного рода) соединены множеством типов связей так, что целое обретает новые качества, несводимые к качествам его частей.

Связи эти поддаются целенаправленному воздействию, и технологии такого воздействия совершенствуются. Значит, народ можно “разобрать”, демонтировать – так же, как на наших глазах демонтировались рабочий класс или научно-техническая интеллигенция РФ. Ничего мистического в этом нет; надо просто знать, как устроены те или иные связи, собирающие людей в сплоченные общности разного типа. И если какая-то влиятельная сила производит демонтаж народа нашей страны, то исчезает общая воля, а значит, теряет силу и государство – государство остается без народа. При этом ни политическая элита, ни образованный слой, мыслящие в понятиях классового подхода, этого даже не замечают.

В момент большого противостояния с внешними силами (горячей или холодной войны) едва ли не главный удар направлен как раз на тот механизм, что скрепляет народ. В западных армиях возник даже особый род войск, предназначенный для ведения информационно-психологической войны. Но мы в это не верили и на уроках прошлого не учились...

“Молекулярная агрессия” в сознание советского общества велась с начала 1960-х годов на фоне широкого (почти обязательного в среде интеллигенции) инакомыслия, а начиная с 1985 года – открыто средствами идеологической машины КПСС. Тогда эта кампания и приобрела характер психологической войны. Наставления США дают этой войне такое определение: “Планомерное наступательное воздействие политическими, интеллектуальными и эмоциональными средствами на сознание, психику, моральное состояние и поведение населения и вооруженных сил противника”. Именно такое воздействие и оказывалось на население СССР. В американском руководстве 1964 года по психологической войне сказано, что ее цель – “подрыв политической и социальной структуры страны-объекта до такой степени деградации национального сознания, что государство становится неспособным к сопротивлению”.

Таким образом, целью антисоветской кампании, независимо от индивидуальных устремлений ее участников, была не борьба с идеологией, а деградация **национального** сознания – до такой степени, чтобы **государство** стало неспособным к сопротивлению в цивилизационной холодной войне. Антисоветскую кампанию перестройки надо рассматривать как военную операцию против СССР – формы бытия российской цивилизации конца XX века.

Эта военная операция велась исключительно жесткими средствами практически во всех сферах жизни советского народа – в экономической, социальной, этнической и политической. Разрушению подвергались все духовные

структуры советского человека на большую глубину и основные структуры жизнеустройства. Речь шла не о критике, а об ударах на поражение.

Когда с середины 1970-х годов была начата большая программа, определенно направленная на демонтаж советского народа, наше общество в целом, включая все его защитные системы, восприняло это как обычную буржуазную пропаганду, с которой, конечно же, без труда справится ведомство Суллова. В момент смены поколений была предпринята форсированная операция. На разрушение духовного и психологического каркаса советского народа была направлена большая культурная программа. Демонтаж народа проводился сознательно, целенаправленно и с применением сильных технологий.

Предполагалось, что в ходе трансформации удастся создать новый народ, с иными качествами (“новые русские”, “средний класс”). Это и был бы демос, который должен был получить всю власть и собственность. Ведь демократия – это власть демоса, а гражданское общество – “республика собственников”! “Старые русские” (“совки”), утратив статус народа, были бы переведены в разряд охлоса, лишённого собственности и прав. Выполнение этой программы в 1980–1990-е годы свелось к холодной гражданской войне этого наспех сколоченного нового народа (“новых русских”) со старым (советским) народом. Против большинства населения (старого народа) применялись средства информационно-психологической и экономической войны.

Воздействие на массовое сознание в информационно-психологической войне, каковой и была перестройка, имело целью непосредственное разрушение культурного ядра народа¹. В результате экономической и информационно-психологической войн была размонтирована “центральная матрица” мировоззрения, население утратило целостную систему ценностных координат. Сдвиги и в сознании, и в образе жизни были инструментами демонтажа того народа, который составлял общество и на согласии которого держалась легитимность советской государственности. Защитные системы советского государства и общества не нашли адекватного ответа на новый исторический вызов. К 1991 году советский народ был в большой степени “рассыпан” – осталась масса людей, не обладающих надличностным сознанием и коллективной волей. Эта масса людей утратила связную картину мира и способность к логическому мышлению, выявлению причинно-следственных связей.

Прочтение, уже “после битвы”, основных текстов доктрины перестройки показывает, что ликвидация советского народа как особой полиэтнической общности была целью фундаментальной. Эта операция велась в двух планах – как ослабление и разрушение ядра советской гражданской нации, русского народа, и как разрушение системы межэтнического общежития в СССР и Российской Федерации. Интенсивно разрабатывался тезис, что никакого советского народа (нации) не существует и что обитающие в СССР народы общностью не являются. Исподволь в кругах антисоветской элиты культивировалась еще более фундаментальная идея – дескать, население СССР (а затем РФ) вообще не является народом, а народом является лишь скрытое до поры до времени в этом населении особое меньшинство².

Решение перенести главное направление информационно-психологической войны против СССР с социальных проблем в сферу межнациональных отношений было принято в стратегии холодной войны уже в 1970-е годы. Но шоры исторического материализма не позволили советскому обществу осознать масштаб этой угрозы. Считалось, что в СССР “нации есть, а национального вопроса нет”.

В информационно-психологической подготовке политических акций этой программы принял участие весь цвет либерально-демократической элиты. Но

¹ Экономическая война внешне выразилась в лишении народа его общественной собственности (“приватизация” земли и промышленности), а также личных сбережений. Это привело к кризису народного хозяйства и утрате социального статуса огромными массами рабочих, технического персонала и квалифицированных работников села. Резкое обеднение привело к изменению образа жизни (типа потребления, профиля потребностей, доступа к образованию и здравоохранению, характера жизненных планов). Это означало глубокое изменение в материальной культуре народа и разрушало его мировоззренческое ядро. Основные операции этой войны были проведены уже после ликвидации СССР, и здесь мы их не рассматриваем.

² Собрать “новый народ” из новоявленных собственников не удалось, что и предопределило глубину и безысходность кризиса, начавшегося в 1991 г. Это – особая тема, выходящая за рамки работы.

главным рупором идеи разрушения Советского Союза стал А. Д. Сахаров. Предложенная им “Конституция Союза Советских Республик Европы и Азии” (1989) предполагала расчленение СССР на полторы сотни независимых государств.

Вот несколько кратких утверждений из огромного потока программных сообщений, сделанных самыми различными авторами. Историк Юрий Афанасьев: “СССР не является ни страной, ни государством... СССР как страна не имеет будущего”. Советник Президента РФ Галина Старовойтова: “Советский Союз – последняя империя, которую охватил всемирный процесс деколонизации, идущий с конца II мировой войны... Не следует забывать, что наше государство развивалось искусственно и было основано на насилии”. Историк М. Гефтер так говорил в Фонде Аденауэра об СССР, “этом космополитическом монстре”, что “связь, насквозь проникнутая историческим насилием, была обречена” и Беловежский вердикт, мол, был закономерным. Писатель А. Адамович заявлял на встрече в МГУ: “На окраинах Союза национальные и демократические идеи в основном смыкаются – особенно в Прибалтике”.

Возбуждая агрессивную этничность, антисоветская интеллигенция заведомо жертвовала демократическим проектом – она открывала путь этнократическим режимам.

В 1991 году был проведен референдум с провокационным вопросом – “надо ли сохранять СССР?”. До этого сама постановка такого вопроса казалась абсурдной и отвергалась массовым сознанием. Теперь даже президент страны заявил, что целесообразность сохранения СССР вызывает сомнения, и надо бы этот вопрос поставить на голосование.

Но следует отметить, что одни только “западники” не могли бы легитимировать в глазах достаточно большой части интеллигенции развал страны, а значит, и поражение России в тяжелой холодной войне. Немалую роль тут сыграли и “патриоты”, отвергавшие имперское устройство России (и СССР). Исходя из представлений этнонационализма, они пытались доказать, что сплотившиеся вокруг русского ядра нерусские народы Российской империи, а затем СССР, составляют жизненные силы русского народа – грубо говоря, “объедают” его. Представители “правого” крыла разрушителей межнационального общегития СССР высказывали совершенно те же тезисы, что и крайняя западница Г. Старовойтова (иногда совпадение у них было почти текстуальное).

Разрушители СССР как могильщики демократии

После ликвидации СССР, и особенно после демонстративного расстрела танковыми орудиями Дома Советов в октябре 1993 года, “архитекторы и прорабы” стали напоминать мировому сообществу о своих заслугах в уничтожении “империи зла”. Видимо, считали, что их заслуги недооценены.

Сам Горбачев представлял себя героем, который сокрушил советское государство. В своей лекции в Мюнхене 8 марта 1992 года он сказал: “Понимали ли те, кто начинал, кто осмелился поднять руку на тоталитарного монстра, что их ждет? Мои действия отражали рассчитанный план, нацеленный на обязательное достижение победы... Несмотря ни на что, историческую задачу мы решили: тоталитарный монстр рухнул” [9, с. 193].

Таким образом, Горбачев признал, что он действовал согласно **плану, нацеленному на уничтожение СССР**. И цель была достигнута – “тоталитарный монстр рухнул”. Виданное ли в истории дело – верховный правитель державы признается в своей государственной измене! Это – патология, которая нанесла тяжелый удар по культуре постсоветской России.

Более того, Западу стали напоминать, что Горбачев начал служить его интересам еще до перестройки, рискуя своим благополучием. В интервью газете “Коррьере делла сера” (1995 г.) помощник Горбачева Вадим Загладин сказал: “В то время Горбачев не мог говорить открыто, он знал, что большинство Политбюро и ЦК не поддержало бы его позицию. В этом признался сам Горбачев. Он должен был быть немного лисой, не мог сказать всего и порой должен был говорить одно, а делать другое... В речи, которую Горбачев произнес в Лондоне в конце 1983 года, уже содержалась новая политическая концепция, отличная от концепции партии и государства”.

Как называется деятель, который во время войны, пусть холодной, едет за границу и предлагает себя как носитель концепции, противоречащей политике своего государства? Ведь Горбачев предложил именно концепцию, которая привела к разрушению страны – к ее поражению такого масштаба, что Россию сравнивали с Веймарской республикой!¹

Один из интеллектуальных авторов доктрины холодной войны Дж. Кеннан сказал в 1965 году, что план этой войны имел две главных линии: “абсолютное военное поражение Советского Союза или фантастический, необъяснимый и невероятный переворот в политических установках его руководителей”. Военное поражение СССР оказалось невозможным, но второй вариант – предательство верхушки КПСС – осуществился, несмотря на то, что в 1965 году он считался невероятным.

В годовщину ликвидации Берлинской стены, 5 ноября 2009 года, информационное агентство “Евроньюс” взяло у Горбачева интервью, в котором его спрашивали: “СССР развалился. Почему не удался Ваш проект?”. На это бывший Президент СССР и Генеральный секретарь ЦК КПСС отвечает: “Я, во-первых, не согласен с вашим выводом, что наш проект не удался. Он настолько удался, что в Советском Союзе начались демократические реформы, и теперь, уже после распада, в России идет развитие и формирование рыночной экономики, плюрализм всякого рода: политический, идеологический, религиозный и т. д. Больше того, в результате этих перемен мы дошли до такой точки, что хотя перестройка и оборвалась насильно, но возврата нет. Никто не способен вернуть страну назад. Так что перестройка победила” [10].

Итак, перестройка победила СССР. Над референдумом по вопросу о сохранении СССР победители просто посмеялись. В результате общество отшатнулось от идеи демократии, которая ассоциировалась с перестройкой и образом Горбачева и его команды. Это – колоссальный урон для российского общества. Очернение образа СССР и, почти одновременно, образа демократического жизнеустройства нанесло всему населению, независимо от личных предпочтений каждого, тяжелую культурную травму. Это понятие определяют как “насилиственное, неожиданное, репрессивное внедрение ценностей, остро противоречащих традиционным обычаям и ценностным шкалам”, как разрушение культурного времени-пространства (по выражению М. М. Бахтина, хронотопа; сам он называл такие культурные травмы “временем гибели богов”). Теория культурной травмы возникла именно в ходе анализа нарушений национальной идентичности народов восточноевропейских социалистических стран во время “бархатных революций” – их перестройки.

Тяжелый удар по культуре нанесла ложь, которой был пропитан весь идеологический дискурс перестройки, представляющий ее переходом к демократии и правовому государству. Для тех, кто лично общался с этими идеологами и читал их тексты, эта ложь стала очевидной уже в 1989–1990 годы, но основная масса населения искренне верила в лозунги и обещания – общество действительно dorосло до общей потребности в демократии. Но стоило ликвидировать СССР и его политический порядок, как те же идеологи стали издеваться над обманутым населением с удивительной глумливостью.

Демократическая риторика обернулась профанацией великой идеи. Вчитаемся в выдержки из программного доклада Т. И. Заславской:

“Демократическая перестройка, происходящая в нашей стране, была задумана как реформа “сверху”, но на практике переросла в революцию “снизу”, поддержанную многомиллионными массами. . .

Летом 1990 года мы спросили своих респондентов о том, каковы, по их мнению, главные результаты пяти лет перестройки общественных отношений. Наибольшее число голосов получили ответы: “потеря уверенности в завтрашнем дне” – 43%, “кризис национальных отношений” – 37%, “хаос и неразбериха в управлении страной” – 29%, “углубление экономического кризиса” – 28% . . .

¹ Президент Римского клуба Р. -Д. Хохляйтнер, единственный из западных деятелей, нашедший тогда слова сострадания к советским людям, дал такое определение: “Перестройка – наиболее важное событие этого века для демократических стран всего мира. . . Перестройка не только привела к ликвидации коммунистического режима в СССР, но и радикально изменила равновесие сил в мире. С полным основанием говорится, что Горбачев и его перестройка лучше понимаются и выше оцениваются на Западе. . . Перестройка была бы немислима и не могла бы произойти, если бы не уникальная и неповторимая личность Михаила Горбачева”.

Чтобы выяснить, как большинство людей оценивают влияние перестройки на собственную жизнь, был задан вопрос: “Стала ли Ваша жизнь после того, как в 1985 году к руководству пришел М. С. Горбачев, лучше, хуже или не изменилась?”. 7% ответили, что их жизнь улучшилась, 22% – не изменилась, у 57% стала хуже, 14% затруднились ответить... Дальнейшее нарастание экономических трудностей и политической напряженности предсказывали 63 и 59%.

Общественное мнение чутко улавливает тенденцию к усилению социального расслоения: ее отмечают 59–63% опрошенных. Почти 60% уверены, что в дальнейшем различия в уровне жизни богатых и бедных будут расти. Когда же мы попытались выяснить, кто имеет наибольшие шансы повысить свои доходы, то на первые места вышли ответы: “богаче станут только те, кто живет нечестным трудом” (46%), “получать больше станут те, кто сумеет приспособиться на хорошую работу” (43%), “богатые станут жить богаче, а бедные – беднее” (41%)... Только 2–3% опрошенных верят, что от перемен в экономике выиграют рабочие, крестьяне и интеллигенция” [1].

Поражает логика идеолога демократической перестройки. Ведь, по приведенным самой Т. И. Заславской данным, большинство опрошенных оценивали перестройку как бедствие, которое будет лишь углубляться в ходе начатой реформы. Какая может быть “революция снизу”, когда “только 2–3% опрошенных верят, что от перемен в экономике выиграют рабочие, крестьяне и интеллигенция”! О чем думали ведущие общественеды, слушавшие этот доклад в Президиуме АН СССР? Как можно было не заметить крайнего антидемократизма принципиальных положений этого доклада?

А вот что пишет Т. И. Заславская об установках населения в отношении Октябрьской революции: “Анализ полученных данных позволил выделить четыре типа социально-политических позиций. Два первых типа характерны для 40–50% взрослого населения страны. Они объединяют людей, считающих: что большевики должны были взять власть (52%); что Октябрьская революция выражала реальную волю народов страны (39%); что она открыла новую эру в ее истории, дала толчок ее социальному и экономическому развитию (45%).

Респонденты второго типа, составляющие 25–30%, придерживаются несколько иных позиций. Признавая историческую необходимость революции, они осуждают многие действия большевиков... Третья позиция отличается от второй перерастанием критицизма в принципиальное неприятие идей Октябрьской революции... Прямые сторонники перехода страны с социалистического пути на капиталистический составили около 10%... .

В сентябрьском опросе 1990 года был использован другой вариант того же вопроса: “Каким курсом должен следовать СССР в будущем?” За “отказ от социализма и переход к капитализму” здесь высказались 8%, за “социал-демократию североевропейского типа, сочетающую черты социализма и капитализма” – 30%... .

Общий вывод заключается в том, что значительная часть советских людей считает избранный нашим обществом исторический путь ошибочным... . Есть основания ожидать, что по мере развития рынка и формирования слоя предпринимателей социальный конфликт между ними и основной массой трудящихся будет обостряться” [1].

И это называют демократической революцией снизу! Сама эта демагогия вызвала отвращение людей – а ведь бедствие в тот момент еще не наступило!

Преобразования, начатые в 1988 году, были столь радикальными (“шоковыми”), что их было бы правильнее называть революционными. В обиход даже вошло иррациональное выражение “реформа посредством слома”. Да и сами идеологи перестройки любили называть ее революцией, причем уточнялось, что речь шла о революции разрушительной: “Революция сверху отнюдь не легче революции снизу. Успех ее, как и всякой революции, зависит прежде всего от стойкости, решительности революционных сил, их способности сломать сопротивление отживших свое общественных настроений и структур” (Н. П. Шмелев). Е. Г. Ясин также считал, что в 1991 году в СССР произошла революция: “По своему значению, по глубине ломки социальных отношений, пронизавших все слои общества, [августовская] революция была для России более существенна и несравненно более плодотворна, чем Октябрьская 1917 года”.

Разрушительный пафос перестройки достиг такого накала, что была подорвана сама способность “демократической” элиты к рациональным умозак-

лучениям. Дж. Гэлбрейт, один из виднейших экономистов США, посетив в 1990 году Москву и ознакомившись с доктриной реформ, сказал: “Говорящие – а многие говорят об этом бойко и даже не задумываясь – о возвращении к свободному рынку времен Смита не правы настолько, что их точка зрения может быть сочтена психическим отклонением клинического характера. Это то явление, которого у нас на Западе нет, которое мы не стали бы терпеть и которое не могло бы выжить” [11].

Психическое отклонение клинического характера – вот как воспринимался замысел перестройки СССР по рыночным канонам.

Да это было очевидно практически всем, включая грабителей, которые воспользовались моментом. А. С. Ципко вспоминает: “Во время одной из телепередач на упрек в несостоятельности российских демократов Юрий Афанасьев неожиданно ответил: “Вы правы, результат реформ катастрофичен и, наверное, не могло быть по-другому. Мы, на самом деле, были слепые поводыри слепых” [12].

Ю. Афанасьев скромничает: они не были поводырями слепых; уже в 1990 году люди стали зрячими, как это видно из опросов ВЦИОМ. Но слепые фанатики их уже не вели, а гнали. А навыков самоорганизации у них не было – вот следствие избыточного патернализма СССР.

В конце 1990-х годов были не редкость такие откровения идеологов антисоветской элиты. В их признаниях сквозь мессианское высокомерие разрушителей “империи зла” иногда даже прорывалась нотка раскаяния. Вот статья-манифест А. С. Ципко, консультанта ЦК КПСС, в котором так говорится об интеллектуальной элите перестройки: “Мы, интеллектуалы особого рода, начали духовно развиваться во времена сталинских страхов, пережили разочарование в хрущевской оттепели, мучительно долго ждали окончания брежневского застоя, делали перестройку. И, наконец, при своей жизни, своими глазами можем увидеть, во что вылились на практике и наши идеи, и наши надежды...”

Не надо обманывать себя. Мы не были и до сих пор не являемся экспертами в точном смысле этого слова. Мы были и до сих пор являемся идеологами антитоталитарной – и тем самым антикоммунистической – революции... Наше мышление по преимуществу идеологично, ибо оно рассматривало старую коммунистическую систему как врага, как то, что должно умереть, распасться, обратиться в руины, как Вавилонская башня. Хотя у каждого из нас были разные враги: марксизм, военно-промышленный комплекс, имперское наследство, сталинистское извращение ленинизма и т. д.

И чем больше каждого из нас прежняя система давила и притесняла, тем сильнее было желание дожидаться ее гибели и распада, тем сильнее было желание расшатать, опрокинуть ее устои... Отсюда и исходная, подсознательная разрушительность нашего мышления, наших трудов, которые перевернули советский мир... Мы не знали Запада, мы страдали романтическим либерализмом и страстным желанием уже при этой жизни дожидаться разрушительных перемен” [13].

Их раскаяния уже никому не нужны. Нам требуется адекватное объяснение тех социальных и культурных процессов и явлений, погрузивших Россию и все постсоветское пространство в кризис, выхода из которого пока не видно.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Заславская Т. И. Социализм, перестройка и общественное мнение // СОЦИС, 1991. № 8.
2. Мониторинг общественного мнения. Информационный бюллетень ВЦИОМ, 1996. № 4.
3. Патрушев В. Жизнь горожанина (1965–1998). М.: Academia. 2001.
4. Сахаров А. Д. Тревога и надежда. М.: Интер-Версо. 1991.
5. Яковлев А. Н. Большевизм – социальная болезнь XX века // Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии / Куртуа С. и др. М.: Три века истории, 2001. С. 14.
6. Батыгин Г. С. “Социальные ученые” в условиях кризиса: структурные изменения в дисциплинарной организации и тематическом репертуаре социаль-

ных наук // Социальные науки в постсоветской России. М.: Академический проект, 2005.

7. Яковлев А. О перестройке, демократии и “стабильности” // Независимая газета. 2003, 2 декабря.
8. Последние письма немцев из Сталинграда // Знамя, 1990, № 3. С. 185–204.
9. Горбачев М. Декабрь–91. Моя позиция. М.: Изд-во “Новости”, 1992.
10. <<http://ru.euronews.net/2009/11/05/mikhail-gorbachev-former-ussr-president-perestroika-won-but-politically-i-lost>>.
11. Гэлбрейт Дж. Почему правые не правы? // Известия, 31 янв. 1990.
12. Ципко А. С. Драма перестройки: кризис национального сознания // Экономика и общественная среда: Неосознанное взаимовлияние. М.: ИЭ РАН. 2008. С. 84.
13. Ципко А. Магия и мания катастрофы. Как мы боролись с советским наследием // Независимая газета. 17.05.2000.

КСЕНИЯ МЯЛО

ВСЕГО 20 ЛЕТ — УЖЕ 20 ЛЕТ

*...Только не стало
Великой Отчизны моей.*

Андрей Попов

Крушение

Буднично и незаметно миновало 8 декабря 2011 года — 20-я годовщина того дня, когда официально перестала существовать великая держава, носившая имя СССР. Ни ярких программ в СМИ — а ведь какая обильная хроника тех дней сохранилась! Ни громко прозвучавших политических заявлений, ни впечатляющих общественных акций, которые позволили бы сказать, что гражданам ещё помнят о своей так внезапно и необъяснимо исчезнувшей стране. И даже не просто помнят, но тоскуют и желают её возвращения — сколько говорилось об этом на протяжении нескольких последних лет, а особенно месяцев, предшествовавших печальному юбилею. Но граждане никак не обозначили своего отношения к этому дню, прошедшему так же, как проходит любой другой рядовой день; если что и привлекало внимание, то это ситуация вокруг только что состоявшихся парламентских выборов. Похоже, что многие и просто забыли о его значении: людям ведь свойственно запоминать и отмечать не только радостные, но и печальные годовщины; и, например, на чело-века, позабывшего даты смерти своего отца или матери, мы взглянули бы, по меньшей мере, с недоумением. Потому что даты ухода из жизни близких и любимых невозможно вытравить из памяти даже при желании: их выжигает в ней боль. Хотя и затухающая со временем, но вновь и вновь воскрешаемая в поминальные дни как свидетельство нашей не расторгаемой даже смертью связи с ушедшими.

Такие, “выжженные” в памяти даты, нестираемые потоком времени и сменой поколений, существуют и у целых народов, как до сих пор, несмотря ни на что, всё ещё живёт и читается на всём пространстве ушедшей в небытие державы 22 июня 1941 года. Казалось, и 8 декабря 1991 года должно было бы занять своё место где-то рядом с ним, но, как видим, этого не произошло. Так не потому ли, что боль была не так сильна, во всяком случае, не у всех одинаково сильна, как об этом продолжают твердить до сих пор? Не потому ли, что так изобиловавшие в последнее время речи о том, что морок вот-вот рассеется и все 15 (ну хорошо, пусть 12, пусть 11 — на Прибалтику и Грузию уже, кажется, не рассчитывают даже самые упорные оптимисты) снова, дружно взявшись за руки, встанут в общий круг, были не более чем утешительным самообманом? И всеобщего потрясения не было?

Ярко, словно бы и не минуло с тех пор двух десятилетий, помню, как мы с моим коллегой из Молдавии, где тогда всюду бушевали страсти и уже пролилась кровь, бежали на в ту пору ещё незастроенную Манежную площадь, где тотчас же после известия о том, что произошло в белорусских Вискулях, собрался небольшой митинг. Небольшой, замечу, по количеству людей, но очень напряжённый по накалу эмоций. Было в нём нечто судорожное, мечущееся и – обречённое. Он был плохо организован – если вообще был организован, не обозначились никакие политические силы, готовые дать язык и перевести на уровень рефлексии, этой необходимой предпосылки ответственного действия, самими этими корчами, этой судорожностью заявляющему о себе чувстве боли и растерянности. И было ещё сильно ранившее равнодушие прохожих, иногда бросавших реплики в нашу сторону – не скажу, чтобы очень дружельюбные. Так отреагировала Москва. Да, конечно, она была тогда опорой Ельцина и той резко антисоветской, враждебной по отношению к самому СССР общественности, которая по какому-то недоразумению была названа у нас демократической. И у которой даже предельно недемократичный способ решения вопроса о судьбе Союза ССР не мог затуманить “чувства глубокого удовлетворения” по поводу его кончины. Но ведь и глубинка не взволновалась, кажется, и вообще никак не отозвалась на крушение державы. Наконец, массы протестующих граждан вовсе не осаждали Верховный Совет в день ратификации им Беловежских соглашений – было спокойно и, в общем, безлюдно, если не считать немногочисленной, но очень активной группы поддержки именно *Беловежья*.

Нет, ничто в хронике событий тех дней не позволяет утверждать, что вся Россия, а не отдельные проживавшие в ней люди, была потрясена. Советский Союз она проводила в могилу, в общем, без слёз; потрясены были другие, те, кто в отчаянии, звоня из Молдавии, Прибалтики, Средней Азии, спрашивал: “Что? Что теперь с нами будет?”. Но судьба этих людей, мгновенно ставших *иностранцами*, в ту пору не так уж многих интересовала. И до конца дней буду помнить их весёлые лица на Красной площади в ночь встречи 1992-го, первого *post mortem* СССР, года, смех, хлопанье пробок и льющееся на брусчатку шампанское. К которому уже были подмешаны и слёзы, и кровь Нагорного Карабаха, Приднестровья, Южной Осетии, и это ещё было только начало. Но – пилось легко и весело, а слёзы и кровь – так ведь это где-то там, “на окраине империи”, ну, а все империи распадаются, ничего не поделаешь, так что тем, кто “на окраине”, просто не повезло. Этой мантрой тогда утешались многие.

Не взволновались и союзные республики, Верховные Советы которых повсюду (за исключением уже получивших международное признание, в том числе и со стороны СССР, прибалтийских республик, ставших государствами Балтии) в обстановке полного спокойствия ратифицировали Беловежские соглашения. Более того: когда 15 марта 1996 года Госдума, по инициативе имевшей тогда большинство голосов КПРФ, приняла решение об их денонсации, оно не только не было поддержано ни одной из стран СНГ, но возбудило немало резких речей и прозрачных намёков на возрождение “имперских амбиций” со стороны России. И уже только об этот неоспоримый исторический факт разбиваются ставшие ныне столь популярными, несмотря на их размытость и бездоказательность, утверждения о насильственно “вытолкнутых” из единой семьи народах, только и мечтающих о возвращении в неё.

Звучали они и на страницах “Нашего современника” (см. например, статью Н. Лактионовой в № 1 за 2006 год), но лично мне не слишком понятно, на каком основании кто-то из нас, граждан теперь уже другой страны, может брать на себя право говорить за другие народы, словно бы они были несовершеннолетними или недееспособными. На мой взгляд, это неприемлемо: они ныне – граждане суверенных государств, независимостью которых дорожат, если судить по их острым реакциям на “имперскую угрозу”, будь она реальной или мнимой. Стало быть, могут произнести своё собственное слово, да уже и произносили, только оно было о другом. Так, ещё за три года до сенсационного, но не возымевшего никакого резонанса постановления Госдумы о денонсации Беловежских соглашений Нурсултан Назарбаев в одном из своих интервью поведаль, что именно страх республик перед угрозой возрождения империи тормозит интеграцию на постсоветском пространстве:

“Тень страшного монстра ещё маячит поблизости... Слишком примитивным было бы считать, как это порою звучит, что республики бывшего Союза, обжёгшись на суверенитете, готовы вернуться в “семейное лоно”. Конечно, имели место и эйфория насчёт собственных возможностей, и амбиции политических лидеров. Однако суть нового качества как раз в том, что республики наконец ощутили себя независимыми государствами” (“Известия”, 5 июня 1993 года).

Если бы депутаты более внимательно относились к тому, чего желают и к чему стремятся сами бывшие союзные республики, то, возможно, конфуза с их оставшимся безответным широким жестом и не случилось бы. Так, может быть, сегодня нам, извлекая уроки из прошлого, не следует торопиться трубить в фанфары и бить в литавры по поводу замаячившего на горизонте Евразийского Союза (на авторство идеи которого тоже претендует Назарбаев)? Коль скоро России в нём заведомо уготована роль хотя и притихшего, раскаявшегося, но всё-таки потенциально опасного “монстра”. И заискивающая поспешность, с которой Россия раз за разом протягивает свою, точно так же, раз за разом, отвергаемую руку дружбы, на мой взгляд, просто унижительна для неё. Не говоря уже о политической контрпродуктивности подобных жестов. Возможно, сегодня в бывших союзных республиках достаточно людей, сожалеющих о Союзе, но они не образуют критической массы, не заявляют о себе, и говорить о них мы можем только гадательно.

Но ничем не подкреплённые, бездоказательные речи обо “всех вытолкнутых” для меня, своими глазами видевшей, что происходило тогда “на окраинах империи”, неприемлемы ещё и той лёгкостью, с какой мгновенно дающее ответ на все трудные вопросы словечко “все” уравнивает тех, кто, подобно Приднестровью, Абхазии, Южной Осетии, кровью заплатил за свое нежелание уходить из единой страны, и тех, кто наносил по ней сокрушающие удары. Уравнивает убитого в мае 1990 года в Кишинёве (как видим, ещё при жизни СССР) десятиклассника Дмитрия Матюшина и забивших его насмерть (“за то, что говорил по-русски”) молдавских националистов, потом топивших в крови Бендеры. Уравнивают обесправленных *неграждан* Прибалтики с теми, кто жестоко дискриминировал их, третируя русское население этих республик как *недочеловеков* – в выражениях, извлечённых непосредственно из архива нацистской пропаганды, о чём недавно очень своевременно напомнил В. Швед в своей обширной работе “Литовский лабиринт” (“Наш современник”, № 9–10, 2011). Уравнивают миллионы (по некоторым оценкам не менее пяти) ограбленных, лишившихся жилья и работы, а то и близких, беженцев, в основной их части тоже русских, из республик Средней Азии и Казахстана, и гнавших их насильников.

Что ж, выведя такое нехитрое уравнение, зачеркнув всё бывшее как небывшее, легко, конечно, обещать чудо немедленного восстановления “дружбы народов” (что регулярно, особенно в преддверии выборов, делает КПРФ), а там, глядишь, и самого Советского Союза. Но разве ещё не в Советском Союзе произошли армянские погромы в Сумгаите и Баку? Разве ещё не в Советском Союзе был убит Дима Матюшин, а осенью того же года молдавской полицией в Приднестровье были расстреляны безоружные люди – на что союзное руководство почти открыто дало индульгенцию? Как дало её в рождественский сочельник 1991 года на ввод полууголовных банд в осетинский Цхинвал, преднамеренно обезоруженный накануне. Наконец, невозможно отрицать, что это именно союзное руководство зажгло зелёный свет дискриминационным законам о языках, которые, стартовав в Прибалтике, стремительно (лишь в Белоруссии этот процесс был остановлен благодаря приходу к власти А. Лукашенко) распространились на все остальные союзные республики. В кратчайшие сроки оказались грубо ущемлёнными права представителей всех других народов – нередко веками проживавших на тех же территориях, которые в советский период отечественной истории получили статус наделённых особыми правами (вплоть до права на отделение) союзных республик.

Резче всего эти новые законы ударили, конечно, по русским, но и не только. Именно тогда появились дискриминированные “русскоязычные”, то есть те, кто, не будучи по национальности русскими, своим родным считал русский язык либо свободно пользовался им в общении с представителями “титульных” наций и “титульных” властей. Впрочем, даже и совершенное знание языка далеко не решало проблему, если не принималось главное: курс на

выход из СССР и бичующий пересмотр всей роли России в мировой истории, а это означало уже селекцию по политическим убеждениям. Таким оказался отложенный эффект произвола, допущенного при создании советской федерации, с заложенным в её основание принципом неравноправия народов (стало быть, и граждан), без всякого даже подобия их собственного волеизъявления разделённых на “титульные” и “не титульные”. Со всеми вытекающими отсюда правовыми и политическими последствиями. То, что сказались эти последствия не сразу, в огромной мере было обусловлено действием выработанных в последующем ходе истории Советского Союза механизмов амортизации разрушительного потенциала, имманентно присущего такому типу федерализма. Однако потенциал этот не был устранён в пору, когда для того существовали наиболее благоприятные возможности, и после 1985 года заработал с нарастающей энергией.

Практически во всех союзных республиках, с большей или меньшей скоростью, начали утвердяться откровенно этнократические режимы, которым советское руководство не сумело или не захотело противостоять; сами же законы о языках в этих условиях оказались чрезвычайно эффективным инструментом становления этнократий, по большей части взявших курс на выход из Союза ССР. Соответственно, самый драматический характер приобретал теперь вопрос о судьбе народов, не желающих уходить из единой страны. В том числе и о судьбе, по меньшей мере, 25 млн русских, разбросанных по самым разным республикам, что вообще превращало русских как таковых в самый крупный разделённый народ на Земле. Однако соответствующий закон, принятый 3 апреля 1990 года и предусматривавший возможность, в случае сецессии (отделения) союзных республик, самоопределения автономий и территорий компактного проживания “не титульного” населения через референдумы, всё-таки потенциально дававший возможность смягчить самые тяжёлые, человеческие, последствия распада федерации, так и остался на бумаге. И последняя возможность взять процесс хоть под какой-то правовой контроль была упущена советской номенклатурой: то ли по безволию, то ли по неспособности выйти за рамки пошедшей вразнос системы, свою внятную внутреннюю логику имевшей лишь в связи с ленинским замыслом Советского Союза как, по пронизательной оценке А. Тойнби, “всемирной державы на нерусском базисе, которая должна была расширять свои границы *pari passu* с прогрессом Мировой революции”. От замысла давно отказались, но схема устройства федерации сохранилась, став уж вовсе бессмысленной в эпоху сокрушительных ударов по всему советскому наследию.

Таким образом, союзные республики отделились как этнократии, как таковые они были признаны и самой Российской Федерацией, и международным сообществом, несмотря на грубые и массовые нарушения прав человека в них, кровопролитные локальные войны, сотни и сотни тысяч беженцев, изгнанных из мест своего традиционного проживания. Ответственность за всё это оказалась нулевой, что, конечно, не могло не укрепить их в сознании своей правоты, а 20 лет независимости во многом сделали новую ситуацию уже необратимой. Сегодня национальные властные и медийные элиты бывших союзных республик не поступятся ни граном того, что было получено так легко, а коли так, то потенциальное восстановление Советского Союза на всё той же, исходно ущербной основе будет означать возвращение, притом в десятикратном усиленном виде, тех же самых проблем, которые в значительной мере и взорвали его. Чего не понимать невозможно, и упорное замалчивание именно этой части истории крушения СССР политическими силами и лидерами, в электоральных целях охотно играющими картой его чудодейственного воскрешения, наводит на невесёлые мысли. Как об искренности самого их стремления вновь создать на подлинно свободной и равноправной основе союз именно народов, а не номенклатур и олигархий, так и способности проделывать необходимый для этого тяжёлую и не сулящую скорых лавров работу.

* * *

Ещё меньше доверия вызывают мегапроекты, наперебой предлагаемые представителями “имперского” направления в нашей общественной мысли и политической публицистике. Сформировавшись в ответ на атмосферу, не ска-

жу ностальгии, чувства очень сильного, а порою даже убивающего, но некоего размытого сожаления о большой и сильной стране, оно необычайно активно и уже приобрело известную власть над умами. О необходимости и, конечно, неизбежности восстановления *Империи* (именно Империи с большой буквы, а не Отчизны, хотя это далеко не одно и то же) сегодня говорят много, почти так же много и так же пафосно, как на старте событий, приведших к гибели СССР, говорили о необходимости и, конечно же, неизбежности её распада. При этом удивительно сходны главные послы этих утверждений, зеркально отражающие друг друга. Для первых всё свое непреходящее значение сохраняла почтенного возраста формула “Россия – тюрьма народов”, ставшая в начале минувшего века главным инструментом сокрушения Российской империи. Её легко было заменить на СССР, но неизменным оставался главный тезис, согласно которому все народы исторической России, какие бы имена она ни носила, были втянуты в неё насильственно и, соответственно, живут мечтой о бегстве из этой “тюрьмы”. Доказательство не требовалось, а народы, готовые возразить, третировались как отсталые “совки”, если не вообще прирождённые рабы.

И точно так же для вторых, то есть для новых адептов империи, никаких доказательств не требует утверждение о “вытолкутости”, разумеется, тоже насильственной и тоже всех, без исключения, народов из страны, которую они не помышляли покидать и в которую жаждут вернуться. Любая попытка представить более сложную картину событий, тем более же, опираясь на достаточно трудно опровержимые факты и свидетельства, усомниться в таком повальном стремлении, по крайней мере, всех в новую (чаще всего именуемую Пятой) Империю, отбрасывается с порога и навлекает на рискнувшего предпринять её швал обвинений в “национальной узости”, “метафизической глухоте” и прочем в том же роде. Более того: довольно широкое хождение среди новых российских “имперцев” получила версия, тоже зеркально отражающая исходную аксиому борцов с “тюрьмой народов”. С той разницей, что если последние всю вину за возведение этой “тюрьмы” возлагали на русских, то первые на них же почти исключительно возлагают ответственность за её разрушение.

На разных страницах тиражируется версия о каком-то вызревавшем то ли в КПСС, то ли в КГБ, то ли совместно выношенном ими заговоре русских националистов, этих “метафизических врагов Империи” (“Завтра”, 12 октября 2011 г.), из тупо эгоистических устремлений возжелавших отрезать, “сбросить”, как ненужный балласт, всей душой преданные ей среднеазиатские и кавказские народы. Почему при реализации этого коварного националистического замысла едва ли не больше всех пострадали сами русские, не объясняется. Почему они были брошены без всякой защиты, да и просто выданы на расправу националистам других мастей как раз самим тандемом КПСС–КГБ – тоже. Наконец, не приводится никаких документальных доказательств, хоть сколько-нибудь подтверждающих эту гипотезу. Иногда, правда, ссылаются на Солженицына, действительно писавшего о бремени “южного подбрюшья” для России, но нет никаких свидетельств тому, чтобы его проекты “обустройства России” были приняты правившей тогда в стране партией как руководство к действию. И, не будучи поклонницей этого автора, но сохраняя необходимую объективность, должна заметить, что в центре его размышлений всё-таки находилась судьба русского народа, отнюдь не заботившаяся, что ясно показал весь ход событий, ни правительство СССР, ни пришедшее ему на смену правительство РФ.

Ещё меньше могут подкреплять теорию особо разрушительной для сообщества народов роли именно русского национализма ссылки на события в Кондопоге, на Манежной площади, на Ставрополье и во многих других российских городах и весях. Хотя бы уже потому, что все они – порождение уже постсоветского времени. Как уже после СССР родились многие их участники или выросли те из них, кто был ещё детьми в год его крушения. Все эти события – ответ на новую ситуацию, созданную не в последнюю очередь массовым исходом (точнее же будет сказать, сгоном) русских из Средней Азии и с Кавказа, в сочетании с разбухающим потоком движущихся оттуда же в Россию людей “титულных” национальностей, твёрдо убеждённых в том, что их республики принадлежат исключительно им, ну, а Россия – всем. И далеко не всегда так сердечно расположенных к русским, как то видится авторам

инных умильных зарисовок на тему “ну-ка, детки, встаньте в круг, встаньте в круг...” Достаточно ознакомиться хотя бы с некоторыми высказываниями лидера ООД “ТТМ” (Общероссийского общественного движения “Таджикские трудовые мигранты”) Каромата Шарипова, да и с его биографией тоже, чтобы убедиться в этом. А также отчасти заглянуть за кулисы, туда, где работают механизмы современной миграционной политики российского правительства, несущего львиную долю ответственности за создающуюся напряжённость.

Обыгрывать эту болезную тему для подкрепления чьих-то имперских фантазий, по моему глубокому убеждению, безнравственно. Не говоря уже о том, что это нисколько не проясняет причин катастрофы 8 декабря 1991 года – напротив, скорее уводит от них, вновь выдвигая на первый план тезис о каком-то особом ущемлении среднеазиатских республик, будто бы противившихся ликвидации СССР. Однако тезис этот рухнет при первом же соприкосновении с достоверной хроникой событий.

* * *

“Уже 13 декабря, – напоминает в своей очень содержательной статье “Евразийский союз и Евразийское лукавство” эксперт Российского института стратегических исследований Аждар Куртов, – главы пяти центральноазиатских республик на встрече в Ашхабаде приняли заявление, в котором в мягкой форме высказали свою позицию относительно произошедшего в белорусских Вискулях. В данном документе не было неприятия самого факта денонсации Союзного договора 1922 года и создания СНГ – наоборот, это было оценено положительно. Возражения среднеазиатских лидеров касались лишь того, что они не были участниками данного процесса. Поэтому они настаивали на праве всех республик бывшего СССР принимать участие в процессе обсуждения и выработки документов СНГ, а также на признании их в качестве учредителей этой организации”.

Что и произошло на совещании в Алма-Ате 21 декабря 1991 года, когда 11 из 15 бывших союзных республик заявили о том, что “на равноправных началах” образуют Содружество Независимых Государств. Никаких оснований говорить о насильственном сбросе “южного подбрюшья” документ этот, как видим, не даёт. Не даёт их и принятая в тот же день, 21 декабря 1991 года, “Декларация”, практически подтверждавшая то, что уже было сказано “беловежской тройкой”. “С образованием Содружества Независимых Государств, – гласила она, – Союз Советских Социалистических Республик прекращает своё существование”.

“То есть, – комментирует Куртов, – реально никто из собравшихся в Алма-Ате не возражал и не пытался остановить распад Союза ССР, все лишь стремились стать его участниками” (“Независимая газета” 9 ноября 2011 года). Да и почему бы они стали возражать? Сегодня предпочитают не вспоминать об этом, но ведь практически все центральноазиатские республики, по мысли создателей странной теории – жертвы “русско-националистического заговора”, свои Декларации о независимости, наряду с Молдавией-Молдовой, Арменией, Азербайджаном, Украиной и Белоруссией, приняли уже к осени 1991 года, сразу же после поражения ГКЧП. Надо думать, не найдя менее экстравагантного способа выразить свою, как нас уверяют, глубокую привязанность к влекомой на заклятие державе. И, тем не менее, миф о некоей ущемлённости этих республик, об их горячем стремлении сохранить Союз продолжает, как то и подобает мифу, жить своей собственной жизнью, приобретая статус самоочевидной, не требующей доказательств и подтверждений истины.

К моему удивлению, не привёл их даже такой серьёзный автор, как В. С. Овчинский, чьи работы всегда изобилуют ссылками на документы и хорошо проверенные факты. Однако, заканчивая свою в целом очень интересную статью “Чёрный ящик” войны с терроризмом” (“Наш современник”, № 11, 2010 г.), он просто выдвигает ряд ничем не подкреплённых тезисов. Декларативный характер которых особенно подчёркивается тем, что, будучи оглашены в финале, они не получили простора для развития. О чём остаётся сожалеть, потому что вопросов к ним возникает немало. Так, Овчинский пишет: “... Республики Средней Азии были оторваны от единой России, лишены единого экономического и культурного пространства, оставлены один на один с

надвигающейся волной радикального ислама, стали вожделенными объектами экспансии и со стороны Запада. и со стороны Китая...”

Но об “оторванности” и “оставленности” я уже говорила выше, как и о том, что реальный ход событий никак не подкрепляет эту картину особо горестной судьбы республик Средней Азии в момент распада СССР. Что же до судьбы последующей, то она, во всяком случае, была ничуть не менее горестной, нежели судьба миллионов людей, в мгновение ока лишившихся Отечества, тех, кому в Средней Азии, как и во многих других союзных республиках, предложили “убираться в свою Россию” – и это было ещё не самое худшее предложение. Тем не менее, автор “Чёрного ящика...”, говоря об утрате Россией, вследствие “сброса “азиатских окраин”, “огромного ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, способного укреплять военный и трудовой ресурс страны”, имеет в виду лишь *титульных* граждан бывших союзных республик Средней Азии, теперь обречённых на участь “опасных “незаконных мигрантов”...”, а так зелавших остаться с Россией в общем культурном пространстве. Видимо, как раз с этой целью повсеместно закрывавших русские школы и выгонявших на дороги беженства в том числе и русских учителей.

Одним из следствий этого, естественно, оказалось почти полное незнание русского языка новым поколением, в основном и едущим на заработки в Россию. Что, между прочим, как отметил лидер ПИБТ (Партии исламского возрождения Таджикистана) М. Кабири, то есть человек, по определению выступающий не с позиций “русского национализма”, позволяет руководству республики не только подпитывать бюджет их денежными переводами (а они, по оценке Кабири, в 1,5 раза превышают сам бюджет), но и сбрасывать социальный “пар”. Ведь большая часть мигрантов – это люди в возрасте от 18 до 40 лет, для которых не создаются рабочие места внутри страны (“Независимая газета”, 15 ноября 2011 г.).

То, что такой сброс, соответственно, повышает напряжённость внутри самой России, судя по всему, российское руководство не слишком заботит. Зато теперь оно озабочено созданием системы обучения мигрантов русскому языку за счёт госбюджета, иными словами – за счёт налогоплательщиков, подавляющую часть которых составляют русские (80% населения РФ). То есть, в конечном счёте, самим русским предлагается оплатить издержки столь странным образом выразившей себя в республиках Средней Азии тяги к русскому культурному пространству. И это при том, что в своё время средств не нашлось для сколько-нибудь достойного обустройства *нетитульных* беженцев из этих стран. Видимо, этот “человеческий потенциал” (пусть даже и без заглавных букв) для России интереса не представляет. Позабыл о нём и автор, а жаль.

Такие умолчания и неточности делают слишком одномерным контекст, в котором В. Овчинский выдвигает сам по себе абсолютно верный тезис об опасности оголения южных границ России. Конечно, кто же станет спорить с тем, что оголение любых границ опасно, но что иные из них порою могут приобретать особое значение. Можно согласиться и с тем, что ситуация, складывающаяся в Афганистане, делает вопрос о южном рубеже особенно острым. Но не будем забывать, однако, что оголялся он отнюдь не без усилий со стороны самих среднеазиатских лидеров. Разве не по требованию Таджикистана были выведены российские пограничники с этого самого опасного участка бывшей советско-афганской границы? И разве не Душанбе спорадически поднимает вопрос о выводе 201-й стрелковой дивизии либо, по крайней мере, о пересмотре (в сторону повышения арендной платы) условий её дислокации? Разве без согласия киргизской стороны появилась американская военная база в Манасе? Более того: сейчас поступает много информации об американских планах передачи, после вывода войск из Афганистана, избыточных вооружений (более современных, нежели те, которыми располагает сегодня сама Российская армия) странам Центральной, то есть бывшей Средней Азии. Равно как и об уже проявленной заинтересованности этих стран. Ведутся переговоры с Душанбе о возможности предоставления США авиабазы в Таджикистане и – самое главное – о создании здесь, как и в Узбекистане, учебных центров на *долговременной основе*, где войска будут осваивать передаваемые им новые вооружения.

Думаю, трудно спорить с тем, что в такой перспективе вопрос о безопасности южных рубежей может повернуться самым неожиданным образом, а ре-

шать его будет много сложнее, нежели видится сегодня сквозь призму мифа о злонамеренном сбросе среднеазиатских народов.

* * *

И всё-таки: как бы ни был важен южный рубеж, придавая ему гипертрофированное значение, нетрудно позабыть о других. И это бы ещё полбеды, если бы на других рубежах дела обстояли много лучше. К несчастью, это далеко не так.

Занятые преимущественно событиями на Кавказе и в Центральной (бывшей Средней) Азии, российские политики и политологи в последние 10 лет несоизмеримо меньше внимания уделяли тому, что совершалось после распада СССР на оказавшейся за пределами РФ европейской его части. И это выглядит даже парадоксом, вступая в резкий контраст с время от времени достигающей точки кипения риторикой по поводу расширения НАТО на восток, размещения ПРО в сопредельных исчезнувшему СССР странах и требований Запада о ликвидации остатков российского военного присутствия (и, как следствие, политического влияния тоже) на этом направлении. Дальше риторики, однако, дело не идёт, а широким общественным мнением, похоже, вообще не осознаётся, что в перспективе означает полное и стремительное отступление России именно на Западе. Между тем самый контур страны изменился здесь столь резко, что, в сущности, можно уже говорить о Российской Федерации как о совершенно новой геополитической величине, имеющей очень мало, чтобы не сказать — не имеющей ничего — общего не только с Советским Союзом, но и с его предшественницей. С той Россией, основные очертания которой на западном направлении определились уже к концу XVIII века.

Всего за несколько лет оказались утрачены плоды тяжкой трёхсотлетней работы, притом утрачены не только без войны, но даже и вообще без внешнего давления такой силы, которое могло бы если не оправдать, то, по крайней мере, объяснить подобное, не имеющее аналогов не только в отечественной, но, пожалуй, что и в мировой истории отступление В начале 90-х годов метко названное бывшим командующим ЧФ СССР Э. Балтиным “отступлением до боя”. Определение, конечно, ранящее, и ранящее жестоко, однако до сих пор никто точнее не определил суть того, что в конце века совершилось на западном рубеже исторической России — СССР, как правило, именуемом Балто-Черноморской дугой. Особенно если добавить, что разгромное отступление произошло без боя — не только военного, но даже и без скольконибудь упорного дипломатического и психологического поединка. Однако как раз от этой стороны вопроса предпочло отвернуться большинство тех, кто, всё-таки ещё затрагивая порой тему западного рубежа, вновь и вновь сводит причины полной утраты Россией здесь своих позиций к извечному стремлению Запада отсечь Россию в глубь евразийского континента, то есть отбросить её в допетровскую эпоху. Так, известный политик и политолог Н. Нарочницкая даже называет саму Балто-Черноморскую дугу “старым проектом XVI века, отрезающим Россию от выходов к морю” (“Наука и религия”, № 9, 2005 г.). Однако историкам хорошо известно, что ещё задолго до XVI века регион, прилегающий к Балтийскому морю, стал ареной жестокого противоборства немцев и славян, которое видный представитель школы “Анналов”, французский историк Жак Ле Гофф называет “доминирующим аспектом” европейской экспансии VIII–X вв. В ходе этой экспансии, особо подчёркивает Ле Гофф, “религиозные мотивы отступили на второй план, поскольку немцы без колебаний вступали в борьбу даже с теми соседями, которые приняли христианство” (Жак Ле Гофф. “Цивилизация средневекового Запада”. М., “Прогресс”, 1992, с. 61–62).

Стоит добавить, что и позже общая католическая вера нисколько не мешала тевтонским рыцарям беспощадно давить и грабить славянскую Польшу. Так что не стоит преувеличивать роль противостояния Церквей в борьбе на западном рубеже, а такая тенденция тоже существует в нашей историографии и в последнее время заявляет о себе даже настойчиво, нежели то было в исторической науке дореволюционной России — по крайней мере, в последние полвека, предшествовавшие революции. И уж тем более никакого отно-

шения оно не имело к первым векам противоборства народов на балтийском рубеже. Как, разумеется, не могло быть в ту пору и “проекта оттеснения” с него России, поскольку не было ещё не только самой России, но даже и Руси. Руси же в первые лета её становления пришлось столкнуться вовсе не с Западом, а с Великой Степью, под давлением которой она начала отступать из Северного Причерноморья, то есть с юго-западной оконечности “дуги”.

Позже на смену Степи пришла Османская/Оттоманская империя, с которой Европа и впрямь не раз объединяла свои силы во имя общей цели оттеснения России с имеющего непреходящее значение Балто-Черноморского рубежа. Так было уже в самом начале XVIII века, когда шведско-русская Северная война, итогом которой стало присоединение к России территорий будущих Латвии и Эстонии, слилась с русско-турецкой войной за Черное море и Причерноморье. Так было и в середине XIX века, во время Крымской войны, суть которой без обиняков обозначил тогда лидер палаты общин английского парламента Джон Рассел: “Надо вырвать клыки у медведя... Пока его флот и арсенал на Чёрном море не разрушены, не будет в безопасности Константинополь, не будет мира в Европе”. Упоминание Константинополя, давно превратившегося в Стамбул, в этом контексте отзывается чёрным юмором, конечно, адресованным “медведю”, России, и чтобы “вырвать клыки” у неё, как раз и была создана европейско-турецкая коалиция. Предназначенная, по словам историка Крымской войны В. В. Виноградова, вернуть Россию “к временам Алексея Михайловича”. Это был действительно “проект”.

Однако сама по себе ось, идущая с севера на юг, от Балтийского до Чёрного моря, конечно же, не могла быть кем-то сконструирована искусственно и, стало быть, считаться чьим-то проектом. Она существовала реально и на протяжении многих веков была линией соприкосновения — чаще всего борьбы, но нередко и взаимодействия — множества “народов и царей”, откуда не получила чёткого определения рубежа между Россией и Европой. И вот только начиная с этого, достаточно позднего времени (в сущности, не ранее Петра Великого) о ней можно говорить как о предмете каких-то продуманных военно-политических разработок, то есть проектов в собственном смысле слова. Но сколько бы их ни было, неоспоримым фактом остаётся то, что на протяжении почти трёх веков Россия умела все их обращать в прах, причём на поприще не только военном, но и дипломатическом. Проявляя на последнем немалую гибкость и, как теперь сказали бы, “многовекторность”. Так, справедливости ради стоит напомнить, что не только Европе случалось заключать союзы с Портой против России — бывало и наоборот. Как, например, в 1798 году, когда эскадра Ушакова, в качестве союзника турок против Бонапарта, стояла в Босфоре, готовясь к выходу в Средиземное море. Полвека спустя племянник будущего императора ответил симметрично, чему вряд ли стоит удивляться. Драматичным на сей раз оказалось, конечно, одиночество России, ибо теперь против неё выступила и Англия, её союзница по борьбе с Наполеоном. Но ведь даже и потерпев поражение в Крымской войне, Россия всего лишь через 15 лет, притом “не двинув пушки, ни рубля” (Тютчев), то есть исключительно дипломатическими усилиями, сумела восстановить своё полноценное присутствие на Чёрном море.

Отражала она на Балто-Черноморском рубеже и куда как более жестокие “натиски на восток”, раз за разом твёрдостью своего сопротивления отвечая пушкинским строкам: “Иль нам с Европой спорить ново?/Иль русский от побед отвык?”

Что не отвык, в последний — и на сей раз всемирно-значимым образом — подтвердила Великая Отечественная война, когда сам этот рубеж получил зримое воплощение в гигантской, буквально протянувшейся “от моря до моря” линии фронта. Ялта и Потсдам закрепили полное доминирование нашей страны на Балто-Черноморской дуге, окончательно же оно было подтверждено в 1975 году Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки), согласно которому итоги Второй мировой войны не могли подлежать никакому пересмотру. До конца XX века оставалось 25 лет, и вряд ли подавляющему большинству граждан не только СССР могло прийти в голову, что уже в начале последнего его десятилетия рубеж безопасности России отодвинется под Псков и Смоленск на северо-западе, а на юго-западе — под Брянск и Курск. Стремительно и одновременно оказались утрачены итоги не только Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., но и

Отечественной войны 1812 г., а также и русско-шведской войны 1711 г., – и почти все плоды русско-турецких войн второй половины XVIII века. Войн, которые, по оценке одного из ведущих востоковедов второй половины минувшего столетия англичанина Бернарда Льюиса, “привели к решительному перелому в соотношении сил не только между двумя империями, но и между двумя цивилизациями” (Б. Льюис. Ислам и Запад. М., 2003. С. 39). Отступление России на этом забытом рубеже вновь перевернуло такое соотношение, причём в условиях, когда новый характер вооружений, военных коммуникаций, глобальных экономических связей вообще не позволяет говорить о возможности удержания южного рубежа, сдавая западный.

(Окончание следует)

АНДРЕЙ ФУРСОВ

“РЕФОРМА” ОБРАЗОВАНИЯ СКВОЗЬ СОЦИАЛЬНУЮ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКУЮ ПРИЗМУ

Сфера образования в последние годы стала полем самого настоящего сражения между сторонниками его реформирования и их противниками. Противники – профессионалы, родители, общественность; сторонники – главным образом чиновники и обслуживающие их интересы “исследовательские структуры” – продавливают “реформу”, несмотря на широкие протесты. Пишу слово “реформа” в кавычках, поскольку реформа – это нечто созидательное. То, что делают с образованием в РФ – это разрушение, сознательное или по глупости, некомпетентности и непрофессионализму, но разрушение. Отсюда – кавычки.

Одной из линий противостояния “реформе” образования была и есть критика Закона об образовании, других нормативных актов, выявление их слабых мест, нестыковок и т. д. Здесь уже сделано немало и с большой пользой. В то же время возможен и другой подход: рассмотрение комплекса “реформаторских” схем и документов – ЕГЭ, Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС), Болонская система (далее – БС) – в целом как некоего общественного явления, в более широком социальном и геополитическом (геокультурном) контексте, а также в плане информационно-культурной безопасности страны, которая в современном мире является важнейшей составляющей национальной безопасности. Значение социального контекста понятно: любые реформы, тем более в образовании, всегда связаны с интересами тех или иных групп, учреждений, имеют социальные цели.

“Геополитический контекст образовательной реформы” – такая формулировка на первый взгляд может вызвать удивление. Однако сегодня, когда геополитические противостояния приобретают всё более выраженный информационный характер, когда политическая дестабилизация достигается с помощью информационных войн, то есть информационно-культурного воздействия на сознание и подсознание групп и индивидов, а результат этого воздействия во многом зависит от уровня образования объекта воздействия (чем выше уровень образования, тем труднее манипулировать человеком), состояние образования становится важнейшим фактором геополитической

ФУРСОВ Андрей Ильич — директор русских исследований Московского гуманитарного университета, академик Международной академии наук (Мюнхен, Германия).

борьбы. Не менее важным, чем, скажем, уровень социальной поляризации, измеряемый такими показателями, как индекс Джини и децильный коэффициент. Я имею в виду то, что если, например, система образования способствует росту поляризации (вплоть до состояния “двух наций”, как это было в Великобритании в середине XIX в. или в России в начале XX в.), то она работает на обострение социальной напряжённости, а следовательно, снижает уровень не только внутренней (социосистемной), но и внешней (геополитической) безопасности общества.

“Для затравки” в статье будут кратко охарактеризованы последствия “реформы” образования, проводимой под “мудрым” руководством Андрея Александровича Фурсенко; затем мы поговорим о социальном аспекте и возможных социальных результатах снижения уровня образования; далее мы кратко “пробежимся” по структурам, готовившим реформу, – этот вопрос почему-то остаётся в тени. Следующий пункт – вопрос о том, как “реформа” образования может повлиять на положение РФ в международном разделении труда и как она соотносится с провозглашённым курсом на модернизацию. Скажу сразу: она противоречит этому курсу и, более того, подрывает его. Неудивительно, что, во-первых, деньги на реформу образования в РФ выделил Всемирный банк, решивший зачем-то (действительно, зачем?) облагодетельствовать Россию. Во-вторых, в РФ, словно стервятники на падаля, потянулись представители “хитрых” западных структур, за научным и неправительственным благообразным статусом которых скрываются большие и острые зубы хищников. Почему-то для проникновения в Россию эта публика избрала именно сферу “реформируемого” образования, те образовательные учреждения, которые “на ура” принимают реформу. Как заметил в своё время Пётр Васильевич Палиевский, булгаковский Воланд бессилен против здорового, он цепляет только то, что подгнило изнутри. Понятно, что для успеха информационно-психологической войны превращение образования в сеть, “населённую” легко манипулируемыми “сетевыми человеками”, – это беспроигрышный ход в мировой борьбе за власть, ресурсы и информацию. Поэтому сегодня образование – это намного больше чем образование, это будущее, битва за которое уже началась и проигрыш в которой означает выпадение из Истории. Итак – по порядку.

Последствия под следствием

Если говорить о последствиях “реформы”, то **первое** – это значительное падение уровня образования и подготовки учащихся в средней и высшей школе как результат введения ЕГЭ и БС. Как человек, почти 40 лет преподающий в высшей школе, свидетельствую: егэизированные студенты – это демонстрация культурно-образовательной варваризации и информационной бедности. Если в последние 25–30 лет культурно-образовательный уровень выпускников школ снижался постепенно, то несколько егэшных лет не просто резко, а катастрофически ускорили этот процесс. Лучшее, чем ЕГЭ, средство перспективной дебилизации и культурно-психологической примитивизации подрастающего поколения придумать трудно.

У снижения уровня интеллекта и эрудиции как результата реформы есть ещё два аспекта, крайне губительных для развития умственно-образовательного потенциала. Речь идёт о дерационализации мысли и сознания и о деформации исторической памяти.

Уменьшение числа учебных часов по таким предметам, как математика и физика, фактическое изгнание из школьной программы астрономии – всё это не просто сужает и обедняет картину мира учащегося, но непосредственно ведёт к дерационализации сознания. Сегодня широко распространяется вера в иррациональное, магическое, в волшебство; пышным цветом расцветают астрология, мистика, оккультизм и прочие мракобесные формы; кино (далеко ходить не надо – сага о Гарри Поттере) рекламирует нам возможности магии, чудес. В таких условиях уменьшение часов по естественно-научным дисциплинам работает на триумфальное шествие мракобесия, на то, чтобы астрология в сознании заняла место астрономии, дезориентируя людей и облегчая манипуляцию: человеку, верящему в чудеса, легко “впарить” любую пропаганду, не имеющую рациональной аргументации. Создаётся впечатление, что все эти манипуляции со школьной программой, помимо прочего,

должны подготовить людей к принятию нового типа власти — магической, основанной на претензии на волшебство, на чудо, в реальности оборачивающееся чем-то похожим на пляски на сцене в голом виде героев “Приключений Гекльберри Финна”. Но это палка о двух концах.

Не меньший ущерб несёт тот факт, что курсы по истории по сути либо устранены из программ всех факультетов, кроме исторических, либо существенно сжаты. Следствие — утрата исторического видения, исторической памяти. Результат — студенты не могут назвать даты начала и окончания Великой Отечественной войны, полёта Гагарина в космос, Бородинского сражения. В этом году я впервые столкнулся со студентом, который никогда не слышал о Бородинском сражении; “бородинский” у него ассоциируется только с хлебом. Ясно, что ухудшение (мягко говоря) исторической памяти, особенно в том, что касается русской истории, не способствует формированию патриотизма и гражданственности; деисторизация сознания оборачивается денационализацией.

Там, где заканчивает свою деятельность ЕГЭ, эстафету подхватывает БС. Я неоднократно негативно высказывался по поводу БС (см. интернет), поэтому не буду повторяться, отмечу главное. Введение четырёхлетнего бакалавриата вместо пяти лет нормального обучения превращает высшую школу в нечто весьма напоминающее ПТУ, приземляет её, и если для институтов эта практика очень плоха, то для университетов — катастрофична, университет уничтожается как общественное и цивилизационное явление. В плане образовательном БС с её “модульно-компетентным подходом” по сути уничтожает кафедру как базовую единицу организации вуза/университета; “компетенции” — плохо связанные между собой прикладные информкомплексы или “умелости” — подменяют реальное знание. Объективно БС делит вузы вообще и университеты в частности на привилегированное меньшинство с собственными дипломами, программами и правилами и непривилегированное большинство; образовательные стандарты при этом снижаются в обеих “зонах”, но во второй — в значительно большей степени. Привилегированность и престижность оборачиваются более высокой платой за обучение, что ещё более увеличивает социальные различия и разрыв в сфере образования.

Второе. Когда-то нас страстно убеждали, что введение ЕГЭ снизит уровень коррупции в образовательной сфере. В реальности — и об этом сегодня не пишет и не говорит только ленивый — всё вышло с точностью до наоборот. ЕГЭ создал условия и стал толчком для существенного роста коррупции в сфере образования, что опять же не может не сказаться на уровне подготовки школьников и студентов, с одной стороны, и профессионализма преподавателей, с другой. Таким образом, увеличив коррупцию в сфере образования, в общесоциальном плане ЕГЭ привёл к росту уровня коррупции в обществе в целом. Понятно, что от коррупции вообще и в сфере образования в частности выигрывают те, у кого административные позиции и деньги; то есть “реформа” и здесь усиливает социальное неравенство и социальную поляризацию, а следовательно — социальную напряжённость. Лучшего средства, чем ЕГЭ, чтобы распространить коррупцию из высшей школы в среднюю, значительно расширить и углубить зону действия коррупции, найти трудно. В этом плане можно сказать, что, помимо страшного удара по качеству образования и морали многих занятых в этой сфере, внедрение ЕГЭ стало одним из направлений наступления коррупционеров на общество.

Третье. ЕГЭ и в ещё большей степени БС резко увеличили уровень бюрократизации образовательной сферы. Так, с внедрением БС в вузах появилось большое число “специалистов” по Болонской системе, проверке её реализации как “инновационной формы образования” и т. п. А у преподавателей появилась новая, съедающая много времени, забота: приведение обычной научно-педагогической деятельности в соответствие с формальными требованиями БС. Преподаватель должен всё больше беспокоиться о формальной стороне дела, тратить на неё время — тут уже не до содержания. Ясно, что в наибольшей степени готовы зацепиться за форму и сконцентрироваться на ней далеко не лучшие, не самые профессиональные и творческие преподаватели. Таким образом, БС выгодна откровенной серости. Ну а о том, что БС создаёт райские условия для чиновников от образования, я молчу.

Меняя соотношение между формальной и содержательной сторонами образовательного процесса в пользу первой, БС не только способствует ухудше-

нию качества образования, не только оттирает профессионалов дела на второй план, ухудшая их позицию по сравнению с начётчиками и очковтирателями (чего стоит один лишь призыв ежегодно менять читаемые курсы, вводя новые – ведь известно, что новый курс требует 3–4 года обкатки; ясно, что подобного рода призывы – плод игры ума либо профнепригодных, либо просто проходимцев), но и меняет в высшей школе соотношение преподавателя и чиновника в пользу последнего. Здесь “два шара в лузу”: в профессиональной сфере – снижение уровня образования; в социальной – усиление позиций чиновника. Иными словами, БС как союз “серых” в конкретных условиях РФ становится ещё одним средством развития (в данном случае – для сферы образования) общей тенденции увеличения числа чиновников и их власти над профессионалами.

Четвёртое. Всё это вместе взятое способствует дальнейшему росту некомпетентности и непрофессионализма как социального явления. “Реформа”, таким образом, не только гробит образование, то есть отдельно взятую сферу общества (правда, эта “отдельно взятая сфера” воздействует на все остальные и определяет будущее страны), но и понижает общесоциальный уровень профессионализма, препятствуя профессионализации социума, которая является необходимым условием провозглашённой модернизации. Получается, что как в частном, так и в общем “реформа” образования не просто препятствует модернизации, а блокирует её, лишая будущего – модернизацию и общество. Сохранение курса на проводимую “реформу” образования и одновременно призывы к модернизации есть не что иное, как проявление когнитивного диссонанса.

Пятое. Необходимо выделить в качестве отдельного следствия то, о чём выше говорилось вскользь – усиление социального разрыва между различными слоями и группами как результат “реформ”. Точнее будет сказать так: социальный разрыв приобретает мощное культурно-информационное измерение, а поскольку, как нам говорят, мы вступили или вступаем в информационное общество, то именно это измерение становится решающим, главным, системообразующим или даже классообразующим. Если информация становится решающим фактором производства, то доступ к ней (обладание ею, распределение её как фактора, играющего системообразующую роль в совокупном процессе общественного производства) становится главным средством и способом формирования социальных групп, их места в общественной “пирамиде”. Доступ к этому решающему фактору, точнее степень доступа, обеспечивается образованием, его качеством и объёмом. Снижение качества образования при уменьшении его объёма (от введения базовых бесплатных и “дополнительных” платных предметов до введения бакалавриата – абортивной формы высшего образования) превращает индивида и целые группы в информационно бедных, легко манипулируемых, короче – в низы информационного общества, практически лишая их перспектив улучшения своего положения, то есть выталкивая из социального времени.

Хотели как лучше, а получится как?

Вообще нужно сказать, что “производство” низов “постиндустриального”/“информационного” общества стартовало на Западе ещё в 1970-е годы, а развернулось в 1980-е одновременно с распространением так называемой “молодёжной культуры” (“рок, секс, наркотики”), разработкой в спецучреждениях по заказу верхушек Запада, движением сексменьшинств, распространением фэнтэзи (и вытеснением **научной** фантастики, которая сегодня весьма популярна в Китае), ослаблением национального государства, наступлением верхов на средний слой и верхушку рабочего класса (тэтчеризм и рейганомика). То есть это часть пакета неолиберальной контрреволюции, означающей не что иное, как глобальное перераспределение факторов производства и дохода в пользу богатых, то есть поворота вспять тренда “славного тридцатилетия” (Ж. Фурастье) 1945–1975 гг.

Информация – фактор производства, и упрощение, снижение культуры (“большой друг” России и особенно русских Збигнев Бжезинский называет этот процесс “титтейнмент”) и рассматривает его в качестве одного из видов психоисторического оружия, позволившего Америке одерживать её победы, в том числе над СССР/Россией) и прежде всего образования есть не что иное,

как отчуждение этих факторов в качестве строительства будущего общества, создания его верхов и низов, его “haves” и “havenots”. В последние годы мы видим этот процесс и в РФ, однако в русских условиях создание “информационно бедных низов” штука опасная: у нас не сытая Европа, у нас нет такого нароста социального жирка, который можно какое-то время проедать, как там, у нас другие традиции социальной борьбы, у нас другой народ, другая история.

А ведь в нашей истории уже была однажды сознательная попытка резко снизить образовательные стандарты, оболванить население и таким образом сделать его более внушаемым и послушным. Я имею в виду мероприятия в сфере образования в эпоху Александра III (далеко не худшего русского царя, а вот поди ж ты, купился на глупость), прежде всего смещение центра тяжести в начальной школе на церковно-приходские школы (дерационализация сознания) и циркуляр от 18 июня 1887 г. (так называемый “указ о кухаркиных детях”). Им министр просвещения Иван Давыдович Делянов, для своего времени фигура не менее одиозная, чем А. А. Фурсенко для нашего, резко ограничил доступ к образованию представителям низших сословий, то есть малоимущих групп при сохранении доступа к образованию для тех, кто, как говорил один из гоголевских гербов, “почище-с” (аналог введения в РФ платного образования в высшей школе и плана введения в начальной и средней школе платных дисциплин при обязательном бесплатном минимуме-минимуме). Делалось это, чтобы, повторю, превратить низы в послушное манипулируемое стадо и избежать революции европейского образца. Революцию европейского образца счастливо избежали. Не избежали революцию русского образца, намного более жестокую и кровавую. Более того, деяньевская “реформа” образования сыграла свою роль и в приближении революции, и в её кровавости.

Суть в следующем: “дурилка” в образовании, конечно же, делает людей менее развитыми, они не умеют чётко формулировать свои интересы и требования, их легче дурачить, вешая на уши “лапшу” обещаний. Но это — до поры, пока не клюнет “жареный петух”, то есть пока не возникнет аховая социальная и экономическая ситуация, ведь её образовательной “дурилкой” не разрулишь. А вот когда клюнет, неразвитость масс, их малая образованность или просто необразованность начинает играть роль, противоположную той, на которую рассчитывают авторы схемы “даёшь уровень образования ниже плитуса”. Во-первых, малообразованными людьми легче манипулировать не только правящей элите, но и контрэлите, особенно, когда она имеет финансовую поддержку из-за рубежа. Именно это и произошло в 1917 году, когда международные банкиры и российские революционеры бросили российскую массу на правящий слой. Во-вторых, чем менее образован человек, тем менее он способен **сознательно** руководствоваться национально-патриотическими идеалами, а следовательно, защищать родину и верхи от внешнего врага (например, поведение в 1916–1917 гг. на фронте русского крестьянина, одетого в военную шинель). В-третьих, чем менее образован и культурен человек, тем в большей степени он руководствуется инстинктами, нередко зверскими (А. Блок: “развязаны дикие страсти под игом ущербной луны”), тем труднее воздействовать на него словом и тем вероятнее, что в “ущербных” условиях кризисной или просто тяжёлой ситуации на попытку рациональной аргументации власти он ответит дреколем и вилами. И нельзя сказать, что такой ответ является исторически полностью несправедливым.

Дореволюционные верхи забыли (а может, не знали) строки, написанные Михаилом Юрьевичем Лермонтовым ещё в 1830 году (опубликованы в 1862 году):

*Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
[...]
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймёшь,
Зачем в руке его булатный нож.*

Эти строки имеет смысл учить наизусть всем, кто правит или собирается править в России, которую китайцы не случайно называют “э го” – “государство неожиданностей”, “затягивания и мгновенных перемен”. Крушения у нас действительно происходят мгновенно. Так, в 1917 году Россия самодержавная слиняла, как заметил Василий Васильевич Розанов, в два дня, самое большее в три. И никто не заступился (как в августе 1991 года за СССР), одним словом, “пропадай, погибай, именинница!”. И Дикая дивизия с гор не помогла. Вообще никто не помог.

В сухом остатке: игра на понижение образования в социальных целях, в частности, с целью усиления безопасности верхов и их манипулятивных возможностей недальновидна, опасна и контрпродуктивна. И чем беднее общество и хуже экономическая ситуация, тем опаснее и контрпродуктивнее – вплоть до социокультурной самоубийственности оборзевших верхов, как это произошло в России начала XX века, на которую в некоторых отношениях, хотя и далеко не во всех (прежде всего благодаря советскому наследию, а также из-за иной мировой ситуации), похожа РФ начала XXI века, особенно если взглянуть на разрыв между богатыми и бедными. Неужели грабли – любимый артефакт нашей истории?

Повторю: практически все названные выше последствия “реформы” образования видны уже сегодня, и со временем их пагубное воздействие на образование и общество, на будущее страны будет лишь расти, скорее всего, в геометрической прогрессии. Возникает вопрос: понимают ли те, кто их проталкивает, пагубность того, что сделано и делается ими? Если не понимают, то это законченные идиоты в строгом (греческом) смысле слова: по-гречески “идиот” – это человек, который живёт, не замечая окружающего мира. Если понимают, то тогда нужно называть вещи своими именами: речь должна идти о сознательной широкомасштабной и долгосрочной культурно-психологической, информационной диверсии, а по сути – войне против России, её народа, прежде всего – государствообразующего, русских. И это уже не идиотизм, а виновность в преступлении. Будучи людьми цивилизованными, мы избираем позицию презумпции невиновности, то есть в данном контексте исходим из версии “идиотизма”, то есть люди не понимают, что творят, не (пред)видят катастрофических последствий своей деятельности. Правда, если это так, то почему внедрить свою программу в жизнь они стремятся втихаря, без обсуждения, тайком? Чего боятся? Вопрос о том, как готовилась реформа, как шла подготовка, например, к “внедрению” закона об образовании или к введению ФГОСа заслуживает особого внимания, поскольку ответ на вопрос “как?” во многом проливает свет на вопросы “почему?”, “с какими целями?” и – в конечном счёте – на главный вопрос: *сuius bono*, то есть в чьих интересах. Итак, какие же структуры и под чьим руководством готовили “реформу”**?

“Реформа” образования – авторы

Вернёмся в конец 2010 – начало 2011 г., когда шла дискуссия о ФГОСе и о новом федеральном законе “Об образовании в Российской Федерации”. Оба документа подверглись критике: юристами – за несоответствие признакам кодифицированного акта, за отсутствие госгарантии права на обязательное образование; педагогами и родителями – за многие и многие существенные недочёты, рушащие образование. Похвалы ФГОС удостоился только у ректора ГУ-ВШЭ Ярослава Ивановича Кузьмина, сославшегося на авторитет Александра Огановича Чубарьяна и Александра Григорьевича Асмолова (выступление на телеканале “Россия-24”).

Разрабатывал ФГОС, созданный в 2006 году, Институт стратегических исследований в области образования (ИСИО) Российской академии образования (РАО); директор ИСИО – Пустыльник Михаил Лазаревич, кандидат химических наук; научный руководитель – член-корреспондент РАО Александр Михайлович Кондаков. Этот человек, который во время работы в Министерстве образования и науки вёл блок безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны, в 2006 г. был избран членом-корреспондентом РАО. Одной из главных задач реформы г-н Кондаков видит в том, чтобы вписать российскую си-

* Я благодарен К. А. Черемных за предоставленную информацию о ряде образовательных структур РФ и их руководстве.

стему образования в общемировую (для этого российскую систему нужно сначала разрушить? – спрошу я); г-н Кондаков убеждён, что в утечке мозгов ничего плохого нет, а интернет сам по себе – источник знаний, о чём он открыто говорит. А вот о том, что на структурную реформу РФ Всемирный банк выделил заём, он говорить не хочет. А хочет, естественно, защищать “реформу”, что он и сделал на заседании Госдумы 9 февраля в 2011 г. в тандеме с Исаком Давыдовичем Фруминым. Г-н Фрумин – научный руководитель Института развития образования ГУ-ВШЭ и по совместительству координатор Международных программ Международного банка реконструкции и развития (МБРР). По-видимому, МБРР очень беспокоится о российском образовании, наверное, у его руководства “об всех об нас душа болит и сердце щемит”. Этот институт тоже занимался разработкой ФГОС. Директор Института – Ирина Всеволодовна Абанкина, известная своими работами (например, “Культура безлюдья”), в которых утверждается необходимость слияния “затратных” сельских школ, библиотек в “интегрированные социальные учреждения” в крупных населённых пунктах. Я называю это просто: ликвидация культуры и образования на селе, а если добавить медицину – то и жизни в целом.

Необходимо также упомянуть ещё одну структуру, подвигающуюся на ниве реформирования нашего образования. Это Федеральный институт развития образования (ФИРО); первый гендиректор – Евгений Шлёмович Гонтмахер (ныне – зам. директора ИМЭМО РАН); зам. директора – Лейбович Александр Наумович, нередко представлявший себя в качестве генерального директора Национального агентства развития квалификаций при Российском союзе промышленников и предпринимателей; научным руководителем ФИРО был назначен экс-председатель Либерального клуба Евгений Фёдорович Сабуров.

Интересна история создания ФИРО. Произошло это 29.06.2005 года: согласно приказу № 184 на базе пяти центральных научно-исследовательских институтов (высшего образования, общего образования, развития профессионального образования, проблем развития среднего профессионального образования, национальных проблем образования) создавался один – ФИРО. То есть у пяти НИИ изымались здания, оборудование, другие материальные ценности и передавались созданному по мановению волшебной палочки новому НИИ.

Недавно ФИРО отметил предложение ещё одного нововведения – замены в младших классах учебников электронными ридерами. Эксперимент пройдёт в нескольких областях РФ. Медики бьют тревогу: неизвестно, как всё это скажется на здоровье (глаза, нервная система) детей. Медики говорят о необходимости проведения предварительных, как минимум полугодовых, исследований. Но “невтонам” из ФИРО всё это не указ; похоже, здоровье детей для них – абстракция; реальность – средства, выделенные для проведения эксперимента.

Список учреждений, готовивших реформу, можно продолжить, но суть уже и так ясна. Кроме того, о том, в каком реальном направлении движет наше общество реформа образования, можно судить по интервью самого А. А. Фурсенко “Московскому комсомольцу” (2010 г.), точнее, даже по одной фразе, удивительно откровенной.

Чем плоха советская система образования: версия А. А. Фурсенко и её скрытые шифры

Министр заявил: главный порок советской школы заключался в том, что она стремилась воспитать человека-творца, задачей же школы РФ является подготовка квалифицированного потребителя, способного пользоваться тем, что создано другими.

Итак, воспитание творчества, человека-творца – это порок. До такой формулировки ещё никто не додумался, и в этом плане фразу г-на Фурсенко нужно заносить в Книгу Гиннеса. Это одна сторона. Другая сторона – как же хочется облить грязью СССР, перевернуть всё с ног на голову, найти пороки во всём, даже в творческом характере системы образования.

Но в данном контексте не это самое главное и самое важное, а другое. Внимание – министр говорит: будем готовить потребителей, способных пользоваться результатами деятельности (то есть творчества, созидания) других. Поскольку школа РФ созидателей-творцов не готовит, значит, объекты по-

требления для квалифицированных потребителей РФ будут создаваться за пределами РФ, за границей, так сказать в “царстве творческого порока”. А это значит, что люди в РФ будут иметь то, что им кинут из-за рубежа, и вряд ли им кинут лучшее, скорее — “на тебе, убоже, что нам негоже”. Как это происходит со странами Третьего мира, судьбу которых Фурсенко и команда “реформаторов” образования (как это следует из интервью и из всей “реформаторской” деятельности в области образования) готовит для РФ. Но ведь “за так” из Забугорья не дадут ничего, даже то, что не особо гоже. Значит, надо что-то предложить взамен. А что предложить, если сами ничего не творим, а живём в условиях тотального квалифицированного потребления? В таком случае отдавать можно лишь то, что либо создано ещё в советскую эпоху (многое уже отдали), либо вообще то, что не создано трудом, а является даром природы — сырьё, минералы, лес, наконец, пространство, территорию, которую можно использовать всяко-разно: и в качестве экологической зоны расселения “богатеньких буратинов” с их “мальвинами”, и в качестве помойки — склада ядерных отходов, на худой и крайний конец — в качестве “геополитической валюты”.

Таким образом, А. А. Фурсенко в своём интервью сформулировал программу такого образования (хотел написать: “создания такого образования”, но рука не поднялась — для этой цели не надо создавать, достаточно разрушать то, что есть — “до основанья” и без всяких “затем”, затем — тишина), которое навечно закрепляет за Россией статус сырьевой державы и резервной зоны “для тех, кто почище-с”, ну а развитые технологии, которые суть продукт творчества, будут потребляться оттуда, где они создаются — из зарубежья, с Запада, который такой подход к образованию РФ, естественно, вполне устраивает, поскольку навсегда вычёркивает Россию и русских из списка потенциальных конкурентов. Потребитель — не конкурент создателю, у потребителей нет шансов догнать создателя (тем более что если “не догнать” закрепляется определённой системой образования), у общества потребителей нет будущего. Собственно, нынешняя “реформа” образования, даже если её “конструкторы” ставили исключительно возвышенные цели (правда, возвышенные цели плохо стыкуются с потребительской установкой), объективно и есть выстрел в наше будущее, в наш суверенитет, в нашу цивилизацию, поскольку рано или поздно потребители, сколь бы высокой ни была их квалификация жрать, сопеть, переваривать и т. д., всё это потеряют, у них всё это отберут.

Стоп! А как же провозглашённый курс на модернизацию? Великое будущее? Здесь что-то не так. Либо своим интервью г-н министр делает добровольное признание в том, что ведёт диверсионно-подрывную работу, направленную на срыв модернизационных “планов партии и правительства”: модернизация — это творческий порыв, и осуществлять его могут только творцы. Либо от избытка интеллекта г-н министр выбалтывает реальные цели и планы по сырьевой консервации РФ, но тогда получается, что все разговоры о модернизации, как пел Галич, “это, рыжий, всё на публику”, это акция прикрытия некой базовой операции. То есть либо первое, либо второе. Если кто укажет третью возможную интерпретацию фразы г-на Фурсенко, буду премного благодарен, но дано ли третье?

Образование, консервирующее сырьевой (“потребленческий” в плане развитых технологий) статус РФ в международном разделении труда, естественно, устраивает Запад — конкуренты никому не нужны, не для того рушили СССР. Таким образом, с интересом определённых групп и ведомств внутри страны произвести на свет некое новое образование (похожее на новообразование) смыкается интерес нынешних хозяев мирового рынка, которые в октябре 1995 года устами президента Клинтона произнесли знаменитую фразу: “Мы позволим России быть. Но мы не позволим ей быть великой державой”. Неужели вновь возникает схема, известная нам по временам горбачёвщины, по перестройке, схема, уничтожившая СССР, — а именно блок интересов части верхушки мирового капиталистического класса и определённых групп внутри СССР? Похоже, в сегодняшней РФ тоже есть группы, которым распад страны позволил бы скрыть следы финансово-экономических преступлений — аналогичным образом руины СССР скрыли следы и улики “приватизации до приватизации”. Разумеется, определённые группы на Западе прекрасно это понимают, структуры, реализующие их интересы — как иерархические, так и ещё чаще сетевые, — стремятся найти уязвимые, гнилые и коррумпирован-

ные зоны в ткани постсоветского общества. Особым вниманием пользуются у них СМИ и сфера образования, именно по этим каналам они стремятся проникать в наш социум.

Деятельность этих структур отражает вполне определённые интересы, цели, главная из которых – не допустить восстановления экономической конкурентоспособности России, которая имело место (в лице СССР) даже в перестроечные 1980-е годы, которой так боялись на Западе (это открыто признала Тэтчер в 1991 году) и из-за которой главным образом и рушили СССР, спасая Запад, США от экономической, а следовательно, и социальной беды.

Когда-то Черчилль сказал о войне с Германией: мы воюем не с Гитлером, а с духом Шиллера – чтобы он никогда не возродился. То же могли и могут сказать “друзья” России – они не борются с конкретным режимом, они борются с духом Александра Сергеевича Пушкина, чтобы он не возродился. Действуют разнообразно и в разных сферах: финансово-экономической, информационной, культурной, превознося и поддерживая то, что нарушает и разрушает традиции национальной культуры, откровенно глумится над ними (примеры последних лет – поставленные в Большом театре “Евгений Онегин” и “Руслан и Людмила”). Нас в данном контексте интересует всё же информационно-образовательная сфера, угрозы её использования определёнными структурами. С одной из них мы познакомим читателя.

Стервятники блогосферы

В 1997 году в США при Гарвардском университете был создан Беркмановский центр изучения интернета и общества (Berkman Center for Internet and Society)*. Основатели – Чарлз Нессон и Джонатан Цитрейн. Активно работали в Центре или под его эгидой Йохай Бенклер, Урс Гассер, Уильям Фишер, Бенджамин Эдельман, Ребекка Маккиннон, Этан Цукерман. Двое последних заслуживают внимания и как сотрудники Беркмановского центра, и как учредители Globalvoices (2006 г.) – организации, выполняющей весьма специфические задачи и связанной с весьма специфическими структурами. Маккиннон, помимо прочего, учредила “Корпус блоггеров”, занималась технической поддержкой тибетских и китайских диссидентских сайтов (чьи уши торчат здесь, объяснять не надо). Этан Цукерман известен и сам по себе, и как муж связанной с Globalvoices Рэйчел Баренблатт – ученицы каббалиста Залмана Шахтер-Шаломи, феминистки, сторонницы однополых браков (интересно, зачем замуж за Цукермана-то выходила?), имеющей сан раввина в Обновлённом движении Шахтер-Шаломи.

Следует обратить внимание на то, что сотрудники Центра вписаны и в другие неправительственные организации. Последние посредством этих связей превращаются в некую мегаструктуру со множеством щупалец, в совокупность совершенно разнородных составляющих, разнородных настолько, что вспоминается из Николая Алексеевича Заболоцкого:

*Всё смешалось в общем танце,
И летят во все концы
Гамадрилы и британцы,
Ведьмы, блохи, мертвецы.*

Сотрудники Беркмановского центра занимаются социокультурными проблемами интернета, социальными сетями, феноменом блогосферы и так называемыми “когнитивными науками”. Именно через “реформируемое” образование, образование, из которого убраны “лишние знания”, которое способствует дерационализации, деисторизации и примитивизации сознания.

В последние годы Центр работал над двумя проектами: “Гражданское право в области информации” (поддержка тех, кто занимается онлайн-медиа, защита свободы слова в интернете) и “Интернет и демократия”. Главным объектом исследований и практических действий последнего проекта, реализовавшегося под руководством Брюса Этлинга, был Ближний Восток – араб-

* Я благодарен К. А. Черемных, который обратил моё внимание на Беркмановский центр, его проекты и его деятельность в РФ.

ские страны и Иран. Проект получил полуторамиллионный грант Инициативы ближневосточного партнёрства (“Middle East Initiative partnership”).

Вообще-то мы теперь хорошо знаем это “партнёрство”: Ирак/Саддам Хусейн, Ливия/Каддафи — далее везде: “мы летим к вам”.

Участники проекта изучали воздействие интернета и особенно блогосферы на общество и государство конкретной страны. “Главное направление удара” Этлинга и К^о — консерватизм, который, по мнению “проектантов”, нужно втягивать в блогосферу и таким образом заставлять его играть “по правилам прогресса”; блогосфера должна заменить традиционные системы социальных связей и передачи информации (семья, государство) на сетевые и таким образом может трансформировать любой режим без революции, особенно если блогосфера развита достаточно широко и включает в себя широкие слои молодёжи, используя систему образования как сеть. Кстати, неудачи переворота, приуроченного к выборам в Иране, Этлинг и К^о объясняют “недостаточным развитием блогосферы”.

Вот что интересно: от анализа арабо- и фарсиязычной блогосферы беркмановцы плавно и без излишнего шума перешли к изучению русскоязычной блогосферы и активизировали проникновение в Россию, а сферой проникновения выбрано образование.

13 и 17 мая 2010 года, как сообщил сайт Санкт-Петербургского филиала Государственного университета — Высшей школы экономики (далее — ГУ-ВШЭ), в этом заведении прошли две встречи представителей этого заведения и Беркмановского центра. Одна — в Москве, другая — в петербургском филиале. На встречах “вышки” и “беркманишки” были представлены проекты по блогосфере (“Mapping the Russian blogosphere”) и СМИ (“Mediacloud”). В октябре 2010 года в Институте мира при “Рэнд корпорейшн”, обслуживающей армию и разведслужбы США, состоялась презентация “Mapping the Russian blogosphere” — проекта, обсуждавшегося пятью месяцами ранее в Москве. Как сказал бы о такой скорости незабвенный Твардовский, “хорошо работать можешь, очень хорошо, старик”.

Кто-то задумается: почему именно на ГУ-ВШЭ пал выбор беркмановцев в развитии их деятельности в РФ? Можно лишь высказать догадки. Беркмановский центр выставляет себя борцом за права человека (в интернете), выступает с либеральных позиций. ГУ-ВШЭ открыто позиционирует себя как либеральный вуз, от его представителей приходится слышать о том, что гуманитарный образовательный цикл должен способствовать выработке либерального мировоззрения. А ведь как наши “либералы” кляли коммунистов за идеологизированность образования. Ну да простым болезным — сами ведь из коммунистов вышли, но не только поэтому слово “либералы” применительно к РФ я беру в кавычки. Главное в том, что постсоветский “либерализм” — это всего лишь идейное прикрытие грабежа, бандитизма и криминального мошенничества, кстати, в том числе и в высшей школе, причём в вузах весьма именитых и престижных. Но, по-видимому, именно “либерализм” позволял жулью уходить от ответственности, меняя один вуз на другой.

Вернёмся, однако, к нашим догадкам по поводу причин выбора беркмановцев. Что может быть кроме идеологии и ценностей? Не знаю. Впрочем, значение этих факторов вообще не стоит переоценивать, прав Иммануил Валлерстайн: “Ценности становятся весьма эластичными, когда речь заходит о власти и прибыли”. Гораздо более важны причины выбора не конкретного вуза стервятниками блогосферы, а сферы проникновения — образования. Появление в Москве Этлинга и К^о, фарсово напоминающее появление Воланда и его компании, указывает, во-первых, направление следующей после Ирана и арабских стран “деятельности” наёмников информационной войны; во-вторых, *locusstandi* и *field of employment* этой “деятельности”.

Ясно, чем примитивнее образование, тем легче превратить его в сеть и в таком качестве подключить к одной из глобальных сетей или ко всем сразу (Twitter, Facebook и др.). Ясно также, с какими целями и с каким результатом, ведь все эти сети контролируются американцами и по сути являются готовым оружием информационных войн. Только сильное, государственно-патриотически (а не глобально-космополитически) ориентированное образование может стать заслоном или даже контроружием в информационных войнах, эффективно подавляющим создаваемые анклавные “пяты колонн” в сфере образования.

Всё сказанное выше особенно важно для России, поскольку наша страна, как следует из заявлений Лиона Панетты, главы Министерства обороны США (ранее — директор ЦРУ), наряду с Ираном, Белоруссией, Китаем, Индией и Бразилией находится в списке “target-nations”, то есть “государств-мишеней”. Относительно этих потенциальных государств-мишеней, помимо прочего, планируются “революции” с применением новейших коммуникационных и информационно-психологических (психоисторических) технологий, то есть эти страны — объект возможных информационных войн, главные удары в которых наносятся сетями, сетевыми структурами именно по когнитивной (в широком смысле слова) сфере, то есть по сознанию и подсознанию индивида и групп.

Для успешного использования указанную сферу надо подготовить, прежде всего — упростить сознание, примитивизировать, а по возможности — ликвидировать убеждения, максимально стереть историческую память, релятивизировать ценности, особенно традиционные, национально-исторические. *Homoretis* (сетевой человек) — должен иметь, как зафиксировано в инструкции образца аж 1994 года Международного республиканского института (International Republican Institute), мировоззрение, излагаемое всего одной фразой, социальную позицию — излагаемую тремя словами, которые должны действовать ударно, как хэштэги, и высказывать в сознании автоматически при появлении в сети определённого звукового или визуального сигнала, определённой фразы типа “грабь награбленное”, “долгой диктатуру” и т. п. Иными словами, мы имеем дело с самым настоящим зомбированием, а сеть структур, стоящая за этим, может квалифицироваться как тоталитарная сектосеть. Дерационализированное, избавленное от “излишних знаний”, деисторизированное сознание кардинально облегчает решение задач информационных войн. Перефразируя “болтун — находка для шпиона”, можно сказать: *Homoretis* — находка для “сетевиков” и их хозяев в борьбе с государствами-мишенями. В этом плане можно сказать, что образование, обрезанное по умыслу ли или по простоте, которая, как известно, хуже воровства, ослабляет национальную безопасность России, а заодно — безопасность психоисторическую и цивилизационную.

Эффект бумеранга

Советское образование надо было реформировать. Но реформировать не значит разрушать, снижая образовательные возможности значительной части населения и ослабляя позиции страны в международной конкуренции. Отмечу особо, что нынешняя “реформа” образования бьёт не только по низам, но и по верхам, бумерангом возвращаясь к тем, кто её запустил. Конкурентоспособность страны, а следовательно, безопасность правящего слоя определяется, помимо прочего, уровнем образования населения. Страна с низким уровнем образования, а следовательно и её верхи, правящий слой, обречены. И хотя Бжезинский заметил, что если **ваша** элита держит деньги в **наших** банках, то это уже **наша** (то есть западная или западоидная) элита, в реальности не всё так просто, как кажется “Лонг Збигу”.

Далеко не всем и уж тем более не в их нынешнем качестве найдётся место на Западе, куда безопаснее на Родине. Разумеется, если она безопасна, если есть кому её эффективно защищать и осуществлять эффективную конкуренцию на мировых рынках, а для этого нужно уметь не только и не столько потреблять, сколько созидать. Получается, разрушение образования — это не только предательство по отношению к будущему страны, её народу, но и по отношению к тем, кто этим народом правит.

Я уже не говорю о таком факторе дестабилизации, как социальное недовольство, в том числе и недовольство, вызываемое “реформой” образования и её результатами. Социальная несправедливость нынешней “реформы” образования очевидна, она встроена в эту реформу, является одним из её моторов. И в этом плане “реформа” работает на рост недовольства и социальной напряжённости — в тем большей степени, что власть не реагирует, например, на массовые протесты общественности и профессионалов против ЕГЭ, не реагирует на требования общественности отрешить министра образования от занимаемой должности.

Как избежать эффекта бумеранга? Думаю, для начала в этом плане “реформаторы” образования должны покаяться. Рвануть тельник на груди, по-

клониться и сказать нечто вроде “Прости, народ русский. Бес попутал. Заморочили нам головы басурмане заморские. Не со зла делали, от помутнения и одурения”. И — повинную голову меч не сечёт. А в качестве конкретного предложения, которое должны сделать сами же деформаторы образования во искупление грехов, должно быть следующее: максимально широкое обсуждение Закона об образовании прежде всего профессионалами, специалистами, а не “манагерами за всё”, обсуждение, за которым должна последовать кардинальная переработка закона в интересах общества в целом, страны, нашего будущего. И это только первый шаг на пути исправления курса на разгром образования.

Ну а если нет, если будет продолжаться начатое, то, значит, движутся наши “реформаторы” образования по опасной дороге. И, как пел бард, “а в конце дороги той — плаха с топорами”. И хорошо, если в переносном, а не в прямом смысле. Впрочем, как говаривал блаженный Августин, наказания без вины не бывает. И да воздастся упорствующим в неистине — по закону, разумеется. Только по закону.

АНДРЕЙ УБОГИЙ

В СТРАНЕ РАДОСТИ

Звуки

Индия оглушает. И, прежде всего, в прямом смысле: своим уличным шумом. Кажется, звуков здесь больше, чем может вынести ухо и вместить оглушённый, растерянный мозг. Первым желанием для непривычного человека является детски-наивное: закрыть уши руками.

Клубящийся уличный шум состоит из гудков моторикш и рёва автомобильных моторов, пронзительных криков лоточников и зазывал у дверей магазинов, скрипа колёсных повозок, звона бубенчиков, бряцающих всюду, где только их можно подвесить, из барабанной раскатистой дроби и гула фанфар, которые сопровождают любое из многочисленных уличных шествий — да ещё, в довершение всего, из шипенья и взрывов петард, которые словно пытаются возвести этот шум, эту всю какофонию уличных звуков в какую-то уж совсем запредельную, степень. Кажется, мозг вот-вот взорвётся, и ты, как контуженный, поплывёшь на волне комариного тонкого звона — предвестника полной уже глухоты...

Но, как ни оглушает, как ни потрясает обилие уличных звуков в какой-нибудь жаркий, расплавленный полдень — но главное звуковое своё представление Индия приберегает под вечер. Как только смеркается, и назойливый, сам себя оглушающий уличный шум понемногу слабеет — по улицам начинают двигаться свадебные процессии. Бумага, конечно, не передаст того, что хотел бы выразить автор — в этом месте ему надо бы заорать и затопать ногами, загрохотать половником о пустую кастрюлю или сделать ещё что-либо дикое — и то он едва передал бы десятую долю свадебного звукового безумия. Всё то, что написано выше об уличном шуме, надо удвоить, а то и утроить — вот это и будет индийская свадьба.

Впереди всей процессии быстро идёт фейерверкер, через каждые два десятка шагов выставляющий очередную ракету-шутиху, искры и взрывы которой рвут в клочья небо. За фейерверкером тяжкою поступью движется свадебный слон. От его грузного топота содрогается грунт, и щекотная дрожь пробирает тебя от подошв до коленей; когда же, случается, искра от фейерверка попадает слону на хобот, то страдающий рёв — как гудок паровоза! — сотрясает густую, дрожащую от напряжения ночь...

За слоном, на колёсах, чихает бензином и катится дизель-электростанция: без неё не горели бы сотни ламп и гирлянд, озаряющих шествие. Она тоже стара и громоздка, как слон; вот только, если искра попадёт вдруг в лоснящийся, масляный дизель, то раздастся не рёв — оглушительный взрыв. Но это, похуже, никого здесь не пугает: судьбе — то есть карме — индусы доверяют больше, чем технике безопасности.

За дизелем пёстро колыхается вся остальная, гудящая, танцующая и барабанящая свадебная процессия. Интересно, что парни танцуют отдельно от девушек, в своей собственной, шумно-подвижной и возбуждённой, толпе. Группа же девушек, что идёт следом, много сдержанней, тише; но девушки, уступая в развязности танца, берут ослепительной яркостью бус и браслетов, расцветками шёлковых сари — звучность ярких цветов перекрывает, как кажется, и завывание дудок, и дробь барабанов.

В процессии видишь ещё много кого. И женщин, на чьих головах установлены как бы огромные люстры; и деток, несущих гирлянды цветов; и накрытых цветными попонами мулов, которые медленным шагом везут карету с молодожёнами. Жених и невеста кукольно неподвижны, нарядны — и чем-то похожи на изваяния индуистских богов. Им сейчас и поклоняются, словно богам: ведь это в их честь так гудит и грохочет вся свадьба. . .

Нет, странное всё-таки дело — описывать звуки. Но без этого Индию не показать; даже глядя на фотографии, чувствуешь, как этим плоским картинкам не хватает ещё одного измерения — звука. Зато, вспомнив звук, вспоминаешь и всё остальное; вот ещё разве что запахи столь же уверенно открывают закрытые двери памяти.

Какие же звуки Индии вспоминаются чаще всего? Ну вот, скажем, звуки утренней стирки на Ганге: я впервые услышал их в Варанаси, древнейшем из древних городов человечества. Солнце только что встало, гладь реки из матово-серебристой сделалась розовой — и по всему берегу, как орудийная канонада, захлопали звонко-тугие удары белья о прибрежные камни. Сначала слушаешь их как-то вполуха, рассеянно; но, когда вспоминаешь, что этим утренним звукам — многие тысячи лет, начинаешь внимать им с глубоким волнением. Кажется, ты сколзишь сейчас в лодке внутри огромного барабана длиной в несколько километров, чьим резонатором служит сама гладь священной реки — барабана, без сочно-отрывистой дроби которого не сможет проснуться и расцвести новый день.

А визги и крики детей, что играют в бейсбол? Или то, как по-птичьи щебечут неугомонные обезьяны в шевелящейся от их прыжков кроне дерева? А то, как буддийский монах поёт мантры под деревом Бодхи — и эти рычащие, львиные звуки так утробны и низки, что по коже твоей пробегает озноб?

Вспоминать и описывать звуки Индии можно долго, но нельзя не вспомнить о главном из них — человеческой речи. То, что наши с индусами языки произошли от единого индоарийского корня, знаешь не только из книг — это чувствуешь, слушая, как звучит хинди. Сам напевный строй речи, живая её мелодичность, её мягкость и вместе с тем как бы упругость так близки и понятны славянскому уху, что не остаётся сомнений: мы с индусами братья по языку. Случалось, ещё не вполне пробудившись от сна, слышать сквозь тонкие стены дешёвых гостиниц оживлённые разговоры где-нибудь в холле или в коридоре — и всегда мне мерещилось, что говорят по-русски: казалось, стоит лишь вслушаться, и начнёшь понимать, о чём идёт речь. Согласитесь, что так обмануться можно, лишь слушая родственно-близкий язык: речь китайца или эскимоса не показалась бы близкой даже спросонья.

Тот же самый эффект возникал, когда, лёжа на полке вагона, ты слушал, как женщины распевают религиозные гимны — протяжностью и мелодичностью очень напоминавшие наши народные песни. Они пелись самозабвенно и долго, на широко и лёгком дыхании — в котором ты чувствовал радостно-детскую душу индусов. Но о детской душе скажем ниже — это, может быть, главное из индийских открытий — а пока не забудем сказать и о том, из чего звук рождается: о тишине.

Тишина Индии тоже необыкновенна — в том числе, своей редкостью в такой, в целом, шумной стране. Тишина, например, Оленьего парка в Сарнатхе — когда, после шума и сутолоки Варанаси, вдруг попадаешь в пространство покоя: здесь слышны даже взмахи крыльев порхающих бабочек, а, скажем, шорох бегущего бурундука оглушает, как шум накатившего поезда. . . Тишина здесь густа, глубока и почти осязаема: воспринимаешь её не как простое отсутствие звуков — а как, напротив, наполненность мира каким-то особым, вещественно-плотным покоем.

Или тишина Ришикеша — городка на Ганге, ставшего мировую столицу йоги. На рассвете, когда ещё не проснулись нищие-садху, лежащие здесь вдоль дорог в одеялах, как серые свёртки, когда спят обезьяны, коровы, со-

баки – когда спит даже Ганга, по глади которой не видно кругов от кормящейся рыбы, – тишину нарушает лишь ветер, стекающий с гор, да шорох песка по пустынному пляжу. И здесь, наблюдая, как из ночной тишины зарождается новый, наполненный звуками день, вдруг понимаешь, что Индия может так оглушительно-громко шуметь – потому что в душе у индусов есть очень глубокий запас тишины. И внешний, такой карнавалльно-эффектный и взбалмошный шум нарушает индийскую жизнь только лишь на поверхности – так волна, что бежит по поверхности моря, ничуть не тревожит морской глубины.

Стоит это понять и принять, как меняется и отношение к здешнему шуму. С удивлением вдруг замечаешь, что звуки Индии больше не раздражают – а, напротив, начинают тебя успокаивать, чуть ли не усыплять. Ибо это звучит сама жизнь, сам её пёстрый, клубящийся, мутный – но, в итоге, всегда благотворный, всегда исцеляющий душу, поток...

Запахи

А ещё Индия – страна запахов. С них она и начинается для любого приезжего – с первого вдоха в Делийском аэропорту. Сладковатый, живой запах кизячного дыма так удивителен для мегаполиса – скорей, это запах родных для меня южнорусских степей – что, когда выходишь из здания аэропорта, то кажется, что вот-вот, вместо гула и тасованья машин, встретишь что-то родное, из детства: может быть, костерок у реки или вздохи, мычанье и топот бредущего с выпаса стада.

Вообще, запахи Индии так перемешаны, так сплетены, что почти невозможно вычленишь что-то отдельное. Так, в запахе улицы всегда перемешана вонь нечистот – и аромат курящихся благовоний, перечно-резкие ноты пряностей перемежаются запахами цветов, а в дыме кизячных печурок вдруг слышится запах слегка подгоревшей лепёшки-чапати.

Конечно, всегда есть места, где какие-то запахи преобладают. Если зайти в один из многочисленных храмов – там, скорее всего, будет пахнуть цветами и молоком. То и другое – подношения божествам, чьи изваяния глядят на вошедших бесстрастно-пустыми глазами. Но молочные плошки, расставленные там и сям, делают эти кумирни уютно-домашними: индуистские боги кажутся кем-то вроде котят, чьё равнодушие можно порой растопить чашкой сладкого буйволиного молока.

В торговых рядах пахнет тем, чем торгуют. В обувных лавках – кожей, в магазинах, торгующих тканями – нафталином, в аптеках – душистыми травами, в дешёвых цирюльнях – одеколоном и потом. Но, какой запах ни взять – он настолько живой, полнокровный и сильный, что порой начинает казаться: первичны здесь именно запахи. То есть всё, что ты видишь и всё, что ты можешь пощупать – есть как бы сгущения и воплощения запахов, есть осадок неуловимо-летучего, тонкого мира, который мы с вами привыкли считать чем-то второстепенным, побочным – но который, возможно, на самом-то деле является первоисточником и колыбелью всего. Запах летуч, эфемерен, бесплотен и вездесущ – то есть он обладает качествами души. Не потому ли и возникают такие созвучия между иными из запахов – и настроением, памятью, чувством?

Видимо, Индия больше, чем прочие страны, обращена к невещественному – в том числе к запахам. Она ими живет, ими дышит, она им радуется – не потому ли индусы с непостижимою нам простотою относятся и к болезням, и к смерти? Может быть, тонкий мир им понятнее, ближе – чем мир вещественный, грубо-телесный? Ведь нам, чересчур “уплотнившимся”, застыт взгляд иллюзии материального мира, и нам с вами трудно представить, как можно жить по-иному.

То, как запахи в Индии сосуществуют, как они живут рядом, не подавляя, а дополняя друг друга – наводит на мысли о том, как и люди умеют здесь уживаться друг с другом. При такой тесноте, при такой пестроте населения, какую встречаешь здесь всюду, от столицы до дальней деревни – поразительно, как всё же терпимо и миролюбиво живут в Индии люди. Конечно, проблем хватает и здесь; тамилы и сикхские экстремисты, мусульмане Кашмира, да и просто-напросто криминальные элементы, которые неизбежны в любой стране и в любом обществе – всё это в Индии есть. Но в целом, при всём многолюдье, Индия производит впечатление на редкость спокойной и дружелюбной стра-

ны. Как вдоль шумной индийской улицы всегда течёт сложный поток разных запахов, в котором смешано всё, от зловония до благовония — так и индийская жизнь сплетена из множества разных обычаев, взглядов и вер, не просто сосуществующих, но ещё и способных друг друга дополнить и оттенить.

Так что здешние запахи — точнее сказать, их живая и сложная смесь — есть своего рода портрет Индии. По-настоящему эту страну нужно именно чувствовать, узнать не глазами, не слухом, не мыслью — а именно нюхом, тем способом, что нам достался от предков-охотников и который настолько уместен в пахучей и пряной, живой, удивительной Индии.

Мусор

Для многих Индия — земля грязи и мусора; “Индия и нечистоты” едва ли не самая частая тема рассказов у тех, кто вернулся из этой страны.

Да что там европейцы или американцы, привыкшие жить совершенно стерильно, на наш взгляд, жизнью; даже мы, русские — а уж нас-то чистюлями трудно назвать, — и то, по индийским меркам, знать не знаем, что такое грязь, теснота, нищета. Пишу это без всякой иронии: мы с вами и впрямь живём в очень чистой, богатой, комфортной и тихой стране; кто не верит — пусть съездит в Индию.

Итак, нечистоты и мусор. Этого добра в Индии действительно много; скажем, по улице старого города трудно пройти, не наступив на чьё-либо дерьмо — собачье, коровье или человеческое. Свалки — на каждом углу; и на этих свалках, как на лужайках, пасутся коровы.

Есть ещё городская деталь, непривычная нашему глазу: сухие русла рек, которые тоже завалены мусором разного рода. В сухой сезон они превращаются в пыльные свалки; зато в сезон дождей вода смыкает весь мусор в Гангу, а уж этот великий индийский дренаж уносит его в океан.

Порой кажется: Индия тонет в мусоре и вот-вот утонет совсем. Отбросы, которые остаются от жизни людей и животных — а те и другие плодятся с огромною скоростью — грозят превратить города в безобразные свалки, кишашие крысами. Но всё дело в том, что отношение к грязи и к мусору в Индии совершенно особое. Вот, например, придорожная лужа: она состоит даже не из воды, а из какой-то густой и лоснящейся жижи. Камешек, брошенный в эту лужу, издаёт не всплеск, а утробное чавканье. Думаешь: это же рай для микробиологов и паразитологов: как много открытий ожидает их здесь! А теперь посмотрите, как смуглый индус, в замызганной набедренной повязке, присел, чтобы справить на берегу этой лужи нужду, затем — обязательно левой рукою! — подмылся, а затем стал намыливать своё тощее тело, черпая всё ту же густую и жирную воду.

Или вот тоже весьма характерное зрелище: посмотрите, как молодая женщина в ярко-оранжевом сари месит руками навоз — чтоб налепить из него кизячих лепёшек и затем разложить их сушиться на солнце. Её пальцы — в кольцах, запястья — в сверкающих звонких браслетах; красавице и в голову не придёт, что она занята чем-то грязным и недостойным. Навоз для неё всего-навсего часть того мира, в котором она живёт и частью которого ощущает саму же себя.

Для индусов, по сути-то дела, нет грязи и мусора как таковых, а есть лишь различные формы и превращения предметов материального мира — которых, в свою очередь, тоже нет, а есть только некий мираж, некий сон божества, в котором нам — снимающимся Бrame! — лишь снится, что нас окружают какие-то вещи или явления.

В каком-то смысле можно сказать, что мусор и грязь в Индию завезли англичане. Колонизаторы постарались привить на туземную почву тот образ мысли и то восприятие мира, при котором есть “я”, человек — и есть внешний мир, мне враждебный и противоположный. И вот когда я отношусь к миру как потребитель — то есть беру из него то, что мне кажется нужным, и выбрасываю негодное — тогда и появляется мусор, как нечто лишнее, то, что не нужно ни мне, ни окружающему миру. Но для индуса, чья цель — растворение в мире и перетекание в него, нет резкой границы меж ним — и вот этой, к примеру, собакой, или этим вот деревом, что укрывает его своей тенью, и вот этой рекой, что так сильно и сонно течёт к океану. “Тат твам аси”, “то — есть ты сам” — вот главный принцип и стержень индусского мировоззрения.

И какой же тогда может быть мусор — то есть нечто негодное, лишнее — когда в мире лишнего нет ничего, когда всё во всё перетекает и превращается; или, что то же самое, в мире нет вообще ничего, кроме зыбкой игры миражей, кроме сонных бессмысленных грёз, что приходят к тому, кто не просто спит сам, но кто, спящий — лишь снится кому-то?

В этом смысле мусора в Индии нет вообще; или уж тогда всё, что мы видим вокруг — все эти дома, города, поезда, горы, реки — всё это тоже есть мусор, есть нечто, лишённое цели и смысла.

Рассуждения эти могли бы казаться надуманной заумью — если б они не подтверждались на каждом шагу. Вот я сижу в Харидваре, на каменном гхате-причале над Гангой, и смотрю, как индусы нескончаемой чередой подходят, чтоб поклониться священной реке. У большинства в руках или цветы, или плошка с густым молоком, которое тонкой стружкой льют в быструю реку — или миска, в которой мерцает свечной огонёк и которую надо пустить по воде. А вон у той босой девушки в розовом сари, кроме обычных даров, ещё и большая пластиковая сумка. Интересно, думаешь, что же эта красавица принесла в дар священной реке? Девушка гибко склоняется, шепчет молитву, омывает водою чело — и высыпает содержимое сумки в Гангу. Не веришь глазам: по воде, закрутившись, поплыли какие-то корки, очистки, подмётки, пакеты, бинты и прокладки — поплыл, словом, мусор! По нашим понятиям, это почти то же самое, что опрокинуть помойное ведро на алтарь; но то, что было б кощунством для нас, совершенно в порядке вещей для индусов — не знающих мусора.

Цвета

Вот ещё испытание для европейца: избыточность, яркость, назойливость цвета. Недаром павлин является государственным символом Индии: кажется, и вся страна раскрашена, как малярною кистью, именно сочным павлиньим хвостом.

Как с непривычки от шума улицы иногда хочется закрыть уши, от злобония — зажать ноздри, так и от яркости цвета, что бьёт по глазам, хочется порою зажмуриться. Кажется, именно Индия — место рождения красок. Слово весь их набор, весь их солнечный спектр возник именно здесь — и отсюда, неизбежно при этом тускнея и угасая, краски начали распространяться по миру.

Так что где, как не здесь, любоваться цветами, их чистой, беспримесно-яркою сутью — где, как не в Индии, вспомнить, какими должны быть живые и настоящие краски? Зайдётся, например, в лавку тканей, где стены от пола до потолка завешаны ярким узорочьем шёлка — и в глазах зарябит от орнаментов и немислимых красочных переливов. Узоры закружатся и поплывут в оглушённых такой пестротой глазах — по кругу, быстрее и быстрее, заскользят изумрудные, красные, жёлтые змейки...

И это тебе ещё даже не начинали показывать ткани! Подожди-подожди: если только задержишься, если чуть пошатнёшься — а головокружение здесь неизбежно — то тебе тут же скажут: “Sit down, sir!” — и укажут рукой на ковёр. Опустись на податливый ворс — и пара служителей без промедленья начнёт демонстрацию. Откуда-то из-за спины, жестом фокусников они будут выхватывать штуки свёрнутых тканей — и широким, торжественным взмахом раскатывать их пред тобой. За всю свою жизнь я припомню немного столь же волнующих, странных минут: когда от тебя в нафталиновый сумрак начинают лоснящимся веером — или павлиньим хвостом! — течь волнистые реки живых, переливчатых, нежных цветов, когда ты сидишь в эпицентре бесшумного, но ослепительно-яркого взрыва. Как там восклицал Гоголь: дайте мне, дескать, другое перо?! — но, боюсь, нет таких перьев, что смогли б передать это буйство, безумие, яркость цветов, это чувство того, что ты вдруг оказался сидящим на крыле тропической бабочки, которая вот-вот взлетит, унося тебя в совершенно другие — с иными законами цвета — пространства...

Такою же дверью в иное порой представляются женщины в сари. Ибо индийская женщина — это, прежде всего, вспышка цвета; всё остальное — лицо, формы тела, движения рук или ног — поначалу почти незаметны на фоне того, как горят эти краски на шёлке, как льются и дышат все эти яркие складки — и как, цветовыми рефлексам, озарены лица тех, кто находится рядом. Близ женщины, скажем, в оранжевом сари на лицах лежит апельсиновый отб-

леск, рядом с красавицей в изумрудных одеждах лица приобретают цвет бледной листвы, а огненно-красное сари заставляет всех как бы зардеться невольною краской стыда.

Что ни возьмись вспоминать и описывать — лавку ли зеленщика, или ювелирный, сияющий золотом и самоцветами магазин, или то, как раскрашены в Индии грузовики и автобусы, — будет всегда ощущаться нехватка эпитетов: наш обиходный язык слишком сдержан и строг в отношении цвета. Но, с другой стороны, цветовой настрой русской души чем-то близок индийской палитре. Вспомните наши матрёшки и самовары, цветные платки и цветастые юбки, жостовские подносы или огненные шкатулки из Палеха: нельзя не отметить созвучия русских цветов и цветов Индостана.

А уж храмовая архитектура — точнее сказать, храмовая раскраска далёкой Индии — имеет в России своего полномочного представителя: кажется, что Василий Блаженный в Москве раскрашен индийскими малярами. Эта гроздь разноцветных затейливых луковок, венчающих храм, кажется сорванной в Индии и пересаженной в наши снега — где она чудом выжила и расцвела, да ещё стала одним из русских национальных символов. Недаром же Бунин, писатель по преимуществу именно цветового восприятия мира, в “Чистом понедельнике” выстроил именно эту — поразительно верную! — цветовую дугу: “Москва, Астрахань, Персия, Индия...”

Но главный красочный взрыв, апофеоз цвета в Индии — конечно же, праздник “холи”. Его ещё называют “карнавал красок”; и не забудем, что он происходит в стране, заурядные будни которой уже представляются нам неким праздником цвета.

В главный день праздника Индию охватывает цветное безумие. Все, от мала и до велика, начинают посыпать друг друга красными, синими, жёлтыми и зелёными порошками — и обрызгивать крашеною водой. Остаться некрашеным в этот день невозможно; а уж если ты иностранец, то будь уверен: скоро ты будешь похож на ходячую выставку красок. Да что люди — праздник холи не забывает и о животных! По улицам носятся синие, красные и оранжевые собаки, а на боках невозмутимо бредущих коров нарисованы разноцветные карты неведомых, сказочных стран — хоть, казалось бы, что может быть сказочней самой Индии, да ещё в праздник холи?

Индусам словно мало того, что их мир и так буйно-красочен, празднично ярко; нет, им хочется сделать его ещё ярче и праздничней — сделать так, чтобы серые будни никогда уже не возвратились. Как дети раскрашивают бледные контурные картинки — размашисто, щедро, не соблюдая порою ни меры, ни правдоподобия, ни границ — так и индусы, похоже, хотят превратить тот контур мира, что нам дан изначально, в насыщенно-яркую, красочную картину.

Женщины

Теперь — женщины. О праздничной яркости их одежд уже сказано — но нельзя не сказать и о яркости лиц. Мало того, что женские лица здесь, в Индии, и сами собой словно светятся — белки глаз яркие, взгляды радостны, зубы жемчужны — так эти лица ещё и украшены, словно витрины. По темени, между аспидно-чёрных волос горит ярко-карминный пробор, во лбу светится алое пятнышко, в левой ноздре — золотое кольцо, по смуглым щекам бьют, звеня и сверкая, тяжёлые гроздья серёг, а шея отчёркнута яркой радугой бус — так, что лицо индусской красавицы представляется даже не столько твореньем природы, сколько сложным и несколько вычурным произведением искусства.

Не забыто и тело. Браслеты звенят и сверкают повсюду, где только возможно: и на обеих руках, от локтей до запястий, и на смуглых лодыжках. Женщинам Индии, кажется, жаль, что у них только по две руки и ноги; будь конечностей больше, нашлись бы места для иных украшений. Недаром своим божествам индусы так щедро раздали по несколько пар лишних рук; а что есть образ бога — как не мечта человека о самом же себе?

А кольца? Мало того, что ими унизаны чуть ли не все пальцы рук — так ещё и на длинных, не сдавленных обувью пальцах женской ноги непременно увидишь кольца, обычно серебряные: их матовый блеск хорошо сочетается с красным, лаковым цветом ногтей.

Но всего поразительней то, что в таком вот торжественном сари, похуже скорей на парадную тогу богини, чем на бытовую одежду, во всём этом

блеске браслетов и ожерелий, черепаховых гребней и звонких серёг, мерцании поясов и колец, во всей этой яркой раскраске ногтей, рук и щёк — индусские женщины месят навоз или доят коров, рыхлят землю мотыгой или носят на голове неохватных размеров корзины с бельём, кизяком, овощами. То есть в самом нарядном и праздничном виде индуски нередко работают самую грязную и непростую работу. Как это возможно — и как вообще можно двигаться, заматавшись в пятиметровое сари? — есть одна из загадок таинственной этой страны.

Женщину в Индии называют “склад украшений”, имея в виду, что, за неимением сейфов для хранения ценностей всё, чем богата семья — серебро, золото, драгоценные камни — надевают на женщину. Но, скорее, тогда уж не склад, а ходячая ювелирная выставка; только выставка эта способна ещё разительно-звонко смеяться и петь, танцевать — да и просто сводить с ума своим ярким и умным, насмешливо-радостным взглядом.

Для меня несомненно: индийские женщины — это главное чудо страны. Здесь, спустя тысячи лет после эры матриархата, снова чувствуешь: женщина есть божество. Нет, конечно, я знаю всё то, чем можно разрушить моё утверждение. Я знаю, что, скажем, в жене, не родившей мужу ребёнка, здесь не видят полноценного члена семьи. Я знаю, что ещё в девятнадцатом веке сожжение вдовы живо, вместе с усопшим супругом — было обычным и одобряемым делом. Я знаю и о многожёнстве, и о том, как здесь не желают рождения девочки — потому что это сулит семье в будущем только убытки: подика, скопи на приданое, да на свадьбу — я знаю многое из того, чем унижена женщина в Индии. Но, даже зная всё это, нельзя не почувствовать царственность и неприступность красавиц, которые, словно павы из сказки, ступают по грязным, загаженным улицам — и к которым не пристаёт эта грязь, эта пыль, этот скучный и будничный мусор. К ним не пристаёт даже похоть: индийская женщина, кажется, окружена неким облаком целомудрия.

Эротика, как нарочитого разжигания похоти, в Индии нет вообще: это ясно любому, кто здесь побывал. Считать, что “Камасутра” и барельефы Кхаджурахо задают тон здешней жизни — всё равно, что верить в медведей, бродящих по улицам русских селений. За всё время моего пребывания в Индии я ни разу не видел ни женской коленки, ни поцелуя на людях, ни двусмысленно-томного и порочного взгляда — ничего из того, чем буквально напитана жизнь старой доброй Европы.

Целомудрие Индии простирается вплоть до того, что в делийском метро женщинам отводят отдельные вагоны — для того, чтоб не подвергать женскую скромность безнравственной и унижающей давке. Как-то я второпях залетел в такой женский вагон: от меня тотчас отвели взгляды и посторонились, словно я был прокажённым. Да у нас, зайдя я хоть в женскую баню — и то не возникло б такого единодушного отторженья мужчины как инородного тела.

Конечно, это память о матриархате, о тех временах, когда женщина была главой рода — и помыкала мужчинами по своему усмотрению. До сих пор, кстати — и в штате Керала, и в некоторых гималайских районах — сохранился уклад многожёнства, когда женщины открыто допускают к себе разных мужчин (для каждого определён его день) и рожают от них детей — которые юридически числятся детьми её брата.

Написал сейчас это — и тут же вспомнил нечто противоположное: предположение стать многожёнцем. Ехал я как-то с гор в битком набитом кузове пыльного грузовичка. Вокруг меня шевелилось, смеялось, болтало множество молодых женщин, детей — которые вели себя очень свободно, не страдая ни от тесноты, ни от моего присутствия. Слово за слово, разговорился с соседками. “Сколько же у тебя жён?” — с интересом спросили меня. И узнав, что жена только одна — все семь или восемь моих собеседниц стали буквально валиться от смеха! “Only one!” — “Только одна!” — восклицали они, показывая на меня пальцами и так хохоча, словно в жизни своей не слышали ничего смешнее. Казалось, грузовичок сейчас свалится в пропасть — такой рёв дружного хохота раздавался над его кузовом. Или вполне мог бы начаться горный обвал — причиной которому была бы моя моногамность.

Кое-как успокоившись, изнеможённые смехом — вспышки которого ещё порой раздавались там-сям, — женщины стали выспрашивать дальше. “И что же она у тебя — беленькая?” — с хитрецей улыбались они. “Ну да”, — отвечал я, ещё не понимая, к чему они клонят. “Так возьми, для пары, тёмненькую —

хоть вот эту!” — и ко мне, хохоча, начинали подталкивать смуглую молодую красавицу в синем хлопковом сари.

Вы, может быть, спросите, что было дальше? Но о продолжении этой весёлой истории я умолчу: должны же у меня — как и у Индии — быть свои тайны. . .

Чай и другая еда

Да, вот именно так: чай и другая еда. Ибо чай в Индии — не столько напиток, сколько полноценная пища: пяти-шести чашек в день достаточно, чтоб ощущать себя бодрым и сытым.

На привычный нам чай он похож только названием. Стоит сесть, скажем, в поезд — тут же слышишь протяжные крики чайных разносчиков, пробирающихся с большими чайниками по проходу вагона. “Чаи-и, чаи-и” — выводят они нараспев, с ударением на конце слова — и это едва ли не самая популярная в Индии песня.

Первый глоток того, что тебе наливают в обмен на бумажку в пять рупий — восторга не вызывает. Это, по сути, не чай, а кипячёное молоко: очень сладкое, жирное, с острым перечным вкусом масалы. От чая в нём, кажется, только бежевый тон, да чаинка, случайно попавшая между зубами.

Но ко всему в жизни можно привыкнуть. Выпив несколько чашек — а порции здесь вдвое меньше российских: примерно сто граммов — уже начинаешь ценить, до чего же питателен, мягок и густ этот славный напиток, как он прибавляет упругости взгляду и бодрости телу.

А через несколько дней начинаешь уже разбираться и в разновидностях здешнего чая. Уже понимаешь, что чай в поездах — очень бледная копия того оригинала, который предлагают тебе где-нибудь в старом квартале, под скульящую дудочку заклинателя кобр, сняв кастрюльку с кизячной жаровни, поболтав этот пенный отвар — у нас бы сказали: “чифир на молоке” — и наливая его тонкой струйкой сквозь сито в подставленный глиняный черепок. Кажется, сама древность Индии протянула тебе в тонкой смуглой руке эту чашку густого и сладкого,пряного чая. Та же рука предлагает присесть на скамеечку — здесь же, на тротуаре, у кучи сухого навоза — и ты пьёшь чай медленно, оцепенело и зачарованно глядя туда же, куда глядят все — коровы и заклинатель змей, нищие и скучающие торговцы, куда глядят даже три кобры, чьи капюшоны мерно покачиваются над плетёной корзиной — глядя в ничто, в никуда, в пустоту. . .

В Индии можно жить одним чаем — особенно, если привыкнешь к его характерному вкусу и запаху и не забудешь просить продавца: “Сахару мне, дружище — поменьше. . .” Но, справедливости ради, надо отметить, что в Индии есть и кое-какая другая еда. Например, чапати — лепёшки из пресного теста. Они совершенно безвкусны, но этим-то и хороши. Ведь только пресной лепёшкой можно хоть как-то смягчить остроту чечевичной похлёбки, народной индийской еды. Эта похлёбка густа, словно каша, и подаётся обыкновенно на широких кожистых листьях — с которых индусы её подбирают кусками лепёшки-чапати. Едят быстро — кто стоя, кто сидя на корточках — и, когда смотришь на эту народную трапезу, а то и участвуешь в ней, то можно подумать: это всё происходит не в центре громадного современного мегаполиса — а где-нибудь в джунглях, в конце мезолита.

Чем ещё я кормился? Конечно, ел ласси, сладкую простоквашу, которая так хороша в жаркий полдень: утоляются сразу и жажда, и голод. Иногда брал тали: поднос, где вокруг кучки пресного риса расставлены плошки с подливами и овощами. Но подливы настолько остры, что, кажется, капли случайно на брюки — прожжёшь в них дыру.

А чаще всего мой обед состоял из грозди зеленых, невзрачных, но сладких бананов. Есть их на улице было забавно: тут же подходила какая-нибудь корова и шумно вздыхала над ухом, ожидая банановую кожуру — которую забирала с ладони шершавым и мокрым своим языком. Вот обезьяны, те были не столь деликатны — они вполне могли и стащить мой обед. Недаром в популярных здесь “roof-top” — ресторанах на крышах — приносят, вместе с заказом, ещё и бамбуковую палку. Удивишься: “Зачем?” А официант, удивившись твоему удивлению, поясняет: “Как зачем? Отгонять обезьян”.

Но главное даже не в том, как называются местные кушанья, как они выглядят и каковы на вкус — главное в том, что в Индии почти совершенно

не хочется есть. Это тем более странно, что голод всегда был навязчивым спутником прежних моих путешествий. Перемена мест, языка, обстановки и климата, встречи с десятками новых людей — это всё вызывало почти непрерывное и знобящее, как лихорадка, желание что-нибудь съесть. А вот в Индии чувство голода странным образом притупляется — может быть, оттого, что в индийской цивилизации вообще нет столь привычного для европейца культа еды. Едят здесь немного, едят, в основном, безубойную пищу; и выражение “есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть” подходит к Индии как нельзя лучше. Недаром именно в Индии появились, как многие верят, “солнцееды” — то есть те, кто совсем отказался от пищи и получает энергию напрямую от солнца.

Но оставим их, солнцеедов, греться на солнышке — я-то думаю, что в их случае речь идёт лишь о длительном, растянувшемся на несколько месяцев, голодании, но никак не о полном отказе от пищи — вспомним лучше о том, как радушны индусы, как они любят, умеют, хотя угостить. Когда едешь в поезде, в общем вагоне — а я провёл в поездах, в совокупности, несколько суток — то будь уверен: соседи предложат тебе разделить с ними трапезу. “Послушайте, — сказали мне в первый же день путешествия. — Мы же видим, что вы с утра ничего не ели. Возьмите, попробуйте нашего риса...”

Дороги

Коли речь зашла о дорогах, поговорим о них поподробнее. Первое впечатление от большого вокзала такое: кажется, что ты вдруг перенёсся в Россию военной поры — фашисты вот-вот войдут в город — и вокзал охвачен безумием спешной эвакуации. Перроны забиты битком, народ тащит сумки, узлы и коробки, кто-то лёг, обессилев, буквально в ногах у снующих людей, кто-то лезет в окно переполненного вагона, все что-то кричат и кого-то зовут, давит зной, духота, босоногие дети хватают тебя за рукав, очередной проплывающий мимо состав раскалён, как горячая сковорода, в этой неразберихе ничего не понять, найти нужный поезд нет никакой возможности — отправление через восемь минут! — и вот-вот, кажется, ты окончательно потеряешь рассудок... То, что сейчас происходит вокруг, точнее всего назвать словом “хаос”, а то, что случилось с тобой — словом “шок”.

Но, как ни странно, удаётся разыскать и свой поезд, и вагон класса “sleeper” — типа наших плацкартных — и даже забраться по чьим-то спинам и головам на свою третью полку. Минут десять уходит на то, чтобы отдышаться и отереть пот — поезд за это время уж тронулся, и в проходе вагона заголосили разносчики чая — а потом можно и осмотреться. Вагон непривычен. Он выше нашего — нет труб отопления под потолком, поэтому здесь помещаются три пассажирские полки. Внизу нет столика, и это добавляет пространства. Зато к потолку приделаны три вентилятора: видно, что борьба с духотой и жарой здесь так же важна, как у нас, в России — борьба с холодом.

Удивляет, что между вагонами нет дверей. Туалета не два, как у нас, на вагон, а четыре, и санитарное их состояние, кстати, довольно приличное. Наружные двери открываются совершенно свободно: индусы нередко сидят, свесив ноги с подножек летящего над полями вагона, а ветер индийских полей гуляет в вагоне, гоняет бумажки и всяческий мусор (его здесь свободно бросают на пол), и треплет узорные яркие ткани индийских одежд.

Скоро в вагоне осваиваешься настолько, что он тебе кажется домом: многолюдным и тесным, но зато дружелюбным, весёлым, живым. А уж индусы, они и подавно ведут себя здесь, словно в собственном доме: болтают и спят, кормят грудью детей, заразительно-звонко смеются или поют мелодично-протяжные гимны, звонят по мобильникам (а мобильники есть даже у многих нищих) или пьют чай, медитируют или работают с ноутбуками — в общем, живут полноценной, ничем не стеснённой жизнью. Можно сказать, что, немало поездив по Индии в общих вагонах — я побывал у индусов в домах, смог почувствовать тон, настроенье, уклад их повседневного существования. И живут они — это чувствуешь сразу — легко. Во всяком случае, куда легче нас, русских, для которых угрюмоватая озабоченность и осторожность лиц стала едва ли не отличительным признаком нации. А индусы способны легко рассмеяться, запеть, заговорить с незнакомцем и угостить его чем Бог послал, способны заснуть даже в давке и духоте — и во всей этой лёгкой, живой и ес-

тественно-гибкой пластичности их душ и тел ощущаешь бодрящую юность и свежесть одного из древнейших на свете народов.

А может, индусы живут так легко и свободно как раз потому, что не слишком привязаны к жизни? Жизнь для них является в полном смысле подарком — то есть тем, без чего, в крайнем случае, можно и обойтись — но, если уж этот дар нам вручен, то надо его принимать с благодарною, детскою радостью, и не задавать этих глупых вопросов: зачем, почему, для чего?

Мы-то с вами как будто забыли, что жить надо легко — в этом и состоит её, жизни, высшая мудрость — и что тревога и озабоченность есть тот яд, который исподволь, но неизбежно лишает нас самого важного — радости. Жизнь действительно слишком трагична для того, чтобы к ней относиться всерьёз.

В вагоне индийского поезда ехать можно, кажется, целую вечность: потому что не может наскучить волшебное чувство полёта по-над мостами и реками, мимо посёлков и деревень, над манящею зеленью сонных полей, в отблесках мелкой воды над посадками риса, мимо башенок-храмов из красного камня. Поезд мчит быстро, колёса отстукивают двойной такт — который подбадривает и успокаивает одновременно — вагон раскачивается и скрипит, чересполосица света и тени бежит по проходу, и в эти минуты на душу нисходит глубокий покой — тот, ради которого, может быть, мы и пускаемся в путешествие. Зреет странное чувство: что тебя в мире уже как бы нет — есть только твой удивлённый и радостно всё замечающий взгляд; и в этой свободе от груза собственной жизни есть невыразимая, высшая радость — предвестие, может быть, радости нашего будущего существования...

Но довольно о поездах: в Индии приходилось путешествовать и по-иному. И на автобусах — вот тоже, кстати, индийское чудо: спальный автобус, в котором можно не только сидеть, откинувшись в кресле, но можно и спать, развалившись на полке — и на рикшах, и на мотоциклах, и на плотках по Ганге.

Главное средство передвижения в Индии — трёхколёсные рикши. Они бывают двух видов: на бензиновой и на мускульной тяге. Первые — моторикши — это наши родные мотороллеры “Вятка”, на которые поставлены жестяные будки, способные вместить двух-трёх иностранцев — или человек восемь индусов. Как эти восемь вмещаются в тесную будку, и как слабосильный мотор способен тянуть такой груз, и как эта шумная куча людей не заваливается вместе с повозкой на первом же повороте — это всё из области неразрешимых индийских загадок. Скрипучее, ветхое сооружение оглушительно тарыхтит, чадит синим выхлопом и почти непрерывно сигналист — так, словно клаксон и является главной движущей силой этого, ярко раскрашенного и готового вот-вот развалиться, трёхколёсного драндулета. Но ехать на нём очень весело, потому что езда на моторикше попирает все законы механики, физики, да и просто здравого смысла. Умом понимаешь, что “это” ехать не может — но “оно” всё же едет, да ещё с таким залихватским задором и радостным шумом, что любая поездка превращается в эпизод короткого помешательства, в лёгкий приступ безумия, которое хочется испытать вновь и вновь.

А есть велорикши. Ощущение от езды на них совершенно иное — и для меня, не привыкшего ездить на людях, скорее тягостное. Взгромождаешься со своим рюкзаком на высокое, узкое и неудобное сиденье — и перед тобой начинает качаться худая, покрытая потом спина. Тяжело видеть и слышать, как трудно, со скрипом, прожимаются педали, и как хрипло дышит трудяга-индус. Для того чтобы взбодриться, все велорикши жуют “халу” — это листья бетеля в смеси с мелко нарезанными грибами и ещё чем-то вроде горчицы — от этой наркотической смеси зубы рикш быстро чернеют, белки глаз и слюна становятся красными, а жизнь — короткой. Рикша время от времени, повернув голову вбок, сплёвывает густую слюну — и на пыльную землю летит ярко-красный плевок. Кажется, за те гроши, что ты заплатишь ему, человек отдаёт свою кровь и жизнь. Поэтому я всегда, когда мог, избегал нанимать велорикш. Да и вообще: если б я знал, куда ехать по закоулкам старых кварталов, мне было бы проще самому нажимать на педали. Всё-таки из нас, русских, не вытравить убеждения в том, что все люди братья, и что грех превращать человека в подобие ездового животного. Надеюсь, что те англичане, которые завели здесь, в Индии, моду на рикш — на том свете таскают повозки с чертями.

Вообще индусы производят впечатление людей, на подъём очень лёгких — и то сказать: нищему собраться — только подпоясаться — и поэтому кажется: вся страна находится в непрерывном движении. Все куда-то идут или едут,

и жизнь как дорога есть даже и не метафора, а совершенно буквальная истина Индии. Может быть, это всё оттого, что я посещал места всеиндийских святынь, куда стекаются сотни тысяч и миллионы паломников – и где-нибудь в иных местах жизнь индусов казалась бы неподвижно-оседлой; но, как бы то ни было, чувство того, что жизнь есть движение, что даже смерть есть всего только станция, так сказать, пересадки, после которой наш путь неизбежно продолжится – это чувство живой и подвижной, текущей, как Ганга, изменчивой, но не скучеющей жизни было одним из отраднейших чувств путешествия в Индию.

Нищие

А кого, путешествуя в Индии, видишь чаще всего? Конечно же, нищих. Их множество в поездах и на улицах, на гхатах у Ганги и на обочинах пыльных дорог, на вокзальных перронах и возле храмов, на свалках и рынках – короче, повсюду.

Возможно, что нищие и отношение к ним – это главное, что отличает индийскую цивилизацию от европейской (и, тем более, американской). Не вдаваясь в оттенки, можно сказать: если в Европе нищие есть отброс общества – и относятся к ним соответственно, как к “отбракованному”, пусть порою и вызывающему сострадание, человеческому “материалу” – то в Индии нищие составляют ядро, сердцевину страны, они представляют, как это ни странно звучит, духовную элиту народа.

Достаточно посмотреть на их лица, походку и жесты, чтобы почувствовать: это – цари. При том, что они действительно нищие – кроме посоха и котелка, плаща и двух-трёх одеял, у них нет ничего – достоинства и благородства у этих людей больше, чем у иных президентов.

Если, скажем, у нас видишь нищих всегда с тягостным чувством, потому что за каждым из них угадывается какая-либо трагедия – чаще всего алкогольный распад человека, – и невозможно отделаться от стыда и неловкости, даже от смутного чувства вины за то, что один из людей, наших братьев, почти потерял человеческого облик и оказался на самом дне жизни – то в Индии нищета воспринимается по-иному. Разумеется, я понимаю, что нищие в Индии разные – есть там и бедолаги, подобные нашим – но всё-таки, в основной своей части, индийское нищенство есть духовный, осознанный выбор людей. И поэтому нищие (их называют здесь садху) занимают в общественной иерархии и сознании ступень едва ли не высшую. И подаяние им – это поклонение, почти то же самое, что и подношение богам в многочисленных храмах: то есть жест, в котором нуждается, прежде всего, подающий. Не случайно многие нищие и наряжаются в индуистских богов. То видишь нищего-Шиву с трезубцем в руке и с тремя синими полосами поперёк смуглого лба (это все шиваистские символы), то нищего – Ханумана, весьма чтимого здесь обезьяньего бога, в красных одеждах, с раскрашенным по-обезьяньи лицом и с ужимками старой макаки. Никто в этом не видит кощунства (представим на миг, что европейские нищий или нищенка нарядились бы в Иисуса Христа или Деву Марию) – но такое отождествление нищего с богом представляется в Индии совершенно естественным. Можно сказать, что индийские нищие воплощают идеалы народа – такие, как нестяжание, миролюбие и воздержанность – то есть являются, в самом буквальном смысле, носителями национальной идеи. Поэтому не удивительно благоговейное к ним отношение, поэтому совершенно естественно то, что самые мудрые и благородно-красивые лица, самые проникновенные, радостно-светлые взгляды встречаешь у нищих.

Садху живут в ритме солнца. В ночной темноте можно даже и не заметить лежащих людей: они выглядят, как неподвижные серые свёртки, которых множество и по обочинам, и по набережным, и по тротуарам. Но, лишь только восток начинает светлеть, и ночь отступает – из этих свёртков, потягиваясь и сладко зевая, один за другим выбираются нищие-садху. Как из куколочек вылупляются бабочки – так из пыльных своих одеял выбирают эти в большинстве своём очень красивые люди. Как раз к этому времени по улицам начинается тянуть сладковатым дымком от кизячных жаровен – и настает час утреннего чаепития. Можно сказать, что нищие чаёвничают по-барски: в постели, ещё не умывшись и не причесавшись. Приятно смотреть, как неторопливо и вкусно пьют чай садху, как они сладко жмурятся, поднося к губам гли-

няный черепок, как причмокивают губами и как поглядывают на восток: не показалось ли солнце, их верный товарищ и брат?

Восход отмечают, по возможности, омовением. Гладь Ганги утром матово-серебриста; но, когда холм багрового солнца поднимается над горизонтом и вырастает в малиново-бархатный диск — тогда по живому, скользящему телу реки ложится сеть розовых бликов, и даже туман, что клубится над Гангой, обретает слегка розоватый оттенок. Это самое время раздеться, зайти по пояс в реку и плеснуть водой в сторону восходящего солнца, как бы помогая светилу умыться, согнать дурман ночных снов и начать день с ясной, по-детски счастливой улыбки.

Затем совершающий омовение нищий трижды окунается с головой — и, счастливый, выходит на берег. Неряшливости, как это ни странно, среди здешних нищих почти не увидишь. Так, расчёсывание волос — в том числе и бороды, которая нередко укладывается в сложно-затейливую косицу — для индийского нищего превращается в многозначительный, долгий процесс. Кажется, что, наводя порядок в своей шевелюре, садху наводит порядок, ни много ни мало, во всём мироздании.

Ну, что же: солнце уже высоко, улицы все оживленнее: значит, пора приступать к сбору милостыни. Интересно, что чувствует нищий, что думает он — сидя часами на теневой стороне шумной улицы, как бы на берегу человеческой многоголосой реки? Одно можно сказать наверняка: и мысли, и чувства у нищих не тягостны, не депрессивны — потому что среди сотен их лиц ты не встретишь лица озабоченно-хмурого, недовольного, злого. Напротив: лица нищих так светлы и радостны, они несут в себе столько покоя и благоволения к жизни, что можно часами смотреть в их глаза — ощущая, как и в тебе самом прибавляется радости жизни.

Возможно, их главное дело — бытийная, так сказать, роль нищих в Индии — в том как раз и состоит, чтобы нести людям радость, чтобы напоминать о том, как прекрасна жизнь сама по себе, жизнь, не обременённая ни тяжестью, ни гордыней, не искажённая страстью или злобой. По сути, каждый из нищих в Индии — настоящих, с духовной задачей нищих, а не тех попрошайек, которых, конечно же, можно встретить везде, — каждый садху является фабрикой радости. А без такого продукта, как радость, ни человек, ни семья, ни страна, ни народ жить не могут. Можно завалить всех одеждой и яствами, понастроить домов, понаделать машин и компьютеров — но если в душах нет радости, то весь этот хлам человеку не только не нужен, но попросту вреден. Недаром число депрессий и суицидов в материально благополучных странах — той же Скандинавии или Соединённых Штатах — неизмеримо выше, чем в бедной, но не забывшей о радости Индии.

Ближе к полудню, когда приближается время сиесты, многие садху поднимаются с насиженных мест и не спеша идут к пунктам кормёжки. Отрадно видеть, что страна не забывает о своих нищих — что она кормит их, как солдат в промежутках между боями. Это сравнение мне пришло потому, что нищие выстраиваются в очередь перед сооружением, очень напоминающим солдатскую походную кухню — и кашевар, гремя половником о миски, бросает в них порции чечевичной похлёбки. Садху степенно, с достоинством подходят к полевой кухне, благосклонно кивают кашевару-раздатчику — давай-давай, дескать, парень, не жмись! — а потом присаживаются в тенёчке и начинают куском пресной лепёшки зачерпывать густую похлёбку. На выходе с пункта кормления обыкновенно стоит ещё и человек, вручающий каждому нищему десять рупий на чай (один стакан чая стоит, напомним, пять рупий) — но многие отказываются от этой чайной подачки. «Оставь, парень, эту мелочь себе, — как бы говорят они, царственным жестом поднимая ладонь. — Уж на чашку-то чая я денег всегда раздобуду у этих вот (лукавый, смеющийся взгляд в мою сторону) белых туристов...»

После обеда спит вся страна — спят и нищие. Ложатся они там же, где и сидели — на тротуарах, обочинах, набережных — а рядом с ними, в тенёчке, укладываются собаки, коровы и козы. Вообще нищие часто окружены животными. «Это мои друзья!» — объясняют они туристам, лихорадочно щёлкающим фотоаппаратами; и порою сквозь мусорный весь затрапез, сквозь все нечистоты и вонь шумной улицы начинает мерещиться и проступать нечто райское: грезится мир, где животные не боятся людей, люди любят и не обижают животных, и все они вместе живут, образуя единую как бы семью. Ко-

нечно, до агнца и льва, что мирно резвятся бок о бок, пока далеко – но шаг в направлении этой мечты уже сделан.

После дневного сна – снова чай, и опять омовение. Вообще мытью рук, ног, лица индусы уделяют много внимания: видно, иначе не выжить в стране с таким риском кишечных и прочих инфекций. К тому времени, как завершится послеполуденное чаепитие и омовение в Ганге, солнце уже начинает клониться к закату, и наступает едва ли не лучшее в Индии время. Понемногу уходит жара, но москиты ещё не проснулись; уличный шум то ли впрямь затихает – то ли просто-напросто утомлённый твой слух уже не различает отдельных звуков, а воспринимает лишь некий общий и слаженный гул, навевающий в душу покой и неспешно-вечерние мысли. Хорошее время для созерцаний: и садху в предвечерние эти часы нередко предаются медитации.

Правда, у нищих есть ещё способ расслабиться. Чуть смеркается, как по гхатам над Гангой начинает тянуть сладковато-смолистым дымком конопля. Здесь редко курят траву поодиночке – чаще садятся по двое, по трое – слушается, что и тебе помашут рукой, предлагая присоединиться: “Эй, друг – садись к нам! Марь-Иванну не хочешь?” Так здесь, русским именем, называют марихуану, которую курят или в глиняных трубках ценой по пять рупий штука, или в виде набитых травой косяков-сигарет.

Но в Индии есть наркотик и позабористей, чем конопля. Это кинофабрика Болливуд и те фильмы, что она выпускает в неимоверном количестве. По вечерам перед каждым кафе, где работает телевизор – то есть на каждом шагу – можно видеть толпы людей, в том числе множество нищих, которые, открыв рты – причём это буквальное, а не фигуральное выражение, – погружаются в грёзы экрана. Можно сказать, что те фильмы, которые жители Индии смотрят на сон грядущий – это вечерняя сказка, которую им рассказывает страна. Глядя на то, как доверчиво и восхищённо индусы смотрят кино, как они бурно переживают всю ту чепуху, что мелькает на пёстром экране – глядя на это, и можно почувствовать: какие же, в сущности, это всё дети...

Народ-дитя

И вот здесь мы выходим на важную тему. Мысль “народ как дитя” объясняет многое из того, что доводится видеть, узнать и почувствовать в Индии.

Ну вот, например, простота и открытость в отношении естественных надобностей – то, что шокирует иностранцев, – но ведь именно так и трёхлетние дети справляют нужду, не смущаясь чьим-либо присутствием. Присесть на краю тротуара, спустив порты или приподняв подол сари, для жителя Индии так же естественно, как для нас прилюдно высморкаться или откашляться. Поначалу оно, верно, как-то смущает – но к естественному привыкаешь быстро (“что естественно, то не безобразно” – говорили, помнится, в дни моей юности), и скоро ты сам уж почти готов впасть вместе с индусами в детство и не слишком стыдиться того, к чему понуждает тебя естество.

Или возьмём культ животных, столь органичный для Индии. Кажется, тут нет ни одного представителя фауны, который не был бы обожевлен. Тут и обезьяний бог Хануман, и слоноголовый Ганеши, и Мать-корова, и священный бык Нанди – и ещё множество прочих животных-богов. Но ведь такое одушевление животных, олицетворение их как раз характерно для детского восприятия мира. Да, в детстве мы верим в лису Патрикеевну и медведя Топтыгина – но, повзрослев, нам уже трудноато представить, как это лягушка превратилась в царевну, или как золотая рыбка повелевала морской стихией. А вот индусы, судя по благоговейному их отношению к живности всякого рода, по обилию изображений животных-богов на стенах храмов, по тем подношениям, что паломники возлагают животным-кумирам, – в конце концов, судя по вере в переселение душ – индусы и по сей день убеждены в том, что животных и человека мало что, в сущности, разделяет. Во всяком случае, та граница, которую западное сознание полагает меж человеческим и животным мирами – в индуистском мировоззрении гораздо более прозрачна и легко преодолима.

Не забуду удивительной сцены исповеди в Золотом храме Варанаси. К статуе коровы, исполненной в натуральную величину, выстроилась длинная очередь исповедников – очень напоминающая очередь к исповеди в православ-

ном храме накануне большого праздника. И так же смиренно и сокрушённо, как перед священником, индусы поочерёдно склонялись, но не под эпитрахиль батюшки, как у нас – а к коровьему уху. Все они, с выраженьем глубокой серьёзности в лицах – выраженьем, вообще-то не свойственным жизнерадостным и весёлым индусам, – выговаривали корове то, что у них наболело и накопилось на сердце. Причём в этой исповеди корове не было ничего игрового – но была безусловная, детская вера в могущество сил, заключённых в животных, и в то, что животные могут влиять на судьбу человека.

А разве не детской является тяга индусов к ярким цветам, украшениям, блёсткам – тяга к тому, чтоб украсить весь мир, как большую игрушку? Уж на что, казалось бы, взрослая вещь – грузовик с длинномерным прицепом; но любой трейлер в Индии разукрашен, как новогодняя ёлка. Всюду, где только возможно, от лобового стекла до выхлопной трубы, развешаны блёстки и зеркала, разноцветные кисти и бахрома, и всё – каждый дюйм! – раскрашено яркими красками. Тут и узоры, и пятна кислотных расцветок, и огнедышащие драконы, и кобры, раздувшие свои капюшоны, и слоны, восседающие на крысах (это традиционное изображение бога Ганеши), вепри и рыбы (воплощения бога Вишну) – в общем, каждый из грузовиков своей живописною яркостью напоминает индуистский храм на колёсах.

Но Индия молода ещё и в самом прямом, демографическом смысле: средний возраст её жителей – тридцать лет. И здесь – это очень заметно – царит настоящий культ школ и школьников. Как я выше писал, что главные в Индии люди – это нищие-садху, которые своей жизнью и обликом воплощают высокие идеалы народа, так же точно можно сказать, что главные в Индии – дети. Когда вдоль по улице бежит шумная стайка школьников в униформе брусничного цвета, то остро чувствуешь: у Индии есть живое, здоровое будущее. Глаза детей оченьмышлёны, улыбки белые, выражения лиц полны жизни и радости; и всё это, взятое вместе, заставляет тебя восхититься неувядающей юностью Индии – и одновременно испытать боль стыда за озлобленно-вялых, безрадостных русских детей.

Но не будем о грустном. Лучше укажем ещё на одну из “детских” черт Индии – на целомудрие. Даже трудно взять в толк, почему, при свободном-раскованном отношении к физиологии, скажем, пищеварения – области половых отношений скрыта завесой стыдливости и умолчания. Ни во взглядах, ни в разговорах, ни в жестах, ни в рекламе услуг и товаров – нигде здесь не встретить двусмысленно-пошлой игривости, которая наполняет собой европейскую жизнь. Индия в целом так целомудренна – что именно этим она заставляет нас вспомнить о рае, о том времени, когда пресловутое яблоко ещё не было сорвано, и его сладкий сок ещё не потёк по щекам Евы.

Вот в этом-то и заключается та заветная мысль, к которой ядвигаюсь в этой главе. Индусы, насколько возможно понять и почувствовать – это народ, живущий ещё как бы до грехопадения, это народ-дитя. Поразительным образом Индия, страна, может быть, самой древней цивилизации на планете – сохранила себя в состоянии райского детства и детства, она не вкусила запретного плода, она сохранила себя той же самой, какую Господь и создал эту дивную землю и этих красивых людей. Не случайно же и в индийской мифологии – сложнейшей, подробнейшей и изобильной на всякого рода сюжеты – нет мифа о грехопадении, мифа, центрального для духовной культуры Европы.

Может быть, именно в этом – разгадка того, почему христианство не укрепилось в Индии, стране незлобиво-смирненной и мягкой, вполне христианской по духу? Христос пришёл спасать падших, то есть нас с вами, наследников эллинско-иудейского мира: Его проповедь и призыв, Его, в конце концов, крестная смерть посвящены тем, кто утратил связь с Богом и изгнан из рая. А индусы и так душою и телом живут ещё как бы в раю.

В Индии соблазнительно-сладкое яблоко ещё только зреет на ветке, и змей-искуситель, похоже, ещё поджидает индийских Адама и Еву. Потому, может быть, нас и тянет так в эту страну: мы хотим ещё на земле и при жизни ощутить дуновение рая, почувствовать то, какой была жизнь в незапамятно-давнее время – точнее, ещё до начала времён – и какой она сможет стать вновь, если мы, с Божьей помощью, вырвемся из паутины греха.

Смерть

Где зашла речь о грехе — там неизбежны и мысли о смерти. А смерть в Индии, её наиболее впечатляющий образ — это костры Варанаси.

Горят они круглые сутки, и можно их видеть хоть утром, хоть днём; но в памяти остаётся именно ночная кремация. Маникарника-гхат — это главное место сожжения умерших, это, можно сказать, космодром, откуда души усопших возносятся вместе с огнём на индийское небо. Костры горят здесь на трёх уровнях, трёх площадках над Гангой — иногда их пылают пять-шесть одновременно — и главные звуки, которые слышишь здесь в сумерках: это треск прогорающих дров и скелетов — и музыка от соседних причалов, где празднуют ежевечернее поклонение Ганге.

Очень важно не торопиться, оставить дурную манеру глотать впечатления, подавить в себе суетливое любопытство туриста — а просто присесть чуть в сторонке от жарких костров и посидеть часа два или три, размышляя как бы ни о чём: то есть привести себя в состояние созерцательного покоя. И осознание того, что здесь, вместе с дровами, горят и людские тела, уже не будет тебя очень сильно смущать — как оно не смущает индусов.

Обряд кремации сдержанно-прост — в этом и заключается строгая красота ритуала. Вот чьи-то ноги, торчащие из охваченных пламенем дров, отгорели, упали — и служитель спокойно, при помощи двух длинных палок, перебрал обугленные стопы в центр пылающего костра. Точно так мы, бывало, сидя у своих походных костров, перебрасывали в сердцевину огня отгоревшие сучья. Мёртвое тело здесь, в Индии, не вызывает ни благоговейного ужаса, ни особой брезгливости: прах, он и есть прах, и к нему надлежит относиться спокойно и просто.

Как проходит кремация? Если человек умирает в священном городе Варанаси — а это самая большая удача, какая может выпасть на долю индуса, — то в сопровождении сыновей и племянников (женщин к обряду не допускают) носилки с телом относят на Маникарника-гхат. Здесь покойный совершает последнее омовение: носилки с усопшим притапливают в Ганге, и воды священной реки в последний раз касаются тела, которое скоро исчезнет. Затем носилки ставят на место просушки — сохнуть покойный будет около часа, — а родственники тем временем направляются в полицейский участок, чтобы зафиксировать там факт смерти.

Старший сын бреет голову наголо и облачается в белые траурные одежды. Впечатляет табурет уличного цирюльника, рядом с которым лежит копна чёрных волос: это сколько же, думаешь, осиротевших индусов успело сегодня обречься...

Пока всё это происходит, служители складывают костёр. Дрова для погребальных костров — главный, наряду с шёлком, объект купли-продажи в Варанаси. Цена и качество дров, разумеется, разные — мало кто может позволить себе быть сожжённым на чистом сандале — да и количество дров, необходимое для полноценной кремации, тоже различно. Индусы, как правило, сухощавы и малорослы, и полутора центнеров дров хватает, что называется, за глаза. “А сколько пойдёт на меня?” — спросил я служителя, хлопотавшего у поленницы дров. Меня деловито окинули взглядом и просто сказали: “Двести двадцать кило”. Заметив, как меня передёрнуло от такой точности и простоты, индус дружелюбно добавил: “Это немного. Иному из вас и четырёхсот будет мало”.

По всему берегу Ганги в окрестностях Маникарника-гхат высятся дровяные поленницы, и стоят у причалов лодки, гружённые топливом. Их разгружают неторопливо, аккуратно складывая из дров очередную поленницу — словно каждый из грузчиков осознаёт, что он не просто работает, а мостит путь в вечность для тех, кто скоро уляжется вот на эти сухие, как раз в человеческий рост, кривоватые жерди.

Когда покойник обсох — его, вместе с носилками, возлагают на дровяной пьедестал. Зажигать костёр — дело старшего сына. С длинным пучком тростниковой соломы он идёт к жертвеннику бога Шивы, огонь на котором непрерывно горит уже не одну тысячу лет. Солома вспыхивает от углей жертвенника, и сын поспешает обратно: надо успеть, пока полыхает соломенный факел. Вот он сует факел под жерди костра — и, под действием тяги и тёплого ветра, что веет от Ганги, пламя вмиг разливается по сухим дровам. Пелены, которы-

ми покрыт покойный, вспыхивают и взлетают — несколько огненных хлопьев уносятся в звёздное небо — и сухощавое тёмное тело остаётся совсем обнажённым. То, как невозмутимо, спокойно усопший лежит в центре гудящего и беснующегося костра, напоминает сеанс медитации. Ничто мирское — никакие гримасы и пляски обманчивой Майи — уже неспособно нарушить глубокий покой мертвеца. . .

Этот покой — эманация смерти — влияет на всех, наблюдающих процедуру сожжения. В самом деле: смешно суетиться и думать о суетном, видя финал своих суетных дел и легко представляя, как сам, в скором будущем, будешь лежать на таком вот костре. А огонь горит жарко, напористо: искры вихрем возносятся к звёздам, и кажется, что перед тобой не костёр, а река, чей гудящий напор равнодушно уносит всё бренное к небу — туда, где земной прах размельчается в звёздную пыль и становится частью безбрежной, клубящейся вечности.

Неизбежно приходят и мысли: а какой похоронный обряд предпочтительней, ближе тебе самому? Наш ли, привычный, с могилкой, крестом и оградой, с кладбищенской пышной сиренью, с обилием всех подробностей православного отпевания и погребения — или такой, очищающе-огненный, после которого остаётся лишь горсть невесомого пепла? Пока я здесь, в Индии, пока я дышу её воздухом и говорю на её языке — конечно, мне ближе костры Варанаси. Всё же есть разница: быть закопанным в землю, к червям и корням и пройти там, во тьме, смрадный путь разложения — или быстро и чисто сгореть на огне. Итог всё равно будет тем же — ведь гниение, по химической сути, есть то же горение, только очень неспешное.

Да и то сказать: могилы и всё, что связано с ними — нужны живым, а не мёртвым. Это нам, тем, кто пока ещё живы, нужно особое место для встречи с усопшим и с собственной памятью, нужно, чтоб было куда приходиться на родительскую субботу и где выпить чарку за упокой родных душ. Но, с другой стороны, как много горького можно увидеть на кладбище, где одни могилы пребывают в мерзости запустения — а другие раздражают свою помпезностью. Даже перед лицом смерти мы часто не можем преодолеть того, что нас разделяет — имущественного, скажем, неравенства, даже на кладбище мы порой продолжаем цепляться за жалкие призраки власти, богатства и земного благополучия. Огонь в этом смысле — большой демократ. От любого индуса, будь то последний бродяга или знаменитый на весь мир Махатма Ганди, не остаётся, в материальном смысле, вообще ничего — что, конечно же, очень достойно.

Пока мы так рассуждали, наш костёр почти догорел. Старший сын — бритый наголо, в белых одеждах — палками выкатывает из костра ещё не сгоревшую кость — может быть, челюсть или позвонок? — и на тех же двух палках несёт её к Ганге. С коротким шипением кость падает в воду — это и означает, что обряд кремации завершён. Пепел служители сдвинут поближе к воде, очищая кострище для нового тела, и этот серый, мерцающий углями пепел будет здесь до утра остывать. Сбрасывать в Гангу его пока рано, потому что ещё предстоит извлечь из него слитки золота и серебра — остатки тех украшений, что были на мёртвом. Маникарника-гхат — это самый прибыльный золотой и серебряный прииск Индии, то место, где круглые сутки идёт добыча драгоценных металлов.

Но Бог с ним, с золотом — дело не в нём. Дело в том чувстве покоя, которое наполняет здесь, кажется, всё: и сами костры, и их отражения в Ганге, и лодки, с которых туристы глазят на древний обряд, и всю эту тёплую ночь, полную звуков, огней и задумчивой неги — в том чувстве покоя, которое наполняет любого, кто долго сидел у костров Варанаси. О чём говорит душе этот покой? О том, что всё совершается правильно — здесь жгут усопших, неподалёку поют и танцуют, жизнь и смерть катят своё колесо — и то исчезновение мёртвого тела, которое только что, с лёгкостью фокуса, совершилось на наших глазах — оно ничего не меняет в порядке вещей. Да, смерть меняет лишь форму, но вовсе не суть, не бессмертное содержание нашего с вами существования.

Мысль не нова — все великие мудрецы, от Платона до Шопенгауэра, не уставали её повторять — но здесь, в этой тёплой ночи, озарённой кострами, её понимаешь не просто рассудком, а всем существом. Смерти, в сущности, нет — вот о чём говорят нам костры Варанаси.

Ганга

Да, смерти нет. А есть эта тёплая ночь, полная звуков и запахов жизни, и есть Ганга под тусклою, дынного цвета луной – Ганга, чьи молчаливые и мутноватые воды движутся так, как течёт само время: незаметно и неудержимо.

Ганга – главный объект поклонения в Индии. Если, скажем, христианин, отвечая в кратчайшей форме на вопрос о существовании своей веры, должен сказать: “Я верю в Троицу: Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа” – то правоверный индус, отвечая на тот же вопрос, может ответить: “Я верю в Гангу...”

Исток Ганги, как принято думать, на небе: тот Млечный путь, что мы видим в безлунные ясные ночи – это и есть начало великой реки. Мифология здесь не так уж и далека от реальности: Ганга действительно начинается с заблачных высей – колыбелью ей служат глетчеры Гималаев – и, сливаясь из нескольких мощных потоков, в районе священного города Харидвар, она из неистово-горной, бурлящей реки превращается в сонную, невозмутимо-спокойную реку равнины. Можно сказать, что Ганга обнимает собою все формы жизни реки, меняет обличья и собственный нрав – чтобы, в конце концов, обретая всё больше покоя и силы, войти в океан как в нирвану.

То, что Ганга – главнейшее в Индии божество, доказать очень просто: каждый вечер, во всех городах по её берегам, совершаются пуджи, то есть красочные, с танцами и песнопениями, жертвоприношения реке рек. Эти ежевечерние службы так и называются: Ганга-арти, или подношения Ганге. Жертвы здесь, разумеется, мирные – Индия крови не любит – это цветы, молоко и огни. Вся пуджа длится около часа и собирает множество зрителей: люди теснятся на каменных древних ступенях, ведущих к воде, смотрят из окон ближайших домов и наблюдают ритуальное действие с лодок. Жрецов, совершающих богослужение, может быть несколько – в Варанаси, к примеру, их семь – но в целом сценарий всех пудж одинаков. С молитвами в Гангу бросают цветы и льют молоко, затем под ритмичную дробь барабанов расппеваются гимны, а затем начинаются танцы с огнями. В светильниках, видимо, нефть – потому что их огонь ал, а дым густо-чёрен – и когда видишь, как семь полыхающих, огненно-дымных колёс синхронно вращаются под барабанную дробь – словно катятся сквозь разомлевшую ночь – то кажется: именно эти колёса и движут индусскую жизнь, сообщают ей тот монотонно-размеренный ход, который и позволяет стране оставаться на месте (то есть быть верной себе) вот уже многие тысячи лет...

Танец огней, в самом деле, чарует. Но ещё больше трогает тот момент, когда по лоснящейся, масляно-чёрной поверхности Ганги начинают плыть сотни цветочных плотиков-плошек, в сердцевине каждого из которых трепещет свечной огонёк – тогда река начинает напоминать тот Млечный путь, земным продолжением которого и является Ганга.

О Ганге по-настоящему надо писать не главу, а огромную книгу – которая тоже, конечно, не сможет ни исчерпать, ни объять то огромное, сложное и невыразимо-глубокое, что называется Матерью-Гангой. Вся символика и философия Индии, всё, чем живёт её сложный до изощрённости дух – так ли, иначе, не связано с Гангой, питается водами этой священной реки и, в свою очередь, пополняет собой её, Ганги, жизнь.

Европейцев, конечно, шокирует то, что индусам кажется совершенно естественным: когда, на восходе солнца, индусы чистят зубы, моются и стирают бельё, и пьют пригоршнями воду, и пускают плыть детские трупы, и высыпают мусор, и испражняются – в ту же самую реку. Ганга принимает всё, она всё очищает и всех примиряет, для неё нет разницы между чистым и грязным – она словно солнце, которое светит и грешным, и праведным. Не ощутив духа этой священной реки, не проникшись его очищающей, всех равняющей силой, невозможно понять жизнь Индии – жизнь, которая при несказанной её пестроте и запутанной сложности проявляет такую терпимость ко всем воплощениям и существам.

Откуда, куда течёт Ганга? Она перетекает из бесконечности в бесконечность – и ей совершенно нет разницы, что, зачем и куда нести в толще медленных вод, какие тела перекачивать по иловатому дну; её, Гангу, мало интересуют те отражения и миражи, что жизнь оставляет на глади лоснящихся вод. Её не разбудит ни людской гвалт на её берегах, ни даже огни, песнопения и барабаны красочных пудж. У вод Ганги, как и у жизни индуса, нет цели – и в этой бесцельности скрыта и сила её, и её обречённость...

Боги и лингамы

Всё-таки странно, что индуизм не вырос до мировой религии. Являясь едва ли не самой древней религиозной системой на свете, включая в себя более миллиарда верующих – индуизм, тем не менее, ограничен пределами полуострова Индостан и одним государством.

Самое первое впечатление (а оно-то как раз и бывает почти всегда верным) – это то, что в Индии религиозны практически все. Или, иными словами: здесь нельзя жить, не являясь приверженцем индуизма – настолько эта религия растворена в самом воздухе Индии и наполняет собою индийскую жизнь.

Считается, что в индуизме 16 тысяч богов. Разумеется, это весьма приблизительно – приходилось читать и слышать другие цифры – но, в любом случае, пантеон индуизма населен очень густо. Среднему человеку невозможно даже просто запомнить имена всех божеств – не говоря уже о том, чтобы познакомиться с ними поближе. Конечно, среди этих тысяч богов есть главные – такие, как Вишну и Шива – а есть и второстепенные; но само изобилие разных божеств создает совершенно особенный тип и настрой индуистского мировоззрения. Боги всюду, куда ни ступи или ни посмотри; всё, что нас окружает – священо; весь мир пронизан незримыми силами, связями и отношениями; реальность – лишь тонкая плёнка, лежащая на таинственной сути вещей и явлений; от нас в этом мире – всерьёз ничто не зависит... Вот беглый абрис, приблизительный контур индуистского отношения к миру. Порой кажется, что индусы себя ощущают живущими более среди богов, нежели среди людей: согласитесь, большое отличие от европейцев. Мы-то больше живём как-то сами собой, замкнувшись в реальности, как в скорлупе, и гул трансцендентного почти не доходит до наших ушей, оглушённых дурной суетой имманентного мира.

Что прежде всего видишь в Индии, выглянув ли из окна вагона, летящего меж деревень и полей, или высунув голову из конуры моторикши, или просто-напросто остановившись посреди улицы и поведя вокруг взглядом? Увидишь, скорее всего, индуистский храм с треугольным флагом над крышей и со свастикой, древним солярным знаком, чернеющей всюду, где только возможно. Храмы эти бывают не просто маленькими, а крошечными – словно строили их лилипуты – но перед любым, даже самым маленьким храмом обыкновенно увидишь цветы и плошку с молоком – то, чем индусы ублажают своих богов. Ещё больше, чем храмов, в Индии шивалингамов – символических изображений фаллоса бога Шивы – которые здесь буквально всюду: на набережных и тротуарах, в нишах на стенах домов, в магазинных витринах и вдоль обочин дорог. Форма лингамов одна – они все короткие, толстые, как молодой гриб-боровик, а размеры различны: от гигантских многометровых сооружений до совсем крошечных, размером с напёрсток – но к которым относятся, тем не менее, тоже с почтением. По сути, каждый из многочисленных шивалингамов – своего рода храм. Перед ним молятся, на него возлагают цветы, его просят о помощи – то есть делают всё, что положено в храме.

Мне довелось видеть и самый главный лингам, расположенный в Золотом храме Варанаси. Прежде чем войти в этот храм, пришлось вытерпеть такую процедуру досмотра, какой не случалось ни в одном аэропорту – да ещё дополнить подробнейшую анкету. Но эта морока с лихвой окупилась открывшимся зрелищем. Вся территория храма была битком набита людьми – большей частью индусами – а туда, где располагался лингам, было вообще не пробиться. Кое-как протолкавшись в людской потной каше, я всё же увидел то, что всех так привлекало. На полу, в центре каменной ниши, до краёв засыпанной цветами, возвышался скромных размеров лингам – он был с небольшим ведро – а через ограду к нему тянулись сотни смуглых женских рук. Дотянуться до вожделенного фаллоса было непросто – мешали соседки, и цепи ограды, и общая атмосфера горячего возбуждения, что царила в орущей, толкавшейся, жаркой толпе – но когда, наконец, кому-либо из женщин удавалось коснуться лингама – толпу оглашал пронзительный крик! Это был даже не крик, а стон; секунд пять или шесть продолжалось это символическое соитие женщины с Шивой – и за эти секунды начинала истошно орать вся толпа: зрелище ритуального совокупления приводило в иступление сразу многие сотни людей...

При посещении индуистских храмов, при созерцании статуй и изображений всех этих тысяч божеств, приходит странное чувство. Начинает казаться, что, раз богов в Индии так неопределимо много – то религия, как таковая, почти исчезает. Так, к примеру, разгул демократии – то есть разделение единой энергии власти на миллионы людей – означает, по сути, безвластие; так тайна, принадлежащая многим, перестаёт быть тайной.

Нечто подобное происходит и с многобожием: сакральная, тайная сила чудесного дробится по тысячам разнообразных божеств и оттого неизбежно слабеет. Поэтому от многобожия один шаг до атеизма. Показательна в этом смысле и дружба коммунистического Советского Союза с тогдашней Индией: между многобожием индуизма и атеизмом не было психологически резкой и неодолимой границы.

Цветущая сложность

Но религиозная палитра Индии не ограничена индуизмом. Больше того: Индия не была бы Индией, если бы в её духовном – как и бытовом – существовании не наблюдалось бы поразительно пёстрой смеси различных культур и религий. Как в настоящем индийском соусе должны обязательно присутствовать все четыре основных вкуса – то есть кислый, солёный, горький и сладкий, так и в духовном пространстве этой страны уживается нечто несомнимое.

Вторая по распространённости религия Индии – это ислам. И, хоть цифра в 12 процентов кажется не такой уж большой – не забудем, что в численном выражении это примерно соответствует населению всей современной России. Ислам – религия, противоположная индуизму. Многобожию, пестроте, женственной мягкости и пассивной созерцательности индуизма противостоит сухая, активная, жёсткая непримиримость арабского монотеизма. Разумеется, два эти мира – исламский и индуистский – не могут мирно сосуществовать; проблема “муслим-терроризма” на сегодняшний день – едва ли не самая серьёзная из политических проблем Индии. Но, с другой стороны, при всей напряжённости противоречий, возникающих между исламом и индуизмом, ислам нужен Индии, как некий противовес – или, можно сказать, как закваска бывает нужна для того, чтоб аморфное, женственно-вялое тесто поднялось и обрело бы в себе самом новые, жизненно важные свойства.

Помимо того, что ислам с индуизмом сложно и драматически сосуществуют, создавая энергетически напряженное поле взаимных влияний, не позволяющее Индии лечь в сонный дрейф абсолютной пассивности – по русской пословице, на то и щука в море, чтобы карась не дремал, – но из союза-вражды ислама и индуизма родилось ещё и дитя: религия сикхов.

Сикхизм – это своего рода прививка активного и молодого ислама на древнее и уже обомшелое древо индуизма. Генетически, по своим корням и основам, сикхизм несомненно вырастает из традиционного индуистского мировоззрения. Но психологически сикхизм стоит ближе к исламу. Это религия воинов, которые не расстаются с оружием и в любой миг готовы вступить в безоглядное и решительное сражение. Для классического индуизма такая воинственность непредставима; но, не будь в Индии сикхов, страна имела бы совершенно другую судьбу и иное лицо.

Кстати о лицах: сикхи очень красивы. Спокойная твердость и чувство собственного достоинства выделяют лицо и взгляд сикха в любой, самой пёстрой толпе. А внешние атрибуты – тюрбан, борода и кинжал или сабля – лишь подтверждают, что ты не ошибся, и перед тобой действительно сикх.

Не успеешь налюбоваться на сикхов – как тебя привлекают вдруг люди совершенно иной энергетики. Через толпу, глядя под ноги – чтоб не наступить, не ровён час, на какого-нибудь муравья, – застенчиво-мелкой походкой движется группа людей в белоснежных одеждах и в марлевых масках на лицах. Если сикхи идут, сознавая себя как бы центром всего мироздания – то люди в белом, напротив, стремятся как бы исчезнуть, стать незаметно-бесплотными: чтоб не обидеть кого-нибудь в этом дивно устроенном мире, не нанести вреда какой-нибудь крошке-козявке, не споткнуться б о камень – ибо камень, он тоже живой, и способен почувствовать боль – чтоб пройти свой назначенный путь от рождения и до нирваны максимально легко, незаметно, подобием облака или дуновения ветра.

Это джайны, и их главный принцип – тот же, что и у медиков: “не навреди”. Этот принцип понимается и исполняется ими буквально: скажем, занятия сельским хозяйством, при которых не избежать вторжения в землю, и повреждения там каких-нибудь корешков или червячков – эти занятия джайнам противопоказаны. А правило “ничего нельзя резать” доведено до того, что собственные волосы на голове и на теле джайны не стригут и не бреют, а буквально выщипывают: один волосок за другим.

То, что все джайны вегетарианцы, само собой разумеется. Наиболее продвинутые из них вообще отказались от пищи и питаются только солнечным светом: именно к джайнам относится большинство “солнцеедов”. От комментариев к этой теме я воздержусь: не хочется обижать симпатичных, безвредных людей.

Нам бы поучиться у джайнов тому, как можно бережно, трепетно относиться ко всему мирозданию, включая растения, насекомых и даже камни – как можно бояться непоправимо нарушить что-либо в мире, который создан не нами и который поэтому не нам с вами радикально переделывать и “улучшать”. Единственное, что в нашей власти, и на что мы имеем моральное право – это улучшить самих же себя. Вот этим-то и занимаются джайны; глядя на их просветлённые, скромные, добрые лица – начинаешь и сам мечтать: вот бы перестать есть мясо, и вообще перестать что-либо есть, скинуть одежду да и бродить себе этаким полубесплотную тенью по пыльным индийским дорогам...

Среди множества вер и религий, сосуществующих в Индии, есть и родное нам христианство. Причём христиан не так уж и мало – около двадцати пяти миллионов. То, почему христианство – религия, столь, казалось бы, близкая духу миролюбивой, уступчивой, аскетически нищей страны – не получило здесь, в Индии, широкого распространения – это тема отдельного размышления. Возможно, что не последнюю роль здесь сыграло долгое владычество англичан: трудно полюбить и принять религию, которую исповедуют жадные, бессердечные и самовлюбленные колонизаторы.

Осталось упомянуть ещё буддизм и зороастризм – чтобы завершить беглый обзор важнейших для Индии религиозных систем.

Буддизм, как ни странно, Индия тоже не приняла. Учение, выросшее из индуизма и рождённое индусом Гаутамой, нашедшее первых поклонников здесь же, в Оленьем парке Сарнатха – учение, которое при царе Ашоке являлось даже государственной религией – тем не менее, Индия вытеснила из себя, как инородное тело. Возможно, важнейшая из причин – это то, что буддизм отрицает кастовое деление. Видимо, Индии, для сохранения своего самобытно-национального образа жизни, кастовость необходима: как структура, организующая хаос текучего, пёстрого социума этой огромной и многолюдной страны. С буддизмом Индия перестала бы быть самой собой – и вот именно инстинкт самосохранения заставил индусов отторгнуть буддизм и как бы выдавить его в страны Центральной и Юго-Восточной Азии, где он прекрасно прижился.

Религия огнепоклонников, зороастризм – наследие древних иранцев. Любопытно, что наш Аркаим, прото-город, располагавшийся к югу от нынешнего Магнитогорска, был колыбелью зороастризма; так что одна из крупнейших индийских религий пришла на Индостан с территории современной России. У огнепоклонников всего интереснее их похоронный обряд. Мёртвых не хоронят и не сжигают, а бросают на растерзание грифам, в священные “башни молчания”. Очевидно, что этот обычай сложился среди каменистых, безлесных иранских нагорий, где нельзя ни сжечь мёртвого, ни закопать его в землю. Интересно и то, что современные огнепоклонники связывают со стихией огня повседневную жизнь: так, большинство воротил индийской металлургии – именно зороастрийцы.

Даже самый короткий и беглый обзор тех религий, что существуют в перешней Индии, представляет картину удивительной сложности и пестроты. И ведь всё это органично живёт, развивается, дышит; любая из упомянутых выше религий имеет миллионы последователей – и существование одних ничуть не мешает, а даже способствует процветанию других. Вот это и есть та цветущая сложность, о которой мечтал и так страстно писал наш “византиец” Леонтьев. Наверное, Индия полюбилась бы Константину Леонтьеву ещё больше, чем Константинополь; ибо трудно даже вообразить страну, которая ярче,

чем Индия, могла бы представить весь спектр, всю палитру сосуществующих в бытии человечества религиозных систем.

Природа

С природы, возможно, стоило бы начинать. Во всяком случае, большинство из людей, писавших о национальных образах мира, именно из природы выводили и всё остальное: и душу народа, и его Логос, то есть воплощённое в языке отношение к миру.

Но природа Индии настолько разнообразна, что в ней можно найти сколько угодно посылок для любых умозрительных построений. Тут и горы, и джунгли, и могучие реки с плодороднейшими долинами, и пустыни, и океаническое побережье – словом, в Индии есть почти всё то же самое, что и на всём земном шаре.

Внимательнее всего мне удалось рассмотреть городскую природу. Любая из улиц старого индийского города так полна разнообразною живностью, бегающей, ползающей, прыгающей или летающей, что по старым кварталам бродишь, как по зоопарку – не уставая и не успевая дивиться тому, какое великое множество разнообразных существ живёт вперемешку с людьми. Самые главные здесь, конечно – коровы. Они составляют настолько привычную и непрременную часть городского пейзажа, что, кажется, можно убрать всё вообще остальное, но нельзя удалить из индийского города этих священных животных: не будет коров – город тут же утратит неповторимо-индийскую физиономию.

Нормальное состояние для индийской коровы – лежать посреди тротуара, жуя жвачку и поводя окрест сонным, с густой поволокою, взглядом. В коровах так много спокойствия и невозмутимости, что порой думаешь: главный продукт, который в таком изобилии производят коровы, это даже не молоко – а глубокий, какой-то уже запредельный покой. Ни людская толпа, ни гудки машин или рикш, ни крики уличных зазывал – ничто не способно нарушить ту вязкую дрему, тот длящийся сон наяву, в котором – вне времени, вне суеты – пребывают коровы. Глядя в коровьи глаза – эти озёра смирения и неземного покоя – нельзя не подумать о том, что вся наша жизнь – это Майя, мираж, и что отойти от неё, погрузиться в нирвану, подобную той, в какой пребывают коровы, – есть лучшая доля, предел человеческих наших мечтаний...

Непрременный вопрос, что всегда возникает при виде индийских коров: чем же они кормятся в каменном городе? Ведь на пыльных, истоптанных улицах нет ни травинки, ни кустика; даже козе, и то невозможно найти пропитание. Но, на счастье коров, в городах Индии столько мусорных свалок, а там такое количество органических полусопревших отходов – что на свалках вполне можно пастьись. Пусть корова и не набьёт себе пузо так, как набила бы где-нибудь на среднерусском зелёном лугу – но с голоду не околеет.

Главные конкуренты коров на мусорных пастбищах-свалках – конечно, собаки. Их в Индии множество – и они, в основном, вегетарианцы. В самом деле: где взять мяса в вегетарианской стране? Ловить разве крыс (которых здесь тоже не счесть) – но собаки индийских трущоб так ленивы, что охотничий промысел им, похоже, не по душе. Собираательство и спокойней, и проще – вот собаки и роются, вместе с коровами, в мусорных кучах.

Но это днём; по ночам же, сбиваясь в немалые стаи и рыская по опустевшим улицам, собаки могут и потрепать припозднившегося пешехода. Так, в городе Богая, посреди тёплой ночи, и я атакован был стаей собак – которые уже начинали рычать и прикусывать меня за штаны. Палки под рукой не оказалось – и я, отмахиваясь рюкзаком от рычащих собак, помню, нервно подумал: “Да, неплохой финал для русского доктора: быть разорванным индийскими псами...”

На моё счастье, подоспел полицейский: бамбуковой палкой он разогнал заскуливших и бросившихся врассыпную собак.

– Спасибо, друг, – поблагодарил я своего спасителя. – А то эти собаки чуть меня не порвали...

– А это вовсе и не собаки, – улыбнулся молодой полицейский.

Подняв брови, я изобразил изумление.

– Это души плохих людей, – объяснил полицейский то, что в Индии ясно даже ребёнку.

– Ну, конечно: реинкарнация! – сообразил, наконец-то, и я.

– Да-да, – засмеялся мой новый знакомый. – На вас напала чья-то тёмная карма.

И мне, как ни странно, сделалось сразу спокойнее. “Это с собаками – думал я, – страшно. А уж с тёмными душами мы как-нибудь разберёмся...”

Кого ещё много в старых кварталах – особенно возле храмов или в кронах деревьев – так это обезьян. Деревья порой аж трясутся, как будто от сильного ветра, от налетевшей на крону, щебечущей, лающей и непрерывно дерущейся стаи каких-нибудь наглых макак. Обезьян, я заметил, индусы не любят – и это при здешнем-то благоговении ко всему живому – потому что, видно, уж очень достали их эти хитрые и вороватые бестии. Но наблюдать за обезьянами всегда интересно: во всех их ужимках, прыжках, играх и драках так ясно читается пародия на нашу с вами, такую смешную и бестолковую жизнь. Обезьяны враскачку перелетают с ветки на ветку, визжат и кусаются, ищут блох друг у друга, отнимают один у другого бананы, то злобно орут, обнажая клыки, то смачно чешут багровые оmozолелые задницы...

Кроме коров, обезьян и собак, на улицах Индии можно встретить ещё много разных животных. То увидишь слона, который или идёт во главе оглушительно-шумной, танцующей свадьбы, или тащит громадную кучу хвороста – на которой, на самом верху, восседает мальчишка-погонщик. То заметишь стадо свиней, блаженно лежащих на берегу грязной лужи. То услышишь протяжную дудочку заклинателя змей – и сам, зачарованный древним бамбуковым звуком, подойдёшь ближе к плетёным корзинам, в которых шевелятся королевские кобры. Переливчато-тугие, по кругу текущие кольца их тел и ледяные глаза этих жутких рептилий поднимают в душе волну генного страха – того, от которого стыла и кровь твоих пращуров...

А мулы и лошади, что волокут и повозки с людьми, и множество всяческих грузов? А мангусты, которые так быстро мелькают по карнизам старого храма, что оставляют недоумение: действительно ли вон там скользнуло поджарое тельце мангуста – или это качнулась по камню тень ветки?

А птицы? Их тоже множество, и среди них замечаешь как птах, привычных для нас – воробьёв, галок, ласточек, – так и диких: например, попугаев. Когда, скажем, стайка цветных попугайчиков, щебеча, опускается на покрытую мусором землю – то птицы теряются среди ярких пакетов, бутылочных стёкол, обрывков бумаги и тряпок. Зато когда попугаи вдруг шумно взлетят, то мерещится: это сам пёстрый мусор ожил, превратившись в трепещущих, ярких и праздничных птиц.

А на окраине Ришикеша я видел дикого павлина. Там, где тропа уходила в джунгли, вдруг раскрылся шуршащий трясущийся веер, переливавшийся множеством ярких, с цветными разводами, глаз: словно некое многоочитое божество вдруг выглянуло из зелени леса! Но, пока я доставал фотоаппарат, волшебный веер сложился, превратился в охапку сухого гремящего хвороста – и павлин уташил свой диковинный хвост в непролазную чащу.

Я уж не буду описывать всякую мелкую живность – всех этих крыс и летучих мышей, полосатых бурундуков и горластых лягушек, ящериц и пауков – тех, что тоже во множестве бегают, прыгают, ползают даже в самых людных местах, превращая индийский город в какую-то невероятную смесь из людей, насекомых, животных и птиц. То вдруг покажется: ты оказался в жарком, тесном и шумном аду, где миллионы существ обречены на бессмысленную, в конце-то концов, муку индивидуального существования, и где человеческий разум может желать одного: скорее оставить безумное это коловращение, выйти из тягостной цепи рождений – чтоб, наконец, отдохнуть в пустоте и покое нирваны.

А то померещится: наоборот, ты сейчас оказался в раю, где животные, люди и птицы живут в тесном единстве, в раю, где кипит и клубится горячее варево жизни...

Искусство

Поговорив о природе, пора вспомнить и об искусстве – то есть о том, что создано в Индии человеком. И вот тут надо сразу сказать: я не видел столь же естественных стран – то есть столь же простых, органично-непринуждённых во многих явлениях жизни и быта – но и не знаю стран столь же искус-

ственных. Ибо в Индии, кажется, приукрашено всё, от ладоней и пяток индусских красавиц до разноцветных коров и собак в праздник холи. На всём, что ты видишь, лежит след и печать человеческого стремления сделать мир лучше, наряднее, чем он уже есть.

Самым неожиданным подтверждением этого является то, как в Индии оформляют и украшают навоз. Ведь кизяк – это главное здешнее топливо, и повсюду, от улиц Дели и до распоследней деревни, сохнут лепёшки, бруски и шары, вылепленные из навоза. Шатёр или конус, или “поленница” из кизяка – едва ли не главная деталь индийского пейзажа. Так вот, эти кизячные кучи, шатры, пирамиды всегда оформлены с ласкающей глаз гармоничностью. То из бурых лепёшек сухого дерьма выложен некий узор по зелёной траве, то по стенке кизячного холмика пущен забавный орнамент, то гирлянда цветов украшает то, что, на взгляд европейца, является лишь нечистотами. Но почти невозможно увидеть кизяк как таковой, не оформленный и не приукрашенный, не возведённый рукой человека в ранг некоего произведения искусства.

О том, как украшено всё остальное – хоть лица женщин, хоть кабины грузовиков, – мне уже приходилось писать. Отдельная тема – индийские храмы. Когда видишь росписи стен и особенно храмовые скульптуры – то, вместе с чувством диковинной экзотичности этих всех многоруких и многоголовых божеств, узнаёшь ещё нечто, до боли знакомое. Я долго не мог подобрать подходящего определения для всех этих нечеловечески-радостных лиц, их сияющих взглядов, торжественных поз – пока не нащупал то, что, как мне кажется, выражает холодноватый и чем-то пугающий пафос индийской храмовой скульптуры. Это всё религиозный соцреализм – правды жизни в котором не больше, чем в советском классическом соцреализме времён “Кавалера Золотой звезды” или “Кубанских казаков”. Эти лица, которые радостно смотрят поверх тебя, вдале, в никуда – они словно шествуют к некой неведомой цели, для достижения которой не только не нужен конкретный, живой человек – например, ты, смотрящий на эти скульптуры с оцепенелостью кролика, оказавшегося перед удавом, – но всякий живой человек является только помехой для “дивного нового мира”, чьим символом служат прекрасные и бессердечные эти кумиры. Остро чувствуешь, что невозможно любить эти лица – как можно, скажем, сердечно любить лики наших икон, наших Казанских, Владимирских, Иверских Богородиц; потому что “соцреализм” – это мир, вычитающий человека.

Но оставим идеологию. Поговорим лучше о самом массовом виде искусства – кино. Здесь Индии тоже найдётся, чем нас удивить. Ближе к вечеру, когда остывает и зной, и суета дневной жизни, улицы индийских городов превращаются в площадки для кинопросмотров. Перед любым из кафе, где есть телевизор – а он есть везде, – собираются толпы людей, привлечённые очередным болливудским шедевром. (Для тех, кто, быть может, не знает: Болливуд – крупнейшая кинофабрика в мире, которая по количеству выпускаемых фильмов заткнула за пояс даже американский Голливуд.) Смотрят боевики или мелодрамы; и смотрят буквально с открытыми ртами, с таким вниманием, самозабвением и сочувствием к происходящему на экране, с каким могут смотреть кино только дети.

Нам-то с вами – взрослым, воспитанным всё-таки на классическом реализме, – смотреть эти фильмы почти невозможно. Это яркая и слащавая смесь танцев, выстрелов, музыки, драк, жеманных объятий и поцелуев, пронзительных взглядов – в общем, то, что мы привыкли считать дурным вкусом и китчем. А для индусов никакой это не китч – это сказка. И как “Махабхарата” и “Рамаяна” – книги, составляющие Священное Писание, Библию Индии – представляют собой бесконечную вязь из волшебных историй, так и те фильмы, что в изобилии создаёт Болливуд, есть одна бесконечная сказка, есть то, что так сладко баюкает, тешит и радует душу индуса. Каждая из показанных на экране историй имеет хороший конец, добро всегда привлекательно, зло безобразно, после каждой из киноисторий просветлённые лица зрителей полны благодарного и счастливого изнеможения – в общем, влияние искусства на массы здесь именно то, о каком можно только мечтать.

Но для того, чтобы так внимать киносказкам, чтобы с такой благодарностью пить этот сладкий сироп – надо, прежде всего, сохранить в душе изначально-наивное, детское отношение к миру. Надо быть чистым, доверчивым, добрым – как в детстве. Мы-то с вами уже постарели, мы больше не

верим ни в добрую фею, ни в Деда Мороза – не верим, сказать откровенно, почти ни во что.

А вот индусы – они ещё верят. Они сохранили ту детскую силу наивности, которая и позволяет выдерживать всю неприглядную грубость реальности, позволяет им жить посреди нищеты, шума, мусора, смерти – жить так, словно этого падшего смертного мира вовсе и не существует...

Сегодня – подарок

О чём написать напоследок? Пожалуй, о радости. Её не хватает нам больше всего – и она же нужна, словно воздух. Без радости наша душа задыхается, сохнет, черствеет; безрадостный человек и безрадостное существование есть какая-то роковая беда и ошибка – недаром и христианство считает уныние смертным грехом.

Радость, можно сказать, это цель и критерий истинного существования. Двигаясь в направлении радости, мы всегда будем знать, что не сбились с пути. И, напротив, как ни умён может быть человек, какие высокие истины он нам ни излагай, и какие высокие принципы ни проповедай – но если в его глазах вместо радости мы видим только скорбь и тоску, то едва ли такой вот носитель уныния пододвинет нас к истинной жизни.

Так вот Индия – это великая фабрика радости. Где ещё вы найдёте такое количество радостных, светлых – да ещё и охотно делящихся с вами радостью – лиц? Где ещё, несмотря на всю бедность и скученность жизни, на весь этот мусор и чад – так отчётливо, сильно звучит нота радости жизни?

И пусть не смущает нас то, что радости – то есть, по сути, движению к Богу – нас может учить страна вовсе не христианская. Бог создал всё – в том числе и индусов, и Индию – и Ему лучше знать, для чего Он так сделал. Пути Его, как известно, неисповедимы, и “много горниц в доме Отца...”

А ведь радость, она как любовь: неожиданна и необъяснима. Её ни купить, ни продать, ни добиться каким-либо внешним усилием: она или есть – или нет, и её появление (как и её угасание) есть великая тайна, которую может постичь уж никак не рассудок – одно только сердце.

Бывало, ко мне, молодому, подскочит цыганка (пришелица из Индии!), ухватит за руку и начнёт бормотать те слова, от которых так сладко заносит душу... Помните, как гадают цыганки? “Всё тебе расскажу, сокол мой: и что было, и что ещё будет, и куда путь-дорога лежит, и на чём успокоится сердце...” Это вот самое – “успокоится сердце” – было важнее всего; но гаданье, насколько я помню, до самого главного пункта никогда почему-то не доходило.

Я и поехал-то в Индию, может, затем, чтоб дослушать цыганскую речь – причём на их, цыган, исторической родине – чтоб разведать, узнать, допытаться: а на чём, в самом деле, могло б успокоиться сердце?

За этим же самым, я думаю, в Индию едет и молодая Европа. Отрадно и радостно видеть, что тысячи немцев, французов, испанцев и русских едут в грязную, шумную, нищую эту страну, едут навстречу инфекциям и неудобствам, едут туда, где всё или плавится от невыносимой жары, или закрыто сплошной завесой тропических ливней. Молодёжь ищет рая, мечтает душою почувствовать то состояние детской безгрешности и незапятнанной радости жизни, которое нами почти совершенно утеряно – но зато обретается и сохраняется в Индии.

Живя в Индии, ощущаешь себя, как у нас после бани: чистым внутри и снаружи, спокойным, смягчённым и полным доброжелания к людям и к миру. Чувствуешь, как из души выметается всяческий сор, а то место, которое освободилось – заполняется чистой радостью жизни. Эта радость, она происходит как будто ни от чего: она просто есть, просто дышит в тебе – а ты просто живёшь, сознавая (или не сознавая), что тихая и беспричинная радость и есть воздух сердца, есть то, без чего оно будет всегда беспокойным, больным и несчастным.

Так будем же радостны – благо, у нас есть индийский пример. Будем жить так, как написано на одном из плакатов, который увидел я в Дели: “Вчера – история, завтра – тайна, сегодня – подарок!” Будем жить нынешним – неповторимым и радостным! – днём, ибо только лишь жизнь в настоящем и есть настоящая жизнь.

ВАЛЕРИЙ ГАНИЧЕВ

НАШИ НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ

Нобелевская премия в области литературы для России, наверное, носит особый характер. В ней, как в никакой другой, проявились веяния эпохи, точки зрения различных общественных сил. На присуждение влияло и западное понимание свободы творчества, и всякого рода политические взгляды, и прагматические расчеты. Если в естественнонаучной сфере существует довольно чёткий критерий оценки достижений – и премий за них, то в литературе *поле оценок* было если не безмерно, то крайне обширно и противоречиво.

Иной раз жюри приходилось сталкиваться и с нежеланием писателей премию принять. Так, первую премию (1897 г.) предполагалось присудить Л. Н. Толстому (по завещанию самого Нобеля!). Узнав об этом, Лев Николаевич обратился с открытым письмом в газету “Стокгольм Тагеблат”, предлагая присудить не ему, а преследуемым правительством духоборцам. В 1902 году Август Стринберг, Сельма Лагерлеф протестовали, что премия не присуждалась Толстому. В 1906 году снова рассматривался вопрос о присуждении Толстому Нобелевской премии. Писатель обратился к одному из своих знакомых в Стокгольме (Ерлфельту), чтобы тот сообщил председателю, что ему придется публично отказаться, если такое решение будет принято.

Иван Алексеевич Бунин

Мало кто может отрицать, что присуждение Нобелевской премии Ивану Алексеевичу Бунину в 1933 году *не было связано* с тем, что он был эмигрант из Советской России и резко отзывался о революции и её последствиях. Но вот что важно: даже если убрать эту составляющую, то присуждение было справедливой оценкой творчества писателя. Ведь ещё до революции Чехов, Горький, Толстой высоко отзывались о Буине. Он получил тогда две Пушкинские премии. Его избирали почётным академиком Российской академии наук.

Неважно, чем руководствовался Нобелевский комитет, но он угадал, что Иван Бунин обладал высочайшим художественным талантом, мастерством подлинного национального писателя, величайшим умением сотворить словесный образ природы, характера, внутренний мир человека.

Иван Алексеевич тщательно описал церемонию вручения: эстрада, “украшенная мелкими бегониями”, “ордена, ленты, звёзды, светские туалеты дам”, “король не любит чёрного цвета, при дворе не носят тёмного”. Король “протягивает мне картон и футляр, где лежит медаль, затем пожимает мне руку и говорит несколько слов. Вспыхивает магния, меня снимают. Я отвечаю

Статья написана на основании выступления на собрании, посвящённом русским лауреатам Нобелевской премии, в Академии народного хозяйства.

ему. Аплодисменты прерывают наш разговор...” Писатель заканчивает эту запись заметкой о дипломе: “Мой диплом отличается от других. Во-первых, папка не синяя, а светло-коричневая, в во-вторых, что в ней написана (написаны) в русском билибинском стиле две картины” — особое внимание со стороны Нобелевского комитета. Никогда никому этого ещё не давалось”.

Вручение производилось “за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер”.

В очерке “Нобелевские дни” Бунин ярко описал обстоятельства, при которых он получил известие о премии, своё пребывание в Стокгольме и церемонию вручения.

Не следует забывать, что Бунин был отмечен Шведской академией после Кнута Гамсуна (1920), Анатоля Франса (1921), Бернарда Шоу (1925), Томаса Манна (1929), Синклера Льюиса (1930), Джона Голсуорси (1932). На вопрос корреспондента газеты “Матен”, за какое именно произведение он получил премию, Иван Алексеевич ответил: “Возможно, за совокупность моих произведений. Я, однако, думаю, что Шведская академия хотела увенчать мой последний роман “Жизнь Арсеньева”.

Бунин меланхолично отметил: “Обычно украшают эстраду флаги всех тех стран, к которым принадлежат эти лауреаты. Но какой флаг имею я лично, эмигрант? Невозможность вывесить для меня флаг советский заставила устроителей торжеств ограничиться ради меня одним шведским. Благодарная мысль!”

Бунин описывает, что в зале звучала музыка Бетховена и Грига, “любимого моего композитора”. После речи секретаря академии Гальстрема Бунин спустился с эстрады, где он сидел с другими соискателями, и получил премию из рук короля, “который приветствовал меня, — писал Бунин, — и в моём лице всю русскую литературу”.

Дальше, уже на банкете Нобелевского комитета, писатель произнёс нобелевскую речь. Хотелось бы выделить три мысли Бунина. Первая — это было “наиболее сильное впечатление во всей моей жизни”. Вторая — “скорби, испытанные мною за последние пятнадцать лет, далеко превышали мои радости. И не личными были эти скорби — совсем нет!” И третья: “Вне сомнения, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Так для писателя эта свобода необходима особенно, — она для него догма, аксиома”.

Да, для Бунина это было наиболее сильное впечатление жизни. Его взгляды, казалось, были прежними, но в “Дневниках” 1941—45 годов он переживает за Россию, за тогдашний Советский Союз, скорбит, когда наша армия отступает, отмечает города, по которым ходил когда-то. 8 декабря 1941 года: “В России 35-градусный мороз, русские атакуют и здорово бьют. ...ощущается невероятное напряжение боёв под Москвой”. И до этого он пишет 11 октября: “Самые страшные дни для России. Идут страшные бои, немцы, кажется, бросили все свои силы, русские вот-вот перейдут в наступление”. С какой радостью пишет в 1943—44 гг.: “Русские берут город за городом. Ныне Рославль и Смоленск (25.9). Посмотрел свои заметки о прежней России. Всё думаю, если бы дожить, попасть в Россию”.

И что потрясающе в эти дни — он читает и читает “Петра I” Алексея Толстого. Отметил одним словом — талант. 2 августа читает 3-ю книгу “Тихого Дона”. Пишет — “талантлив, груб в реализме”.

“26.7 началось русское наступление... Витебск и Жлобин. Взята Одесса. Радуюсь. Как всё перевернулось. 20.7. Русские идут, идут”.

И. Бунин сказал К. Симонову в 1946 году: “Вы должны знать, что 22 июня 1941 года я, написавший всё, что писал до этого, в том числе “Окаянные дни”, я по отношению к тем, кто ныне ею правит, навсегда вложил шпагу в ножны” (т. 6, стр. 423). Это что касается полемики, или идеологии. Что же до творчества, оно навсегда осталось в сокровищнице русской литературы, а Нобелевская премия закрепила это.

Ну, а если вспомнить о материальной стороне премии, то она быстро испарилась. Из 800 тыс. франков премии 120 тыс. франков Бунин выделил в помощь нуждающимся литераторам, распределение которых вызвало недовольство в эмигрантских кругах. Но уже вскоре он пишет: “Я нищ, не купил ни

землю, ни дом”, но он купил мощный радиоприёмник, по которому слушал Москву в 1941–45 гг.

Борис Пастернак

До Второй мировой войны обсуждались на Нобелевскую премию кандидатуры М. Горького, Д. Мережковского, И. Шмелёва, М. Шолохова. Мережковский даже предлагал Бунину разделить премию, на что Иван Алексеевич, естественно, не согласился. Ну, а М. Горький возвратился из Италии в Советский Союз, и организаторы премии, по-видимому, посчитали её вручение советскому писателю некорректным. Ведь наступала угроза фашистской Германии, и вступать в противоречие с ней было опасно.

После разгрома Германии трудно было не заметить русскую или советскую литературу. Стали обсуждаться кандидатуры М. Шолохова, позднее Б. Пастернака. Но прозвучала речь Черчилля в Фултоне, началась “холодная” война, и кандидатура Шолохова отодвинулась. Было бы наивно не замечать в то время влияние “холодной” войны, тем более что премию в области литературы присудили отцу “холодной” войны У. Черчиллю. Естественно, что советская пресса в этом случае не поскупилась на отрицательные оценки премии. Так в БСЭ после этого было написано: “Присуждение нобелевских премий в области литературы нередко определяется интересами реакционных кругов”. О политической подоплёке таких премий писала и европейская пресса.

Конечно, такие оценки не могли не беспокоить Нобелевский комитет, и он в целях “объективности и беспристрастности” обратился к старейшему русскому писателю, академику АН СССР Сергею-Ценскому с просьбой предложить кандидата на Нобелевскую премию “не позднее февраля 1954 года”. Сергей-Ценский подготовил и написал большое письмо-представление: “Считаю за честь предложить в качестве кандидата на нобелевскую премию по литературе за 1953 год... Михаила Александровича Шолохова. Действительный член Академии наук СССР Михаил Шолохов, по моему мнению, как и по признанию моих коллег и читательских масс, является одним из самых выдающихся писателей моей страны. Он пользуется мировой известностью как большой художник слова, мастерски раскрывающий в своих произведениях движения и порывы человеческой души и разума, сложность человеческих чувств и отношений. “Тихий Дон” и другие произведения Шолохова вышли в СССР до 1 января 1954 года в 412 изданиях на 55 языках. Общий тираж 19 млн 947 тыс. Всё это свидетельствует об их необычайной популярности”. Письмо раскрывало суть “Тихого Дона” как “классического произведения нашей литературы”.

По традициям тех лет письмо было показано в ЦК партии и было отослано в Стокгольм. В марте 1954 года Нобелевский комитет ответил Сергею-Ценскому и сообщил, что он “с интересом принял предложения присудить премию М. А. Шолохову”, но письмо пришло, по мнению комитета, после 1 февраля, то есть поздно (хотя в письме С.-Ценскому говорилось, что оно должно прийти не позднее февраля). Далее комитет писал: “Однако Шолохов будет выдвинут в качестве кандидата на Нобелевскую премию за 1955 год (то есть в 1956 году)”. В 1955-м же году Нобелевскую премию получил исландский писатель Халлдор Лакснесс, человек левых убеждений и большой друг нашей страны. В 1956 году премия же была присуждена испанскому поэту Хименесу... Вопрос о присуждении премии обострился в 1957 году. 15 ноября 1957 года, переведённый на итальянский язык, увидел свет роман Бориса Пастернака “Доктор Живаго” – роман, который не приняли советские издания, в частности, “Новый мир”. Далее, как по команде, последовал стремительный, почти одновременный перевод романа на английский, французский, норвежский, немецкий языки до конца 1957 года. Явно чувствовались следы серьёзной организации и дирижирования, а 24 августа 1958 года роман был принят Нобелевским комитетом как “произведение эпической русской традиции”. Правда, к этому времени на языке оригинала в России он был почти никому не известен, что потом и породило известную, почти сатирическую фразу: “Я роман не читал, но осуждаю его”. А где почитать? На Западе же послышалось мощное многоголосие: “Стагнация советской литературы длилась до появления “Доктора Живаго” (“Антология русской литературы от Горького до Па-

стернака”, Нью-Йорк, 1960), “бестселлер в Европе”, “Нобелевская премия против коммунизма” (“Нейс курир”. Вена). Впрочем, Набоков назвал роман “болезненным, бездарным, фальшивым”, а Грэм Грин – “нескладным, рассыпающимся, как колода карт”. Возможно, в этих отзывах была и доля ревности. Формулировка Нобелевского комитета “за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского эпического романа”, во второй части многим знатокам литературы казалась не бесспорной.

Пастернак получил телеграмму от секретаря Нобелевского комитета 29 октября 1958 года и ответил ему: “Благодарю, рад, горд, смущён”. Семья обсуждала, как они поедут в Стокгольм, но разразился политический скандал. К Пастернаку приходил председатель Союза писателей К. Федин и посоветовал отказаться от Нобелевской премии, иначе откроется кампания против него. По свидетельству сына Пастернака, тот сказал, что он уже ответил Нобелевскому комитету и не собирается отказываться от премии.

Написал он письмо и в секретариат Союза писателей, в котором отметил, что считает, “что можно написать “Доктора Живаго”, оставаясь советским человеком... Я передал роман итальянскому коммунистическому издательству и ждал выхода цензурированного издания в Москве. Я согласен был выправить все неприемлемые места. Возможности советского писателя мне представляются шире, чем они есть. Отдав роман в том виде, как он есть, я рассчитывал, что его коснётся дружественная рука критика. Деньги Нобелевской премии я готов перевести в Комитет защиты мира. Я знаю, что под давлением общественности будет поставлен вопрос о моём исключении из Союза писателей. Вы можете сделать всё, что угодно – я вас заранее прощаю. Но не торопитесь... и помните: всё равно через несколько лет вам придётся меня реабилитировать”.

Его исключили из Союза писателей, но он оставался членом Литературного фонда и жил на даче этого фонда в Переделкино. Однако антипастернаковская кампания продолжалась, проходили так называемые “собрания общественности”, и отрицательная пропаганда сосредоточилась только на романе, хотя в первой части Нобелевского решения было сказано, что премия присуждается “за значительные достижения в современной лирической поэзии”. И тут талант поэта вроде бы не отрицался, тем более, что его поэмы “Девятьсот пятый год” и “Лейтенант Шмидт” были насыщены революционной романтикой. Одна из поэм была посвящена В. И. Ленину. Писал Борис Леонидович и стихи, восхваляющие Сталина. Возможно, это и вызвало яростную реакцию у Хрущёва. И, несмотря на обращения Джавахарлала Неру и Альбера Камю к Хрущёву, “барский гнев” продолжался. Пастернак вынужден был послать телеграмму в Шведскую академию. “В силу того значения, которое получила присуждённая мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен отказаться. Не сочтите за оскорбление мой добровольный отказ”.

Будучи в угнетённом состоянии Пастернак проявил и высокое мужество. В ответ на выкрики и публикации о том, чтобы он покинул страну, Борис Леонидович направляет письмо Хрущёву: “Покинуть Родину для меня равносильно смерти. Я связан с Россией рождением, жизнью и работой”.

Он и продолжал работать до последних дней, уже прикованный к постели раком лёгких. В 1987 году решение об исключении Б. Л. Пастернака из Союза писателей было отменено. В 1988 году “Доктор Живаго” впервые был напечатан в СССР. В 1989 году диплом и медаль Нобелевского лауреата были вручены в Стокгольме сыну поэта Е. Б. Пастернаку.

Премия прославила писателя, дала ему широкую мировую известность, но её присуждение таким довольно прозрачно организованным способом вызвало критику и сомнение в объективности присуждения. Это вообще касалось отношения Запада к советской литературе. Так, в издании Х. Маклина и У. Викери писалось: “Западный читатель получал представление о советской литературе отнюдь не из самой советской литературы и даже не из критических обзоров. Его представление о советской литературе складывалось из газетных статей... о событиях московской литературной жизни. На Западе мы склонны обсуждать скорее... общественное поведение советских писателей... , чем говорить об эстетических достоинствах или стиле их творчества. Подлинно литературные произведения служили для нас чаще всего в качестве источников для социологических выводов. Литература в собственном

смысле не интересовала” (Maclean H. and Vickery W The Veroy. Protest. New York. P. 428).

О практике Нобелевского комитета резко высказался известный философ и писатель Жан Поль Сартр. Он направил в 1964 году Шведской академии письмо, в котором отказался от премии, называя ряд причин. “В нынешних условиях, – писал он, – Нобелевская премия объективно выглядит, как награда либо писателям Запада, либо строптивцам с Востока. Ею не увенчали, например, Пабло Неруду, одного из крупнейших поэтов Америки... Достоинно сожаления, что премию присудили Пастернаку прежде, чем Шолохову, и что единственное советское произведение, удостоенное награды, это книга, изданная за границей” (“Литературная газета”, 1964, 24 октября, с. 1).

Михаил Александрович Шолохов

Конечно, с повестки дня Нобелевского комитета вопрос о творчестве Шолохова, о “Тихом Доне” не снимался. Он обсуждался ещё до войны, когда вышли только три книги “Тихого Дона”. В 1958 году голос за Шолохова подал шведский принц Вильгельм, осуществляющий шефство над Пен-клубом. Благожелательные настроения среди шведских культурных деятелей в пользу Шолохова были довольно широкими.

Однако шум вокруг “Доктора Живаго” огорчил в СССР многих. Зазвучали требования разорвать всякие отношения с Нобелевским комитетом.

В ЦК КПСС была подготовлена записка о том, чтобы Шолохов демонстративно отказался от премии, присуждение которой используется в антисоветских целях (Центр хранения совр. документации, ф. 5, оп. 36, д. 61, х. 52).

Конечно, это был прямой отголосок “холодной” войны, хотя и в ответ на её выпад.

М. Шолохову стало известно об этом. Видимо, он решил не участвовать в отнюдь не в свободном для него выборе. Узнав, что в Москве находился вице-президент Нобелевского комитета, обсуждая в Союзе писателей возможность присуждения ему Нобелевской премии, писатель “укатил” в глушь, в казахстанские степи на охоту.

А в это время в мире развернулась довольно активная деятельность по утверждению выдвижения М. А. Шолохова на Нобелевскую премию.

Одним из номинаторов выдвигающих был Чарльз Сноу, который вместе с П. Х. Джонсон писал: “По нашему мнению, Шолохов создал роман, который является лучшим для целого поколения. Это “Тихий Дон” – реалистический пафос, достойный “Войны и мира”. Если не столь великий, как “Война и мир”, поскольку в нём нет той работы самосознания. однако достойный сравнения с “Войной и миром”.

Да, “Тихий Дон” потрясал общество своей высшей социальной, бескомпромиссной исторической правдой, драмой жизни, честностью и выразительностью образов главных героев, мощью народного языка. Его восприняли многие поколения советских людей и большинство читателей белой эмиграции.

На этот раз правящие верхи не вступили в идеологическую борьбу с Западом. На записке Отдела культуры ЦК (“...присуждение Нобелевской премии в области литературы тов. Шолохову М. А. было бы справедливым признанием со стороны Нобелевского комитета мирового значения творчества выдающегося советского писателя. ...отдел не видит оснований отказываться от премии, если она будет присуждена”) была резолюция: “согласиться с предложением Отдела” и подписи весьма значительных лиц Политбюро: П. Демичева, А. Шелепина, Д. Устинова, Н. Подгорного, Ю. Андропова и справка: “тов. Шолохову сообщено. 16.08. Г. Куницын”. Премия была присуждена.

Каждая из Нобелевских премий имеет особую формулировку. Так, Киплингу она присуждена “за мужественность стиля”, Хемингуэю – “за влияние стилистического мастерства”. Шолохову Нобелевская премия по литературе была присуждена, как значится в дипломе лауреата, “за художественную силу и честность, с которой он в своей донской эпопее отобразил историческую эпоху в жизни русского народа”.

15 октября 1965 года были оглашены имена Нобелевских лауреатов, среди них Михаил Александрович Шолохов.

Известие застало писателя в казахских степях, где он рыбачил и охотился. Он немедленно вернулся домой. Град вопросов был обращён в эти дни к великому писателю. 10 декабря во время церемонии вручения Нобелевской премии председатель Нобелевского комитета Шведской академии доктор Андерс Эстерлинк охарактеризовал творчество Шолохова, особо отметив его работу над «Тихим Доном». Эстерлинк отметил, что Шолохову надо было иметь большое мужество, чтобы в 21 год, в трудное время, начать свой великий роман о донском казачестве. «Его теперешняя Нобелевская премия, возможно, немного запоздавшая, но, к счастью, не совсем опоздавшая, и есть награда за это». Шолохов выступил на вручении, отвечал прямо и довольно нестандартно, особо подчеркнув важность не часто встречающейся в высокой нобелевской аудитории темы трудового человека и «необходимой возможности служить своим пером трудовому народу». Это, конечно, был новый мотив, тем более в присутствии короля. Писатель согласился, что получает Нобелевскую премию с опозданием на тридцать лет. Может быть, главный литературный пафос его нобелевской речи состоял в том, что присуждение премии является косвенно ещё одним утверждением жизненности жанра романа. Шолохов решительно высказался «против удивлявших меня выступлений, в которых форма романа объявляется устаревшей, не отвечающей требованиям современности». Он твёрдо заявил, что «роман даёт возможность наиболее полно охватить мир действительности и спроецировать на изображении своё отношение к ней и жгучим проблемам, отношения своих единомышленников».

Казалось, роман – это не самый любимый жанр массового читателя. Чересчур объёмен, переполнен персонажами, с запутанной интригой, многослоен, многоречив. Возможно, сегодня и так. Но вот в 70-е годы, когда я встречался с Шолоховым, не раз бывал в Вешенской и видел мешки писем, приходящих к писателю, то попросил у него взять на время письма, чтобы представить: о чём пишут великому писателю люди. Выяснилось: обо всём! О жилье, о дорогах, о школах, о воспитании детей, о необходимости введения буквы «ё», о памяти героев Отечественной войны, о плохих начальниках. Но что меня поразило: большинство авторов делилось своими впечатлениями от прочтения «Тихого Дона», «Поднятой целины» и «Судьбы человека». Некоторые рассказывали, как вечером собиралась вся семья, мужчины надевали белые рубахи, рассаживались по лавкам и слушали читавшего роман. Почти все хотели приобрести «Тихий Дон» для себя, для детей.

Вот так отвлечённое понятие «роман» оказалось таким близким для многих, для масс людей.

Приходилось спрашивать у Михаила Александровича несколько раз о вручении Нобелевской премии. Он с лёгким прищуром и небольшой иронией говорил о тех днях. Помню, как ездивший с ним Юрий Мелентьев, будущий министр культуры РФ, издававший Шолохова в издательстве «Молодая гвардия» (в то время работал в Комитете по печати), рассказывал, что в Стокгольме все следили, как себя будет вести советский писатель, казак. И он вёл себя достойно, уважительно, с юмором. Он ухмылялся по поводу фрака, но сшил его в Финляндии (другие брали его в аренду), произнёс высокое слово писателя о литературе. Кто-то говорил, будто он заявил, что не будет кланяться королю, «казаки никому не кланялись». Мелентьев мне сказал, что шведские газеты написали, что он поклонился по-казачьи: «все кланяются сверху вниз, а Шолохов поклонился снизу вверх». На вопрос: «Кто он сейчас – миллионер?» – Шолохов хмыкнул: «Да какой из меня миллионер, вот он (показав на Мелентьева) миллионер, все издательства у него».

Как сказано в специальном издании Международной ассоциации Нобелевского движения, М. А. Шолохов в 1965 году за роман «Тихий Дон» получил Нобелевскую премию по литературе и отдал её на строительство станичной школы. Я был в этой школе и в её стенах помогал организовывать встречу молодых литераторов, среди которых были будущие известные советские писатели В. Белов, В. Фирсов, Ю. Сбитнев, Л. Васильева (Россия), Олжас Сулейменов (Казахстан), Ю. Мушкетик (Украина), А. Айлисли (Азербайджан) и первый космонавт планеты Ю. Гагарин. Было в этом что-то символическое.

Периодически поднимались вопросы о том, что Шолохов заимствовал роман «Тихий Дон» из чужой рукописи. Поддерживал эту версию и А. И. Солженицын. Однако, когда после известного эксперимента норвежского профес-

сора Хьюсто, применившего методы компьютерного анализа текстов “Тихого Дона” и “Донских рассказов” и обнаружившего одинаковые стилистические особенности, повторяющиеся эпитеты, метафоры, Валентин Осипов, автор биографии Шолохова в серии ЖЗЛ, спросил у Александра Исаевича о том, как он относится к прежним своим высказываниям. Тот ответил: “Это теперь не актуально”. Следует напомнить, что Шолохов положительно отнёсся к первым публикациям Солженицына.

Солженицын Александр Исаевич

Его творческий путь, на мой взгляд, начинался значительно раньше, чем были опубликованы его главные произведения, ибо многие замыслы у него зарождались ещё до войны. Так, о произведении, связанном с началом Первой мировой войны, он думал до событий Второй мировой. Судьба промыслительно привела его с боями в начале 1945 года в Восточную Пруссию, где в 1914 году прошли сражения, которые надломили Русскую империю и о которых он решил написать. Там, на этой земле, он и был арестован “за антисоветскую пропаганду”. Я лично считаю, что роман А. Солженицына “Август 1914 года” является одной из самых его художественно обоснованных книг о разломе XX века, о первой беспощадной всепланетной бойне, о расколе России.

Первой прославившей А. Солженицына повестью стал “Один день Ивана Денисовича”, опубликованный в “Новом мире”. Это был художественный прорыв в тему ГУЛАГа. Солженицын был принят в Союз писателей, его рассказы “Матренин двор”, “Случай на станции Кречетовка”, “Для пользы дела” были также напечатаны в “Новом мире” и вошли в тот ряд литературы, который у нас именовался “деревенской прозой” (В. Астафьев, В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов и др.).

В эти годы он пишет роман “В круге первом” и повесть “Раковый корпус”, где использует свои автобиографические материалы о пребывании в качестве работающего заключённого в марфинской “шарашке” и о лечении в ташкентской больнице. Но книги его не издаются официально и распространяются в обществе “самиздатом”.

В 1970 году Солженицыну присуждается Нобелевская премия “за нравственную силу, с которой он продолжил традицию русской литературы”. Нет сомнения, что присуждение носило антисоветский характер. Писатель был арестован и депортирован из СССР.

После Швейцарии он жил с 1976 года в США в штате Вермонт. Солженицын редко общался с представителями прессы и общественностью и прослыл “вермонтским затворником”. Как человек критического взгляда, он критиковал как советские порядки, так и американскую действительность. Помню одну из публикаций в Америке: “Алекс, ты неправ”, где ему выговаривали за критику порядков в Соединённых Штатах. За 20 лет эмиграции опубликовал большое количество произведений.

В годы “перестройки” его стали печатать и в Советском Союзе. В конце 80-х я, будучи главным редактором “Роман-газеты”, напечатал его роман “Август 1914 года” 4-миллионным тиражом.

После возвращения в Советский Союз Солженицын ни в какие общественные организации не вступил, но принял участие в работе Президиума Всемирного Русского Народного Собора, главою которого был Патриарх, и выступал по ряду важных вопросов. Помню, в частности, его твёрдую позицию по вопросу о создании и развитии русской национальной школы, который и сегодня, к сожалению, не нашёл разрешения.

Его масштабные и, как ему казалось, спасительные планы о том, “как обустроить Россию”, не были приняты ни обществом, ни руководством. Он начинает критически высказываться по поводу власти, которая ограничивает его выступления на телевидении. Он отказывается принимать высокую государственную награду из рук Президента. Собирает материалы о русской эмиграции и основывает Центр “Русское зарубежье”, где учреждает и премию собственного имени.

Нобелевская речь А. И. Солженицына, в которой он еще, по-видимому, испытывал иллюзии о том, что именно он во многом поможет изменить мировой духовный климат, конечно, не привела к этому, но была весьма ярким документом. Не мог не осудить нобелевский лауреат гулаговский мир “тмы

и холода”, из которого вырвался сам. Хотя уже тогда он заявил о сегодняшнем бесчувственном мире, о разных шкалах оценок, которые устанавливаются в разных странах. И тут он ещё раз подчеркнул, что чудо преодолеть “ущербную особенность человека” есть только в искусстве и литературе” и они “сберегают национальную душу, сохраняют историю нации”. И особенно важным для художника было высказывание А. Солженицына, что “вместе с талантом (ему) положена ответственность на его свободную волю”.

Речь Солженицына была насыщена мировоззренческой проблематикой, мрачными предсказаниями, но окончилась довольно оптимистическими словами: “Одно слово правды весь мир перевернет”, хотя в целом в речи он это не подтверждал.

Нельзя не отметить лстящую нам, писателям, мысль о том, что “писатель – последний хранитель истины”. Конечно, это подтвердили классики, но все ли современные писатели готовы к этой ответственной миссии? Хотя Солженицын видел, что, “держа в руках искусство, мы самоуверенно почитаем себя хозяевами” и, несмотря на оскверняющие его попытки (“мы его смело направляем, реформируем, продаём за деньги, угождаем сильным, обращаем для развлечения”), всё-таки “искусство уделяет нам часть своего внутреннего света”. Обратился Солженицын и к знаменитой фразе Достоевского о спасении красотой, которая вызывает и у него немало сомнений. Но лауреат твёрдо был убеждён, что “поросли Красоты” неизбежно пробьются, даже если будут задавлены ростки Истины и Добра.

Иосиф Александрович Бродский

Возможно, самой неожиданной нобелевской кандидатурой для большей части русских литераторов и для российского читающего общества была кандидатура Иосифа Бродского. Человек с определённым поэтическим даром и талантом был в годы своей юности в противоречиях с законом и властями и даже выслан из города под модным тогда обличием “за тунеядство”. Что значило для поэта это определение, неясно, ведь под него можно было подвести многих стихотворцев. Да и Иосифа трудно было упрекнуть в тунеядстве, ибо до этого он работал фрезеровщиком, истопником, моряком на маяке, рабочим в геологических партиях. Пятилетняя ссылка с этим обвинением в Архангельскую область вызвала возмущение коллег. Против этого выступала А. Ахматова, Д. Шостакович, С. Маршак, К. Паустовский и др. Бродский в ссылке время не терял: изучал в подлиннике английскую поэзию, читал многие произведения мировой литературы. Не правда ли, что это похоже на ссылку большевиков до революции (известно, что в Шушенское выписывались многие книги и журналы, и В. Ленин писал там “Развитие капитализма в России”)? Умнейшая Анна Ахматова с улыбкой, как говорят, сказала по поводу ссылки: “Кто же так поспособствовал нашему “рыжему”?” По-видимому, она имела в виду то, что народ наш всегда сочувствует преследуемым и обиженным. Этот ореол обиженного позволил Бродскому эмигрировать в США в 1972 году. Там он стал работать профессором славистики в Мичиганском университете, в других университетах (Колумбийском, Нью-Йоркском). В конце 70-х Иосиф Александрович начинает писать по-английски литературную критику и стихи. Первым прозаическим его сборником стал “Less than one” (“Меньше единицы”). Он печатается во многих литературных английских и американских изданиях, получает признание в литературных и научных кругах США, ему присваивают звание “Поэт-лауреат США” и оксфордскую премию “Hopog cause”. Как сказано в “Специальном издании Международной ассоциации Нобелевского движения 2011 г.”: “1987 год стал для поэта переломным, ибо с первой публикацией стихов поэта в “Новом мире” началось “литературное возвращение поэта на родину”.

И в том же 1987 году ему присуждается Нобелевская премия “за всеобъемлющее творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии”.

В Стокгольме на вопрос корреспондента, считает ли он себя русским или американцем, он ответил: “Я еврей, русский поэт и английский эссеист”. (В другом ответе: “еврей, русский поэт и американский гражданин”.)

Часть Нобелевской премии Бродский выделил на создание ресторана “Русский самовар” как центра русской культуры, где был постоянным посетителем.

Умер в Америке, похоронен в Венеции (хотя в своё время писал: “На Васильевский остров я приду умирать”).

Его Нобелевская речь была посвящена поэзии и могла показаться пессимистической, ибо он сказал, что поэтическая аудитория в обозримом прошлом едва ли насчитывала более одного процента населения. “Если это видение кажется для вас мрачным... я надеюсь, что мысль о демографическом взрыве вас несколько приободрит. И четверть от этого процента означала бы армию читателей даже сегодня”. “Я не очень уверен, — сказал поэт, — что человек восторжествует, но я совершенно убежден, что над человеком, читающим стихи, труднее восторжествовать, чем над тем, кто их не читает”.

Окончил свое слово поэт таким образом: “Конечно, это чертовски окольный путь из Санкт-Петербурга в Стокгольм (Имеется в виду стокгольмский зал Нобелевских премий. — В. Г.), но для человека моей профессии представление, что прямая линия — кратчайшее расстояние между двумя точками, давно утратило свою привлекательность. Поэтому мне приятно узнать, что в географии тоже есть своя высшая справедливость”.

* * *

Конечно, трудно обвинить Нобелевский комитет в том, что он избрал не тех, не лучших представителей литературы страны. У каждого из академиков свои представления о литературе той или иной страны, они принимают во внимание мнение тех или иных экспертов, но вряд ли можно поручиться за их исчерпывающую полноту.

Но многие в России, конечно, удивляются, что поэты народного, традиционного склада оказались вне внимания Нобелевского комитета. Вряд ли такими всенародно любимыми поэтами, как Сергей Есенин, Александр Твардовский с его “Василием Тёркиным”, Нобелевский комитет заинтересовался бы.

Ну а когда в 2011 году от Тихого океана до Балтики прошли вечера Николая Рубцова, то можно было бы согласиться, что такой многомиллионной славе многие нобелевские лауреаты и позавидовали бы. Можно, конечно, утверждать, что поэзия тонкий инструмент и она не измеряется количеством изданных книг и даже читателей, но то, что подлинная поэзия является поэзией национальной, становясь в лучших своих образцах достоянием мировой классики, с этим, наверное, трудно спорить.

Думаю, что Нобелевская премия, с каким бы пиететом к ней ни относились, не может одна определять уровень и качество мировой литературы. Она может быть явлением для одного человека, приносить радость его поклонникам и одновременно обращать внимание мирового сообщества на имя, возможно, направление, возобновлённый или забытый жанр литературы, образец человеческого поведения. Но во всех случаях это событие, к которому приковано внимание широкой культурной общественности.

И ещё об одной странице, связанной с Нобелевской премией, к которой я имел прямое отношение. В 2007 году я как председатель Союза писателей России получил письмо от ответственного секретаря Нобелевского комитета из Стокгольма, который просил меня внести предложение о кандидатуре русского писателя и его выдвижении в лауреаты Нобелевской премии. Честно говоря, я подивился любезности Нобелевского комитета, но, попросив уточнить требования к выдвигающим кандидатов, увидел, что Нобелевский фонд позволяет это делать: 1. Членам Шведской академии, других академий, институтов и обществ с аналогичными задачами и целями; 2. Профессорам истории литературы и языкознания университетов; 3. Лауреатам Нобелевских премий в области литературы; 4. Председателям авторских союзов, представляющих литературное творчество в соответствующих странах. Я посчитал, что вполне могу представить кандидатуру русского писателя на основе пункта № 4. Я собрал секретариат Союза писателей России и обратился с вопросом: кого бы вы представили на соискание Нобелевской премии в области литературы от России? Вначале этот вопрос показался моим коллегам скорее ироничным, чем серьёзным. Но потом, когда я показал им официальное письмо из Шведской академии наук, все единогласно высказались: Валентин Распутин! Действительно, это самый известный писатель в стране, писатель, который обо-

значил новое и в то же время самое традиционное направление русской литературы, литературы нравственной, литературы трудностей, забот и надежд простого человека. Она принимала разные названия во второй половине XX века: “деревенская”, “почвенническая”, литература совести, предостережения.

Его произведения “Деньги для Марии”, “Последний срок”, “Живи и помни”, “Прощание с Матерой” говорили о надвигающейся беде и трагедии, о потере нравственности, устремлении к наживе, алчности, которые и охватили наше общество “пожаром” из одноимённого его произведения.

Экологическая, нравственная катастрофа нахлынула на символическую Матеру, затопила могилы предков, вымыла память. “Истончилась совесть у людей”, – писал Распутин в повести “Живи и помни”. Многие он предугадал, многое запечатлел в драматической повести “Дочь Ивана, мать Ивана”, широко известной у нас и ставшей лучшей книгой переводов в полуторамиллиардном Китае.

Распутин – выдающийся мастер русского языка, выразитель национального духа. Я уже не говорю о его постоянной сибирской теме – Байкале, которому он отдал много страсти, мысли и слов. Он и сам стал подлинным символом Байкала, защищая его не шаманским бубном, а молитвенным защитным словом. Чистая пресная вода Байкала – символ выживания всего человечества.

Мы отослали в Нобелевский комитет представление Союза писателей (на английском языке), библиографию изданий Распутина и другие сопутствующие материалы. Через два месяца мы получили письмо, подписанное секретарем Нобелевского комитета, с благодарностью за материалы и ответом, что наше предложение принято к рассмотрению.

После этого ответа я посчитал возможным обратиться к Александру Исаевичу Солженицыну и рассказать о нашей переписке. Солженицын с радостью узнал об этом, он с уважением относился к писателю Распутину, которому уже вручил премию своего имени, и сказал мне: “Я напишу своё представление. Пришлите мне тот текст, который вы отослали”.

Через несколько дней он сказал, что отослал письмо о выдвижении, и в продолжение разговора высказал интересную и важную мысль: “Мне кажется, что пришло время, когда они готовы дать премию русскому писателю”.

Министерство культуры России, узнав о нашей инициативе, подготовило и послало в Стокгольм обширные библиографические и переводные материалы. И вопрос рассматривался не раз. Однако Александр Исаевич умер в августе 2008 года. Мы считаем его письмо фактическим завещанием Солженицына.

К сожалению, вопрос о русском писателе тогда не был решён положительно. Но мы убеждены, что история Нобелевских премий в области литературы для писателей России ещё не закончилась.

НИНА ЯГОДИНЦЕВА

ОПЫТ ПАССИОНАРНОСТИ

Горький практический опыт последних десятилетий показывает, как хрупка историческая и культурная память, как быстро и искренне молодые поколения усваивают чужое и чуждое, и просто что придётся. Работая со студентами, я всё чаще слышу от них о “социалистическом соревновании крепостных крестьян”, о “системе физических наказаний в советской школе”... И даже при том, что День Победы всё-таки остаётся общим праздником, слово “Танкоград”, например, уже почти ничего не говорит молодому поколению земляков-челябинцев. Да и как говорить, если на месте цехов ЧТЗ вырастают павильоны продукции зарубежного автопрома... Это не трагично – это опасно для жизни, каждой отдельной и совокупной народной.

Разрушения огромны, однако необратимыми их называть нельзя. Но человек должен представлять себе историческое, глобальное время, в том числе и в масштабе взлётов и падений цивилизаций и культур. Он может видеть, как разрушается и утрачивается многовековой опыт, как трудно и кроваво рождается новый, как, совершая невероятные сверхусилия, восстают из праха, казалось бы, уже обречённые народы, и как почти мгновенно исчезают с исторической арены внешне благополучные. Зрелище глобальных изменений даёт возможность понять, **что** лично каждый, пылинка в мегаисторическом масштабе, должен сегодня, сейчас положить на весы Истории, чтобы чаша его народа и его культуры оставалась полновесной. Результатом подобного понимания и является реальный смысл каждой жизни.

Все народы так или иначе проходят разные периоды своего исторического бытия. То качество, которое Лев Гумилёв обозначает как пассионарность, естественно может накапливаться, реализовываться, угасать... Но сегодня необходимо говорить ещё и об искусственном подавлении пассионарности, целенаправленном внедрении в сознание народа разрушительных мифов: о деградации и вымирании, истощении генофонда, невозможности обжить свои собственные географические пространства... Эти мифы, обеспеченные всей мощью СМИ, вполне способны подавить естественный пассионарный порыв, а в сочетании с политико-экономическими методами становятся почти идеальным оружием массового уничтожения.

Что сегодня может противостоять целенаправленному разрушению русской пассионарности и собственно культуры? Сохранение и изучение колоссального опыта освоения пространства, в том числе и включения в состав империи племён и народов, уже обживших эти земли. Этому посвящена активная издательская деятельность Общественного благотворительного фонда “Возрождение Тобольска”, и в особой степени – его новый проект “Библиотека альманаха “Тобольск и вся Сибирь”. Задумана и реализуется системная работа по сохранению уникального культурного наследия Сибири. Создатели

Библиотеки означили максимальный масштаб осмысления русского пассионарного опыта: “Библиотека... – проект, посвященный великой исторической эпопее освоения и преобразования гигантского региона Евразийского континента, простирающегося от Уральских гор до берегов Тихого океана (и Русской Америки), от Северного Ледовитого океана до монгольских степей и Китая...” Первые четыре книги, уже увидевшие свет, намечают магистральные смысловые оси проекта. Условно их можно обозначить как “человек в окружающей его природе” и “природа в человеке”. Обе проблемы относятся к разряду вечных, они тесно взаимосвязаны, а в условиях грабительно-потребительских отношений в обществе ещё долго будут оставаться остроактуальными.

* * *

Открывается Библиотека “Избранными произведениями” выдающегося исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева. Географ-первооткрыватель, давший имена безымянным доселе хребтам, перевалам, рекам и озёрам Сихотэ-Алиня, в своих описаниях путешествий воплощает образ человека на перепутье природы и цивилизации. Ценность естественнонаучных исследований Арсеньева очевидна и сегодня, но ещё острее требует осмысления их экологическая составляющая – в широком, вневременном понимании. Речь идёт далеко не о “сохранении окружающей среды” – сама по себе эта устоявшаяся формула поверхностна и просто вредна, – а о деятельности человека как о геологическом факторе развития планеты, и, следовательно, о его глобальной ответственности. Это созвучно становящимся всё более актуальными размышлениям Вернадского, но Арсеньев подкрепляет свои мысли и эмоциональным переживанием, описанием мощи и красоты первозданной природы – и картинами губительных последствий хищничества.

Автор предисловия В. Гуминский касается широкого спектра тем, связанных с деятельностью Арсеньева. Прежде всего это общий философский контекст эпохи: разрушение европоцентризма в “пересечении дорог Запада и Востока, Севера и Юга, Европы, Азии и Америки” и развитие “народной утопической мысли и поэтического образа вольной и благодатной земли на краю света”, влекущее в неизведанные края. Подробно описан жизненный путь Арсеньева, формирование его личности. При чтении убеждаешься, что в истоке философии анимизма – очеловечивания природного мира – Арсеньева лежит поэтическое восприятие, которое проступает сквозь суховатые естественнонаучные записи. Арсеньев рисует путевые картины живыми образами: “Внутри палатки горел огонь, и от этого она походила на большой фонарь, в котором зажгли свечу...”, или: “...на противоположном берегу, как исполинские часовые, стояли могучие кедры. Они глядели сурово, точно им была известна какая-то тайна, которую во что бы то ни стало надо скрыть от людей...”

Три составляющие наследия Арсеньева – естественнонаучная, философская и поэтическая – неразделимы, но первична, на наш взгляд, именно поэтическая. Глубокое поэтическое чувство позволяет воспринимать эмоциональную жизнь природы не как фантазийную вольность, а как реальность, данную в ощущениях. И с этого со-чувствия начинается истинное взаимопонимание человеческого и природного. Для центрального героя книги, “природного” человека Дерсу Узала такое взаимопонимание более чем естественно. Для него всё – будь то люди, звери или атмосферные явления, – это одухотворённые существа, то есть те, кто действует сознательно и целенаправленно.

В определённой мере образ Дерсу воплотил в себе человеческий идеал Арсеньева и философски разрешил тревогу автора за судьбу края. Именно Дерсу несёт в себе природную нравственность как высшую целесообразность, позволяющую выживать в суровых условиях тайги и естественных катаклизмах. Но попав в “цивилизованный” мир, он погибает трагически нелепо – его убивают из-за каких-то жалких грошей...

В этом герое, его философии и поступках, как в зеркале, отразился сам автор – тоже по сути человек “природный”, хотя внешне принадлежащий цивилизации. Это проявляется прежде всего в отношении путешественника к своему отряду. Например, кратко рассказывая об одном из участников экспедиции, человеке рассеянном и неприспособленном, Арсеньев приводит одну-две комические детали, и тут же спохватывается и укоряет себя: ведь это

он набирал экспедицию, он совершил ошибку — а человек теперь мучается... Как ни велик соблазн сделать из этого бедолаги комический персонаж для “развлечения” читателя, у Арсеньева главным остаётся чувство собственной ответственности и совести.

В “Избранные произведения” В. К. Арсеньева вошли его знаменитые книги путешествий “По Уссурийскому краю”, “Дерсу Узала”, “В горах Сихотэ-Алиня”, “Сквозь тайгу” и ряд писем. Исследовательский, первооткрывательский пафос уже практически “выветрился” из человека нашего потребительского времени, но Арсеньев, безусловно, способен разжечь жажду путешествий, желание ощутить себя в природной стихии — если у читателя хоть однажды уже был такой опыт...

Мы, современники Чернобыля и Фукусимы, можем оценить степень философской и нравственной правоты исследователя уже с позиций нового века, иного уровня технологии. Одной человеческой ошибки или одного естественного природного явления — сильного подземного толчка — вполне достаточно для того, чтобы наступили необратимые последствия глобального масштаба. Но даже эти катаклизмы едва ли остановят поступательное движение прогресса — куда, до какой роковой черты?

* * *

Продолжают тему отношений человека и природы произведения Бориса Василевского. У рассказчика Василевского есть то гармоническое поэтическое свойство, которое роднит его с Арсеньевым — он воспринимает природу проникновенно-глубоко, как одухотворённый и осмысленный мир, хотя в этом восприятии уже чувствуется некая отстранённость. Его книга “Заря космической эры, или Русская Атлантида” находится словно на другом полюсе осмысления отношений человека и природы, подводит своеобразный итог пассионарного порыва, опыта освоения, очеловечивания природных пространств. Это опыт однажды едва не позволил рассказчику пожелать, чтобы человек вообще исчез с лица земли, и осталась только природа, которую “*homo sapiens*” измучил своим хищничеством.

В финале рассказа “Для дерева есть надежда” Василевский пишет: “Мы знаем, что всё изменяется, и мы изменяемся тоже — до тех пор, пока не поедим на старое место, а там-то и окажется, что всё изменяется гораздо быстрее, чем мы...” Пассионарный порыв для него остаётся в прошлом, в молодости, и всё повествование носит ретроспективно-медитативный характер. Собственно, “Заря космической эры...” — это цикл повествований, организованных не в хронологическом порядке, а, как объясняет сам автор, “по сюжету внутреннему, сообразно с движением и развитием мысли... В той последовательности, с какой возникает потребность написать сначала именно этот, а потом уже другой рассказ, тоже, наверное, есть свой смысл”. И образы магистральных героев — Вадима и Маркаряна — раскрываются постепенно, логически несколько сумбурно, но зато точно психологически — так проступает на фотобумаге снимок: расплывчатые пятна (эмоции), силуэты в пространстве (сквозное действие), символически чёткие черты и детали (философская основа).

Во вступлении “от автора” Василевский говорит о сегодняшнем состоянии литературы в целом: “время создателей “галереи бессмертных образов”, по моему, прошло — теперь мы пишем, чтобы разрешить для себя вопрос, уяснить мысль”. И тем не менее, два героя, в осмыслении противопоставленные друг другу, весьма типичны для описываемого времени 50–60-х годов: Вадим — “возвышенный, ни в чём не виноватый, но оскорблённый в лучших чувствах”, и Маркарян — “сам оскорбивший, надругавшийся над собой и своей любовью”, явные противоположности, но одновременно — и две ипостаси самого рассказчика, его “двойное зеркало”. Автор намеренно не пишет “литературные типы”, он оставляет человеческие образы родственными в стихии реальной жизни, где ни один сюжет не подлежит прямому логическому завершению, но все они — элементы вечно разгадываемого Высшего замысла.

Замечательно объёмно, нелинейно “рифмуются” с противопоставленными друг другу героями два образа очеловеченной природы — стройки Братской ГЭС и Братского моря. И они соседствуют в книге как части Высшего за-

мысла, но по авторской воле сначала перед читателем появляется рукотворное море: "...и ещё не заросли, и поразили меня дороги, подходившие к нему, но не так, как подходят они к морю, бывшему прежде дорог, — подходят, и останавливаются, и идут вдоль, — а здесь они, бывшие прежде моря, прямо устремлялись в него, бросались с разбегу и вели в глубину...", и уже потом — воспоминание о самом начале вдохновлявшей стройки: "Вдоль берега к котловану вела длинная насыпная дорога, по которой двигались три или четыре самосвала. Первый уже въезжал на перемышку, последний только показался вдаль, из-за поворота. Два громадных двадцатипятитонных "МАЗа" медленно ходили по перемышке взад-вперёд, укатывали ссыпaeмый грунт. В разных местах котлована виднелось несколько человеческих фигурок. Вверху, на скале, ковырялся одинокий экскаватор... Настоящая жизнь представлялась теперь неинтересной, даже убогой в сравнении с этой жизнью..." И герой был счастлив потому, что застал "самое-самое"...

Проза Василевского многогранна, её эмоциональный спектр полон прихотливых переходов, а при всей "населённости" произведений центральным всегда остаётся рассказчик, его воспоминания и переживания. Погружение читателя в текст происходит постепенно — некоторая первоначальная отстранённость быстро сменяется доверием и интересом, а в финале — живым сочувствием... Рассказчик постепенно превращается в собеседника, повествование изнутри "подсвечивается" лиризмом — тем русским пронзительным ощущением жизни, которое соединяет природу внутри и вне человека в единое неделимое целое.

В итоге рассказчик понимает, что, переделывая природу, мы одновременно переделываем и самих себя и получаем в итоге то, что сотворили. Но увидеть это можно только через время. А оценить по-настоящему — может быть, для этого нужно, чтобы прошла эпоха? Так, Василевский говорит об открытиях Семёна Дежнева: "Как иные люди, весь век свой незаметно трудясь, не помышляя вовсе о вопросах великих и вечных, а занимаясь делами обычными, повседневными, оказываются к концу дней словно напоенными истинной мудростью и высоким пониманием жизни, так и всякие настоящие дела отдельных людей сами собой, без сопровождающих патетических восклицаний претворяются в духовный опыт всего человечества..."

Опыт советской цивилизации, на взлёте которой рассказчик переживает главные события своей жизни, ещё требует осмысления и оценки, он ещё не получил завершения внутреннего, личностного, хотя времени у нас остаётся всё меньше. Василевский не делает выводов — он проживает годы заново и воскрешает чувства, из которых, кажется, вот-вот должна родиться примиряющая мысль о некоей общей мере свободы и принуждения, любви и отречённости, воли и судьбы.

* * *

Следующая книга серии — избранные произведения Сергея Маркова — и стихами, и прозой погружает нас в природные стихии, бушующие в человеке. Необычайная эмоциональная и образная плотность текстов Маркова представляет собой совершенно особую художественную фактуру, резко отличающуюся от вышеназванных книг "Библиотеки альманаха "Тобольск и вся Сибирь". Раскалённое время, раскалённые страсти, раскалённые слова... Пассионарность неизбежно двулика, и первая её ипостась — стихия, вырвавшаяся за пределы, поставленные культурой, идейный фанатизм, братоубийственные страсти... Над этой стихией писатель поднимается на высоту гуманизма, и в предисловии Сергей Куняев закономерно проводит параллель с молодым современником Маркова Михаилом Шолоховым, с его восприятием революционных событий. Другая ипостась той же пассионарности — это порыв в новые земли, к открытиям и загадкам, и здесь Марков-философ предстаёт перед нами как "уникальный прозаик, собиратель и хранитель географических одиссей, исторических загадок..."

Потрясения века и загадки истории достались Маркову полной мерой. Событийная плотность жизни сформировала удивительно плотный слог — и в поэзии, и в прозе за каждым словом встаёт ощущение материальной реальности в её кристаллическом состоянии:

*Неба от снега не отличаем,
Топчем льдов горячий излом,
Бредя зелёным монгольским чаем,
Пухлой кошмой и чужим теплом.*

...
*Мёрзлые юрты не знают мести,
Буря за дверью — взятый уступ.
Здесь мы оставим на кружечной жести
Тонкую кожу спалённых губ...*
(“Зелёный чай”)

Одними эпитетами, которые обычно всегда выдают и “подставляют” поэта, Марков превращает быт в священнодействие:

*Бухарская еврейка продаёт
На улице окаменевший мёд, —
В хрустальной чаше огненная мгла,
В ней опочила синяя пчела...*
(“Пчела”)

И ключом к плотной, концентрированной прозе Маркова тоже можно взять строки поэтические: “Чужая жизнь — безжалостней моей — // Зовёт меня...” (“Памяти Чокана Валиханова”).

В книгу помимо стихов вошли романы “Рыжий Будда”, посвящённый событиям Гражданской войны, и “Юконский ворон” — о путешествии бывшего морского офицера Лаврентия Загоскина по Юкону. Этот роман — в магистральном русле библиотеки, он — о наследии русских исследователей-землепроходцев, в частности — о Русской Америке, утрата которой до сих пор оборачивается для России болевыми проблемами, вплоть до безопасности государства. Кстати, Сергей Куняев обращает внимание на различие отношений европейцев и русских к аборигенам Америки и приводит в подтверждение факты из исследования Маркова: “Тойоны побережья Росса Ам-ат-тин и Го-лем-ле уверяли русских в дружбе и выражали довольство тем, что они были защищены от нападения враждебных племён. В то же время потомки Писарро и миссии Сан-Франциско жили в непримиримой борьбе с индейцами”... Даже в одном этом факте — очевидная разница цивилизаций и культур России и Запада...

В “Избранные произведения” тобольской Библиотеки частью вошла и знаменитая книга Маркова “Земной круг”: короткие повести и исторические эссе о землепроходцах разных народов, о международных связях в глубокой древности и средневековье. Повествование относится к жанру научно-художественных (прямая переключка с Арсеньевым), а по глубине и широте исторического взгляда его можно назвать поистине грандиозным, наполненным смелыми научными догадками, доказательными авторскими версиями известных исторических событий. Поэт, прозаик, историк, географ, этнограф — Сергей Марков представляет из себя личность поистине энциклопедического склада. Гармоничная слитность его естественнонаучного и литературно-художественного талантов наполняет историю поэзией, а поэзию — почти материальной силой мысли и чувства. “Избранные произведения” Маркова со всей страстью подкрепляют издательскую концепцию Библиотеки, её пассионарный пафос.

* * *

Четвёртый из вышедших томов — стихотворения, поэмы и письма Евгения Лукича Милькеева, изданные к его 195-летию со дня рождения, а также статьи современников о нём. Рассказ о творчестве и трагической судьбе самородного сибирского таланта продолжает ту философскую линию библиотеки, которая исследует природу в человеке. Способность к поэзии, как ни к какому, может быть, из иных видов искусства, доказывает, сколь важно совпадение природного дарования и общей культуры личности. Культура здесь становится проводником природы, она даёт естественным стихиям сугубо чело-

веческий дар – Слово, речь. Но чтобы это произошло, нужен целый ряд совпадений, которые можно называть судьбой. Иначе, как говорится, возможны варианты: либо поэтический дар несёт в себе разрушительное начало (и это в русской поэзии мы можем наблюдать воочию в последней четверти XX века), либо культурная среда отвергает и в конечном итоге губит природное дарование.

Автор предисловия Александр Стрижев рассказывает о судьбе провинциального таланта с живым сочувствием и уже в самом начале ставит вопрос: перед нами несостоявшийся поэт или – недооцененный, непрочитанный, незаслуженно забытый? Конечно, разгадку предстоит искать самому читателю – в стихах и письмах книги, и только такой ответ может быть убедительным. 30 лет жизни, отпущенные Милькееву, – не так уж мало, особенно в ту эпоху (вспомним, сколько было отпущено времени Пушкину и Лермонтову), но обстоятельства жизни складываются так, что талант его развивается в отсутствии культурной среды. И вот случай, подручный судьбы: при посещении Тобольска великим князем и наследником Александром Николаевичем записные тобольские стихотворцы наперебой воспевают царственную особу, но Жуковский замечает именно Милькеева и желает познакомиться с ним поближе. . .

А дальше восторги, приглашения в столицу, мечты поэта о высоких целях. . . Но “самородный алмаз” требует огранки, а бедность, служба, необходимость обеспечивать мать жёстко диктуют Милькееву свои условия. “Если не заблуждаюсь, природа наделила меня привязанностью к звукам, но между тем назначила родиться и жить в такой сфере, где ничто не могло способствовать своевременному пробуждению и образованию этого инстинкта, где более всего раздаётся безмолвие для души, где менее всего слышится музыка слова. . .” (из письма Милькеева к Василию Андреевичу Жуковскому).

Поэт оказался вне тех социальных ниш, которые так или иначе дают человеку возможность посвятить творчеству большую часть сил. Остро ощущая своё достоинство, поэтическое и человеческое (и в этом видится пушкинская черта характера – понимание смысла своего дара!), он вынужден примиряться с изнурительным для души трудом, с неизбывной нищетой, с пренебрежением знатных господ. . . Но роковую роль сыграло отношение к поэту культурной элиты: открытие, возвышение, ожидания – и, по сути, забвение. Об этом покаянно написала потом Каролина Павлова, поначалу принявшая живое участие в судьбе провинциального таланта:

*Глядит эта тень, поднимаясь с земли,
Глазами в глаза мне уныло.
Призвали его из родной мы земли,
Но долго заняться мы им не могли,
Нам некогда было.*

*Вносились от сердца его полноты
Напевы, как дым из кадила;
Мы песни хвалили; но с юной мечты
Снять узы недуга и гнёт нищеты
Нам некогда было.*

Вдобавок в идейной борьбе литературных лагерей Милькеев оказался игрушкой, разменной монетой: одни возносили его как надежду русской поэзии, другие (а в их числе Сенковский и Белинский) просто отказывали в таланте. Всё закончилось самоубийством и забвением поэта. Стихотворение “Участь”, завершающее поэтическую часть книги, показывает, насколько отчётливо понимал Милькеев своё положение, всю его трагическую безнадёжность:

*Дышал человек благодатной свободой,
На родине милой он счастливо жил;
Но мстительный рок прошумел непогодой
И радость того человека убил.*

*И грустным изгнанником ныне он бродит
Под сводом далёким, у чуждой реки...*

*Наружно ещё на собратий походит,
Но сердце истлело в горниле тоски.*

Как ни мало тогда способствовала развитию его дарования культурная среда провинциального Тобольска, решение поэта о переезде в столицу стало роковым. И в этом видится далёкая, но отчётливая переключка судьбы Милькеева с судьбой арсеньевского героя Дерсу Узала. . .

* * *

Пятый, недавно увидевший свет том Библиотеки – повесть “Живи и помни” Валентина Распутина, произведение знаковое, которое, может быть, в наши трагические для России годы перечитывается с особым, мучительным вниманием, ибо речь идёт о природе предательства. Причём предателем становится честный, сильный, мужественный человек, лишь на какое-то короткое мгновение позволивший себе слабость. И его гибельный поступок тянет за собой целую цепь смертей.

В родниковой распутинской прозе кристальна чистота мысли и слога, соединены сквозным созвучием со-бытия, символическую значимость обретают бытовые, казалось бы, ситуации. И, читая, понимаешь, что ведь и сама реальность соткана из таких же плотных переплетений, предупреждений, знаков, и нужно уметь читать свою собственную повесть жизни при свете памяти и совести. . .

Прочитав “Живи и помни” ещё буквально двадцать лет назад, можно было хоть как-то попытаться если не оправдать, но хотя бы понять Андрея Гуськова: воевал честно, был ранен, не дали отпуска – и в надорванной душе его появился страх смерти, с которым возвратиться под пули он уже не смог. . . Сегодня проступает иная ясность. Перечитывая книгу, до замирания сердца понимаешь, каким предупреждением была она всем нам, как до самой глубины увидел Распутин душу человека, как проследил путь от мгновенной роковой слабости к неминуемой роковой гибели. . .

Странная, если вдуматься, судьба у русской литературы – а, может быть, у литературы вообще? – обладая способностью пред-видения, про-видения, она не в силах предотвратить неизбежное, и только оглянувшись назад, понимаешь, насколько точно увидел писатель во дне вчерашнем или сегодняшнем то, что неизбежно сбудется завтра.

Так обоюдный вещей сон, в котором Настёна приходила к Андрею на войне, говоря: “Я там с ребятишками замучилась, а тебе и горя мало”, не даёт ответа на её вопрошающую мольбу – то ли потому, что уже ничего нельзя изменить, то ли потому, что человек в главные моменты своей жизни действительно свободен в выборе. А может быть, лучше не заглядывать в будущее, не гадать о нём, и по тому, как ты живёшь сегодня, Бог определит твой завтрашний день? . .

Андрей Гуськов с момента той роковой слабости, толкнувшей его в поезд, идущий на восток, шаг за шагом, поступок за поступком губит свою душу и в то же время со странным напряжённым любопытством – где предел, и есть ли он вообще? – следит за этой гибелью изнутри, испытывая моментами ужас, а иногда и необъяснимое мрачное наслаждение. Вовлечённая в предательство Настёна несёт свой крест верности и совести до конца, до того момента, когда он становится неподъёмным, непосильным. Смерть её и гибель долгожданного ребёнка, их будущего, перечёркивает все наивные надежды Андрея на какое-то высшее оправдание своего предательства. Как утопающий за соломинку, хватается он за эту свою мысль, не желая понимать, какой тяжестью обременяет ещё не рождённое будущее.

И вся повесть воспринимается сегодня как грозная метафора большого общего предательства – предательства своей страны, истории, культуры, собственного будущего. Ведь и большое предательство в роковых девяностых совершилось, стало возможным в принципе, может быть, по причине того же надрыва, какой-то душевной усталости, слабости перед соблазном – и абсолютной, метафизической невозможности “вернуться домой” прежде завершения исторического пути. . .

Чем больше вчитываешься в распутинскую прозу заново, тем отчётливее понимаешь: и те, кто по душевной слабости совершил этот страшный грех, и те, кто помимо воли оказался в него вовлечён, составляют единое целое, и никакое будущее не способно оправдать уже случившегося предательства. Ведь будущего просто может не быть: Бог даёт его по тому, как проживаем мы сегодня.

Распутин завершает повесть по-крестьянски немногословно: “Только на четвёртый день прибило Настёну к берегу недалеко от Карды. <...> За Настёной отправили Мишку-батрака. Он и доставил Настёну обратно в лодке, а доставив, по-хозяйски вознамерился похоронить её на кладбище утопленников. Бабы не дали. И предали Настёну земле среди своих, только чуть с краешку, у покосившейся изгороди. После похорон собрались бабы у Надьки на немудрёные поминки и всплакнули: жалко было Настёну”.

Сколько раз повторяет писатель имя героини, не отпускает его, завершая этим именем всю повесть, и долго оно ещё звучит в мыслях, когда книга уже закрыта. Был ли у неё выбор? Двадцать лет назад казалось – был, сегодня отчётливо и беспощадно понимаешь: не было. И не могло быть. Уже преданная и обречённая, она вместе с Андреем словно заново проживает все счастливые моменты, все бесхитростные радости прошлой их жизни, ибо в настоящей остаются только ложь и страх.

И, понимая Настёнину обречённость умом, не смеешь впускать её в сердце, закрываешь от себя про-виденное, потому что растут дети, хочется жить и верить, что ради них будем прощены, оправдаемся неведомым будущим за преданное настоящее...

* * *

Конечно, в кратком обзоре можно только обозначить основные черты замысла создателей Библиотеки. Но отметим и стиль её оформления, разработанный В. Валериусом, и высокую полиграфическую культуру. Разнообразен иллюстративный ряд: от карт, от подлинных старых и современных фотографий до репродукций картин – всё работает на создание особой атмосферы каждой книги. А впереди у читателей встречи с выдающимися памятниками устного народного творчества коренных жителей Сибири, историческими песнями о походе Ермака, “отписками” казаков-землепроходцев, классическими описаниями Сибири, Камчатки, Чукотки, Дальнего Востока, принадлежащими замечательным русским ученым и путешественникам. Среди авторов Библиотеки великие русские и зарубежные писатели, крупные государственные деятели, знаменитые флотоводцы и мореплаватели.

В 2012 году Тобольску исполняется 425 лет. Деятельность Общественного благотворительного фонда возрождения Тобольска, культурного форпоста Сибири, продолжается уже 18 лет. В одном из обращений его председатель А. Г. Елфимов пишет: “В подлинном национальном самосознании главным компонентом является чувство исторической преемственности, острое сопереживание сопричастности не только и не столько конкретному этапу или режиму в жизни своего народа, но всей многовековой истории Отечества, его будущему за пределами собственного жизненного пути... Что мы демонстрируем миру сегодня? Полюса богатства и бедности, жадности и расточительности, полётов ума и беспросветной глупости, упорствующей в своих заблуждениях. Неестественную приверженность к чужой культуре и граничащее с безумием отвержение всего родного. Нам надо сделать шаг назад, чтобы осознать себя теми, кем мы являемся генетически, а затем сделать два шага вперёд, в наше прекрасное будущее, неразрывно связанное с традицией прошлых веков”. В этом контексте слово “Библиотека” должно писать с заглавной буквы.

Челябинск

АЛЕКСАНДР БОЧКОВ

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ...

Русский народ из века в век неутомимо порождает выдающиеся таланты. Таланты эти каждый по-своему создают неповторимый гимн России. В боевом строю доблестных сыновей и дочерей нашего Отечества особое место занимает народный художник России широко известный мастер графического искусства Сергей Михайлович Харламов. Художник – подлинный виртуоз традиционной классической техники ксилографии. Сергей Михайлович свидетельствует о судьбе классической гравюры в наше время: *“Ксилография – исконно русская техника графического искусства. В ней работали многие выдающиеся русские художники, давшие нашей культуре выдающиеся произведения. Теперь ксилография вымирает, чахнет, исчезает, остается невостребованной. В основном по экономическим причинам. Издательства, главный наш заказчик и потребитель, отказываются из-за дороговизны от гравюр, исполненных на дереве. Они теперь предпочитают более дешевые рисунки пером, тушью, карандашом. Я, наверное, один из немногих оставшихся приверженцев ксилографии...”*

Мастер создает многофигурные исторические композиции, портреты, пейзажи, декоративные заставки и миниатюры. Харламов достиг подлинного совершенства в графическом оформлении книг, а таковых более 50, причем многие из них – это подлинные художественные шедевры, эталонные образцы видимого воплощения литературных образов. Достаточно упомянуть иллюстрации к роману Дж. Свифта “Путешествие Гулливера” и повесть Н. В. Гоголя “Тарас Бульба”.

Харламов – человек и художник огромной ответственности за дело своей жизни. Посмотрите внимательно на мельчайшие детали его графических листов – ювелирная работа высочайшего класса! – второстепенных мелочей у мастера нет и в помине. И это при том, что детали вписаны в контекст масштабных сложных композиций. Подчас именно какая-то деталь, на первый взгляд, незначительная, придает всей композиции особое звучание и аромат.

Харламов так определяет свой путь в искусстве: *“Путь художника – это путь от земли к небу, а так как существует два порядка бытия, мир материальный, “дольный”, и мир духовный, “горный”, то от мира “дольного” – к “горному”. Поскольку путь развития художника проистекает в духовной сфере, то задача его раскрывать значение духовного в нашей жизни, соотнося ее с евангельскими повествованиями. Идя вперед, не следует пренебрегать уроками прошлого, надо почаще к ним обращаться. Тогда наше духовное становление пойдет успешней...”*

Сложен и труден путь к прекрасному. Без высшего идеала, без святой небесной мечты можно запутаться в мелочах и дрязгах жизни. Человеческая жизнь, судьба одного человека тесно переплетены с судьбой своей страны, своего народа. То, что происходит в сердце твоём, то же будет происходить и в мире. Будет устройство в доме твоём сердечным, в твоей душе, будет устройство и в мире. . .

Художник несет в своем творчестве слово, способное возвысить человека, внести в его душу стройность и лад, желание жить и творить. Утверждая красоту родной земли, он заставляет человека задуматься над смыслом жизни, и уже ради этого стоит жить и творить.

Жизнь наша не ограничивается земными законами бытия, она подчинена законам более высокого порядка, поэтому надо искать эту связь явлений мира внешнего и внутреннего, духовного. Нужно понять, что красота – это часть высшей гармонии. Попытаться через историю нашу, святоотеческую, постичь день сегодняшней с его взлетами и падениями, радостями побед и поражениями”.

В горнем мире, к которому сознательно устремлено все творчество и вся жизнь Сергея Михайловича, нет времени: тысяча лет как один день и один день как тысяча лет. . . Именно поэтому так современно звучат гравюры художника, посвященные событиям многовековой давности. Именно поэтому художнику удается донести до благодарного сопереживающего зрителя достоверные ритмы и ароматы нашей истории. Действительно: “Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет!”

Очарованный странник на путях Святой Руси – Сергей Харламов духовными очами лицезрел подвижников благочестия, “в Земле Российской просиявших”: преподобного Сергия Радонежского и его ученика Андрея Рублева, благоверного великого князя Димитрия Донского и преподобного Серафима Саровского. . . Память русской святости запечатлена на его гравюрах. Основателю Свято-Троицкой Сергиевой лавры художник посвятил 12 композиций, уникальных по силе воздействия на зрителя. Эти гравюры стали настолько популярными, что подчас их считают народными (созданными не каким-либо отдельным художником, а вообще народом, русским народом в целом). Именно по ним наши современники представляют видимые события жития преподобного Сергия Радонежского. Человек широкого кругозора, Сергей Михайлович проникновенно запечатлел места жизни и проповеди Спасителя в цикле гравюр и рисунков “По Святой Земле”.

Мастеру зримой русской истории – художнику Харламову всем своим творчеством, своей жизнью удалось создать собирательный образ Святой Руси, ее величавых бескрайних просторов, украшенных храмами, ее защитников – святых воинов вкупе с воинствующими святыми и дарящих жизнь прекрасных славянок.

В древности считали, что высшее искусство – это хорошо, достойно прожитая жизнь. Книга жизни художника Харламова – практическое руководство осуществления этого высшего искусства. Известна пословица: “Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты”. Среди друзей Харламова, его сподвижников и соратников на ниве русской культуры – Вячеслав Клыков, Леонид Леонов, Владимир Солоухин, митрополит Питирим (Нечаев), Станислав Куняев, Владимир Личутин, Василий Белов. . .

Смерти нет. У Бога все живы. Странствуя дорогами классической русской литературы, Сергей Михайлович выбрал себе в друзья Гавриила Державина, Николая Васильевича Гоголя, Алексея Константиновича Толстого, Федора Ивановича Тютчева, Сергея Есенина, Николая Рубцова. При таких друзьях просто невозможно создавать только гравюры, рисунки и живописные полотна, необходимо, подобно Мишелю де Монтеню, взяться за перо и писать рассказы, миниатюры, эссе, что Сергей Михайлович с присущим ему художественным талантом и делает.

Быть русским – значит быть воином. Правда и достоверность образов русской истории на гравюрах Харламова, посвященных ратникам Куликовской битвы, сражениям казачьего полковника Тараса Бульбы, солдатам Отечественной войны 1812 г. , – создают у зрителя эффект личного присутствия. Возникает впечатление, что с нами делится воспоминаниями участник событий. . . Поскольку в наше смутное время “вся Россия стала полем Куликовым”, особенно ценен исторический опыт наших пращуров, их героизм, мужество,

самопожертвование. Жизненная позиция и по-русски щедрый и раздольный художественный талант Сергея Михайловича обусловили дуализм его творчества, объединяющего вечное, непреходящее, надмирное и, одновременно, актуальное именно в наши дни, жизненно необходимое в России здесь и сейчас.

Великое в малом. Помимо эпических исторических полотен, Сергей Михайлович непревзойденный мастер раскрытия сокровенного, тайного, задушевно-интимного в душе и сознании человека. И в этом малом и прикровенном художник поднимается до широчайших философских обобщений. Приведу пример. Как образно выразить понятие “женственность”? Посмотрите на гравюры: “Сеятельница” (1979), “Плач Ярославны” (1985), иллюстрации к книге стихов В. А. Солоухина “Венок сонетов” (1975–1976), – и вы увидите, почувствуете на уровне подсознания, интуиции и совести жизненность и красоту женственности наших соотечественниц.

Можно ли графически раскрыть суть понятия “лирика”? Можно. Для этого достаточно познакомиться с пейзажами Харламова средней полосы России, его малой родины, внимательно изучить его иллюстрации текстов русских поэтов.

Действительно, гравюры Сергея Михайловича – это *“песни о главном”*: о любви, красоте, спасающей мир, о вере и верности, о реке жизни, в которую невозможно войти дважды.

Всё это определяет естественно и то, что умудрённый мастер в качестве педагога передаёт *“племени младому, незнакомому”* опыт, знания и, главное, своё видение мира, созидающее, утверждающее и охраняющее нашу жизнь.

ТВОРЧЕСКИЕ ИТОГИ 2011 ГОДА

Премия имени В. В. КОЖИНОВА за цикл эссе “Не даёт покоя история” (№ 4), а также за возвышенный лиризм в осмыслении судеб человека и страны присуждена Виктору Ивановичу ЛИХОНОСОВУ.

Премия имени Л. М. ЛЕОНОВА (номинация “Молодые прозаики”) за повесть “Больше, чем игра” (№ 10) присуждена Олегу СОЧАЛИНУ (Подмосковье).

Премия имени Ю. П. КУЗНЕЦОВА (номинация “Молодые поэты”) за подборку “Мы восстанем из пепла” (№ 11) присуждена Карине СЕЙДАМЕТОВОЙ (г. Новокуйбышевск Самарской обл.).

Премия имени А. Г. КУЗЬМИНА (номинация “Молодые историки и публицисты”) за статью “Странная презентация” (№ 1) присуждена Кириллу ТИТОВУ (Москва).

Ежегодные премии за лучшие публикации 2011 года присуждены:

- Виктору БРЮХОВЕЦКОМУ, поэту — за подборку стихов “Пройдём над грядущей бездной” (№ 10);
- Владимиру БУТЕНКО, прозаику — за повесть “Девочка на джипе” (№ 10);
- Виктору ВЕРСТАКОВУ, поэту — за подборки стихов “Очертания русской тоски” (№ 3) и “Протянем огненные руки” (№ 12);
- Евгению ГУСЛЯРОВУ, эссеисту — за статью “Закон Достоевского и “фуриозная эмансипатка” (№ 11);
- Михаилу ДЕЛЯГИНУ, политологу — за статьи “Новые кочевники” по-старому рвут Россию” (№ 5); “Конец европейской мечты” (№ 9); “Непубличный аспект кризиса демократии” (№ 11);
- Николаю ИВАНОВУ, прозаику — за цикл рассказов “Тот, кто стреляет первым” (№ 2);
- Григорию КАЛЮЖНОМУ, поэту и публицисту — за статью “Третья оборона Севастополя” (№ 2);
- Дмитрию НЕЧАЕНКО, литературоведу — за исследование “Двенадцать” как сновидческая мистерия” (№ 8—9);
- Ивану ПЕРЕВЕРЗИНУ, поэту — за подборку стихов “Осенним днём” (№ 9);
- Александру СЕГЕНЮ, прозаику — за повесть “Московский золотуст” (№ 1);
- Андрею УБОГОМУ, прозаику и очеркисту — за очерки “Горы и горе” (№ 1) и “Русские реки” (№ 6);
- Андрею ФУРСОВУ, политологу — за статью “Десталинизация-2011: скрытые шифры (мотивы, цели, интересы)” (№ 6);
- Владиславу ШВЕДУ, политологу — за хронику “Литовский лабиринт” (№ 8—9);
- Анатолию ШТЫРОВУ, поэту и военачальнику — за цикл стихов “Кому я душу исповедую” (№ 4);

Большая литературная премия “За лучшую книгу 2010 года” присуждена КАЗИНЦЕВУ Александру Ивановичу.

Премия имени Александра Невского присуждена КУНЯЕВУ Станиславу Юрьевичу и КУНЯЕВУ Сергею Станиславовичу.

Премия имени Ивана Гончарова присуждена ШИШКИНУ Евгению Васильевичу.

Поздравляем лауреатов!